



Вс.СОЛОВЬЕВ

Сергей
Горбатов

хроника
четырех поколений

Всеволод Сергеевич Соловьев

Сергей Горбатов

(Хроника четырех поколений #1)



Всеволод Соловьев (1849–1903), сын известного русского историка С.М. Соловьева и старший брат поэта и философа Владимира Соловьева, — автор ряда замечательных исторических романов, в которых описываются события XVII–XIX веков.

В третий том собрания сочинений вошел роман "Сергей Горбатов", открывающий эпопею "Хроника четырех поколений", состоящую из пяти книг. Герой романа Сергей Горбатов - российский дипломат, друг Павла

I, работает во Франции, охваченной революцией 1789 года.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	0008
#1	0008
I. СТО ЛЕТ НАЗАД	0014
II. В БЕСЕДКЕ	0019
III. «ВОТ И СЛУЧИЛОСЬ!..»	0028
IV. СТРАШНЫЙ ДЕНЬ	0037
V. БОРИС ГОРБАТОВ	0051
VI. РЕНО	0067
VII. ВОСПИТАНИЕ	0077
VIII. ГОРЕ ТАНИ	0086
IX. ПИСЬМО	0096
X. ВИНОВАТ ЛИ?	0103
XI. ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ	0110
XII. В ДОРОГУ	0119
XIII. ЗАБОТА КАРЛИКА	0131
XIV. ЛЕВУШКА	0144
XV. УТРО ЦАРИЦЫ	0156
XVI. ПЕРВЫЙ ШАГ	0172
XVII. У БЕЗБОРОДКО	0184
XVIII. СЛУЖБА	0195
XIX. НОВОСЕЛЬЕ	0208
XX. ФАРАОНКА	0222
XXI. МАСКАРАД	0236
XXII. НЕЖДАННЫЙ ДРУГ	0252
XXIII. ЗАТИШЬЕ	0269

XXIV. СРЕДИ СВОИХ	0295
XXV. ЧЕМ КОНЧИТСЯ?	0310
XXVI. В ЦАРСКОМ	0328
XXVII. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО	0341
XXVIII. NOTTURNO	0349
XXIX. СУДЬБА	0360
XXX. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ	0375
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0397
I. НАД КРАТЕРОМ	0397
II. СЕМЬЯ	0411
III. ПРОВИНЦИЯ	0430
IV. ДВОР	0446
V. ЗА ХЛЕБОМ	0463
VI. В ПАЛЕ-РОЯЛЕ	0477
VII. КОРОЛЕВА	0496
VIII. КОРОЛЬ	0524
IX. МРАЧНЫЙ ВЕЧЕР	0546
X. ВО ТЬМЕ	0558
XI. 6 ОКТЯБРЯ	0572
XII. ВДАЛИ	0591
XIII. ВОЗРОЖДЕНИЕ	0605
XIV. СМЕЛЫЙ ШАГ	0609
XV. ДНИ И ЧАСЫ	0624
XVI. ГРАФ МОНТЕЛУПО	0641
XVII. НЕЖДАННАЯ РАДОСТЬ МОСЬКИ	0658
XVIII. ГОСТИ	0677
XIX. ВСЕ СКАЗАНО	0690
XX. СТАРАЯ ИСТОРИЯ	0710

XXI. НА УЛИЦЕ0726
XXII. ЯКОБИНЦЫ0747
XXIII. В КЛУБЕ0768
XXIV. ВЫЗОВ0784
XXV. ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ0798
XXVI. К ЛУЧШЕМУ0815

Вс. Соловьев
Сергей Горбатов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раннее летнее утро. День, наверно, будет жаркий, такой же, как и вчера, как и всю неделю. Бледно-бирюзовое небо уже становится чем выше, тем синее, и кое-где скользят по нему и незаметно тают, переливаясь мелкой перламутровой волной, далекие перистые облака. Солнце кладет длинные тени. Разгораются и сверкают крупные капли росы на траве, густой и несмятой. Старые широковетвистые липы не шелохнутся и только беззвучно роняют вянущие лепестки своего душистого цвета.

Я иду по заросшим дорожкам давно всеми позабытого сада и чудится мне, будто передо мной снова разверзлись двери потерянного мира юных снов и юной душевной свежести. Это деревенское утро своей душистой, невозмутимой тишиною и прохладой пахнуло на меня теми могучими чарами, которые в миг один способны смыть и унести неведомо куда всю житейскую пыль, наваянную многими годами. Я иду — возрожденный и духом, и телом, жадно впивая в себя живительный воз-

дух; я слышу и чувствую, как бьется мое сердце, но не болезненно и тревожно, а мерно и спокойно, заодно с этой здоровой и светлой природой.

Вот уже больше часа брожу я по заросшему саду, и меня тянет все дальше и дальше; передо мною открываются аллея за аллеей, лужайка за лужайкой. Кое-где через быстрый ручей перекинут ветхий, едва выдерживающий мою тяжесть мостик. Кое-где в древесных кущах, переплетшихся между собой, белеют античные формы старых статуй. Вот из-за непроходимых ветвей виднеется купол разрушенной беседки. Вот обломок колонны, неведомо откуда упавший, почти совсем закрытый высокой травой, увитый вьющимся горошком...

Все чаще и чаще вековые дубы и липы, все гуще и ниже сплетаются над головою их могучие ветви. Даже жутко в этом неведомо куда влекущем сумраке. Но сумрак мало-помалу редет, впереди яркий просвет, весь залитый солнцем. Я спешу туда — передо мною разрушенная каменная ограда. Здесь конец этому сказочному, забытому миру, здесь начало

другой жизни, от которой я так рад был забыться. На большом выгоне пасется стадо, справа расположено село, дальше — шоссе, перерезанное полотном железной дороги, огромное кирпичное здание с высокими трубами, из которых валит густой черный дым, — это фабрика...

Я спешу назад, опять в сумрак заглохшей аллеи, спешу скорей снова забыться, уйти в мир тишины и покоя, в мир старых лиц, беседок и статуй. И снова брожу я, не замечая времени, не чувствуя усталости. И чары старого сада вызывают передо мной самые милые воспоминания; воскресают давно покинувшие землю давно позабытые лица, и я с изумлением нахожу в себе всю прежнюю мою любовь к ним, всю силу тоски по их утрате. Прошлое, одно прошлое во мне и передо мною — будто время вдруг повернуло назад и мчится чем дальше, тем быстрее...

А между тем солнце поднимается выше и выше, отвесные лучи его проникают всюду. Зной, усталость и жажда начинают меня тревожить. Старинный, длинный одноэтажный дом с лабиринтом высоких прохладных ком-

нат принимает меня в новую тишину, в которой все другое, в которой новые чары. И время, остановясь лишь на мгновение, снова мчится еще быстрее и еще дальше в глубину прошедшего. Я прохожу длинной залой с кое-где облупившимися глянцевыми колоннами, с теряющимся в полумраке расписным потолком и ветхими хорами, откуда даже и при дневном свете слышится таинственный шорох. Я вступаю в анфиладу парадных гостиных, обтянутых выцветшим шелком, уставленных зеркалами в почернелых бронзовых рамах, запыленной, старинной мебелью. В конце анфилады я останавливаюсь в высокой полутемной комнате со спущенными зелеными шелковыми шторами. По полу разостлан мягкий ковер, весь изъеденный молью, по стенам резные черного дуба шкафы со стеклянными дверцами. Длинными рядами стоят там переплетенные в крепкую кожу книги. Покойные кресла, обтянутые старым темно-зеленым сафьяном, тяжелый вычурный стол-бюро в углу; над столом и между книжными шкафами портреты. Чья-то заботливая рука, наверно, много-много лет тому

назад прикрыла их полотном. Полотно совсем уже почернело от пыли, и пауки уже сотни раз расстилали на нем свою паутину. Я поднимаю зеленые шторы, но яркий полдневный свет все же медлит, все же боится проникнуть в полутьму этой прохладной, сырой комнаты. Густо разрослись деревья у самых окон, и льнут их зеленые ветки к запыленным стеклам и мешают солнцу. Забыв о паутине и пыли, я сдергиваю полотно с самого большого портрета — и отступаю с невольной дрожью: я не один — прямо мне в глаза, насмешливо и пытливо, глядят живые глаза из глубины почерневшей золотой рамы; передо мною живое лицо молодого красавца в изящном и богатом костюме конца XVIII века. Я отступаю и опять приближаюсь, и начинаю уже видеть, как тихо колышутся атлас и кружева на его мерно дышащей груди; вот шевелит пальцами бледная рука, на которой горит бриллиантовый перстень; медленно сдвигаются густые черные брови; дрожат полузакрытые, будто утомленные, веки, а резко очерченные характерные губы складываются в тонкую усмешку. И долго не проходит оча-

рование, и долго я жду, что он выйдет из рамы и заговорит со мною.

Но яркий луч, прорвавшийся, наконец, в окно, скользит вдоль по расписанному полотну и разрушает впечатление. Я снова спускаю шторы и не могу оторваться от портрета. Я стираю с него пыль, и, наконец, в углу, у самой рамы, разбираю буквы. Очарование становится понятным — оно создано слабой женской рукою, в которую когда-то была вложена крепкая сила таланта: портрет принадлежит кисти знаменитой Лебрэн.

Проходят часы, проходят дни — и запыленная мрачная комната превращается в мое постоянное убежище. И все, что казалось мне таинственным и непонятным, становится близко и знакомо во всех мельчайших подробностях. Меня уже не смущает полусмешливый, полугрустный взгляд напудренного и разодетого в атлас и кружева красавца. Между нами уже нет тайны — он сам открывает мне свою душу и рассказывает жизнь свою. В старинном бюро, в одном из бесчисленных ящичков, я нахожу маленькие, переплетенные в сафьян тетрадки, мелко испи-

санные на французском языке твердым и красивым почерком. Это его заметки, отрывки воспоминаний разнообразно и интересно проведенной молодости... Они нередко будут служить мне важным материалом для рассказа, который я озаглавливаю именем их автора...

I. СТО ЛЕТ НАЗАД

Около ста лет тому назад, а именно, в начале осени 1788 года, местность эта представляла совсем иной вид, чем теперь. Ни о каких заводах, фабриках, шоссе не было и помину. Вместо всего этого между селом Горбатовским, искони принадлежащим богатому и знатному роду Горбатовых, и Знаменским, находившимся тогда во владении вдовы княгини Пересветовой, верст за семь в квадрат тянулся густой лес, через который пролегла очень живописная дорога.

По дороге этой солнечным душистым утром ехал молодой всадник, совсем еще юноша, лет двадцати двух, не больше. Богатый атласный камзол, изящные ботфорты на стройных ногах, маленькая треугольная шля-

па, из-под которой спускались букли напудренного парика с косичкой, статный вымуштрованный конь указывали на общественное положение юноши. Красивое и милое лицо сразу говорило в его пользу. Он, видимо, никуда не спешил, то пускал своего послушного коня рысцой, то ехал некоторое время шагом, то, наконец, останавливался, осматривался кругом, любовался картиной желтевшего и красневшего леса, всюю грудью вдыхал в себя бальзамический воздух. Изредка встречавшиеся в лесу крестьяне и крестьянки, завидев всадника, почтительно останавливались с низкими поклонами. Он приветливо кивал им головой и ехал дальше с довольным выражением в молодом, несколько загоревшем лице.

Лес редел. Скоро из-за небольшого пригорка показались обширные хоромы княгини Пересветовой. Юноша дал шпоры коню и помчался, но не прямо, не к усадьбе, а завернул в сторону, туда, где снова начиналась древесная тень и где только высокий частокол да малоезженная, почти совсем поросшая травую дорога отделяли лес от барского Знамен-

ского парка. Вот старые ворота и возле — избушка сторожа. Запахло дымком, две курицы перебежали дорогу, чуть не попав под копыта быстро остановившегося коня. Собачонка выскочила из избушки и отчаянно залаяла, а за нею показался старый лысый старик в лаптях и нагольном тулупе.

— Отвори-ка, Степушка, ворота! — крикнул всадник ласковым звонким голосом, какой только и мог быть у такого здорового и веселого юноши. Семидесятилетний Степушка, отвесив низкий поклон, бросился старческой рысцою к воротам и стал отпирать их.

— Милости просим, батюшка Сергей Борисыч, погуляй, золотой... Ишь ведь, денек какой выдался — солнышко словно по-летнему греет...

— А вот что, Степушка, не покараулишь ли моего Красавчика? Пускай он себе отдохнет, а я поразомну ноги.

— Изволь, батюшка, изволь, государь Сергей Борисыч!..

Сергей Борисыч быстро соскочил с Красавчика, передал поводья Степушке, привычным хозяйским глазом оглядел любимого коня, по-

трепал его по гладкой, горячей шее и легкими шагами направился в глубь парка.

Солнце так и горело, так и переливалось на разноцветных осенних деревьях, превращало в чистое золото опавшие листья, которые густо покрывали дорожку и разлетались во все стороны под быстрыми шагами юноши. В вершинах старых деревьев усиленно, будто на прощанье, перекликались птицы, и с ветки на ветку, споря в легкости с птичьим полетом, перескакивали пугливые векши.

Но вдруг солнце зашло за облако, и мгновенно изменилась вся картина: потускнели радужные цвета, тоскливая нотка словно прозвучала в птичьей перекличке, откуда-то пахнуло прохладной сыростью. Затуманилось солнце от наплывшего облака — и, будто от такого же облака, затуманилось и красивое лицо веселого юноши; не то тоска неясная, не то скука изобразилась на нем. Но это было лишь на мгновение. Облако пронеслось, солнце заблестело снова, быстро меняя печальные краски, обливая их горячей жизнью, и снова молодая, здоровая радость засветилась в лице юноши. Ускоряя шаг, он спустился к неболь-

шому озеру, на берегу которого была выстроена беседка.

Отсюда виднелась только боковая ее сторона, только колонка, окрашенная в ярко-голубой цвет, да глухая стена, едва заметная за густо насаженными кустами. Нельзя было разглядеть, есть ли кто в той беседке, или никого там нету. Но юноша остановился как вкопанный и не мог отвести своих зорких глаз от ярко-голубой колонки. За этой колонкой мелькнуло что-то и исчезло. И вот опять показалось. Да, это не птица и не векша, это чернеется узенький башмачок маленькой ножки. Вот и кончик розового платья выглянул и скрылся. Юноша отступил назад, осторожно, стараясь не шуршать опавшими листьями, и начал пробираться между деревьями к беседке.

«Ах, как странно! — думал он, — ведь это Таня...»

Он чувствовал, что это она, да и кому там быть другому — ее и платье розовое. Странно! Будто нарочно он поехал этой дорогой, сюда, к озеру, к беседке, точно зная, что тут Таня и что она его дожидается!..

Да, он знал, наверное знал еще утром, когда уговаривал monsieur Рено отправиться вместе с матерью и сестрой посмотреть только что приведенных лошадей, а сам отказался им сопутствовать и велел оседлать себе Красавчика. Он знал, наверное знал, но почему знал? Кто сказал ему и зачем ему сегодня так ужасно надо видеть Таню?..

II. В БЕСЕДКЕ

Остановиваясь на каждом шагу и боясь ступить на сухую ветку, которая могла бы затрещать под его ногами, почти неслышно подкрался юноша к беседке и заглянул между колонкой и боковой стеною.

На деревянном диване, окрашенном такой же яркой голубой краской, как и вся беседка, сидела хорошенькая белокурая девушка с высоко, по моде, взбитыми волосами, в розовом платье. Дорогой шелковый платок покрывал ее плечи и был грациозно завязан сзади. Рукава платья, обшитые пышными кружевами, доходили до локтей, выказывая полные руки. Темные глаза, казавшиеся то синими, то серыми, были очень хороши, и одних этих глаз

было бы достаточно, чтобы скрасить и не особенно хорошенькое личико, но на этот раз глаза совершенно гармонировали с остальными чертами.

Подкравшемуся юноше было чем полюбоваться. Вся крепкая, довольно крупная, но в то же время грациозная фигура девушки так и манила к себе своей красотой и свежестью. Но только это была еще далеко не женщина, это был быстро выросший и сформировавшийся ребенок. Несмотря на пышные формы, в лице оставалось еще слишком много детского. Ею можно было любоваться вдвойне — и в настоящем и в будущем, так как она серьезно обещала сделаться прелестнейшей женщиной.

Но мечты о ее будущей красоте были далеки от Сергея Борисыча, с него было за глаза довольно и настоящего. Он долго любовался ею, затаив дыхание, с раздумявшимися щеками и радостной улыбкой, а она не замечала его присутствия, погруженная в полузабытье. Она сидела неподвижно, глядя на мелкую зыбь озера, отражавшего легкие, плывущие по небу облака и пестрые деревья противополо-

ложного берега.

О чем она думала? Конечно, думала о многом, только вряд ли могла бы рассказать свои думы. Они сливались все вместе и превращались во что-то призрачное, радужное, неопределенное и милое, что наполняло ее всю, заставляло сидеть неподвижно, совсем забывшись, завораживало... убаюкивало...

Юноша хотел было ее окликнуть, но сообразил, что она, пожалуй, чересчур испугается и, сделав несколько шагов назад, зашуршал хворостом.

Она очнулась, быстро поднялась с дивана и взглянула за колонку. Темные глаза ее загорелись, румянец вспыхнул и побежал по всему лицу.

— Сережа! — радостно крикнула она, плохо выговаривая букву «р», что выходило у нее особенно мило. Ах! И как же вы напугали меня!.. Я тут давно... гуляла, да зашла в беседку... так тихо... хорошо... лень взяла...

— Так тихо, хорошо, что сидела, сидела и заснула! — перебил ее Сережа.

— Ан и совсем не спала! А знаешь, бывает такое — не знаю как с другими, а со мною ча-

сто бывает... дома-то редко, а вот в лесу или где-нибудь, летом... впрочем, осенью еще чаще, в такие чудные дни... Так тихо вдруг, тихо и грустно... и хорош, что боишься шевельнуться... кажется — плывешь куда-то и расплываешься все шире и шире... небо...

Он смотрел на нее и лукаво улыбался... Она остановилась на полуслове и сердито топнула ножкой.

— Насмешник! Сколько раз обещала себе ни о чем таком с вами не говорить... за каждое-то слово насмех поднимает!.. Известно, философ!.. Маменька так прежде m-г Рено называла, а теперь уж он стал у нее m-г Рено tout court, а в философы произведен Сергей Борисыч — другого и имени тебе нету...

— Ну, этого можно было бы мне и не говорить, Таня. Я ведь знаю, что у княгини философ — чуть не бранное слово.

Таня вспыхнула и на этот раз взаправду рассердилась, только уж не на него, а на себя.

«Ах, этот глупый, длинный язык! Вечно зря болтает...»

Но Сережа не стал злоупотреблять неловким положением Тани, он вовсе не хотел сму-

щать ее. Он улыбался по-прежнему, только уж другой улыбкой, в которой не было ничего насмешливого.

— Философ! — сказал он, — а ведь опять-таки выходит, что философ не я, а вы же, милая Таня. Конечно, не в том разумении, какое угодно княгине придавать сему слову, а вот эти ваши беседы с природой — это и есть философия настоящая, по крайней мере, прямой путь к ней. И вижу я, что Рено был прав, когда недавно сказал мне про кого-то: «О, это особенная головка — в ней много вместить можно, и она многое выдержит». Видишь, какого мнения о тебе умные люди! Я, может быть, не должен был бы говорить этого, только ведь я и сам так о тебе думаю — ты особенная, Таня!

Его глаза так нежно и ласково остановились на ней, что она не могла долго выдержать этого взгляда и смущенно отвернулась.

Со ступенек беседки, где они стояли, она опять подошла к голубому дивану и уселась в уголок. Он поместился рядом с нею, все продолжая глядеть на нее так смутившим ее взглядом.

— Только как это странно, говорил он, давно ли Таня была маленькой девочкой, в куклы играла с Леной — и вот теперь какая! А Лена и до сей поры в куклы играет — намердники застал ее.

— Что же, и я играю в куклы, и у меня они целы, — хотите, сегодня же покажу, когда придем домой. Мне еще недавно в девичьей целый гардероб для них сшили.

— Верю, верю, только думы-то не о куклах.

— Не о куклах, — повторила она, вдруг вся притихнув.

Замолчал и он, снова дивясь тому, что случилось сегодня. Глядя на Таню, подмечая выражение лица ее, ее глаз, следя за ее то потухавшим, то разгоравшимся румянцем, он был теперь совершенно уверен, что она тоже не так, не случайно забрела в этот час в голубую беседку.

О, конечно, наверное, и она знала, что он непременно придет сюда. И она ждала его, и ей было так же точно нужно его видеть, именно сегодня, именно теперь, на этом месте. Тот же непонятный, тайный голос, который звал его сюда, звал и ее. Вот сейчас, стоит

только спросить ее, и она подтвердит все это, потому что она лгать не умеет, да и не нужно.

Почти до боли забилося его сердце, и прерывающимся голосом он шепнул:

— Таня!!!

Она вздрогнула. Она сразу почувствовала особенное в его слове. Он никогда еще, ни разу в жизни, так не произносил ее имени.

— Что?! — почти беззвучно, одними губами спросила она.

— Таня! Отчего ты здесь, не где-нибудь в другом месте, а именно тут, в голубой беседке?

Это был странный и смешной вопрос. Но она не изумилась и не смеялась; она поняла, зачем он ее спрашивает и какое важное значение имеет вопрос этот.

— Я сама не знаю, — тихо ответила она.

— Таня... милая!.. ради Бога, скажи всю правду!..

Он взял ее руку. И горячая рука девушки сразу охладела и вздрогнула в его руке.

Она подняла на него большие, широко раскрытые глаза, и он прочел в них изумление, страх, нежность, счастье — все вместе.

— Не знаю... странное что-то, — шептала она, — как будто сон... да, право... я весь день как во сне... и встала во сне... и сюда пришла... Сережа, я знала, что ты, наверное, здесь будешь... Я ждала тебя...

Она отняла у него свою руку, быстро поднялась с дивана и схватилась за голову.

— Что же это?! Я с ума схожу, что ли?

Он привлек ее опять к себе и уже не выпускал ее рук. Он засматривал ей в глаза совсем сияющий.

— И я знал, что ты здесь... я изумлялся; но когда увидел тебя, то понял, что и ты ждала меня. Если сон, так он тот же и со мною, и не след просыпаться... Таня! Милая Таня!.. Как я люблю тебя...

Он обнял ее, осыпал поцелуями, и она не сопротивлялась, она сама возвращала ему его поцелуи.

Их сон продолжался, и с каждой новой переживаемой минутой становился все лучезарнее и волшебнее. Они видели, как долгожданное, долго манившее блаженство жизни раскрывается перед ними. Они чувствовали оба одними чувствами, что все, что было до

сих пор, имело одну только цель — довести их до этой минуты, они жили только для того, чтобы дожить до нее.

Они молча, блаженно глядели друг на друга. Только уж теперь в них не было никакого изумления, никаких вопросов. Все свершилось, все стало ясно, говорить им было не о чем, потому что они и без слов все понимали.

Наконец Таня вспомнила, что ее уже давно ждут дома. Но она не позвала с собой Сергея, и он не пошел за ней. Теперь они не хотели вместе показаться на глаза людям. Они расстались, каждый глубоко про себя спрятал свое счастье.

III. «ВОТ И СЛУЧИЛОСЬ!..»

Не видя, не сознавая окружавшего, он спешил по знакомым дорожкам парка. Вот и избушка сторожа, и Степушка с Красавчиком.

Степушка что-то говорит ему, но он не слышит, впопад отвечает, нет ли — ему все равно.

Он вскочил на Красавчика и помчался. Только выехав на большую лесную дорогу, он несколько пришел в себя и оглянулся.

Боже, как хорошо!

Еще лучезарнее, еще краше и ближе к сердцу показалась ему осенняя природа. Никогда еще не было такого дня.

Застоявшийся Красавчик мчал его, едва касаясь земли и только изредка чуть шевеля сухие листья легким копытом.

Щеки Сергея горели, сладкая дрожь пробегала по его жилам, и все ему казалось, что он обвеян еще присутствием Тани, что она незримо здесь, около него, в нем самом, в его радостно бьющемся сердце...

Но вдруг в конце аллеи раздался конский топот. Сергей невольно остановился и при-

слушался. Уже явственно было слышно, что кто-то мчался к нему навстречу. Вот уже и виден на взмыленном коне всадник.

Сергей узнал его.

«Но зачем он? И так спешит!.. Что такое?.. Уж не случилось ли чего!»

Однако эта первая невольная мысль не оставила в нем никаких следов, никакого опасения.

Он был слишком счастлив, чтобы остановиться на чем-нибудь тревожном. Что теперь может случиться? Да и что бы ни случилось, ему какое дело!

Между тем мчавшийся к нему навстречу всадник оказался уже в двух шагах от него.

Это был небольшого роста сухощавый человек лет сорока с приятным подвижным лицом, быстрыми глазами. Он неловко держался на лошади, чулки его висели складками на худых ногах, шляпа слезла на затылок, парик плохо причесан.

Сергей взгляделся в лицо его и нервным движением сразу остановил Красавчика. Его поразило в этом лице совсем необыкновенное, странное и пугающее выражение.

— Рено, что такое? Au nom du Ciel!..

Француз-воспитатель заговорил спешно, едва переводя дух от быстрой езды, и, видимо, избегая глядеть на Сергея:

— Tranquillisez vous... не пугайтесь... поедемте скорей... monsieur votre pere... он болен... с ним вдруг сделалось дурно... Я так и знал, что вы отправились в Знаменское... поспешил за вами... хорошо, что нашел скоро...

Сергей еще не понимал, но уже яркий румянец сошел со щек его и заменился бледностью, уже мгновенно исчезло без следа счастливое чувство, владевшее им еще за минуту.

Ничего не могло случиться, ни до чего нет дела! А вот и случилось!.. Что... что... такое?.. Отец... да как же это... как?

Он засыпал француза вопросами, но тот ничего не договаривал, только просил успокоиться — и это заставляло Сергея еще больше волноваться.

Наконец он узнал, что отец его, Борис Григорьевич Горбатов, всегда такой сильный, бодрый и здоровый, и сегодня, как обыкновенно, в урочный час вышел из своих покоев. За завтраком его встретили жена и дочь. Тут

был и Рено. Борис Григорьевич ласково со всеми поздоровался, говорил спокойно, мило, стиво обращался со своим постоянным домашним штатом, даже пошутил с Моськой-карликом, принялся кушать — и вдруг захрипел и упал навзничь. Его снесли в опочивальню: домашний доктор, живший у Горбатовых, объявил, что дело серьезно, что у Бориса Григорьевича удар, которого он давно опасался.

— Господи!.. Да жив ли он... жив ли? — спрашивал Сергей.

Ему все казалось, что Рено скрывает от него, не все договаривает; он чувствовал новое мучительное ощущение, которое тисками сжимало и томило его сердце.

Отец!.. Он так мало вообще думал о нем; он никогда не отдавал себе отчета в том, любит ли его или нет, а просто его боялся с самого детства и до последнего времени; привык многое скрывать от него; привык от него таиться, сдерживаться в его присутствии, иногда просто даже тяготиться этим присутствием. Отец казался ему силой, с которой нельзя было бороться, нужно было подчиняться без

рассуждений, права или не права эта сила.

Но тут все забылось, осталось одно чувство жалости, бесконечной жалости к этому отцу, к этому сильному человеку, действовавшему только своей силой и так часто несправедливому вследствие этого, как, по крайней мере, казалось молодому сыну.

— Жив ли он... жив ли?.. — повторял Сергей. Рено отвечал ему, что жив, чтобы он не отчаивался, что еще нет ничего безнадежного.

И оба они пришпорили своих лошадей и мчались в Горбатовское.

Они въехали на широкий двор, в глубине которого тянулись обширные барские хоромы — длинное, одноэтажное, построенное покоем здание, к которому примыкали всякие службы. Посреди обширного двора красовался роскошный цветник, устроенный трудами года два тому назад выписанного из Петербурга ученого немца-садовника. Пышные георгины и астры были в полном цвету. Белый дом, недавно выкрашенный, с яркой зеленой крышей, с новыми зелеными ставнями окон так и сверкал на солнце. Вся эта яркость бро-

силась в глаза Сергею, и от нее стало ему еще тяжелее, еще мучительнее. Он подметил, оглябая цветник и останавливаясь у главного крыльца, суетню, он подметил странное выражение на всех лицах. Ему хотелось спросить у первого встречного: что? как? что с отцом? И в то же время он боялся ответа на этот вопрос и ничего не спрашивал.

Он молча соскочил с Красавчика, не замечая кто взял у него из рук повод, и кинулся на крыльцо. В комнатах было еще больше необычного, беспорядочного движения, на лицах еще более странного, смущающего выражения.

Сергей бежал дальше к дверям, за которыми начинались покои отца, куда он обыкновенно не очень часто заглядывал.

— Сережа!

Мучительное, измученное и страшное слышалось ему в этом голосе.

Это была его мать. Она кинулась к нему, он увидел ее беспорядочно сбившиеся букли, с которых осыпалась почти вся пудра, ее полное, добродушное лицо, совсем покрасневшее, заплаканное, в котором ежесекундно

менялось выражение испуга, изумления и горя.

— Отец... пойдём... не узнает... Боже мой!.. Вот несчастье... и неожиданно так... чуяло ли мое сердце?! Пойдем, Сережа!..

Она взяла его за руку. Он следовал за нею, опять почти теряя сознание, ничего не видя, не понимая.

Они в опочивальне. Яркий свет озаренных солнцем комнат сменился полутьмою; ставни в опочивальне почти наглухо заперты, только в небольшую щелку прокрадывается полоска света и расплывается по комнате. На широкой, высоко взбитой кровати Сергей разглядел тучную фигуру отца.

Весь дрожа, с подкашивавшимися ногами, подошел он и замер. Обрывки мыслей бесвязных, не имевших никакого отношения к этой неожиданной минуте, роились в голове его. Он вглядывался в полусумрак и вот начал ясно распознавать предметы. Две лампы, висевшие перед иконами у изголовья кровати, озаряли лицо отца особенным светом, и это освещение поразило Сергея — ему показалось в нем что-то зловещее, священное и

страшное, говорившее о смерти.

Долго не решался он взглянуть на знакомые черты; ему казалось, что он увидит в них такое, чего не будет в силах перенести. Но он, наконец, взглянул и действительно чуть не вскрикнул, хотя, по-видимому, ничего страшного не было в лице Бориса Григорьевича. Это был тот же красивый старческий облик: высокий лоб, над которым серебрилась седина коротко подстриженных волос, орлиный нос с широко раскрытыми ноздрями. Таким Сергей видал отца часто по утрам, без парика, в теплом атласном, отороченном соболем халате. Вот и теперь этот халат на нем. Но разве это отец? Это будто совсем другой человек — жалкий, беспомощный. Никогда еще в жизни и ни к кому Сергей не чувствовал такой невыносимой жалости.

Борис Григорьевич лежал с закрытыми глазами; нижняя губа его вздрагивала, и вдруг один глаз открылся, а другой так и остался закрытым.

Сергей бросился вперед, схватил отца за руку, стараясь уловить взгляд его, но открытый глаз глядел прямо на него и, очевидно,

его не видел. Холодная, тяжелая рука оставалась неподвижной и только время от времени слабо вздрагивала. Тихий стон, скоро перешедший в хрипенье, послышался из груди Бориса Григорьевича. Его рот бессильно раскрылся. Видно было, как ворочался язык, но между тем он не произносил ни слова.

Жена с громким рыданьем, которого не в силах была уже сдерживать, метнулась сначала к мужу, а затем к тут же, в двух шагах, стоявшему врачу.

— Богдан Карлыч, что это с ним?.. Ужели?

Богдан Карлыч, сухой, длинный старик, в коричневом суконном кафтане, смятом жабо, черных чулках и башмаках с огромными стальными пряжками, с совершенно неподвижным, ничего не выражавшим лицом, только мотнул головою.

В опочивальню, трусливо пробираясь, всхлипывая и то и дело тихонько сморкаясь, прокралась тринадцатилетняя сестра Сергея, Елена. За нею показались еще две-три фигуры, знаками подзывая к себе хозяйку. Марья Никитишна Горбатова кинулась к дверям, и Сергей расслышал:

— Все готово!

— Что же, зовите! — упавшим голосом отвечала Марья Никитишна.

Через минуту в опочивальню уже входил священник.

IV. СТРАШНЫЙ ДЕНЬ

Все, что было потом, оставило в Сергее смутное воспоминание, как подробности кошмара, которые забываются немедленно вслед за пробуждением, — остается в памяти только общее впечатление, давящее и невыносимое.

Недолга была глухая исповедь. Через несколько минут после принятия святых Тайн Борис Григорьевич скончался.

Громкие вопли огласили большие хоромы горбатовского дома. Вопили и те, которые действительно жалели покойника, вопили и те, которые в глубине души были очень рады его смерти, вопили по принятому обычаю, по неизбежной, всеми признаваемой необходимости. Затем поднималась таинственная суэта, постоянно сменявшаяся унылой тишиною. Многочисленная прислуга, приживальщики

и приживалки, испокон века ютившиеся в богатом барском доме, даже карлик Моська — все ходили на цыпочках, шептались, появлялись и исчезали как тени. Марья Никитишна, отчаяние которой было трогательно, потому что со смертью мужа она теряла свою важнейшую опору жизни, человека, умом которого и волей она жила с пятнадцатилетнего возраста, — Марья Никитишна бессильно сидела в старом любимом мужнином кресле; обнимала и не отпускала от себя дочь, каждую минуту подзывала к себе Сергея, обливалась тихими слезами. Но вот ее слезы вдруг остановились, она с изумлением глядела туда, в соседнюю комнату, где теперь лежало тело Бориса Григорьевича, и хриплым, страшным голосом говорила:

— Да что же это?.. Неужели его нет?.. Не может быть того... как же это?.. Что же теперь будет?..

И умолкала.

Сергей не отходил от матери. Он чувствовал такую усталость, что ему тяжело было подняться с места. Он не плакал, не испытывал теперь ни жалости, ни ужаса, ему только

казалось, что несносная тяжесть навалилась на него и так вот и давит и грудь и голову, так что дышать становится трудно; хочется вырваться, уйти на чистый воздух, и между тем является сознание, что уйти нельзя, что всюду будет преследовать эта тяжесть. По временам он взглядывал на мать, видел ее жалкое, недоумевающее и сразу постаревшее лицо и поскорей отводил от нее глаза, потому что невыносимо было смотреть на нее.

Уже давно прошло время обеда, но обеда не было. Марья Никитишна, Сергей и Елена только рукой махнули на доклад дворецкого. Без хозяев никто не решился сесть за стол, и все в этот день обедали где попало, по большей части в кухне. Там была толкотня и беспорядок. Богдан Карлыч сидел в буфетной перед открытым шкафом, где хранились любимые настойки Бориса Григорьевича. Немец то и дело наполнял маленький серебряный стаканчик и что-то бормотал себе под нос. Карлик Моська, человек в полтора аршина, разряженный в кружева, яркий бархат и позументы, в хитро завитом парике с косичкой в кошельке, забился за колонну в темном уг-

лу длинной залы. Его крохотное лицо, напомиравшее печеное яблоко, представляло то столетнего старика, то новорожденного ребенка. Он горько плакал, по временам вынимал из кармана маленький детский платочек, утирал им слезы, потом свертывал его клубочком и опять прятал в кармашек. Он очень любил Бориса Григорьевича и всегда пользовался его особою милостью. До следующего утра никто из домашних не видал Моськи — он так и заснул в темном уголку залы, выплавав все свои слезы...

Начало смеркаться. У главного подъезда слышался стук подъехавшего экипажа, и в комнату, где находились Горбатовы, поспешно вошла княгиня Пересветова, полная, еще далеко не старая и красивая, но сильно набеленная и наруганная женщина. За нею, робко и смущенно поглядывая своими темными глазами, показалась Таня.

Княгиня кинулась на шею Марьи Никишишны, крепко зажмуривая глаза, выжимая из них слезы, и заговорила медленным, ноющим голосом:

— Сестрица, ах Боже мой! Я просто не пове-

рила, как мне сказали, голубушка моя... Какое горе... и вдруг... ну, кто бы мог подумать!.. Лелюшка, Сережа... бедные мои!..

Она обняла их и опять обратилась к Марии Никитишне, держа ее руки в своих руках и говоря без передышки, выпуская фразу за фразой все тем же тягучим, будто заунывно поющим голосом:

— Как узнала — в тот же миг к вам, сестрица; успокойся, мой голубчик, нужно, мать моя, и себя пожалеть... не убивайся, со мною ведь не лучше этого было... хоть и не так внезапно покинул меня мой покойник, а сама знаешь, каково мне тогда было оставаться одной-то, с малолеткой Таней... У вас-то сестрица, по крайности, Сережа, он уже мужчина, всем и распорядиться может, а мне-то каково — вот уж воистину горькая вдовья доля!..

— Княгинюшка, сестрица! — проговорила Марья Никитишна, снова пугливо посматривая на соседнюю комнату. — Да может ли это быть!.. Нет, не верю... Как же это его нет!.. Пойдем, взглянем, родная!..

Она приподнялась с кресла и, шатаясь, повлекла за собой княгиню.

Таня кинулась к Сергею и Елене.

Елена как сумасшедшая зарыдала, обнимая подругу. Сергей стоял молча, его глаза встретились с глазами Тани, но оба теперь глядели друг на друга совсем не так, как в это утро.

Таня протянула ему руку, он крепко сжал ее, и долго они так стояли, между тем как Елена все рыдала, прижавшись к тихо плакавшей Тане.

Они молчали. Таня не пробовала их утешать. Она хорошо чувствовала, что никаких утешений теперь быть не может, что самое лучшее ей молчать и только крепче жать руку Сергея. Таня никогда особенно не любила Бориса Григорьевича. Постоянно, с первых лет детства, бывая у Горбатовых в качестве близкой соседки и родственницы, она могла только, как и все домашние, побаиваться нелюдимого, старого хозяина и смущаться его присутствием. Но его смерть, во всяком случае, поразила ее как неожиданность, и именно сегодня эта неожиданность была ужасна. Она ехала к Горбатовым совсем перепуганная и ошеломленная, а теперь, глядя на Сергея и

Елену, она страдала почти так же, как и они, и ей бесконечно хотелось успокоить их хотя немного и этим самой успокоиться. Скоро она достигла отчасти своей цели. Ее тихие слезы, смешивавшиеся со слезами Елены, ее тихий голос, едва слышно повторявший: «Милая! милая!», произвел на Елену благотворное действие. Она приободрилась, приподняла голову, лицо ее стало почти спокойно. А от крепкого пожатия дорогой руки и Сергею показалось, что тяжесть, давившая на грудь и голову, вдруг как будто немного отлегла, вдруг как будто стало легче дышать. Он заплакал. Это были первые слезы, и по мере того как сильнее и сильнее подступало чувство жалости и сознание только что понесенной утраты, его голова начинала светлеть, он выходил из невыносимого кошмара, начинал понимать действительность, которая, несмотря на весь свой ужас, была все-таки лучше мрака, до сих пор им в себе и вокруг себя ощущаемого. Вот его тихие слезы, наконец, перешли в рыдание.

Таня оставила Елену, усадила его в кресло, и теперь уже он слышал над собою ее ласко-

вый голос, повторявший: «Милый, милый!»

Его рыдания утихали мало-помалу, и прежняя тяжесть не возвращалась...

Весь вечер Пересветовы оставались в доме. Болтливая княгиня покинула, наконец, Марью Никитишну, сообразив, что утешить ее не может, и занялась другим, более полезным делом.

— Вы так все расстроены, и ты, сестрица, и Сережа, уж позвольте мне, по родству да и по любви моей и почтению к покойнику, помочь вам разными распоряжками. Ведь хоть и много людей, а известно, что за люди, на них в такое время ни в чем положиться нельзя, все невесть как да зря сделают!

— Ах, княгинюшка, ради Бога, коли не в тягость, — проговорила Марья Никитишна, — а у меня ни одной мысли в голове, ноги дрожат, руки опускаются... век буду благодарна, золотая моя...

И княгиня принялась распоряжаться. Мало ли что нужно было! Нужно было прежде всего оповестить в городе всех и каждого, начиная с городских властей, о скоропостижной кончине такого именитого богача, как Борис

Григорьевич Горбатов. И в город, и к некоторым соседним помещикам были тотчас же разосланы гонцы.

Княгиня успела переговорить и со священником относительно похорон. Хотя у каждого из семейства Горбатовых было заранее приготовлено свое место в фамильном склепе, но все-таки кое-чем надо было распорядиться. Призывая подначальных людей, княгиня уже не пела и не тянула фразы. Ее голос становился повелительным, строгим. Ее выслушивали все, начиная с прислуги и кончая отцом Павлом, горбатовским священником, не только что внимательно, но даже и не без страха, ибо крутой нрав княгини был хорошо всем известен.

Таня весь вечер сидела, обнявшись с Еленой, в опочивальне Марьи Никитишны, и кончилось тем, что истомившаяся и заплакавшая за весь день девочка крепко заснула на плече ее.

Сергей пробовал читать псалтырь над покойником, но скоро убедился, что это для него невозможно: слезы то и дело совсем застилали глаза, голос дрожал и обрывался, ноги под-

кашивались. Потом он попробовал выйти на крыльцо подышать воздухом, но здесь, на просторе, под темным звездным небом ему стало еще тоскливее, и он вернулся опять назад в дом, и бродил как потерянный по комнатам, нигде не находя себе места, садясь и через секунду опять вставая.

Француз Рено, хотя и не имел никакого дела и совсем даже не понимал, что такое теперь надо делать, все же в этот день ног под собой не слышал от усталости и истомился, как и все почти в доме. В сумерки он ушел в свою комнату и заперся в ней. Он оставил Сергея с родными и хорошо понимал, что теперь лучше с ним не заговаривать, что надо обождать немного. Однако был уже поздний вечерний час — Рено не утерпел и отыскал Сергея.

«Ах, бедный мальчик, я не предполагал, что это так поразит его!» — думал он, глядя на осунувшееся, заплаканное лицо своего воспитанника. Он обнял его и увел его на балкон, а оттуда в сад.

Ночь была тихая, теплая. В это время вышла луна, кладя причудливые пятна на усы-

паннные желтыми листьями дорожки.

— Marchons, mon enfant! — сказал француз, вам непременно нужно пройтись на свежем воздухе, а то совсем сегодня не заснете.

— Ах нет, Рено, тяжело!.. Лучше вернемся!

Но француз настоял и, взяв под руку Сергея, повел его дальше от дому. Он начал говорить о том, о другом, о третьем, меняя беспрестанно тему разговора, перебегая с предмета на предмет; он говорил, всячески стараясь хоть немного заинтересовать юношу, заставить его хоть на несколько мгновений отойти от печальной мысли. В конце концов это удалось ему. Недаром же он был воспитателем, недаром изучил характер и склад мыслей своего питомца; а главное — недаром был французом, умеющим влагать в живые звуки не только ясные, определенные мысли, но и все, что угодно...

Рено мало-помалу очень ловко овладевал вниманием Сергея, и когда, наконец, убедился, что ему удалось развлечь его и что можно говорить не только о сегодняшнем ужасе, он повернул разговор на предмет, о котором они часто беседовали в последнее время.

— Я получил письмо из Парижа, — сказал он, — очень интересное письмо. Мы накануне великих мировых событий; то, что я давно предчувствовал, начинает сбываться, все умы в движении; вопль поправленных прав, униженного человечества дошел до неба! Наступит конец произволу. Правда скоро найдет себе защиту; король выходит из власти окружающих его недобросовестных людей, он внемлет голосу благоразумных...

И все в этом же роде, с возрастающим пафосом говорил Рено, но, наконец, заметил, что Сергей его не слушает, что он еще не может сегодня долго останавливаться на каком-нибудь предмете.

Воспитатель понял свою ошибку.

— *Voilà, mon ami,* — сказал он, — вы опять опустили голову... ободритесь!.. Я понимаю, как должно быть тяжело для вас неожиданное горе, но помните, что вы уже не ребенок, а мужчина. Женской слабости простибельно так растеряться и упасть духом под ударом грома, но вы должны быть крепки. Рано или поздно вы должны были лишиться вашего отца, ибо это закон природы, но именно

вы-то, вы обязаны напрягать все усилия, чтобы быть теперь бодрым, потому что сегодня для вас начинается совсем новая жизнь. До сих пор, несмотря на ваши двадцать два года, у вас не было никакой самостоятельности, и вы сами так часто на это жаловались; отныне вы полноправный, самостоятельный человек, вы будете действовать за свой страх и теперь же, не отлагая этого, должны решить, хорошо ли вы подготовлены к вашим новым правам и обязанностям. Теперь мы вернемся домой, мы сделали хорошую прогулку, и я надеюсь, что она поможет вам уснуть, вы должны заснуть непременно, чтобы завтра быть бодрее... Помните, что завтра проснетесь совсем новым человеком, завтра со всех сторон начнут съезжаться гости и к вам будут обращаться как к хозяину. Из уважения к памяти вашего отца вы обязаны достойно заменить его — помните это. До сих пор на вас мало обращали внимания, теперь на вас только и будут смотреть. Завоюйте же себе общее уважение. Думайте обо всем этом, больше думайте и не поддавайтесь горю...

Сергей ничего не отвечал, но наблюдатель-

ный, быстрый взгляд Рено, несмотря на ночную полутьму, успел подметить в лице юноши новое, быстро мелькавшее выражение.

«Я затронул настоящую струну, — подумал он, и эта струна зазвучит скоро!..»

Они вернулись в дом.

Сергей зашел помолиться у тела отца, и когда добрался до своей спальни, разделся и лег в постель, то почувствовал себя крайне усталым и измученным. Но эта усталость оказала свое благодетельное действие — он заснул крепким сном.

Рено тихонько вошел в комнату со свечой, взглянул на своего питомца, прислушался к его дыханию и одобрительно кивнул головой:

«Спит, крепко спит, еще бы! Такое здоровье и молодость! О, наверное, он завтра молодцом будет... Жизнь встряхнула — это не мешает, это даже полезно... А какой сегодня счастливый день для него! Это самый счастливый день в его жизни! Птица вылетает на волю... только крепки ли крылья?..»

V. БОРИС ГОРБАТОВ

Весть о внезапной смерти Бориса Григорьевича Горбатова всполошила не только окрестных помещиков, но и весь Тамбов, откуда тотчас же было дано знать в Москву об этом событии.

Борис Григорьевич не только по своему родовому богатству и знатному, старинному имени считался большим человеком. Он давно обращал на себя внимание, и его не забывали, несмотря на то, что он более четверти века безвыездно прожил в Горбатовском.

В молодости Борис Григорьевич занимал видное положение при дворе императрицы Елизаветы. Красивый, богатый и щедрый, умевший со всеми ужиться и никому не становиться поперек дороги, он находился в дружеских отношениях и в родстве со многими из выдающихся в то время сановников. Он пользовался расположением императрицы, которая любила его веселые шутки и его молодые проказы.

Затем он тесно примкнул к кружку великого князя Петра Федоровича. Он был лично

привязан к великому князю и даже какой-то странной, совсем слепой привязанностью — он никогда не хотел видеть его недостатков. Всякое желание Петра Федоровича было для него законом, он не допускал в себе никакой критики относительно великого князя, и когда старались его убедить, что вот так-то не следовало поступать, того-то не следовало делать, он только отвечал:

— Эх, ничего-то вы не понимаете, вы видите человека с одного только боку, а с другого к нему и подойти не хотите. А что повеселиться мы любим, да разные шуточки придумываем, так в том худого еще нету. Жизнь-то ведь коротка, а старость придет — тогда не до шуток будет.

И придумывались такие забавы, на которые Горбатов вместе со своим закадычным другом и родственником, Львом Александровичем Нарышкиным, был великий мастер. Эти забавы, всегда новые, совсем неожиданные и всегда оказывавшиеся во вкусе Петра Федоровича, все больше сближали их и все больше отдаляли Горбатова от великой княгини, которая, как и ко всем почти друзьям

своего мужа, не чувствовала к нему никакого расположения.

Из всего кружка один только Лев Нарышкин оставался у нее в постоянной милости. Он владел тайной угождать обоим враждовавшим супругам, он был одновременно предан и великому князю, и великой княгине. Ну, а Борис Горбатов любил только Петра Федоровича, враги которого были и его врагами.

При дворе поговаривали об интригах против великой княгини, в которых будто бы принимал участие и Горбатов. Однако знавшие характер Бориса Григорьевича, не могли верить этим слухам, — он был слишком прямодушен, резок и бесхитростен для интриги, и на уме у него тогда были только забавы.

По смерти императрицы Елизаветы многие полагали, что теперь начнется для Бориса Горбатова большая блестящая карьера. Вероятно, так бы оно и случилось, но Петр III в несколько месяцев своего царствования не успел достаточно выдвинуть своего веселого друга, хотя уже произвел его в генерал-поручики и пожаловал ему ордена Анны 1-й степени и Александра Невского.

Горбатов участвовал в июньском событии 1762 года; он был с Петром III, в числе его веселых собеседников и собеседниц, в Ораниенбауме.

Он всю жизнь потом помнил тот жаркий солнечный день, когда все они, ничего не предчувствуя, отправились с императором в Петергоф. Дамы были так нарядны, оживлены, смеялись. Даже некрасивая графиня Елизавета Романовна Воронцова, любимица Петра, показалась Борису Григорьевичу на этот раз привлекательной, — а то он всегда изумлялся, чем это она так заворожила его высокого друга. Ехали в двух больших фаэтонах и громко перекликались. Два раза останавливались и менялись местами. Лев Нарышкин кричал, что он ни за что не хочет сидеть в одном экипаже со своей молодой женой, Мариной Осиповной, потому что она тихонько, но очень больно щиплет его каждый раз, как он взглянет на которую-нибудь из дам.

Нарышкина пересадили, при общем смехе, в другой фаэтон. Он молча уселся, сделал важную физиономию и вдруг закудаhtал курицей, да так искусно, что все снова покатались

со смеху.

Мчатся фаэтоны, подымая облака пыли; с одной стороны дороги тихо плещутся о пологий берег мелкие волны залива, с другой дышат смолистым зноем старые сосны. Оживленный говор, перекличка и шутки не прекращаются между веселой компанией. Вот уже и Петергоф близко.

Но что это? К фаэтонку императора подлетает на взмыленном коне Гудович. Вид у него такой встревоженный.

— Ваше величество, прикажите остановиться, я должен сообщить вам нечто важное! — смущенным голосом говорит он.

Экипажи останавливаются. Петр выходит из фаэтона, Гудович отъезжает в сторону. Они говорят тихо, не слышно слов их, видно только, как быстро багровеет и потом бледнеет лицо императора. В экипажах все стихли, смотрят друг на друга вопросительно, тревожно... И вдруг... кто это сказал? кто расслышал?.. но все почему-то сразу узнали, в чем дело, с каким известием Гудович... Несмотря на приготовления к празднику царского тезоименитства, несмотря на ожидаемый с мину-

ты на минуту приезд императора, императрица внезапно уехала из Петергофа.

Дошутились, довеселились!

Петр садится в экипаж и нервно-дрожащим голосом приказывает все же ехать в Петергоф. Теперь уже не кудахчет Нарышкин, не смеются веселые дамы. Все притихли...

Страшный день. Каждый час приносил новые тревожные вести. Посланные Петром в Петербург и на Нарвскую дорогу адъютанты не возвратились. Он совсем растерялся, не слушался благоразумных советов. К вечеру он всем объявил, что нужно немедленно ехать в Кронштадт.

Напуганная компания отправилась на галеру и около 11 часов вечера была уже в Кронштадте. Светлая, теплая ночь. Огоньки у пристани. В крепости все тихо. Вот сейчас причалит галера, выйдут, может, спасение, может, удастся!.. И вдруг оклик: «Кто такие»? Император громко себя называет, стараясь придать твердость своему голосу. «Какой император? Не знаем императора... Наша императрица Екатерина Вторая Алексеевна!.. И коли вы тотчас отсюда не отъедете, то по галере

из пушек стрелять будем»... Петр стоял пораженный, трепещущий; потом схватился за голову и кинулся в нижнюю часть галеры, повторяя: «В Ораниенбаум, в Ораниенбаум!» За ним поспешила плачущая Елизавета Воронцова. Галера отъехала от крепости.

И тоска и злоба душили Горбатова.

— И всего-то часами двумя, тремя нас упредили! — отчаянно повторял он, — да и мы все хороши тоже! Еще утром, только что приехали в Петергоф, его следовало везти сюда, хоть силой... Тогда бы все еще могло быть спасено, а теперь... теперь погибель!..

Помнил Борис Григорьевич еще одну минуту.

После двух смиренных писем к Екатерине с отречением от престола, Петр, по ее желанию, отправился к ней в Петергоф с Гудовичем, Измайловым и Воронцовой. Он совсем уж упал духом, пугливо озирался и не выпускал руку своей «Романовны». Казалось, что он даже не узнает друзей. Горбатов бросился к нему, чуть не плача. Петр взглянул на него тусклыми глазами и слабо улыбнулся:

— Что ты, Борис, я не навеки... может, еще

увидимся.

Но они уже не увиделись.

Оставшихся в Ораниенбауме арестовали, перевезли в Петербург. Они должны были присягать императрице.

— Как же я стану присягать ей, когда живой император, коему я уже присягал в верности? — объявил Борис Григорьевич и так и не пошел к присяге.

Екатерине тотчас же было доложено о таком поступке.

— Что же, он прав! — сказала она, — и кабы много было таких слуг у Петра Третьего, то я не называлась бы теперь Екатериною Второю...

Она приказала оставить Горбатова на свободе.

Не теряя минуты, он выехал из Петербурга в свою тамбовскую вотчину — Горбатовское.

Скоро пришло к нему письмо от веселого друга его Льва Нарышкина. В письме говорилось, что император скончался, советовалось ехать в Петербург, обещалось, что дело обойдется благополучно, и в то же время объявлялось, что в случае продолжения такой безза-

конной и самовольной отлучки может быть очень плохо.

На это письмо Борис Григорьевич отвечал, что до самой смерти его ноги не будет больше в Петербурге.

Как раненый зверь, свирепый, на себя непохожий, бродил он по хоромам горбатовского дома, в котором был единственным и полным хозяином, так как родители его в то время уже умерли, родных братьев и сестер у него не было. Домашние, и в том числе его старая мамка, особенно им любимая, старались на глаза ему не попадаться. Мамка целые дни молилась и плакала, и всем говорила, что, видно, в головушке помутилось у боярина: он и будто не он. Уж не бес ли, прости Господи, в него вселился!

Бесов в Борисе Григорьевиче сидело теперь много, и долго не мог он от них избавиться, не мог их из себя выгнать. Все страсти бушевали в нем. Он был человек, который, раз убедившись в чем-нибудь, никак не мог отвернуться и взглянуть в другую сторону. Он был верноподданным и в то же время верным, любящим другом императора, а потому

никакие рассуждения, ничьи убеждения не могли его заставить спокойно взглянуть на совершившееся. Он знал только великую неправду и не хотел иметь ничего общего с этой неправдой. Достоинств Екатерины, теперь самодержавной императрицы русской, для него не существовало. Недостатков Петра III он не видел, и прежде, а уж теперь дорогой покойник представлялся ему просто святым человеком.

«Никогда нога моя не будет в Петербурге», — писал он своему другу и родственнику, эту великую клятву дал он себе сам торжественно перед Богом и до конца жизни оставался ей верен. Никогда больше не видел он не только Петербурга, но даже Москвы, даже и Тамбова, отстоявшего от Горбатовского всего в сорока верстах. Дальше границы своих владений никогда и ни при каких обстоятельствах не отъезжал он.

Он и женился, но так, что ему не надо было ездить за невестой. Марья Никитишна была рожденная княжна Пересветова; приехала она погостить к своему двоюродному брату, покойному отцу Тани, в Знаменское. В это

время Борис Григорьевич давно уже успел успокоиться, давно уже успел соскучиться в одиночестве и серьезно подумывал о женитьбе. Марья Никитишна была ему совсем подходящей невестой. И роду знатного, издавна близкого и даже родственного Горбатовым, и чтобы видеться с ней, не нужно было изменять клятве, не нужно было переламывать своего упрямства, выезжать из вотчины. Усадьба Пересветовых была как раз у самого Горбатовского леса.

Немного времени употребил Борис Григорьевич на свое сватанье. Меньше чем в месяц сладилось дело, и Марья Никитишна, богатая сирота, вошла пятнадцатилетней хозяйкой в пустые, мрачные хоромы Горбатова.

Борису Григорьевичу в это время было лет тридцать пять, он оставался все тем же сильным красавцем, каким блистал на вечерах императрицы Елизаветы, но и тени прежнего веселого характера не замечалось в нем. За несколько лет уединенной жизни, разбитых надежд, горьких воспоминаний и пережитых мучений страстной и гордой природы, он совсем переродился. Никто уже теперь не слы-

хал его смеха; а о шутках и проказах давно не было помину.

Его называли нелюдимым медведем. Он очень недолюбливал тамбовское общество и соседних помещиков, потому что считал себя оскорбленным ими: в первое время все побаивались опального богача, думали, что близким знакомством с ним можно себе повредить, а потому никто не навещал его.

Потом, когда оказалось, что Горбатов сам на себя наложил опалу и что никто не думал его преследовать, и соседи, и тамбовские власти нахлынули к нему в Горбатовское.

Он встречал всех ласково, кормил и поил, тешил охотой, но в то же время никто не замечал в нем того радушия, каким славились его предки и сам он в первой молодости.

Все чувствовали, что из Горбатовского не гонят гостей, но и не особенно радуются их приезду. Хозяин очень часто вставал и уходил к себе и возвращался не ранее, как через несколько часов.

Но, конечно, это не мешало гостям навещать в Горбатовское. Богатый дом, изобилующий питиями и яствами, никогда пустым

не будет.

Жена Борису Григорьевичу досталась хорошая: она сразу подчинилась его влиянию, стала на него молиться, его слово было для нее законом, его спокойствие, исполнение его желаний — целью ее жизни.

Из миловидной пятнадцатилетней девушки вышла здоровая и простая русская женщина, воспитанная хоть и в богатстве, но без особенной заботливости, не успевшая ознакомиться с лоском столичной жизни. По натуре своей тихая и серьезная, Мария Никитишна полюбила деревню и оказалась прекрасной хозяйкой своего обширного хозяйства. Порадовала она Бориса Григорьевича рождением сына, а потом, через несколько лет, дочери.

Годы проходили, Горбатовы старились, дети их подрастали, а жизнь день за днем шла в Горбатовском однообразная, скучная. Тишина дома только изредка нарушалась приездом гостей, да обязательными, несколько раз в год, пирами и охотами.

Иногда приезжали из Москвы, из Петербурга родные, но столичные гости бывали ненадолго, бежали от скуки и дикости хозяи-

на.

Сколько раз и Лев Нарышкин и другие родичи уговаривали и убеждали Бориса Григорьевича вернуться в Петербург: императрица давно уже позабыла все старое.

Но упрямец не сдавался, да при этом еще говорил такие слова, которые не особенно было приятно слушать.

Императрица для него не существовала. Ее величия, ее славных дел, ее блестящего царствования он не видел — обо всем этом невозможно было и говорить с ним, потому что вообще рассудительный и благоразумный человек, тут он оказывался просто полупомешанным.

— Странный ты, право, — говорили друзья и родные, — ведь вот у тебя сын подрастает, ты хоть об его будущности подумал бы!

— Это чтоб я сына в Петербург!.. Ну уж, пока жив, он отсюда не уедет! Нечего ему там делать, ничему путному не научится!..

— А тут чему научится? Где у тебя для этого здесь в деревне средства? Как ты его воспитываешь? Хоть бы француза хорошего, что ли, взял к нему.

— Вот это дело совсем другое, — отвечал Горбатов. — Сыщите, братцы, хорошего человека, знающего да и вам ведомого, не прощелыгу какого-нибудь, а серьезного человека. Сыщите — великую услугу окажете, великое спасибо скажу вам!

Друзья и родные постарались. Один из них, бывший при посольстве во Франции, вывез из Парижа Рено для воспитания своего сына, но через два года мальчик умер, и Рено остался без занятий. В доме были им довольны и, снабдив его самыми лучшими рекомендациями, отправили в Горбатовское.

Таких людей, как Рено, Борис Григорьевич еще никогда не видал, хотя в его время в Петербурге было очень много гувернеров-иностранцев: и немцев, и французов, и швейцарцев. Императрица Елизавета любила французский язык, при дворе на нем говорили, и дети всех богатых и знатных людей начинали сызмальства к нему приучаться. Но эти французы и француженки, швейцарцы и швейцарки, бравшиеся за воспитание русского юношества, были люди самых сомнительных достоинств и по большей части темного про-

шлого. Много вреда наделали они своим невежеством, грубостью и безнравственностью подраставшему русскому поколению.

Боялся Борис Григорьевич, что и этот француз, присланный ему из Петербурга, — человек такого же сорта.

Когда ему доложили о приезде француза и принесли привезенные им рекомендательные письма, он письма прочел, не придавая особенной веры рассыпанным в них похвалам, и принял Рено совсем нелюбезно, отнесся к нему с высоты своего величия. Но он сразу увидел, что перед ним не совсем то, чего он ждал. В небольшой фигуре француза не было ничего: ни заискивающего, ни кичливого. Лицо его было приятно, и сказывалось в нем нечто серьезное.

Несмотря на неласковый прием, встреченный им у одичавшего барина, Рено сумел сразу поставить себя в надлежащее положение. После получасового разговора Борис Григорьевич уже спустил тон и кончил тем, что не только посадил Рено рядом с собою, но даже, окончательно сговорившись с ним, протянул ему руку — а своим рукопожатием он редко

удостаивал и соседей, зажиточных дворян-помещиков.

Такое же хорошее впечатление произвел Рено и на всех домашних и скоро освоился в Горбатовском.

VI. РЕНО

Сближение между Рено и семнадцатилетним воспитанником произошло быстро.

До сих пор у Сергея, собственно говоря, совсем не было воспитателя; правда, в доме прожила года три «мадама», швейцарка, приехавшая в Петербург со своим возлюбленным, который ее скоро бросил. Она вздумала было открыть модный магазин, но дела у нее не пошли, и она решилась заняться воспитанием русских детей, не имея к этому ни призвания, ни должной подготовки. Она с грехом пополам читала несколько привезенных ею из Женевы романов, и дальше этого ее образованность не шла. Кончила она тем, что стала пить, попалась в не совсем приличном виде на глаза Борису Григорьевичу и немедленно была выслана из дома.

Борис Григорьевич, в свое время не полу-

чивший хорошего образования, но впоследствии, с переселением в деревню, очень много читавший и занимавшийся, принялся сам учить сына. Он проходил с ним математику и военные науки. Только эти занятия не приводили почти ни к чему.

Горбатов был раздражителен, не смог примениться к детской натуре, требовал от Сергея постоянно одинакового прилежания и понятливости и этим только смущал его, запугивал, одним словом — портил дело.

Славянским языком и Законом Божиим занимался с Сергеем горбатовский священник, отец Павел, человек от природы неглупый, любознательный, но робкий, боявшийся в горбатовском доме не только хозяина, а даже всех и каждого. С таким характером он не мог получить влияния над мальчиком, но он все же принес ему другого рода пользу. Он познакомил его с нарождавшейся русской литературой, с Ломоносовым.

Изучение российской словесности не входило в круг занятий отца Павла, тот круг, который был начертан самим Борисом Григорьевичем. Это были, так сказать, контрабанд-

ные занятия, но они интересовали Сергея более, чем остальные уроки. С приездом Рено дело пошло совсем иначе.

Борис Григорьевич после нескольких разговоров с французом убедился, что петербургские друзья рекомендовали ему действительно подходящего воспитателя. Рено забросал его такою массой разнообразных сведений, что поневоле заставил уверовать в свою фундаментальную ученость. Ввиду этого, Борис Григорьевич решился отказаться от занятий с сыном, передать его всецело на руки французу. От прежних занятий остались нетронутыми на первое время только уроки с отцом Павлом.

Но что такое был этот Рено? Какого руководителя приобретал в нем единственный молодой представитель старинного и знатного рода Горбатовых?

Рено был сыном зажиточного парижского торговца и детство провел в обеспеченной буржуазной среде.

Отец хотел его приучить к торговле, но это занятие было ему не по вкусу. Он стал учиться, быстро схватывал все предметы и в то же

время по свойствам своего живого, непоседливого характера заводил всевозможные уличные знакомства, попадал во всевозможные кружки. Наэлектризованный идеями Руссо и Вольтера, он ораторствовал по кофейням и клубам. Если бы он остался в Париже, из него вышел бы, вероятно, очень деятельный и видный говорун-агитатор, но вдруг несчастья, одно за другим, начали на него обрушиваться. Его отец умер, оставив после себя расстроенные дела, которых Рено не умел, да и не хотел устраивать. Он пробовал заняться адвокатурой и даже начал было мало-помалу приобретать успех, но тут в его жизнь замесалась сильная страсть, поглотившая его всецело.

Он влюбился в девушку не своего круга, в дочь старой, разорившейся графини, делами которой занимался.

Сближение с молодой графиней было для Рено нетрудно. В это время французская аристократия уже начинала мало-помалу допускать в свои салоны образованных и хорошо воспитанных буржуа. Традиционная чопорность и скука салонов тяготили молодых

светских женщин. Виконты и маркизы в хитро завитых париках и галунах умели, по большей части, говорить только заученные комплименты, которые от постоянного повторения давно потеряли всякий смысл в глазах виконтесс и маркиз. Молодые буржуа были гораздо занятнее: они оказывались очень образованны, занимались наукой, литературой, искусством — с ними можно было и весело и полезно провести время.

Рено прошел через все перипетии мучительной драмы: сначала боролся со своей любовью, потом скрывал ее, потом высказался.

Его не сразу прогнали, хотя, конечно, были очень оскорблены признанием маленького адвоката.

Но этот адвокат был крайне нужен, его любовь можно было с большою пользою эксплуатировать. Это поняли и мать, и дочь.

Девушка кокетничала с ним, водила его за нос, играла с ним, как кошка с мышью, и в то же время заставляла его делать невероятные усилия, чтобы поправить их расстроенное состояние, выиграть безнадежные процессы.

И он делал все, что от него требовали, и в

угоду своим мучительницам он портил свою адвокатскую репутацию. Перед ними он лгал и изворачивался, принося им свои собственные деньги и уверяя, что эти деньги получены с их должников. Такое положение продолжалось целых два года.

Когда он заговаривал о любви, ему отвечали и «да» и «нет». Ему толковали о том, что он может всего ожидать от благодарного за такие огромные услуги сердца, но что награда придет только тогда, когда услуга будет окончательно оказана, то есть когда вернутся во владение графини ее проданные за долги имения, одним словом — совершится невозможное. Но он был так увлечен, что и самому ему это невозможное начинало представляться возможным. Он бился, работал как каторжный, изыскивая всякие хитрости, надоедая всем и каждому, превращаясь в посмешище своих сотоварищей.

Наконец, через два года, дела графини были всё до одного проиграны, и в то же время у Рено не оставалось уже никаких денежных средств, которые он мог бы предложить ей.

Два года роскошной жизни матери и доче-

ри лишили его последней копейки.

Он еще раз заговорил о любви своей, он надеялся, что его усилия, хотя и не приведшие к желанному результату, все-таки заслуживают награды — ведь он два года был собственностью этих женщин, рабом их. И он предлагал им всю свою жизнь, предлагал и впредь, не покладая рук, на них работать. Ведь все равно и со знатным именем, но без средств к жизни они не могут занимать в высшем парижском обществе места, принадлежащего им по праву рождения, все равно должны удовлетворяться жалким существованием. Так не лучше ли совсем уехать из Парижа, принять его в семью свою, и там, где-нибудь в провинции, он устроит им безбедную обстановку. Его способности, его адвокатский навык ручаются за это.

На его горячие речи ему теперь прямо ответили презрительным смехом.

«Как, он все еще продолжает свои безумные притязания? Может быть, это он нарочно довел их до такого положения, думая этим вернее достигнуть своей цели?! Может быть, более способный и честный адвокат иначе

повел бы дела и успел бы их выиграть. Конечно, он нарочно разорил их!..»

Бедный Рено не верил ушам своим. Он не стал ничего говорить, не унизился до оправданий и дальнейших объяснений. Он ушел от графини и ее дочери с тем, чтобы никогда к ним не вернуться.

В первое время он думал, что сойдет с ума, хотел покончить с собой, но все же удержался. Через два-три месяца, на посторонний взгляд, он казался даже спокойным человеком, только его трудно было узнать — так изменилась его наружность.

Он покончил с прежней жизнью и начал с того, что совершенно бросил адвокатуру — да и нельзя было иначе — он получил слишком шутовскую репутацию, благодаря процессам графини.

Теперь он жил, день за днем, в комнатке верхнего этажа того дома, который прежде принадлежал его отцу и где он в полном довольствии, почти в роскоши, провел свое детство и первую молодость.

Кой-какие литературные работы, сотрудничество в газете были достаточны для удо-

влетворения его нужд, о большем же он теперь не заботился. Еще недавно блестящий, франтоватый молодой человек (тогда ему было не более тридцати лет), теперь он совсем опустился. Он ходил в потертом, часто нечищеном платье, стараясь не встречаться с прежними знакомыми. Если же встреча была неизбежная, то он употреблял все усилия сократить ее. Он избегал всякого серьезного разговора, о себе и своих делах никогда не говорил ни слова. Общественные явления и политика — все, чем так он интересовался прежде, теперь для него почти не существовали.

Прежний блестящий клубный оратор будто наложил на себя обет молчания.

Так прошло года три. Рено успокоился, примирился со своим новым существованием. Он много работал, много учился, за это время усвоил себе не один новый предмет. Но жизнь в Париже все же была ему тяжела, и, по мере того как он успокаивался душевно, ему все больше и больше хотелось решиться на что-нибудь необычайное, встряхнуть себя хорошенько, окунуться в новую, неизвестную

еще среду.

Через редакцию газеты, в которой он работал, он завел сношения с русским посольством и кончил тем, что уехал в Россию с родственником Горбатова.

В Петербург он явился совсем возрожденным. Путешествие, новая обстановка, целая масса самых разнообразных и неожиданных впечатлений сильно на него подействовали, оживили его, сделали снова совсем здоровым человеком. Ему было сначала трудновато ладить со своей, чересчур уж скромной, ролью воспитателя, но он попал к порядочным людям, которые не стали оскорблять его самолюбие.

Воспитанник его неожиданно умер, явилось предложение Горбатова. Рено был чрезвычайно доволен, когда узнал, что ему будет поручено воспитание очень богатого и знатного молодого человека, на которого до сих пор обращали мало внимания. Создать человека по тому идеалу, какой сложился уже в голове пылкого француза — это была увлекательная цель, и Рено энергично приступил к ее достижению.

VII. ВОСПИТАНИЕ

Сергею было тогда семнадцать лет, и, несмотря на то, что в нем еще оставалось много детского, он уже умел задумываться и интересоваться многими серьезными вопросами.

Кругом, в помещичьих богатых домах, велась безобразная, развратная жизнь. Многочисленная челядь, десятки молодых девушек — бессловесных рабынь господской воли, примеры старших, которые не находили нужным от кого-либо скрывать свои поступки и не видели в них ничего зазорного — все это действовало растлевающим образом на подраставшее поколение. Трудно было найти семнадцатилетнего барчонка, у которого не было бы всяких интрижек в девичьей, прикрываемых и направляемых каким-нибудь бессовестным папенькиным приживальщиком.

Но в доме Бориса Григорьевича заведен был иной порядок. Со времени его женитьбы что-то не слыхать было о его слабости к женщинам, а если даже и случалось с ним что-ни-

будь в этом роде, то, по крайней мере, домашние про то ничего не знали. В девичьи комнаты он никогда не заглядывал и глаз никогда не поднимал на красивых кружевниц, ткачих, сенных девушек и всяких прислужниц, которых немало было в Горбатовском под верховным началом Марьи Никитишны.

Сама Марья Никитишна была женщина строгой нравственности и пуще глаза берегла чистоту детей своих. Приживалки и приживальщицы, наполнявшие дом, очень хорошо знали, что, несмотря на свою доброту, она ничего такого не потерпит и немедленно же обратится к мужу. Ну, а с тем разговор короток. Если он находил кого себе не по нраву в доме или узнавал какую-нибудь историю, казавшуюся ему непристойной, он не дрался и не бранился как многие, а только отдавал своему управителю приказание в двадцать четыре часа убрать из Горбатовского такого-то или такую-то, и это приказание, конечно, всегда с точностью исполнялось. О просьбах прощения, о возможности изменения раз данного хозяином приказания не могло быть и речи. Дом Горбатовых слыл монастырем, и если в

этом монастыре водились какие грешки, то они очень ловко прятались, так что Сергей дожил до семнадцати лет если и не в полном неведении некоторых сторон жизни, то, во всяком случае, в чистоте совершенной.

Рено в Петербурге поражен был легкостью нравов русского общества. Его первый воспитанник даже и умер-то от того, что чересчур рано и неудержимо стал предаваться всем удовольствиям жизни. Потому, сразу разглядев Сергея, он радовался как ребенок, что ему выпадает на долю развить и направить не тронутую еще никаким пороком детскую натуру.

Он сумел с первого же дня приворожить к себе Сергея. Он начал с того, что отнесся к нему не как к ученику-мальчику, а как ко взрослому человеку, с которым ему нужно было подружиться ввиду будущей совместной жизни. Между воспитателем и воспитанником скоро установились самые искренние отношения. Сергей полюбил Рено от всего сердца, уважал его безгранично, открывал ему свою душу.

Более пяти лет прожил Рено у Горбатовых.

В это время Сергей из милого, но все же довольно грубоватого и дикого мальчика, превратился в серьезного, благовоспитанного юношу. Рено передал ему все свои познания, которые были хотя не особенно глубоки, но довольно разнообразны. Он составил ему интересную библиотеку, благо Борис Григорьевич никогда не отказывал ему выписывать книги. Все тогдашние светила науки — Лейбниц, Декарт, Ньютон, Полле, Локк, Монтескье, Вольтер, Руссо, д'Аламбер, Дидро — были прочтены Сергеем, и эти чтения сопровождались долгими беседами и объяснениями воспитателя. Кто не видал Сергея в эти годы, тому трудно было бы узнать его. Он резко отличался не только от своих сверстников-соседей, но даже от большинства столичной молодежи того времени. Страстно занявшийся его воспитанием и нежно полюбивший его Рено все меры употреблял для того, чтобы вылить его не только внутренне, но и наружно в ту форму, которая казалась ему идеальной — и он почти достиг своей цели.

Сергей производил, по крайней мере на первых порах, впечатление благовоспитанно-

го и просвещенного француза. Французский язык сделался ему более родным, чем русский. Франция, Париж казались ему далекой родиной, мечты о которой временами стали его преследовать.

Рено был француз, истый француз со всеми недостатками и качествами этого народа, и потому он редко мог дойти до беспристрастия, до объективности. Несмотря на то, что он добровольно порвал связи и с прежней своей жизнью, и с Парижем, что ему приходилось жить в России и воспитывать русско-го человека, он решительно не хотел близко ознакомиться с окружающим. Он очень мало интересовался новой страной, в которую кинула его судьба, новым народом, с которым он приходил в соприкосновение. Он уехал в Россию с ненавистью к Парижу, а очутившись в России, вдруг влюбился в этот покинутый Париж. Он выучил Сергея верить, что Париж — все, что только там истинная жизнь и что не знать Парижа — значит не жить.

Несмотря на всю любовь свою к воспитаннику, он забывал, что воспитывая его французом, он оказывает ему плохую услугу; но он

не мог иначе. Стремясь к созданию «хорошего человека», он мало-помалу отрывал Сергея от родной почвы, от прежних верований, навсегда уничтожил его связь с окружающим. Скоро уроки и христианские наставления отца Павла потеряли для Сергея всякое значение. Запуганному, хотя далеко не глупому и искренно и православно веровавшему священнику трудно было бороться с влиянием красноречивого француза... Борьба даже и не начиналась, потому что Сергей не вступал в споры со своим законоучителем. Да и сами занятия с ним скоро прекратились. Сергей по-прежнему посещал церковь, говел и причащался; но делал это только из жалости к матери, а главное, из страха и почтения к отцу, которых не мог и не хотел в нем уничтожить Рено. Он понимал, что, коснувшись отношений между отцом и сыном, он только причинит много горя своему милому Serg'у, а сам должен будет покинуть Горбатовское.

Он толковал ему:

«Молодой человек должен готовиться к жизни, к той жизни, которую он будет проходить самостоятельно, на своих ногах. Но пока

он еще находится в зависимости от других, то благоразумие заставляет его идти на некоторые уступки, впрочем, чисто внешние. Вез этих уступок никогда не было бы спокойной семейной жизни, а одна только борьба старых, укоренившихся ошибок с новыми, более правильными взглядами. И, во всяком случае, для такой борьбы нужно укрепиться, чтобы не быть побежденным. Вся жизнь впереди, впереди и плодотворная борьба, а пока нужно только хорошенько работать над собою...»

Рено скрепя сердце вдавался в такие рассуждения. Он чувствовал, что портит ими прямую натуру Сергея, приучает его к скрытности, к слишком большому благоразумию. Но делать было нечего. И скоро всякие смущения забывались, являлось наслаждение успехами воспитанника. Рено слишком долго чувствовал себя одиноким во всем мире, теперь же у него оказалось второе «я», только в прекрасной оболочке свежести и молодости. Отрывая Сергея от всего прежнего, он этим самым связывал его неразрывно с собою, и кончилось тем, что они стали неразлучны, пони-

мали только друг друга. Они вместе, во время уединенных прогулок по окрестностям Горбатовского, мечтали о правах свободного человечества, развивали идеи деизма, возмущались грубостью окружавших их нравов. Хотя горбатовский дом и представлял почти исключение для того времени, но все же и в нем случались резкие сцены. Высечет управитель провинившегося лакея, отшлепает старая экономка заленившуюся горничную — и Сергей уже чувствует себя возмущенным до глубины души и спешит к Рено. А тот возмущается с ним вместе и начинает толковать о правах человечества, изливает потоки адвокатского красноречия на тему о рабстве. А между тем во все эти пять лет воспитателю не пришло на мысль и самому взглянуть в жизнь русского раба и заинтересовать ею воспитанника. Тысячи душ крестьян, эта живая собственность Сергея Горбатова, как бы совсем не существовали для Рено. Деревня, избы — это было такое, что совсем не входило в его мирозерцание.

При редких и случайных столкновениях с русским крестьянином и его бытом, Рено как-

то смешно смущался, начинал чувствовать
брезгливость и спешил скорее прочь. Он ува-
жал бедность, он сам даже одно время испы-
тывал ее, он понимал нищету, но тут было
нечто совсем другое, не нищета, не бедность.
Эти странные фигуры, говорившие на непо-
нятном для него языке, представлялись ему
совсем особенными существами.

«Mais ce ne sont pas des gens, — c'est une
étrange espèce d'animaux!» — нечаянно выра-
зился он как-то после встречи с двумя добро-
душными и несколько подгулявшими ради
праздника мужиками.

Так русский мужик и остался «странной
породой животных» для молодого русского
барина, уже наизусть изучившего корифеев
французской философии.

VIII. ГОРЕ ТАНИ

Княгиня Софья Семеновна Пересветова, вдова двоюродного брата Марьи Никитишны, и по родству и по близости соседства была издавна своим человеком в доме Горбатовых. Она овдовела довольно рано, сначала проживала то в Москве, то в Петербурге, но в последние годы перебралась в Знаменское и почти из него не выезжала.

Княгиню все знали за чересчур жестокую для того времени помещицу, что, впрочем, не мешало ей пользоваться почетом не только в Тамбове, но и в столичном обществе.

В первое время после смерти князя являлось немало претендентов на руку Софьи Семеновны: однако она всем отказывала: она любила свободу и пользовалась ею неограниченно, наверстывая то время, когда покойный муж ее, человек суровый и не особенно ее любивший, держал ее почти взаперти.

Теперь в Знаменском проживал привезенный княгинею из Петербурга какой-то Петр Фомич, еще молодой и красивый, по слухам, бывший архиерейский певчий.

Этот Петр Фомич заведовал всеми делами княгини и пользовался ее полным доверием. Всем посещавшим Знаменское сразу становилось ясно, что он не простой управитель, а имеет очень серьезные права на княгиню. Правда, в присутствии единственной своей дочери, Тани, она несколько следила за собою, но вообще стесняться себя находила излишним. Об ее отношении к Петру Фомичу толковали все. Кое-кто жалел Таню: боялись, как бы красавец-певчий в конце концов не пустил ее по миру. Впрочем, при более близком знакомстве с характером княгини этого ожидать было трудно, Она вряд ли была способна всецело подчиняться. Она хорошо помнила свою молодость и жизнь с суровым мужем, любила власть, любила деньги и, несмотря на всю свою слабость к Петру Фомичу, в тех случаях, когда он заходил слишком далеко, умела его осаживать.

Он катался как сыр в масле у нее в доме, конечно, немало денег упрятывал в заветную укладку, привинченную к полу под его кроватью, но княгиня всегда оставалась полноправной хозяйкой и собственницей своих бо-

гатых вотчин.

Таню она любила по-своему. Отличаясь жестокостью с крепостными, к ней относилась всегда снисходительно и предоставляла ей большую свободу. Когда Таня, случалось, захворает, что бывало, впрочем, очень редко, княгиня ни на шаг не отходила от ее постели, преувеличивала опасность, плакала и молилась. А когда Таня выздоравливала, она иногда начинала тяготиться ее присутствием. Поэтому можно себе представить, как она рада была близкому соседству Горбатовых и детской дружбе, завязавшейся между Таней и Еленой.

Марья Никитишна, хорошо знавшая семейную жизнь своей родственницы, очень любившая и жалевшая Таню, не раз обращалась к княгине с просьбой совсем оставить у них дочь.

«Пускай себе растут вместе, пускай вместе учатся, так-то им обеим будет веселее!»

Княгиня сознавала, что во всех отношениях для Тани было бы лучше жить у Горбатовых, но из материнской ревности и самолюбия никак не решалась на это.

Впрочем, семь верст невелико расстояние, и Таня почти ежедневно бывала у Горбатовых. Иногда оставалась там на несколько дней, а когда мать уезжала в Москву или в Петербург, то и совсем поселялась у них месяца на два, на три.

Елена была на два года моложе Тани и далеко уступала своей подруге во всех отношениях. Это была самая обыкновенная, послушная, добрая девочка — и только. Таня же развивалась быстро, обнаруживала таланты, превосходно пела, недурно рисовала самоучкой, была жива, всем интересовалась.

У Горбатовых ее любили все без исключения, но, кажется, больше всех любил ее Рено. Он называл ее «*ma petite fee*», — заботился об ее образовании, старался занимать ее, так что возбуждал ревность в Сергее.

«*Mais vous l'aimez plus que moi!*» — жаловался юноша, еще очень мало думавший о маленькой Тане.

Рено смеялся и отшучивался.

«Дурачок, он не понимает, что и люблю-то я ее ради него, я чувствую, что из них выйдет хорошая парочка», — думал мечтатель, но ни-

когда не поверял своих планов воспитаннику.

А Таня между тем быстро вырастала и не по летам развивалась; ей еще не минуло и пятнадцати лет, а она была уже совсем сформировавшейся девушкой.

В последние годы в ее характере стала замечаться большая перемена. Она часто являлась в Горбатовское задумчивая и печальная. Ее спрашивали, что с ней, не случилось ли чего неприятного, но она никогда ни в чем не признавалась, старалась развеселиться, что ей почти всегда и удавалось очень скоро. В Горбатовском все было так хорошо, ее все так любили!

Никому не признавалась в своем горе Таня, а горе у нее было немалое.

То, что в детские годы казалось ей странным и непонятным, теперь открылось перед нею. Не будь Горбатовых, доброй и безобидной Марьи Никитишны, строгого, но всегда сдержанного Бориса Григорьевича, пламенного оратора за права человека Рено, может быть, у Тани не было бы горя, может быть, она не разглядела бы так рано очень многого.

Но теперь вот разглядела.

Видя Таню смущенной и печальной и отчасти понимая причину этого, ее нередко упрашивали остаться на несколько дней в Горбатовском, но в таких случаях она никогда не соглашалась и скорее возвращалась домой: там у нее было дело, там ждала ее многочисленная дворня, которая находила в ней единственную свою заступницу.

Княгиня иногда вставала в дурном расположении духа, и тогда ей никто не мог угодить, и с раннего утра до позднего вечера происходила ее собственноручная расправа с провинившимися.

В такие дни ей будто доставляло особенное наслаждение исколотить, оттрепать за косу какое-нибудь беззащитное создание, приказать выпороть на конюшне верного слугу.

Без Тани ее истязаниям и конца бы не было, но Таня всегда умела сдерживать бешеные порывы своей матери. На дочь у княгини рука не поднималась. Она смущалась и смирялась перед взглядом и тихим голосом Тани. Несмотря на свою порочность, она сохранила в себе все же некоторое чувство и некоторую

совесть. Она понимала доброту и благородство Тани, считала ее почти святою и сознавала свою вину перед нею.

Благодаря заступничеству княжны, очень часто дворовые избавлялись от жестоких наказаний. Княгиня мало-помалу утихала и делалась особенно нежной с Таней, не отпускала ее от себя, ходила за нею как тень, а если являлся Петр Фомич, то относилась к нему очень холодно и просила его удалиться.

Он молча уходил, бросая исподтишка злой взгляд на Таню, которую почему-то называл «Лисой Патрикеевной» и издавна ненавидел.

Таня же всегда глядела на него даже и тогда, когда еще совсем не понимала его настоящего значения в доме, с чувством гадливого ужаса...

Он с первых дней своего появления представлялся ей противным чудовищем, его присутствие всегда отравляло ей жизнь; но, странное дело, она никогда и ни с кем, начиная с матери, не говорила о нем. Она молча раз и навсегда признала неизбежность существования этого зла и молча его переносила.

В последнее время, когда мысли ее прояс-

нились, когда она отгадала, что такое Петр Фомич — никто, конечно, не говорил ей об этом — она часто плакала втихомолку, иногда невольно избегала матери, была не в состоянии глядеть ей в глаза.

В дни бешенства, нападавшего на княгиню, Тане приходилось высказывать матери много неприятной для нее правды, а та ее почти всегда выслушивала, но ни разу не было между ними разговора о Петре Фомиче, ни разу Таня не произнесла даже его имени.

Страдая от его присутствия больше, чем когда-либо, Таня делала вид, что не замечает его, что он совсем для нее не существует, и княгиня видела это и понимала, и молчала.

Как-то Петр Фомич вздумал неодобрительно заговорить с ней о дочери, но сейчас же должен был убедиться, что начал это совсем напрасно.

Княгиня вспыхнула, вскочила и подбежала к нему с сжатыми кулаками.

— Молчать! — закричала она, — раз и навсегда знай, что нам с тобою говорить о ней негоже!

Петр Фомич замолчал и еще больше стал

ненавидеть Таню.

По счастью, его ненависть была совсем бессильна, а то зло, которое мог он ей сделать, он уже давно сделал...

Предсказания Рено стали сбываться, и он первый, конечно, заметил новое чувство, возникшее в Сергее и Тане.

Едва сдерживая добродушную улыбку, Рено следил за румянцем, быстро вспыхивавшем на щеках Сергея при каждом разговоре о молодой соседке, за новым выражением в глазах Тани при каждом свидании с Сергеем.

Дети выросли, и так все обстоятельства сложились, что они должны были полюбить друг друга. У них не было иного выбора.

«Будет хорошая парочка, — повторял себе Рено. — Только чересчур рано. Боже избави, если они теперь же вздумают вить себе гнездо!.. Это было бы большим несчастьем для Serge'a, да и для нее тоже, они должны еще много пожить, прежде чем сойтись окончательно, должны увидеть, узнать свет».

Теперь Рено все меры начал употреблять, чтобы отдалить сближение между молодыми людьми. Он старался осторожно, незаметно

отвлекать Сергея от Тани, расстраивать их продолжительные разговоры, устремлять в другую сторону мысли Сергея. Он заинтересовал его общественными и политическими вопросами, тревожными событиями, происходившими во Франции, откуда он получал время от времени письма.

Сергей интересовался всем, но это несколько не мешало ему в то же самое время интересоваться и Таней, хотя он еще и не понимал своего нового чувства. Однако скоро кончилось тем, что молодые люди, не стовариваясь, сошлись в беседке у Знаменского озера и обнаружили друг перед другом свою тайну.

IX. ПИСЬМО

Бориса Григорьевича похоронили. Сергей, возбуждаемый словами Рено и постоянно им ободряемый, сумел сдержать свое горе и ужас: на похоронах он вел себя с большим достоинством, так что оставил очень хорошее впечатление во всех съехавшихся знакомых.

Потом мало-помалу все стало успокаиваться в Горбатовском; даже Марья Никитишна не предавалась уже порывам отчаяния, ее горе выражалось теперь тихими слезами и ежедневными долгими молитвами на могиле мужа.

Елена, тринадцатилетняя девочка, совсем уже возвратилась к своей прежней жизни.

У Сергея было много занятий; он стал ездить с Рено в Тамбов, устраивать дела по отцовскому наследству, вел переписку с управляющими дальних деревень, писал письма к многочисленным московским и петербургским родственникам.

Таня по-прежнему часто бывала у Горбатовых, но ей все не удавалось говорить наедине с Сергеем, и они оба даже избегали подобного

разговора. Им казалось страшным вернуться к минутам в голубой беседке, будто это почему-то было запрещено в первое время семейного горя. Проходили дни, недели, а они все встречались только при посторонних. Вот уже и снег повалил, зима настала, время идет так быстро. На имя Сергея Горбатова пришло письмо из Петербурга.

Старый приятель и родственник Бориса Григорьевича, Лев Александрович Нарышкин, писал Сергею:

«Любезный племянник. Письмо ваше с горькою вестью о внезапной кончине дорогого моего друга, а твоего отца, Бориса Григорьевича, я получил и о чем вы писали мне, о ваших пензенских вотчинах, велел навести справку и на сих днях отвечу вам в точности. Также и матушке вашей, Марье Никитишне, со следующей почтой письмо посылаю. Теперь спешу отписать тебе, любезный племянник, о некоем обстоятельстве, до тебя касающемся: вчерашнего числа вечером был я у Государыни на эрмитажном собрании, и Ее Императорское Величество подошла ко мне, спросить изволила: „Правда ли, что Борис

Григорьевич скончался?“ И когда я ответствовал, что правда, то Государыня поинтересовалась узнать, какова его фамилия, справилась, сколько тебе лет и, узнав, изволила покачать головою и улыбнуться: „Странно молодому Горбатову сидеть в деревне — ничего там не высидит. Отпишите ему с предложением приехать в Петербург и представьте его мне — я желаю с ним познакомиться“. Таковы подлинные слова Монархини, и из тона их видно все оной к тебе доброжелательство. Еще в бытность мою у вас в Горбатовском, четыре года тому назад, упрашивал я покойного отца твоего и о том же писал ему многократно, чтобы он прислал тебя в Петербург, где ты можешь и на службе Ее Императорского Величества и в обществе занять подобающее твоему происхождению и состоянию место, но покойник имел на сию материю свой взгляд. Ныне ты уже в таком возрасте и по обстоятельствам можешь располагать сам собою. Вряд ли твоя почтенная матушка захочет тебя отговаривать. Если есть какие дела в деревне, то обделай их скорее и отпиши мне немедленно. Пребываю в полной благонадежности,

что благоразумие твое не позволит тебе отказаться от милостей государыни, которая есть истинная мать всем нам.

Ожидая скорого вашего ответа, остаюсь тебя любящий Лев Нарышкин».

Сергей внимательно прочел и перечел это письмо; кровь бросилась ему в голову, сердце шибко забилося.

Часто в это последнее время новые мысли рожались в голове его. И без доказательств Рено, который время от времени обращался к этому предмету, Сергей и сам чувствовал, что для него начинается теперь совсем иная жизнь, что он свободен, что явилась возможность познакомиться, наконец, с настоящей жизнью. О Петербурге, о Дворе он не думал, но он думал о Париже, он неудержимо стремился туда, подзадориваемый красноречием Рено.

Но ведь и Петербург, и Двор — все это может быть по дороге к Парижу! И вот это письмо!.. Новая, широкая, прекрасная будущность сама спешит к нему навстречу...

Он отыскал Рено, перевел ему письмо, так как француз упорно продолжал не понимать

ни одного слова по-русски. Рено заволновался.

— Ах, как это кстати, как это хорошо складывается!.. Конечно, друг мой, сейчас же садитесь и отвечайте!.. Постойте, сообразим все ваши дела... сколько еще времени будет требоваться ваше присутствие в Тамбове и здесь?..

При обсуждении настоящего положения оказалось, что недели в три можно будет окончательно освободиться.

Состояние Горбатовых было громадное: более чем в пятнадцати местах России у них были вотчины с тысячами душ крестьян.

Борис Григорьевич оставил после себя богатейшую коллекцию драгоценных камней, до которых был охотник и которые скупал в течение всей своей жизни через посредство родных и знакомых. Крупные суммы хранились в Горбатовском.

Ни тяжб особенных, ни других запутанных дел не было...

Приказчики и управители, по большей части из своих же крепостных, высылали из дальних вотчин доходы, высылали аккурат-

но, и если при управлении себя не обижали, то это было уже их дело.

Хозяйство в Горбатовском велось Марьей Никитишной и велось превосходно, так что молодой Горбатов не был ничем связан, мог жить, где ему угодно, и не заботиться о деньгах. Разве что вздумает он за окошко бросить их, а то, как бы роскошно ни стал жить, богатства его и девать будет некуда.

В тот же вечер Сергей говорил с матерью.

Она внимательно выслушала чтение письма Нарышкина, перекрестилась и тихонько вздохнула.

— Ну что же, Сережечка? Что же, голубчик? Я так ведь это и знала, к тому теперь и готовилась... одна останусь... что же! Кабы и в моей было воле, так не стала бы тебя удерживать, я и покойнику не раз говаривала, что негоже тебе долго в деревне оставаться... только он приказал мне молчать об этом — сам ведь знаешь, голубчик-то наш хоть и большого ума был человек, а как заговоришь с ним о Петербурге да об государыне, так на него ровно что находило: «Никакой нет, говорит, государыни, государь был Петр Федоро-

вич!», а Петербург он Вавилоном величал: «Не пуцу, говорит, сына в Вавилон на погибель, сам больше двадцати пяти лет живу в Горбатовском, пусть и он здесь всю жизнь проживет!..» Ну, а теперь у тебя самого воля, делай как знаешь, может, там тебя и счастье ожидает... Ох, горька мне будет разлука с тобою, Сереженька!..

— Да ведь я не навсегда, — перебил Сергей, — я, матушка, буду сюда возвращаться, да и сама-то, может, с сестрою в Петербург приедешь.

Марья Никитишна покачала головою и пригорюнилась.

— Нет, Сереженька, мне этого не говори, сам поезжай, куда знаешь, а я-то уж тут, в Горбатовском, останусь до самой смерти, я-то уж не тронусь... Всю ведь жизнь тут прожила — другой-то жизни, почитай, и не помню, — а главное: он так хотел!.. да он бы не простил мне одной мысли уехать из Горбатовского!.. Я против его воли никогда не пойду... Тут и могилка его — около нее теперь и вся жизнь моя...

Сергей взглянул на добродушное, жалкое

лицо матери, увидел тихие слезы, стоявшие в глазах ее, у него защемило сердце — он кинулся к ней, крепко ее обнял, целовал ее руки.

— Бог с тобою, мой голубчик, — тихо говорила она, — живи, будь счастлив, не забывай мать... Коли сама государыня о тебе справлялась да пожелала тебя видеть, само собою, можно ли тебе не ехать!.. ну, и поезжай с Рено. Отвечай Льву-то Александрычу немедля, и сама я ему писать буду, поблагодарю его за ласку да за родственную память...

Х. ВИНОВАТ ЛИ?

Проходя от матери в свою комнату, где Рено с нетерпением дожидался результата объяснений с Марьей Никитишной, Сергей остановился в длинной, парадной зале.

Был вечерний час; обширная комната слабо освещалась несколькими зажженными кенкетами, а из окон полосами ложился лунный свет; тишина невозмутимая стояла вокруг Сергея.

Со стен глядели на него портреты Горбатовых, начиная с темного иконописного лика

его знаменитого прапрадеда и кончая недавно еще списанным изображением Бориса Григорьевича.

Вдруг жутко стало Сергею, но он не пошел к Рено, а стал в глубокой задумчивости бродить по зале. Он давно уже был недоволен собою, а теперь, после разговора с матерью, после неизменно принятого решения переселиться в Петербург, после волнения и радости, которые вызывала в нем мысль о предстоящей поездке, он уже ясно понимал, почему недоволен собою.

«Таня! Что же это такое? Ведь не сон было утро!..» Вот как сейчас перед ним ярко-голубая беседка, и Таня в розовом платье, и разговор их, поцелуи, то счастье, которое тогда его охватило. Где же теперь это счастье? Ведь ничего не изменилось. Таня все та же, он видел ее не дальше как сегодня утром. Она так ему улыбнулась, так крепко сжала ему руку, и он сам ответил ей на пожатие... Он ее любит, любит, может быть, больше всего на свете, но все же это уже как-будто не та любовь, она не приносит такого блаженства... Да и любит ли?.. Если бы любил, так только о ней бы и ду-

мал и не хотел бы уезжать отсюда, не радовался бы предстоящей разлуке с нею... А если не любит, так, значит, он обманул ее, значит, низко насмеялся над ее чистым, детским чувством... Нет, он ее любит, но только они так еще молоды, перед ними вся жизнь, да теперь вряд ли бы и отдали ее за него замуж... и во всяком случае надо ждать год после кончины отца. Он имеет право теперь ехать, не огорчая этим Таню. Им будет грустно друг без друга, но тем счастливее будет свидание!

Этим он себя успокаивал и все же никак не мог успокоить, потому что чувствовал, что если бы ждал сильной грусти в разлуке с Таней, то не уехал бы.

Вот он вызвал перед собой в мельчайших подробностях ее прелестный образ, он возобновил в своих ощущениях обаяние ее близости, ее откровенной полудетской ласки.

«О! Как она мила, как я люблю ее!» — чуть громко не крикнул он, и в то же время ему вдруг неудержимо захотелось скорее отсюда, дальше, дальше, туда, в новый город, в новую жизнь, которая казалась заманчивой и волшебной.

Он не заметил как вошел Рено и как долго и внимательно в него вглядывался.

— Мой друг, что с вами? — изумленно спросил француз.- Vous me faites l'effet d'un somnambule... Madame votre mère... или она не согласна?! Я, признаться, не ждал этого...

Сергей очнулся.

— Нет, она согласна, и мне даже не нужно было ее уговаривать. Она находит, что и речи быть не может, что я должен ехать...

Рено с удовольствием потер себе руки, но затем еще с большим изумлением взглянул на Сергея.

— Так что же, я не понимаю... значит, другое вас смущает?!. Милый Serge, говорите со мной откровенно.

— Да, я должен поговорить с вами, Рено! Мне нечего от вас таиться, вы знаете, с какой радостью я еду, а между тем... я совсем не должен был бы радоваться, не должен был бы уезжать отсюда, потому что здесь я слишком многое покидаю...

— Что такое?

— Рено, я покидаю Таню... — едва слышно выговорил Сергей, опуская глаза перед своим

воспитателем.

— Comment... ma petite fee!..

Он широко раскрыл глаза, расставил руки и представил из себя такую смешную фигуру, что если бы Сергей глядел на него, то и он, несмотря на все свое волнение, едва ли бы удержался от улыбки.

Затем Рено, наконец, сообразил в чем дело и тихонько назвал себя «imbécile».

«О! У них, наверно, уже что-нибудь было, а я ничего не видел, я проглядел... где были глаза мои!..»

Он обнял Сергея за талию и мерными шагами стал ходить с ним по зале.

— La petite fee... la petite princesse! Так мы ее любим... Отчего же вы до сих пор мне ничего не сказали? И она-то, она знает про это?

— Знает.

— И, конечно, любит вас?

— Да.

Сергей рассказал Рено все подробности того утра, когда невидимая сила в один и тот же час привлекла и его, и Таню в голубую беседку.

Рено внимательно слушал, и ему очень по-

правилась эта наивная и поэтическая страничка из молодой жизни. С ним самим никогда не бывало ничего подобного, а он так любил, так безумно любил!.. О! Он с ума бы сошел от счастья, если бы тогда, в те страшные годы, ему удалось пережить подобную минуту!

— И вас смущает, что вы радуетесь поездке? Вам кажется, что вы обманули маленькую фею, что отрекаетесь от любви к ней? Пустое все это, милый Serge, вы ее истинно любите — ручаюсь вам головою, — но вы очень молоды, вот в чем дело; вы еще слишком молоды для такой страсти, в которую ушла бы вся жизнь, в которой бы все забылось, да и хорошо, что еще молоды и что не испытали этой страсти. Дай Бог, чтобы и впредь она вас миновала. Я уверен, что вы несколько не обманули княжну, но вы сами еще не знаете хорошенько своих чувств, и именно для того, чтобы потом не раскаиваться, чтобы не обмануть ее впоследствии, вы и должны убедиться в ваших чувствах, а для этого наша предполагаемая поездка — самое лучшее средство. Вы слишком часто видаетесь, при этом старинная привычка

ка друг к другу... Имея всегда друг друга на глазах, действительно, можно ошибиться. В разлуке и вы, и она гораздо лучше уясните себе взаимное ваше чувство, узнаете всю его силу. Видите сами, что все обстоятельства так сложились, что вам нужно ехать; но если бы этого даже и не было, то, любя вас, любя ее, я непременно бы настаивал на вашей временной разлуке. Ваши отношения к маленькой фее не могут быть мимолетными, вы ведь должны будете сойтись с нею на всю жизнь, а для того, чтобы решиться на такой шаг без страха за будущее, необходимо вам испытать друг друга. Не смущайтесь, я душевно радуюсь за вас: все складывается самым лучшим образом, судьба вам благоприятствует...

О, этот волшебник Рено — он всегда отлично умел все разъяснить и успокоить.

Тяжесть, преследовавшая Сергея, чувство виновности перед Таней исчезли, и теперь, когда, убежденный Рено, он уже не считал себя обманщиком и изменником, он почувствовал страстную нежность к Тане.

— Я поеду в Знаменское, — сказал он, — ведь она еще ничего не знает.

— Хорошо, поедем вместе, — отозвался Рено, — ночь превосходная, и я могу оказать услугу, я постараюсь занять злую княгиню в то время, как вы будете объясняться с маленькой феей. Только смотрите, будьте благо-разумны!

Сергей велел заложить сани, и менее чем через час они были в Знаменском.

XI. ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ

— Вот так неожиданные гости! — своим певучим голосом, которому она резко изменяла, встретила княгиня Сергея и Рено, — ты совсем позабыл меня, голубчик Сережа, а я все дни собираюсь проведать сестрицу, да все что-то неможется, а на дворе мороз. Впрочем, Таня сказала мне, что сегодня у сестрицы вид хороший... Ну, Бог даст, успокоится... Что делать-то, всем горе!.. Да где это Таня?.. Сейчас была тут... Поди, Марфушка, позови княжну.

Марфушка, безобразная и злая карлица, так называемая невеста горбатовского карлика Моськи, пискнула совсем даже нечеловеческим голосом: «слушаю-с» и выкатилась, как кубарь, исполнять приказание княгини.

— Ну что, голубчик, скоро ли все дела-то устроишь? — продолжала княгиня. — Ничего, хорошо, приучайся быть хозяином, я вот женщина слабая — при муже-то ни о чем не имела понятия, а как осталась одна, так поневоле ко всем мужским делам приучилась. Теперь провести меня трудно, подавай мне каких хочешь законников — не испугаюсь... Что же, батюшка, из Петербурга-то тебе пишет кто, что ли?

— Пишут, тетенька...

В это время вошла Таня, такая обрадованная и сияющая.

— Как это мило, Сережа, что заехали, а у меня кстати для Лены маленький подарочек есть, вышила ей новым узором платочек; в утру-то не успела кончить, завтра чуть свет послать думала, а теперь вот вы ей и свезете. Что, хорошо на дворе?

— Чудо какая ночь! — сказал Рено. — Холодно немножко, нос пощипывает; я прежде боялся такого мороза, а теперь привык и люблю, и если мне придется покинуть Россию, я буду очень грустить о русских зимних ночах... Мы в маленьких санках, Serge сам пра-

вил, а дорога у вас какая — не качнет!.. Скажите ему, княжна, чтобы он прокатил вас; лошадь смиренная, а мчит как стрела.

— Вы на какой... на Орлике? — живо спросила Таня.

— Да, на Орлике, — отвечал Сергей, благодарно взглядывая на Рено.

— Ну так, конечно, прокатимся... маменька?

— Да катайся, коли охота, мне-то что, не с чужим ведь человеком.

— Я сейчас!.. И велю подать сани! — говорила Таня, подбегая к окну и видя, что Орлика уже нет у подъезда.

— Вот вы спрашивали, тетушка, — сказал Сергей, когда Таня выбежала, — получаю ли я из Петербурга письма... Сегодня еще получил от Дьва Александровича, да письмо-то какое! Пока мы с Таней будем кататься, вам Рено многое расскажет.

— Хорошо, буду слушать, только с условием, чтобы он не трещал, а то ведь я французский-то язык знаю не по-вашему... Ну, как тихо говорит человек, так все понимаю, а начнет трещать — и ни слова.

Сергей с улыбкой передал Рено слова княгини.

— *Soyez tranquille, princesse*, я буду говорить тихо, тише вашего... когда я захочу, так меня понимает даже Петр Фомич.

Из двух слов «Петр Фомич» Рено нарочно сделал что-то совсем невообразимое. Он выговорил их так, что Сергей, не удержавшись, громко засмеялся. А княгиня закусила губы и не особенно дружелюбно взглянула на француза.

Таня появилась в собольей шубке, только что выписанной из Москвы, в собольей красивой шапочке.

Хорошенькое лицо ее горело от предвкушения удовольствия этой прогулки в морозную лунную ночь, вдвоем с Сергеем, на быстром Орлике...

Крепко захлопнулась медвежья полость санок, Таня прижалась плечом к своему спутнику, и они помчались по гладкой, сверкающей дороге, с одной стороны которой расстилались снежные поля, а с другой — стояли заледеневшие хрустальные деревья.

И вот опять, после трех месяцев, они вдво-

ем, и опять то горячее, молодое чувство наполняет их.

— Таня, милая Таня!..

— Ты меня любишь?.. А мне казалось... я боялась... ты будто избегал меня... Впрочем, нет, не слушай, что я говорю, я понимаю, какое это было время, но вот теперь легче... и ты опять со мною.

— Да, Таня, и я люблю тебя и верю, что придет время, когда я всегда буду с тобою; но теперь, знаешь ли, ведь нам нужно скоро проститься...

— Как? Что ты говоришь? — испуганно спросила она, наклоняясь и засматривая ему в лицо. — Проститься? Зачем? Куда ты едешь?

— В Петербург, Таня.

Он рассказал ей о полученном письме и о том, что невозможно отказываться от милостей императрицы.

— Да, я это понимаю, повторяла она и сидела задумчивая и грустная. — Я понимаю.

Она давно знала, как неудержимо рвался Сергей из деревни, и много раз они говорили об этом, и она всегда жалела его, изумлялась упрямству Бориса Григорьевича. Но вот Бори-

са Григорьевича нет на свете, Сергей свободен, конечно, он должен ехать, иначе и быть не может. Ах, как тоскливо вдруг стало у ней на сердце!

И она слушала о том, что разлука ненадолго, что летом он, наверное, приедет в Горбатовское, о том, что все равно им теперь еще нельзя думать о свадьбе. Он обещал часто писать и просил от нее длинных, подробных писем. Да и, наконец, княгиня же жила по целым зимам в Петербурге, ведь она не давала обета всю жизнь оставаться в Знаменском.

— Только как я буду тосковать там без тебя, Таня!

Говоря это, Сергей был уверен в истине слов своих — он теперь так ужасно любил Таню.

— Тосковать! Да у тебя там не будет времени, там не деревня. Я хоть и маленькая была, а помню Петербург, толкотня вечная, все новые люди, а ты вон к самой императрице... Не тосковать, а забудешь меня, вот что!

— Таня!

— Ну прости, не буду... пошутила... если бы я думала, что ты меня забудешь, то что же

мне тогда, умирать бы только и осталось. По-езжай, веселись, а я...

Она отвернулась, чтобы он не заметил, как из глаз ее закапали слезы.

— Таня, не мучь меня, я знаю, что тебе будет скучно без меня, знаю что и вообще невеселая жизнь твоя...

— Нет, ты многого не знаешь, Сережа, и ты не знаешь, конечно, что мне будет грустно, но скучно не будет. У меня есть дело, большое дело, и им-то я займусь без тебя, а теперь крепче, крепче поцелуй меня и пожелай мне успеха.

Он горячо обнял ее и, целуя, спрашивал:

— Какое дело, Таня? Скажи мне! Но она качала головой.

— Не скажу теперь... потом... потом все узнаешь, не стану от тебя таиться, а теперь лучше и не спрашивай — ни за что не скажу... Мое дело тебя не касается.

Орлик уже мчал их обратно, скоро они въехали в ворота.

Входя в сени, они столкнулись с Петром Фомичем. Он почтительно поклонился Сергею и еще почтительнее отступил, чтобы про-

пустить Таню.

— Если бы я был суеверен, то ничего хорошего не ожидал бы после этой встречи, — сказал по-французски Сергей.

Таня не отвечала, и ему стало досадно за слова свои, у него в первый раз еще при ней вырвался намек, которого он никак не должен был себе позволить...

Они застали Рено в беседе с княгиней, окруженных карлицей, двумя собачками и полудюжиной приживалок, которые составляли постоянный штат Софьи Семеновны.

— Что же, тетушка, вы его поняли? — спросил Сергей, указывая на Рено.

— Поняла, батюшка, поняла, в Петербург уезжаешь! И дело, друг мой! Давно пора, нечего Горбатову засиживаться в деревне, благо государыня наша милостива — старых счетов не помнит. Только ух как тебе там ухо остро держать нужно, я вот и говорю об этом с Рено. Заезжай, дружок, на днях, я кое-что порасскажу тебе о петербургской жизни, сама уже четыре года не была там, а знаю многое, какие там люди в силе и к кому за каким делом обращаться нужно — обо всем этом я поговорю

с тобой.

— Спасибо, тетушка.

— А теперь нам и домой пора, — сказал Рено, — уехали, никому не сказавши, и на сегодняшний вечер еще дела много...

На обратном пути Рено спросил Сергея:

— Ну что, милый Serge, что сказала маленькая фея? Поплакала?

— Нет, она была почти спокойна, и точно так же, как и матушка, нашла, что так и надо.

— Конечно, так и надо, о, умная маленькая фея!.. Какой вы счастливый человек, Serge! Смотрите только — будьте благоразумны и не упускайте счастья, оно бывает капризно...

ХII. В ДОРОГУ

Сергей не стал откладывать своего отъезда. Вместе с благодарственным письмом к Льву Александровичу были отправлены из Горбатовского в Петербург всякие мастеровые люди, повара и во главе их старик Иван Иванович.

Этот Иван Иванович, бедный беспоместный тамбовский дворянин, издавна жил у Бориса Григорьевича и вошел к нему в милость. Он был человек смышленный, расторопный; его обыкновенно Горбатов посылал и в Москву, и в Петербург, когда в том случалась необходимость.

В Петербурге у Бориса Григорьевича был свой дом на Мойке, каменный и довольно обширный. В этом доме не раз происходили в конце Елизаветинского царствования веселые пирования, на которых присутствовал великий князь Петр Федорович.

Наложив на себя добровольную опалу и навсегда запершись в деревне Борис Григорьевич не продал, однако, своего петербургского дома. При доме оставались сторожами

две семьи дворовых горбатовских людей, которым посылались кормы и которые два раза в год должны были извещать о состоянии вверенного им дома. В течение двадцати пяти лет несколько раз даже назначались изрядные суммы для ремонта.

Иван Иваныч, возвращаясь из своих посылок в Петербург, постоянно докладывал Борису Григорьевичу, что дом следует продать; что на него находятя покупщики и предлагают очень выгодную цену. Эти покупщики всячески задабривали Ивана Иваныча и обещали ему немало на устройство дела. Но Борис Григорьевич каждый раз неизменно отвечивал:

«С какой стати я продавать буду — пускай себе стоит. Видно, кому ни на есть, а мозолят глаза хоромы Бориса Горбатова! — ну и пусть мозолят. Никто не может у меня отнять мою собственность... еще покойный родитель тот дом построил. И лучше ты, Иваныч, и не говори мне об этом деле...» Иван Иваныч умолкал, грустно вздыхая, и отписывал в Петербург, что никакими мерами хозяина уговорить невозможно.

Вот теперь дом и пригодился. Иван Иванович ехал с тем, чтобы приготовить его для нового молодого владельца.

Сергей, решил отправиться в путь на святках. Он ездил в Тамбов, простился там со знакомыми, объездил соседей. Все провожали его любезными пожеланиями, сулили ему всякие почести, более или менее искусно скрывая свою зависть. Впрочем, завистников было не особенно много, большинство хорошо понимало, что такому богачу и вельможе, как Горбатов, завидовать нечего — все равно с ним не тягаться. А коли войдет он в силу да в чины большие, то, может, не забудет старых знакомых и им еще пригодится.

Княгиня Пересветова исполнила свое обещанье посвятить Сергея в тайны петербургской придворной жизни. Она передала ему все, что знала о влиятельных лицах, окружавших государыню: насказала кучу анекдотов, ходивших по городу в последнее ее пребывание в Петербурге. Она в первый раз взглянула на Сергея как на взрослого человека и говорила с ним не стесняясь.

Из ее рассказов перед ним открылся новый

мир интриг и любовных приключений, героями которых являлись самые важные сановники государства. Сергей не раз краснел во время этого разговора. Он не совсем доверял княгине; но, во всяком случае, она его очень заинтересовала, и ему хотелось скорей, как можно скорей, увидеть самому всю эту жизнь, самому в ней разобраться.

Он едва мог дождаться дня отъезда, а пока метался от матери к Тане, и наоборот.

Хотя ни он, ни Таня никому не поверяли того, что произошло с ними, и хотя единственный поверенный, Рено, молчал, конечно, но в эти последние дни все же у многих, начиная с Марьи Никитишны, открылись глаза на отношения молодых людей. Марья Никитишна во время одного разговора с сыном даже прямо заговорила про Таню.

— Сереженька, ты смотри, не пленись там... кто их знает какие они — петербургские-то!.. А тут, дома, тебя настоящая невеста будет дожидаться... Да не красней, дружочек, ведь сердце матери вещун... и доброе то дело! Танюша наша молода еще, а через годик, другой — ух какая станет... И по всему она тебе

пара — родство между нами не близкое — греха нету... А покойник любил Таню, не раз мне говаривал: «Славная девка вырастет, вот и жена Сергею готова, искать не надо»...

Сергей молчал, не то изумленный, не то обрадованный словами матери; все лицо его рдело румянцем.

Марья Никитишна ласково улыбнулась, что с нею редко случалось в это время. Она нагнула к себе голову сына, поцеловала его.

— Да, не красней ты, говорю! Ну, ну, хорошо, больше я ни слова... как придет время, тогда и поговорим, а теперь и взаправду нечего.

За два дня до отъезда Сергей поздно вечером вошел в свою опочивальню и очень изумился, увидев на одном из сундуков, в которых были уложены его вещи, маленькую фигуру карлика Моськи.

Сергей с Моськой был в большой дружбе и не только любил, но и уважал его, несмотря на то, что, подобно всем домашним, забавлялся им как игрушкой. Он знал, что Моисей Степаныч (таково было действительное имя карлика) и добр, и умен, и искренне предан их семейству. Он помнил его в Горбатовском с

первых лет своего детства, помнил его за все это время ничуть не изменившегося, будто время не существовало для Моськи. Сколько ему было лет — это невозможно было определить. По лицу он всегда был тем же новорожденным ребенком и старым старичком. Между горбатовской прислугой ходили толки о том, что Моське уже двести лет и что он проживет по крайней мере еще столько же. Двести не двести, однако, ему было около пятидесяти, хотя он и отличался крепким здоровьем и замечательной бодростью и подвижностью.

Первоначально, еще маленьким мальчиком, он был куплен у кого-то Иваном Ивановичем Шуваловым и подарен им императрице Елизавете. Во дворце Моська прожил недолго: каким-то неловким ответом навлек он на себя немилость императрицы, которая была в тот день не в духе. Великий князь Петр Федорович выпросил Моську себе и сейчас же подарил его своему приятелю, Борису Горбатову. С тех пор карлик не разлучался с Борисом Григорьевичем. И в первое время, когда бывший веселый царедворец, запершись в Горбатовском, метался в горе и злобе

по пустым хоромам своего обширного дома, один только Моська умел угождать ему.

К Сергею карлик был трогательно привязан; он измышлял всевозможные способы забавлять его; мастерил ему всякие диковинные игрушки, рассказывал интересные сказки. Когда Сергей подрос, Моське уже нечем было развлекать его, Сергей уже в нем не нуждался, как прежде. Но воспоминания детства, Моськиных игрушек и сказок не изгладились из памяти Сергея, и он всегда относился к карлику ласково и деликатно, делал ему подарки и никогда не называл его «Моськой», как почти все в доме, а называл его «Степанычем». В последние годы явилось, однако, одно обстоятельство, которое чуть не встало между Сергеем и карликом — это был приезд Рено.

Француз и карлик скоро сделались врагами. Оба они горячо любили Сергея и ревновали его друг к другу. Рено относился к этому «отклонению от законов природы» с большим презрением, говорил, что все эти монстры бывают всегда монстрами и в нравственном отношении и не признавал в Мось-

ке никаких достоинств.

Моська в разговорах с Сергеем сначала называл Рено «французской трещоткой и басурманской крысой», но потом, скоро убедясь, что француз совсем заполонил барчонка, он перестал в глаза Сергею бранить его. Он только зорко следил за ним, будто шпионил. Рено часто подмечал на себе его быстрые, недружелюбные взгляды, но отделаться от него и совершенно удалить от него Сергея он все же не мог. Моська был хитер и терпелив и кончил тем, что победил француза, изменил его дурное о себе мнение.

Часто, забравшись в уголок классной комнаты, он присутствовал при уроках Рено, постоянно вслушивался в его разговоры с Сергеем, Еленой и Таней и кончил тем, что усвоил себе много французских слов, начал понимать французскую речь. Достигнув этого, он уже прямо обратился к Рено на французском языке, чем крайне поразил воспитателя, и просил поучить его.

Рено долго хохотал как сумасшедший, но был польщен, заинтересован и согласился на эти смешные уроки. Новый ученик оказал

большое прилежание и понятливость, и хотя не мог выучиться правильному французскому произношению, но все же с языком совсем освоился. Этого только ему и было надо. Теперь уже от него не могло быть тайн, теперь он мог не выпускать из виду Сергея, следил за «французской трещоткой»; теперь, может быть, ему удастся кое в чем подставить ногу «басурманской крысе».

— Что ты здесь делаешь, Степаныч? — спросил Сергей, увидев Моську на сундуке в опочивальне.

Карлик, как и всегда, расфранченный, напудренный и сияющий позументами, слез с сундука на пол, подошел к Сергею, взял его руку своими крошечными детскими руками и запищал:

— Сергей Борисович, золотой мой соколик, не откажи мне в великой милости. Давно я собираюсь просить тебя, да все оторопь брала, потому знаю, коли откажешь, мне горе такое будет — не расхлебать того горя... Батюшка ты мой, возьми меня с собой в Питер!

Сергей задумался. Марья Никитишна отпускала с ним и так уж самых надежных и

верных слуг отца его. Она так привыкла к Моське, он иной раз и теперь, после кончины Бориса Григорьевича, умел развлекать и забавлять ее. Среди волнений последнего времени Сергей совсем забыл про Моську, но теперь почувствовал свою неизменную к нему привязанность.

— И рад бы взять тебя, Степаныч, не хочется расставаться с тобой. Да как же матушка?!

— Думал я и об этом, — тихо и серьезно проговорил карлик, — и первым делом о всем доложил барыне. Она-то меня отпускает — даже порадовалась, что я вызвался. Где же тебе одному-то там — мусье Рено не углядит за всем. Человек он несведущий, по-нашему ни слова не смыслит, а у меня-то весь Питер как на ладони. Уж что другое, а Питер я знаю и порядки все тамошние, и во дворце как и что. Нет, Сереженька, без меня не обойтись тебе, то же и матушка говорит — сам спроси. Ну, дело другое, коли сам меня не хочешь — я в твоей воле!..

— А если так, то о чем же и толковать тут! — весело перебил его Сергей. — Едем, старина! Покажи мне твой Питер, поучи там ме-

ня уму-разуму.

Карлик взвизгнул и так и прильнул губами к руке Сергея.

— Голубчик мой, Сереженька, кормилец — уж как обрадовал!..

Через два дня огромная, неуклюжая, но удобная и покойная дорожная карета на полозьях, запряженная шестериком, стояла перед крыльцом горбатовского дома. Несколько экипажей, саней и кибиток с прислугою и всякой поклажей уже мчались в это время к Тамбову.

Сергей в богатой шубе, в высокой собольей шапке вышел на крыльцо, сопровождаемый всеми домашними. Марья Никитишна еще раз обняла сына и долго крестила его, сиюсь сдерживать свои слезы. Потом он расцеловался с сестрою, потом подошел к руке княгини Пересветовой.

— Дай тебе Бог всего лучшего, Сереженька, смотри пиши — не забывай, — говорила княгиня.

Но он не слушал. Перед ним было побледневшее лицо Тани. Он припал к нежной дрожавшей руке. Ему неудержимо захотелось

еще раз крепко, крепко поцеловать дорогую девушку, но он не смел этого при посторонних.

— До свиданья, Таня, — пишите, ради Бога!

Он снял шапку, еще раз поклонился всем столпившимся на крыльце, еще раз бросил быстрый взгляд на Таню, на мать и поспешил к дверцам кареты. Следом за ним веселый и довольный, раскланиваясь со всеми, вскочил Рено, а потом взобрался и Моська.

Дверцы захлопнулись. Карета тронулась.

Сергей взглянул на крыльцо, откуда махали ему платками, смигнул набежавшие на глаза слезы и вздохнул всею грудью.

Карлик набожно крестился, недружелюбно поглядывая на своего соседа, Рено.

— О, господи! — думал он. — В первый-то раз дитя из дому в такой путь отправляется, а и лба не перекрестит... И все ты, проклятая крыса!.. О, Господи, избави нас от бед и напастей!..

Он зажмурил глаза и опять стал креститься: лишь бы не замерзнуть на дороге, а то все хорошо — лучше и быть не может!..

XIII. ЗАБОТА КАРЛИКА

В первых числах января рано утром, когда солнце только что выглянуло, прорезая морозный туман, у подъезда известного всему Петербургу дома обер-шталмейстера Льва Александровича Нарышкина остановилась крохотная фигурка, закутанная в детскую шубку.

Кругом было все тихо. Тяжелые двери наглухо заперты.

Фигурка взобралась на ступени крыльца, приподнялась на цыпочки, силясь достать дверную ручку, но это оказалось невозможно. Фигурка распахнула свою шубенку, выказывая озабоченное, сморщенное личико. Это был горбатовский карлик, Моська.

— Ну что ты тут поделаешь?! Видно, спят, — пискнул он.

Он начал подпрыгивать, но все никак не мог достать дверной ручки — шубенка мешала. И кончилось тем, что Моська запутался в ней, упал и скатился с обледенелых ступеней.

— Ох! Да тут все кости переломашь! Ишь ведь, спят черти, прости Господи! — ворчал

он, потирая ушибленную ногу. — Обойти разве со двора, — да нет, там людишки разные, кто их знает какие... насмех подымут — разобидят... да, пожалуй, и до самого не допустят! Постучаться, что ли? Авось тут еще Перфильич, старый знакомец, со своей булавою...

Моська снова взобрался на крыльцо и что есть силы стал колотить кулачками в дверь. Поколотит, поколотит — да и прислушается.

Долго его усилия оставались тщетными, так что даже, несмотря на мороз, пот начал прошибать карлика. Но он не унимался и все продолжал стучаться.

— Оглохли, проклятые! — наконец крикнул он во весь голос. — Ну так авось вот так услышат!

Он приложился губами к самой двери и отчаянно замыкал по-кошачьему, на все лады, с неподражаемым искусством.

Этот неожиданно придуманный им фокус оказался действительно сильнее стука его кулачком. Замок двери щелкнул, так что Моська едва успел отскочить.

— Что такое? Что за пропасть! — раздался

густой бас над головой карлика.

— Ну, слава тебе, Господи! Он, он, Перфильич! Пропусти, голубчик! Аль не узнал? Так взглядишь хорошенько, протри буркалы-то, заспался, видно!? Пора, солнце давно светит...

— Моська, ты ли это? Какими судьбами?! Ах, дурень, дурень, кошкой вздумал мяукать!.. А я слушаю — что такое творится за дверьми, даже оторопь взяла. Коты не коты, уж не ребеночка ли подкинули — так и подумал — вот те Христос!

— Да не болтай ты, Перфильич, апусти, ради Бога!

Перфильич, огромный, тучный швейцар, нагнулся, подхватил Моську под мышку и внес его в сени, запирая за собою дверь.

— Пусти, черт! — пищал Моська. — И так с крыльца вашего свалился — ногу повредил, а тут ты еще все кости ломаешь... Пусти, медведь!

Громадный Перфильич осторожно поставил на пол карлика, присел пред ним на корточки и, ухмыляясь, глядел на него.

— Ну, шутка сказать — лет с пятнадцать не видались. И ничего-то ты с той поры не вы-

рос!..

— И ты ничего не умалился, — перебил его Моська. — Да, полно, чего тут... Скажи-ка лучше — сам-то дома ли, встал ли?

— Нет; тут вчерашнего числа, вишь ты, было пированье; оно и то, пируем каждый день, с утра до вечера толчая в доме, ну, а вчерась просто дым коромыслом, далеко за полночь разъехались... Так он-то, полагать надо, еще не просыпался. А о тебе доложить, что ли? Это можно, я скажу камердинеру — он тебя примет. Слышал я, куманек, про дела ваши. Хозяин-то помер! Царствие ему небесное! А ты это, верно, с молодым к нам пожаловал? Еще на сих днях мне дворецкий сказывал: за обедом, вишь ты, разговор был про вашего молодого барина, Лев-то Александрыч поджидает его...

— Так, так, голубчик! — повторял Моська, скидывая с себя шубенку и охорашиваясь перед большим трюмо. — Вчера вечером позденько-таки приехали и очень мне нужно самого видеть — не упустить бы. Доложи-ка, куманек, да так чтобы и сказал камердинер, что, мол, горбатовский Моська, — и большая-де надобность до его высокопревосходи-

тельства.

— Ладно, ладно! — отвечал Перфильич и пошел наверх по широкой лестнице.

Карлик вскарабкался на стул, оглядел парадные сени, устланные дорогим ковром, заставленные мраморными вазами и статуями. А потом вдруг подпер рукою свою маленькую головку, глубоко вздохнул и пригорюнился.

Между тем Перфильич уже спускался с лестницы.

— Ну, куманек, обожди малость, — встали и в уборной теперь. И приказано, как только брадобрей выйдет, так и провести тебя.

— Спасибо, спасибо! Да слушай-ка, подь сюда, Перфильич!

Перфильич подошел, и Моська, становясь на стул и все же подымая голову, чтобы глядеть в лицо кума, зашептал ему:

— Да, вот что еще. Может, как я буду у Льва Александрыча, молодой мой господин, Сергей Борисыч, приедет, так ты ему про меня ни слова, что я здесь. Я не сказался, и не должен он знать, что допрежь него виделся с вашим... Не выдашь, кум? А? Не выдашь?

Перфильич качал головою.

— Ах, ты проказник! Видно, шутку какую выдумал? Ведь совсем старик уж, чай, а в голловенке и до сей поры шутовства разные. Да ну, дури! Мне-то что за дело. Уж коли его высокопревосходительство ни одного дня без проказ проводить не может, так тебе и Бог велел.

«Проказы! Не проказы у меня на уме, — подумал карлик. — Ну, а коли он так это обернул, то тем и лучше».

В это время чопорный, напудренный лакей остановился на площадке лестницы и важно произнес:

— Их высокопревосходительство приказать изволили привести к себе посланного от господина Горбатова...

— Перфильич! — пискнул Моська на ухо швейцару, все стоя на стуле и держа его за пуговицу, — ты и этому важному барину скажи, чтобы молчать, неравно Сергей Борисыч придут. Для вас же, о вас забочусь, коли проболтаетесь, так как бы худо вам не вышло, Лев Александрыч очень за то сердиться будет.

— Ладно, ладно! Дурачьтесь вы там с Львом Александрычем, — не наше, говорю,

дело, — проворчал Перфильич.

Моська слез со стула и стал взбираться по лестнице, спеша и подскакивая боком одной ногой со ступеньки на ступеньку, как это делают маленькие дети.

Важный лакей провел его через целый ряд роскошно убранных покоев, по которым суетилась прислуга, приводя в порядок мебель и обметая пыль после вчерашнего пиршества.

Наконец лакей остановился перед запертой дверью и тихонько стукнул.

— Входи! — раздался звучный, знакомый карлику голос.

Он вошел в небольшую уборную. В мягких креслах перед туалетным столом сидел уже совсем одетый, в парике, в шитом золотом кафтане и с андреевской звездой крепкий здоровый человек, лет за пятьдесят. Он стирал со своего веселого, моложавого и несколько женственного лица пудру.

Моська отвесил почтительный поклон.

— Честь имею кланяться вашему высокопревосходительству! В добром ли здравии, батюшка Лев Александрыч?

— Здравствуй, великий человек! — привет-

ливо улыбаясь, отвечал Нарышкин.

Моська бросился к креслу и громко чмокнул красивую, выхоленную руку Льва Александровича.

— Давненько не видались! — продолжал тот. — Ну что, приехали? Что твой барин, здоров?

— Здоров, батюшка, Бог милует! Должно полагать, к вам сейчас будут. А я вперед, да тихонько — кое о чем поговорить надо.

— Что такое, что такое? Послушаем. Присядь вот тут.

Нарышкин отодвинул от себя ногою скамейку и указал на нее Моське.

Взволнованный карлик уселся и запищал:

— Я так теперь полагаю, что после кончины Бориса Григорьевича...

Он перекрестился.

Перекрестился и Нарышкин; веселая улыбка, не покидавшая все время его лицо, вдруг исчезла.

— Да, — перебил он карлика, — грустно мне это было! Ты знаешь. Моська, любил я твоего барина, жили мы с ним душа в душу, — чай, помнишь то время!?

У Моськи запершило в горле, все лицо покраснелось, и на глазах показались слезы. Он вынул из кармана платок и быстро отер их.

— Ох! Как не помнить золотого времечка, каждый денек помню, благодетель! Все веселости ваши с покойничком, шутки разные — все помню!..

— Ну, так что, что же? Что хотел сказать? — перебил Нарышкин.

— Да, батюшка, так вот я и говорю, что после кончины-то Бориса Григорьевича я не иначе полагаю, что вы, ваше высокопревосходительство, заместо отца Сергею Борисычу... Вот и вызвали вы их сюда, и своим покровом не оставите...

— Конечно, в память покойника все готов для его сына. Да и Сережу люблю, не раз ведь бывал в Горбатовском, знаю его — славный мальчик.

— Ох! Золотое дитя, золотое! Да боязно мне, совсем ничего не знает, как жить-то надо. И опять-таки француз...

— Какой француз?

— А Рено, воспитатель ихний!

— Ах, да, Рено, помню... Ну, что же фран-

цуз?

— Много попортил, — таинственным шепотом произнес карлик, качая головою. — Только вы, благодетель, не сумлевайтесь, коли что вам в дите не так покажется. Затем я и прибежал предупредить. Дитя золотое, а это все француз...

— Да говори толком, Моська, ничего не понимаю! Что ты мне загадки загадываешь?!

Моська приподнялся со скамейки, пугливо огляделся, встал на цыпочки и под самое ухо шепнул Нарышкину:

— В Бога учит не верить! Я с первых же дней, как завелась в Горбатовском эта басурманская крыса, понял, что неладное начинается. Чтобы не попустить чего да разузнать про все ихние разговоры да ученье, я и по-французкому выучился.

— Ты! По-французскому?! Ах, ты сморчок старый!..

Нарышкин весело засмеялся. Моська немножко засмеялся.

— Да, что же, благодетель, отчего же мне и не выучиться?! Же парль франсе, вотр екселансе, же пе ву ле пруже тут-т-а ллерь...

Услышав эту правильную французскую фразу, хоть и произнесенную совсем на русский лад, и взглянув на смешную фигуру карлика, Нарышкин так и покатился со смеху.

— Ох! Перестань, шут ты гороховый, не то камзол лопнет!

— Не до смеху мне, сударь, Лев Александрович, — с достоинством и грустно проговорил карлик.

Нарышкин перестал смеяться.

— Так ты говоришь, в Бога учит не верить?

— Да, и всякое такое несуразное толкует. Он все из Франции книжки выписывал. По целым часам толкуют: Вольтер, Вольтер, Руссо, опять Дидерот... Я, признаться, и книжки эти тихонько переглядывал.

— Ну, что же — и понял?

— Понял-то я не понял — прямо скажу. Мудреное что-то, а все же увидел, что в книжках тех толку мало. Нехорошо там написано... А то опять: француз болтает, будто люди все равны, вишь, — и господа, и слуги...

— Ну, а по-твоему как? — лукаво прищурился, спросил Нарышкин.

— Да, что же, батюшка, известно: перед Богом мы все равны, — наставительным тоном и нисколько не смущаясь отвечал Моська. — Да, на земле-то, коли я слуга, так не равняю себя с господином. И что же бы такое было, кабы, для примера, хоть бы ваши слуги да почли себя равными с вашим высокопревосходительством, — что бы такое было? Ведь понимаю же я это!

Моська замолчал, внимательно глядя на Льва Александровича и следя за выражением его лица.

Нарышкин стал совсем серьезным и медленно произнес:

— Француз в Бога учит не веровать, и книжки... и люди равны... Ну, старый сморчок, спасибо тебе... хорошо ты сделал, что прибежал ко мне... Это все очень важно...

— Да как же не важно-то, милостивец, — ведь, коли дитя по молодости, где не надо слова того француза повторять начнет, — ведь это что же будет? Навеки погубить себя может... и неповинно, видит Бог, неповинно, потому Сергей Борисыч сущее золото, а это все француз...

— Так, так, — повторил Нарышкин и ласково потрепал по плечу Моську.

В это время у двери раздался легкий стук.

— Кто там?

— Сергей Борисыч Горбатов приехали и спрашивают, можете ли вы их принять, ваше превосходительство? — произнес за дверью камердинер.

— Просить!

— Батюшка, а я как же? — запищал Моська. — Вы уж не извольте говорить, что был у вас, а то они на меня разгневаются. Да и француз, хитер он больно, неравно догадается. Ведь он приворожил, как есть приворожил себе Сергея Борисыча.

— А ты здесь оставайся, — сказал Нарышкин, — жди меня. Только может, там людишки мои выболтали?!

— Вряд ли! Я кума Перфильича просил не сказывать.

— Ну, так и сиди тут, не шевелись, я и запру тебя, чтобы никто не видел.

Лев Александрович запер на ключ дверь, ведущую из уборной в опочивальню, и ключ положил к себе в карман.

— Сиди! Да, вот тебе и занятие — прибере-ка мне туалетный стол.

Он еще раз похлопал по плечу карлика и совсем молодым шагом поспешно вышел из уборной в другую дверь. И Моська слышал, как он запер за собою на ключ и эту дверь и вынул ключ из замка.

— Ну, слава Богу, как гора с плеч подумал Моська. — Лев Александрыч хоть и озорник и смехотвор, а царь у него в голове есть и другом был истинным Борису Григорьичу... Не выдаст он дитя, — не погубит...

XIV. ЛЕВУШКА

Двадцать шесть лет прошло с тех пор, как Лев Александрович Нарышкин кудахтал курицей по дороге из Ораниенбаума в Петергоф. Произошли громадные перемены: прежние деятели один за другим сошли в могилу, великие события совершались в политическом мире, новые светила, быстро заменяя друг друга, появлялись и исчезали на горизонте придворной жизни. В далеком своем Горбатовском, измученный кипучими и упрямыми страстями, до времени состарился и

умер Борис Горбатов.

А Лев Александрович между тем все оставался неизменным, время пощадило даже его наружность. Он рано развил в себе ту житейскую мудрость, которая избавила его от страстей и мучений, превратила его жизнь в непрерывный ряд удовольствий.

Его дружба с Петром III, его близкие отношения ко всем его приверженцам нисколько не повредили ему во мнении Екатерины. Ведь он всегда был и ей близким человеком. Их связывали воспоминания юности, той юности, которая была тяжелою школой для Екатерины. Почти только один Лев Александрович доставлял ей развлечение и веселость в самые печальные годы жизни, и она была не в состоянии забыть этого. Нарышкин навсегда остался для нее близким другом, забавником, чем-то вроде милого любимого брата.

Ей приятно было во все продолжение своего славного царствования после глубокой умственной работы, на какую только и была способна исключительно созданная светлая голова ее, после мучительных забот и волнений честолюбивой и страстной души — ей

приятно было отдохнуть в живой, шутливой беседе с другом юности.

В ее сердце, часто изменчивом, навсегда сохранилось для Левушки (как она называла Нарышкина) особое и никому, кроме него, не принадлежавшее место.

Они хорошо знали и понимали друг друга, и это понимание приносило им обоим большую пользу. Они не ждали друг от друга того, чего не могли бы дать, а потому никогда не ошибались друг в друге.

Нарышкин понял свою роль и остался ей верен до конца жизни. Он был неизменным обер-шталмейстером, не вмешивался в дела государственные, не совался в кабинет императрицы. Его место было в ее уборной, где сыпались остроумные шутки, где раздавался веселый смех, где рассуждалось о вечерних удовольствиях Эрмитажа, где задумывались и исполнялись литературные шалости.

Екатерина иногда отрывалась от своих ученых и законодательных работ, и перо ее, заканчивая главу ее знаменитого Наказа, начинало веселый рассказ, героем которого был Левушка: «Dits et faits de sir Leon Grand Escuyer,

recueillis par ses amis» и потом: «Relation veridique d'un voyage d'outre mer que sir Leon Grand Ecuyer pourrait enteprende par L'avis de ses amis».

Даже в последнее время, год тому назад, Екатерина написала комедию «L'insouciant», в которой целиком был изображен Нарышкин.

Комедию эту играли в Эрмитаже при маленьком собрании, и она имела успех. Сам Лев Александрович радовался и смеялся более всех. Старый друг не мог же обидеть его своими литературными шалостями; напротив — эти шалости доказывали всем и каждому искреннее расположение автора к вечно забавному, остроумному и милому Sir Leonu...

Дом Льва Александровича был настоящим клубом; туда ежедневно, с утра до вечера, собирались все, как знакомые, так почти и не знакомые хозяину. Там задавались обеды, ужины, балы, маскарады, которые нередко удаивала своим посещением и императрица...

Сергей Горбатов хорошо знал историю старинной дружбы, связывавшей его отца с Нарышкиным. К тому же, года четыре назад Лев

Александрович, проездом на юг России, прожил несколько дней в Горбатовском, оживил мрачного хозяина, пленил всех наехавших гостей-соседей. Сергей в эти дни ни на шаг не отходил от него, ловя каждое его слово и потом, по его отъезде, долго оставался под обаянием этого милого человека.

Теперь он с волнением ожидал в одной из обширных гостиных Льва Александровича. Но юноша был уже не тот, каким его помнил Нарышкин.

Завидев входившего хозяина, он не кинулся к нему на шею, как сделал бы это прежде, а только быстро, с радостно заблестевшими глазами и сдержанной улыбкой подошел к нему.

Лев Александрович крепко его обнял.

— Ну, вот и хорошо, что не заставил ждать, скоро приехал, — сказал он, усаживая его рядом с собою. — Э, да каким же ты молодцом и красавцем вышел!

Он быстрым привычным глазом окинул молодого человека и остался доволен первым впечатлением:

«Он хорош собою, прекрасно одет, хоть и

из деревни, умеет подойти, знает, как держать руки, — посмотрим, что будет дальше...»

Сергей передал поклон матери, благодарил за участие, одним словом, исполнил все то, чего требовали приличия. Лев Александрович сделал несколько вопросов относительно кончины своего друга, вздохнул, крепко пожал руку Сергея, но сейчас же переменял разговор. Он не хотел расстраивать ни себя, ни своего молодого родственника печальными воспоминаниями.

— А помнишь, любезный друг, как ты чуть не со слезами уверял меня в Горбатовском, что мы никогда не увидимся с тобою в Петербурге? Увиделись вот, и не долее как через час я доложу о твоём приезде императрице. Легко может статься, что на сих же днях она пожелает тебя видеть.

Он заметил быстро мелькнувшее волнение на лице Сергея.

— Что, любезнейший, аль жутко? Ну, тут нужно взять храбрость в руки, всю деревенскую дикость, как зуб больной, надо зараз с корнем вон! Страшновата операция, да ведь миг один — и потом ничего не осталось. Так и

с тобою будет. Императрица может страх нагонять только на тех, кто не видел ее. Но все же тебе следует наблюдсти за собою, нужно ей понравиться.

— Понравиться? — слабо улыбнувшись, сказал Сергей, — об этом уж лучше я и думать не стану, ибо чувствую, что если стану думать, то кроме худого для меня ничего не выйдет. Я роли играть не умею... уж вот, каков есть, а гожусь ли во дворец — того не знаю!

— Увидим, дружок, и, конечно, никакой роли брать на себя тебе не след. Ты или сам поймешь, как надо держать себя или... никто тебя не научит. Умение жить — это такая наука, которую проходят самоучкой... Ну, а что твой Рено? Так ведь, кажется?.. Он с тобой?

— Да, мы приехали вместе.

— Помнится, ведь он философ?.. Ах, эти французы-философы! Дофилософствовались-таки до революции... чай, слышал... знаешь, что у них там происходит?! Вот и мы когда-то изучали Руссо да Вольтера, только теперь это давно бросили!..

— Дядюшка, — живо перебил Сергей, —

ведь всему свету известно, что государыня в переписке со многими знаменитыми учеными Европы... ее дружба с Вольтером, Дидро...

— Тише, стой, дружок! — улыбаясь остановил его Нарышкин. — Я тебе советую при представлении государыне заговорить с нею об ее дружбе с Вольтером и Дидро, ты увидишь, как приятно ей вспомнить об этой дружбе!.. Нет, Сережа, то были, так сказать, грехи молодости, в которых пришлось покаяться. То были мечтания, а жизнь показала другое. Философы привели Францию на край гибели, и наша мудрая монархиня не может желать того же для России. Философы забыты — да и Бог с ними. Мы должны думать о благе нашего отечества, о его величии. Государыня так высоко поставила русскую державу, перед которой трепещет вся Европа! Ныне снова вострубила слава русского оружия — пал Очаков...

— Да, дядюшка, и я, подобно каждому русскому, возликовал душевно, узнав о сей победе. Но военная слава, внешнее могущество государства — достаточно ли сего для народного блага?

— Ты полагаешь, любезнейший, что монархия не заботится о благе своих подданных? Спроси меня, я, почитай, каждый день ее выдаю, и я могу сказать тебе, что изыскивает она все способы, дабы разоблачить злоупотребления, изгонять неправду. Как бы ни был силен человек, какой бы важный государственный пост ни занимал он, если государыня узнает, что он покривил душою, то без всякого колебания всегда возьмет сторону слабого. Она ищет только правды, хочет знать истину, как бы она ни была ей неприятна. Не раз мне случалось преподносить ей сию горькую пилюлю, плохо подслащивая ее шуткой, — и кроме благодарности я ничего не видел...

— И я знаю много примеров правосудия государыни, но есть такое зло, которое требует особенных мер для своего уничтожения.

Лев Александрович начинал находить этот разговор скучным, а главное, он сказал все, что ему было нужно. Он вынул из кармашка камзола часы, усыпанные бриллиантами, — подарок императрицы, и, взглянув на них, перебил Сергея:

— Извини меня, мой милый, когда-нибудь на досуге я о многом поговорю с тобою, а теперь дам тебе совет, а ты меня внимательно выслушай: высшая политика, дела государственные — все это заключено в кабинете императрицы и там всему этому настоящее место. Я никогда не суюсь туда, а тебя пока туда и не пустят. Ты слишком скучал в деревне, не видел общества, много учился, вам было достаточно времени толковать о всяких важных материях с Рено. Сюда же ты приехал не для ученья — ты должен увидеть людей, развлечься, повеселиться, отдохнуть от деревенской науки... Так ты и сделай: будь веселым, любезным молодым человеком и не думай ни о философии, ни о политике. В жизни есть много и другого, много интересного и забавного, и ты на сих же днях увидишь, что я прав. О, да я по твоему лицу уже вижу, что твоя философия скоро с тебя соскочит... Посмотри, как мы весело живем, ведь ты ничего не видел в деревне, а тут театры, балы, хорошенькие женщины...

Театры, балы, хорошенькие женщины!

Сергей танцевал контрдансы и менуэты в

Горбатовском и Тамбове, но это случилось раза два-три в год. Домашние спектакли они тоже устраивали — это было весело, забавно, но он уже слышал от Рено о настоящем театре, о знаменитых артистах, а все европейские знаменитости стекались теперь в Петербург. Хорошенькие женщины — они ему теперь не нужны, для него существует одна только хорошенькая женщина в мире, и тут ее нету...

Но вот он невольно, с некоторым замиранием сердца, повторил про себя слова Нарышкина:

«Театры, балы, хорошенькие женщины».

Лев Александрович опять взглянул на часы:

— Пора к государыне, а тебе, Сережа, надо познакомиться с моим семейством. Ведь ты не знаешь еще ни тетку, ни кузин. Но теперь они спят — вчера поздно заснули, и тебе их долго придется дожидаться. Советую сделать утренние визиты к тем, кто встает рано, и к тем, кого в этот час можешь застать дома, ко мне же милости прошу нынче к обеду. Выйдем вместе.

У крыльца Лев Александрович послал воз-

душный поцелуй Сергею и так быстро вскочил в карету, что ливрейные лакеи не успели подбежать к нему.

Новый нарядный экипаж дожидался и Сергея.

«Ничего, милый мальчик... Обойдется... И все же этот философ-воспитатель оказал услугу. Он, кажется, умеет держать себя. А как красив!.. Какая стройная фигура! О! Он должен понравиться со своим девическим румянцем... Авось обойдется...»

И вдруг Лев Александрович громко расхохотался.

Он вспомнил, что в уборной остался запертый карлик Моська, а ключи от обеих дверей у него в кармане.

«И ведь раньше обеда дома не буду! За что же Моське наказание такое — за доброе чувство... Ничего, пускай — не вредно...»

Карета остановилась у дворцового подъезда, лакеи распахнули дверцы, веселый оберштальмейстер, встречаемый низкими поклонами, поспешил через знакомые ему покои в уборную императрицы.

XV. УТРО ЦАРИЦЫ

Все это утро, как и всегда, ровно в шесть часов раздался звонок из спальни императрицы.

Прошло минут десять, и Марья Савишна Перекусихина — толстая старуха с умным и в то же время добродушным лицом вошла в спальню, наскоро застегивая лиф своего платья.

Возле кровати, на маленьком столике, была зажжена свечка. Английская собачонка выползла из-под атласного одеяльца, спрыгнула с маленькой собачьей кровати, стоявшей у самой постели императрицы, и, ласково виляя хвостом, побежала к Марье Савишне.

Екатерина не шевелилась.

Марья Савишна прислушалась.

— Заснула! — прошептала она. — Свечку-то зажгла, да и опять заснула... а и я позамешкалась...

Она подошла к спящей, уже тронула было ее за руку, чтобы разбудить, но остановилась, ласково на нее глядя.

— Будить-то жаль, ишь ведь, как сладко заснула, голубушка! А и то опять: не разбудишь — гневаться станут... Матушка! — проговорила она вполголоса.

Екатерина открыла глаза, потом снова закрыла их, но, сделав над собою усилие, приподнялась с подушки. Она потерла себе лоб, отгоняя сон, и взглянула на часы с будильником, стоявшие возле свечи.

— Двадцать минут седьмого! — поздно... я тебе ровно в шесть позвонила, Марья Савишна!

— Замешкалась я нынче, государыня-матушка, уж простите. Да и сами вы подремали бы еще с полчасика, ведь вон вижу: глазки-то слипаются.

— Подремала бы... Ох, с каким бы удовольствием подремала, — проговорила Екатерина, потянувшись и зевнула. — Подремала бы, только баловать себя нечего!

— Да когда здоровы, так оно хорошо, а ведь, почитай, две недели, матушка, прохворали — силить себя и не след. Нынче-то как здоровьице? — спрашивала Марья Савишна, подавая императрице чулки.

— Не совсем, Марья Савишна, не то уж мое здоровье. Вон ноги опять как будто припухли. Голова тяжела что-то...

Марья Савишна тихонько вздохнула.

Между тем императрица встала с постели, набросила на себя капот и бодро прошлась по комнате. Теперь уж все четыре собачки вылезли из-под шелковых с разноцветными кистями одеялец и радостно прыгали вокруг нее, виляя хвостами, отрывисто взвизгивая и силясь поймать и лизнуть ее руки.

Она собственноручно растопила камин, прошла в уборную, вытерла себе льдом лицо и руки.

— Вот и голова посвежела! Нет, Марья Савишна, ты, пожалуйста, никогда не слушай меня, не соблазняй валяться в постели. Коли неможется, тот тем паче надо себя переламывать, а то совсем расхвораться можно... Причеши-ка уж меня, и нынче сама я еще денек на правах больной останусь.

Екатерина села в небольшое, низенькое кресло перед зеркалом, вынула из головы гребень, и густые, местами уже седеющие волосы ее рассыпались почти до самого полу. Ма-

рья Савишна принялась за немудреную и во-
все не модную прическу императрицы.

В зеркале отражалось все еще моложавое
и свежее лицо, с быстрыми, прекрасными
глазами, несколько выступившим вперед
подбородком и складкой между бровей, часто
придававшей этому красивому лицу серьез-
ное и даже сердитое выражение. Эта досадная
складка появилась в последние годы и очень
смущала Екатерину.

— Что нового, Марья Савишна? Вчера-то
мне и двух слов не удалось сказать с тобою.
Не слышать ли чего? О чем говорят в городе?

— А все о том же матушка, у всех на языке
и на уме приезд светлейшего, многие голову
повесили.

— Голову повесили, — тихо повторила Ека-
терина. — И с чего это так его не любят, кому
он стал поперек дороги?! Все зависть, мелкая
зависть... Да, никто не любит его, только Бог
да я его любим... Вот и я тоже целые дни ду-
маю о его приезде!.. Ох, как мне нужен свет-
лейший!.. А и боюсь: бранить меня будет... уж
так и знаю — большие у нас выйдут споры!..
пожалуй, от некоторых планов придется от-

ступиться. Ведь вот, Марья Савишна, человек! Вот голова! Иной раз со всех сторон обдумаешь дело, решишь, что так-то вот нужно поступить непременно, все ясно, яснее и быть не может, а он придет, заговорит и найдет ошибку — и поневоле приходится по его делать...

— Уж что и говорить, что и говорить, — повторяла Марья Савишна. — Золотая голова у светлейшего! Одну только еще такую головку знала: покойник Григорий Григорьевич...

— Да, — раздумчиво произнесла Екатерина, — правда твоя — эти два человека были мне судьбою посланы, без них я бы пропала. Только молоды мы были с Григорием Григорьевичем, во многом тогда ошибались. Теперь уже не то время, не те годы. А вот светлейший не ошибается!

Екатерина задумалась. В одну минуту многое мелькнуло из ее прошлого: молодая, полная сил, кипучая умственная деятельность с даровитым помощником, Григорием Орловым, мечты о благе человечества, дружба с философами... Теперь из этого осталось очень мало. Бюст Вольтера, перед которым чуть не

молилась императрица, брошен; бюст Фокса тоже. Вашингтон, от геройства которого трепетало сердце, который представлялся великим освободителем своей родины, теперь уже в ее глазах мятежник. Мечты о народном благе являются все реже и реже, их заменили другие мечты и планы. Величие России — вот о чем грезит Екатерина. Восстановление Греческой империи на берегах Босфора — вот заветный план ее и Потемкина. Славные победы, военная сила, крепость правительства — вот единственные оплоты против той бури, которая начинается на Западе и так тревожит Екатерину.

Она вздохнула. И вдруг ее мысли от этих тревожных предметов, денно и ночью занимавших ум ее, перешли к другому предмету, не менее тревожному, наполнявшему ее женское сердце, несмотря на годы, не успевшее еще состариться.

— А что граф?.. Что Александр Матвейч?.. — с волнением в голосе спросила она Марью Савишну. — Ведь я просила тебя пораньше послать вниз узнать, как он провел ночь — вчера он мне совсем больным пока-

зался.

— И узнала, — ответила Перекусихина. — Лег часов в одиннадцать, не позже, и по сие время поживает. Да не тревожьтесь, матушка, какая там болезнь — человек молодой, здоровый... ну, прихворнул немножко, что за беда. А то и так, просто капризен он у нас стал... избаловали мы его больно.

— Ну что за баловство! — перебила Екатерина. — Я стараюсь награждать по заслугам, а заслуги Александра Матвейча немалы, и уж особенно теперь, в отсутствии светлейшего, я без его помощи ни в чем обойтись не могу.

— Так-то так, а все же не мешало бы поостроже, чтобы не капризничать.

Прическа Екатерины была готова. Она отпустила Марью Савишну, перешла в кабинет, выпила уже принесенную камердинером чашку крепкого кофе с несколькими маленькими гренками. Ее собачки выбежали за нею, нетерпеливо визжали, пока она не раздала им кусочки сахара и гренков, тогда собачки успокоились. Она присела к небольшому столу, на котором разложены были бумаги. Резче выступила суровая складка между бровя-

ми императрицы, губы ее сжались. Она углубилась в чтение бумаг и забыла все свои заботы, быстро проникая в сущность лежавших перед нею дел и уясняя себе все их подробности. Время от времени она отрывалась от работы, открывала табакерку с изображением Петра Великого и нюхала свой любимый «рульный» табак.

Так проработала она почти до девяти часов, и окончив чтение последней лежавшей на столе бумаги, взялась за колокольчик.

Дверь тихо отворилась, и показалась почетная фигура старого камердинера Зотова.

— Что Александр Васильевич, пришел уже? — спросила императрица.

— С четверть часа как дожидаются, ваше величество.

— Так попроси его.

— Пожалуйста, батюшка Александр Васильевич, — сказал Зотов, пропуская секретаря императрицы, Храповицкого, и запирая за ним дверь.

Храповицкий, человек средних лет, очень тучный, с красным и потным лицом, отвесил почтительный поклон императрице и про-

ворно подошел к письменному столу. Екатерина кивнула ему головой, улыбнулась и указала на кресло.

— Садись, Александр Васильевич. Что это, батюшка, вы так раскраснелись, будто из бани?!

— Жарко, ваше величество, — с приятной улыбкой ответил Храповицкий.

Из этих слов, из подтруниваний над его тучностью, он заметил, что императрица на этот раз в духе.

«Слава тебе, Господи — подумал он, — а то все последнее время такая сердитая, не знаешь как и подступить».

— Жарко! — повторил он.

— Да, около двадцати градусов мороза, да и здесь не более тринадцати — так оно, конечно, жарко! — улыбаясь сказала Екатерина. — Право, завидно смотреть на вас — как у юноши кровь горячая!.. — Ну, задали же наши господа мне сегодня работу, вот возьмите — это записка Салтыкова, тут о рекрутах и укомплектовании армии...

Она протянула ему бумагу, широкие поля которой были только что ею во многих ме-

стах исписаны.

— Взгляни, пришлось-таки посидеть... А и за то спасибо, он все же умнее Пушкина... Да, трудно с полученными и глупыми иметь дело — их всякая мелочь останавливает. Вот отдохну скоро — придет князь... Avec l'homme d'esprit et de génie on peut tirer partie de tout, всегда найдешь средства...

Бумага сменялась бумагой. Императрица высказывала свои мнения и замечания по самым разнообразным делам со всегдашней своей точностью и логичностью. Только Храповицкий скоро начал подмечать, что голос ее с каждой минутой становится резче, лицо суровее.

«Неспокойны, — подумал он, — тревожатся, хоть бы скорее уж приехал Потемкин, авось успокоит».

— Ну, кажется, все теперь! — наконец сказала императрица, потянувшись в кресле, понюхала табаку и кивнула Храповицкому.

— До свиданья, Александр Васильевич! Коли нужно что будет — пришлю.

Храповицкий раскланялся.

Вслед за его уходом в кабинет прошел

оберполицмейстер, а затем и другие должностные лица со своими докладами.

На этот раз Екатерина никого долго не задерживала. Она казалась несколько утомленной, молча выслушивала доклады, только изредка прерывая их немногосложными замечаниями.

Покончив со своими докладчиками, она снова перешла в уборную.

В этот час утра здесь обыкновенно собирались самые приближенные к ней лица, и пока парикмахер убирал ей голову, велась оживленная беседа. Но вот уже две недели, как Екатерина хворала и не принимала почти никого утром; на сегодня даже и парикмахеру нечего было делать.

В уборной императрица застала только свою приятельницу, Анну Никитишну Нарышкину, невестку Льва Александровича, и лейб-медика Роджерсона, несколько чопорного с виду англичанина, которому в его долгое пребывание во дворце пришлось много крови выпустить из императрицы.

Роджерсон сейчас же приступил к исполнению своих обязанностей: подробно осведо-

мился о состоянии здоровья императрицы, прислушался к ее пульсу и своим тихим, спокойным голосом заметил:

— Все еще некоторое волнение, но все же сегодня совсем здоровый вид, государыня, и никакой диеты больше не нужно; желательно бы поменьше занятий, побольше развлечений; но тут я бессилён изменить ваше упрямство и по долгому опыту знаю, что мои советы будут оставлены без внимания.

— Да я и без ваших советов, любезный Роджерсон, плохо работала!

Затем императрица обратилась к Нарышкиной и дружески протянула ей руку.

— Здравствуй, Анна Никитишна, спасибо, что навестила, я еще с вечера никого кроме тебя просила не пускать. Потолкуем немного, да вот с детками повожусь — на нынешнее утро мне и довольно развлечений.

В это время в соседней комнате раздались детские голоса. Это были внучата императрицы, которых в обычный час вели здороваться с бабушкой.

Дети цесаревича жили и воспитывались при Екатерине. Она пожелала сама о них за-

ботиться. Цесаревич с супругою проживали почти всегда в Гатчине. Он приезжал в Петербург не особенно часто, зато великая княгиня Марья Федоровна наизусть знала дорогу из Гатчины в Петербург. Она почти ежедневно, несмотря ни на какую погоду, приезжала поглядеть на своих любимых деток и поласкать их.

Милые детские лица окружили Екатерину. Двенадцатилетний великий князь Александр, стройный красавец-мальчик с великолепными голубыми глазами, почтительно целовал руку бабушки. За ним подошел и брат его, Константин, живой, несколько порывистый, с маленьким вздернутым носиком. Он твердо, как давно заученный урок, сказал свое утреннее приветствие и в то же время с легкой насмешливой улыбкой поглядывал на Роджерсона, который всегда казался ему смешным.

Три маленькие девочки, из которых старшей было шесть лет, а младшей всего три года, уже без всякого этикета что-то лепетали, перебивая друг дружку и обступая кресло бабушки.

Екатерина крепко всех их перецеловала,

взяла к себе на колени свою любимицу, младшую внучку, и с новой улыбкой, улыбкой бабовницы-бабушки, перебирала ее шелковистые локоны. Девочка делала уморительные минки и жаловалась, что ей дали очень маленькую булочку.

— Ах ты моя смешная, моя умница!.. — улыбаясь, говорила Екатерина. — Александр, друг мой, что это ты как будто немного бледен сегодня, здоров ли? — обратилась она к старшему внуку.

— Здоров, государыня. Я рано проснулся, урок надо было выучить, только что кончил.

— Увижу, хорошо ли будешь знать его. — Пока я довольна тобою, дай Бог, чтобы и вперед было также. *Et vous, petit polisson?*

Она притянула к себе Константина и держала его руку.

— По глазам вижу, что вместо урока шалил. Смотри, смотри, не доведут до добра шалости... тобою я не совсем довольна... лениться стал — стыдно!

Но она не могла вызвать на своем лице строгого выражения. Она начинала в последнее время чувствовать большую слабость к

этому шаловливому мальчику. Она часто о нем думала, и в ее мыслях он представлялся ей не иначе, как будущим греческим императором.

— Защитите, государыня, меня не пускают в уборную! — вдруг у самой двери раздался громкий голос.

— Ах, Бог мой, даже испугал! — сказала императрица. — Входи уж, Лев Александрович, коли до дверей добрался.

Нарышкин, веселый, сияющий свежестью, подошел к руке императрицы. Дети весело окружили его.

— С чем пожаловал? — спросила Екатерина.

— Да что это, матушка-государыня, все нездорова да нездорова! Пора и поздороветь. Солнце, мороз, так хорошо, что чуть не замерз в карете, а тут вдруг в уборную не пускают, хоть бы обогреться немного.

— Грейся, Левушка, сколько душе угодно. Так ты, значит, совсем без дела?

— Когда же с делом?! — изумленно спросил Нарышкин. — До старости дожил, каждый день ищу дела и все же до сей поры не

могу найти его — все дела разобрали, про меня и не осталось... Да Бог с ним, с делом. А вот, чтобы не забыть, государыня, прилетел из Тамбова птенчик, о котором спрашивать изволили.

— Какой там еще птенчик? Про кого спрашивала?

— Покойника Горбатова сынок.

— Ах да, помню! — проговорила императрица. — Это хорошо, что он приехал, и я желала бы его видеть. Помнится, вы его хвалили. Что он, не в отца?

— Нет, сходства большого не заметно... да вот сами взгляните, государыня.

— Непременно, и прошу вас, Левушка, завтра же в шесть часов в Эрмитаже мне его представить.

XVI. ПЕРВЫЙ ШАГ

Вернувшись из дворца, Нарышкин, по обыкновению, застал у себя много народу и в том числе Сергея, который успел и без его помощи отрекомендоваться тетушке и кузинам. Он встретил с их стороны самый радушный прием. Между ним и молодыми девушками скоро завязалась оживленная беседа, и через какой-нибудь час они совершенно ознакомились друг с другом. Сергею начинало казаться, что в Петербурге все такие милые, добрые люди, да и с красотой он уже успел столкнуться. Одна из дочерей Нарышкина, Марья Львовна, была очень хороша и при этом умна и кокетлива. Сергей, незаметно для самого себя, слишком часто и восторженно начинал на нее поглядывать. Быстро собиравшиеся гости тоже еще усилили хорошее настроение его духа. Все были так рады с ним познакомиться, так ласкали его, оказывали всевозможное внимание.

Красивый молодой человек, знатной фамилии и с огромным состоянием для отцов и матерей, имевших взрослых дочек, представ-

лялся завидным женихом; девицы сразу обратили внимание на его красоту и свежесть; молодые люди сообразили, что дружба с ним может быть и приятна, и полезна. Он получил столько приглашений, что не успевал благодарить и откланиваться.

Подоспело и новое обстоятельство, которое еще более подняло ему цену перед собравшимся обществом: Лев Александрович громко, так что все слышали, объявил ему о назначенной на завтра аудиенции в Эрмитаже.

Между тем домашние обступили Льва Александровича и спрашивали, отчего заперта уборная и что там такое? Это была загадка, которая вот уже несколько часов их занимала. Обе двери на запоре, и все слышали, как что-то там шевелится:

Лев Александрович громко рассмеялся.

— Да, да, там у меня безвинный узник. И знаешь ли, Сергей Борисыч, кто? Твой Моська.

— Моська?! — изумленно спросил Сергей. — Так вот он где! А я заехал домой, спрашиваю Степаныча, но он не является, и мне говорят, что он с утра пропал...

— Да, видишь ли, мы с ним старые приятели, ну он и не утерпел, прибежал ко мне утром, а как ты приехал, он и испугался, что ты бранить его будешь, и просил меня его спрятать... я его запер да и позабыл совсем, а ключи от дверей увез с собою.

Узника освободили, и несмотря на все его возражения, Лев Александрович представил его обществу. Мода на шутов и карликов, благодаря трезвым взглядам императрицы и примеру, ею подаваемому, в эти годы уже прошла, но русское общество все же чувствовало к ним невольное влечение. Моську окружили, забавлялись его крошечной, нарядной фигуркой, его детским голоском, смешными манерами. Его забрасывали различными вопросами. Но на этот раз он был мрачен, чувствовал себя неловко, старался не смотреть на своего господина, который, однако, видимо, на него не сердился и ограничился только спокойным замечанием:

— Вот, Степаыыч, убежал не сказавшись — и просидел с утра голодный...

— И в самом деле, чего ты, дурень! — шепнул ему Нарышкин, — нашел кого бояться —

Сергей Борисыча!

— Да не его я боюсь, — тоже шепотом отвечал карлик, — тут не он, а француз, и уж знаю я, зачем просил не выдавать меня... А вы, ба-тюшка, ваше высокопревосходительство, не могли, чтоб не подшутить над стариком... и не грех вам?!

— И не думал, любезный, просто позабыл, не взыщи уж!

Но Моська продолжал оставаться мрачным и смущенным...

На следующий день, напутствуемый наставлениями Рено, Сергей отправился представляться государыне.

Вот и дворец. Мелькнули огни ярко освещенного подъезда.

Была минута, когда Сергею захотелось крикнуть кучеру, чтобы он ехал назад — такое смущение, такая детская робость вдруг его охватили, но он, конечно, ничего не крикнул.

С лихорадочной торопливостью он вошел в сени. Дежурные камер-лакеи вежливо, но без особенной почтительности ему поклонились; один из них подошел и спросил, что ему

угодно.

Он, как и было условлено, попросил вызвать Нарышкина.

— Знаю-с, — ответил камер-лакей, — пожалуйста!

Сергей оправился перед зеркалом и пошел за ним, не замечая, куда идет. Он чувствовал дрожь в ногах, кровь то прилиwała к его щекам, то отлиwała.

«Да что же это такое? — отчаянно подумал он, — ведь этак нельзя, ведь этак я и слова сказать не сумею... Ну, не понравлюсь, так что ж за беда!.. Ведь ничего из этого не выйдет... дадут понять... тот же вот Лев Александрович откровенно скажет — и отправлюсь я опять в Горбатовское или куда хочу... Отправлюсь прямо с Рено за границу... во Францию... в Париж!.. Еще гораздо лучше... зачем же мне робеть!»..

Такие мысли сразу его успокоили. Он огляделся, увидел себя в высокой и обширной зале, увешанной картинами, заставленной вазами, статуями, статуэтками, всевозможными произведениями искусства.

— Извольте обождать здесь, сейчас доло-

жу, — произнес его проводник и скрылся за портьерой.

Через минуту вышел Нарышкин, как и всегда, улыбающийся и довольный. Он быстро оглядел Сергея.

«Одет безукоризненно, к лицу причесан... заметно небольшое волнение, глаза блестят... прелестный мальчик!»

— Ну, это хорошо, ни на минуту не опоздал, а у нас аккуратность прежде всего — государыня в этом сама пример подает, — сказал он, взял Сергея под руку и ввел в соседнюю комнату, в глубине которой, за двумя карточными столами, сидело небольшое общество.

Сергей успел заметить полную женскую фигуру, лица которой не было видно, так как она наклонилась в это время над столиком и записывала мелком, заметил рядом с нею толстого, неуклюжего человека; мелькнуло перед ним и третье лицо — худощавого молодого франта, небрежно развалившегося в кресле.

Франт поднял на вошедших свои темные, усталые глаза; как будто легкая усмешка про-

мелькнула по мелким чертам лица его, а затем он тотчас же опустил глаза, тихонько зевнул и потянулся в кресле.

Нарышкин оставил Сергея, подошел к склонившейся над столиком даме, что-то шепнул ей. Сергей услышал ее приятный голос.

— Сейчас... сейчас!.. двадцать... пятьдесят... Лев Александрыч, садитесь, докончите за меня партию.

Дама бросила мелок, встала с кресла и сделала несколько шагов к Сергею.

Он увидел величественное, красивое и несколько строгое лицо императрицы. Складка между бровями особенно резко выделялась.

Он наклонил голову и сделал почтительный, глубокий поклон.

— Здравствуйте, рада вас видеть, — произнесла императрица, внимательно и ласково оглядывая стройную красивую фигуру юноши.

Он поднял на нее глаза.

Она приветливо улыбнулась. Эта улыбка мгновенно преобразила ее. Все лицо помоло-

дело сразу на несколько лет, и от этой улыбки тотчас же исчезла робость, опять было явившаяся в Сергее.

— Поговорим, — сказала Екатерина, и так просто, так ласково, что ему стали понятны все восторженные о ней отзывы, которых он слышался.

Одной мимолетной улыбкой, одним словом она приворожила его к себе, как делала это почти со всеми.

Она подошла к широкому окну, куда он последовал за нею, присела на мраморный подоконник и, играя тяжелою кистью занавеса, стала его расспрашивать — благополучно ли он приехал, не случилось ли с ним чего дорогого, в добром ли здоровье оставил свою мать и домашних.

Он начал отвечать ей, немного заикаясь и путаясь в словах, но скоро оправился. Ее улыбка вызывала улыбку и на его лице. Он совсем даже забыл, что перед ним императрица, он видел только в ней новую знакомую — любезную и милую. Он едва спохватился, что чересчур редко называл ее «ваше величество»...

А она все расспрашивала, да так, что поневоле приходилось отвечать не отрывистыми фразами, а распространяться, рассказывать.

Незаметно с русского языка разговор перешел на французский, коснулся литературы, наук.

Сергей не замечал, что это был ловкий и строгий экзамен, он понимал только, что надо воздерживаться от критики философских мнений и был на этот счет очень осторожен.

— И вы дальше Тамбова никуда из деревни не выезжали? — переспросила Екатерина.

— Это первая моя поездка, ваше величество, я до сих пор не могу прийти в себя, все кажется, будто сплю и во сне вижу.

Она весело рассмеялась.

— Вы очень счастливы, если видите наяву хорошие сны — это только и можно в ваши годы. Вы много учились и, как я вижу, учились под руководством хорошего наставника, faites lui mes compliments. Хорошие наставники в наше время большая редкость!.. Имея серьезную подготовку, я надеюсь, вы и впредь не будете пренебрегать полезными занятиями; учиться надо всю жизнь, я вот до сих пор

учусь и все еще мало знаю. Но теперь вам пора уже приступить и к практической деятельности. Я подумаю об этом и у меня даже есть на ваш счет план... До свидания, веселитесь в Петербурге, мы скоро опять увидимся!..

Императрица милостиво кивнула головою и протянула Сергею свою маленькую, полную руку.

С чувством благодарности он поцеловал эту руку, откланялся и начал отступать к двери.

Ему было так легко, весело, он уносил с собою восторженное молодое почитание государыни.

А Екатерина снова подошла к своему креслу у карточного стола, и Нарышкин поднялся, уступая ей место.

— Как мой птенчик? — спросил он.

— Как нельзя лучше, — улыбаясь ответила она, — и я даже охотно прощаю его покойному отцу, что он безвыездно держал его в деревне и там воспитывал. У него был, по-видимому, хороший учитель, и вообще, недоучкой нельзя его назвать, как многих его здешних сверстников... Послушайте, граф, — обрати-

лась она к сидевшему рядом неуклюжему толстяку, — мне хотелось бы отдать молодого Горбатова в вашу школу; у него, насколько я могла заметить, есть наблюдательность, проблески живого ума, он говорит по-французски, как природный француз. Я пришлю его к вам, потолкуйте с ним и затем сообщите мне ваше о нем заключение.

— С особенною радостью исполню приказание ваше, государыня, — отвечал граф Безбородко, — у меня большая нужда в смышленных молодых людях, и я заранее знаю, что он мне пригодится.

— Ну, заранее, это зачем же, — перебила императрица, — может, я в нем и ошиблась.

— Не ошибаетесь, матушка, — с малороссийским акцентом, лукаво и в то же время добродушно улыбаясь, сказал Безбородко, — не в первый ведь раз у того окошечка людей разглядываете, в полчаса каждого разглядите, немало тому примеров бывало — все мы знаем.

— А коли так, то тем и лучше, я и буду считать, что у меня в распоряжении новый дипломат Горбатов... Что же, выиграл ты, что

ли, мою игру, Левушка? — обратилась она к Нарышкину.

— Проиграл, матушка, хоть казните на семь мест, проиграл и вконец осрамился.

— На сей раз казнить не стану, Бог с тобою, авось отыграюсь.

Екатерина взяла карты, взглянула на сидевшего против Безбородко, по другую ее сторону, молодого франта.

Он будто дремал, только время от времени взмахивая своими усталыми глазами и снова почти закрывая их.

— Что так рассеян, Александр Матвеевич? — спросила она, и тревога слышалась в ее голосе. — Или нездоровится?

Мамонов взглянул на нее, вышел из своего полузабытья и тихим голосом произнес:

— Нездоровится, государыня, с утра что-то грудь давит; но это пустое — плохо ночь спал, вчера с вечера зачитался, выплюсь — и пройдет все.

Екатерина покачала головою, улыбка сбежала с лица ее, сильнее выступила складка между бровей. Она подавила в себе вздох.

— Начнемте же! — сказала она, обращаясь

к партнерам.

XVII. У БЕЗБОРОДКО

На следующий день Сергей получил от гофмейстера и министра иностранных дел, графа Безбородко, официальное извещение. По желанию государыни он должен был к нему явиться в 10 часов утра.

— Serge, я положительно начинаю думать, что вы носите при себе какой-нибудь восточный талисман, — весело сказал Рено, узнав об этом, — я очень задумался, когда вы передали мне слова государыни, что у нее есть насчет вас планы... теперь эти планы ясны, вы, вероятно, будете служить в министерстве иностранных дел... понимаете ли, ведь все теперь от вас зависит, быть может, мы и Париж увидим скоро!

Сергей радовался не менее своего воспитателя. Уже без тревоги и робости, навсегда его покинувших после свидания с императрицей, он отправился к Безбородко, роскошный дом которого помещался на Почтамтской, где и до сих пор существует.

В то время граф пользовался большою си-

лою и влиянием на дела. Состояние его увеличивалось с каждым годом, и он употреблял его для доставления себе всех радостей жизни. Его дом спорил в роскоши с царским жилищем. Любитель искусств, он украсил его замечательными картинами, наполнил всевозможными редкостями, так что пространные приемные залы имели вид богатейшего музея.

Когда Сергей проведен был в приемную, он увидел в ней множество народу. Несколько должностных лиц, в звездах и лентах, составляли нарядную группу, вели между собою вполголоса оживленную беседу и, очевидно, старались держаться в стороне от просителей, разместившихся по всем углам.

Тут были люди различных состояний и возрастов, старики и старухи, женщины с детьми, отставные военные, чиновники, но больше всех было приезжих в Петербург малороссов. Они ежедневно надоедали просьбами и делами своему знаменитому соотечественнику-графу, в котором почти всегда находили защитника и благодетеля. Множество прислуги бегало по комнатам; из канцелярии

то и дело показывались и опять удалялись секретари Безбородки. К секретарям подходили некоторые посетители и посетительницы, униженно им кланялись, рассказывали о своих делах, давали почти на глазах у всех взятки.

Из внутренних комнат выходили разные графские жильцы. Вообще в доме не существовало, по-видимому, никакого этикета, и, несмотря на необыкновенную роскошь, не замечалось особенного порядка.

Прием в кабинете графа уже начался. Туда входили один за другим важные чиновники, и лица их у двери кабинета, как заметил Сергей, внезапно менялись: еще за минуту перед тем они держали гордо и высоко голову, глядели на толпу просителей с нескрываемым презрением, едва отвечали на обращенные к ним поклоны, — входя же в кабинет, они сразу теряли всю свою важность, лица их принимали более или менее озабоченное выражение. Сергей с любопытством делал свои наблюдения; он никогда еще не видал такого разнообразного сборища. Он не замечал, как шло время. Но вот дежурный чиновник подо-

шел к нему с неизменным и любезным «пожалуйста!»

Сергей очутился в большом кабинете, заставленном разнообразной мебелью, увешанном картинами не особенно скромного содержания, но зато принадлежавшими кисти более или менее знаменитых художников. Мягкая, удобная мебель показывала, что хозяин любит понежиться.

Он и теперь лежал у пылавшего камина в огромном бархатном кресле. Его прическа была помята, осыпавшаяся пудра покрывала воротник камзола, плохо натянутые чулки лежали складками на жирных ногах, на одном башмаке недоставало пряжки. Вообще, Безбородко производил впечатление заспанного и плохо умытого неряхи. Однако в некрасивом, заплывшем жиром лице его Сергей подметил добродушную улыбку; живые глаза хитро глядели. Войдя, Сергей почтительно поклонился графу, а тот, не вставая, протянул ему руку и указал на кресло.

— Очень рад познакомиться, — сказал он, — присядьте; извините, что я вот так лежу... да что делать, не спалось, расклеился со-

всем. Вы вон какой свеженький, видно, ночь-то проспали хорошо, хотя это вам не много чести делает — молодым людям ночью вовсе не спать надо... ну, а я плохо спал... плохо!

Он потянулся, зевнул, зажмурил глаза и слабо улыбнулся какому-то своему собственному приятному воспоминанию.

Сергей сел в указанное ему кресло.

— Я получил извещение вашего сиятельства и поспешил явиться, — сказал он.

— Да, я вас потревожил по приказанию государыни; она довольна своим разговором с вами и поручила мне узнать, не желаете ли вы поступить на службу?

— Мне кажется, что мое желание в таком деле мало значит, — отвечал Сергей, — я могу очень желать служить; но вопрос в том, годен ли я для службы, могу ли принести какую-нибудь пользу — сам я решить этот вопрос не в состоянии.

Безбородко улыбнулся и пристально поглядел на Сергея.

— Все это прекрасно! Так вы бы хотели так служить, чтобы приносить пользу?

Сергей поднял на него изумленные глаза.

— А то как же? Иначе я не понимаю службы, мне кажется, что ни один порядочный человек иначе и понимать ее не может.

— Казалось бы, что так, но большинство смотрит на службу государству только со стороны тех выгод, какие она приносит. Я очень рад, что вы держитесь иного взгляда. Стоит только хотеть, молодой человек, и пользу вы, конечно, принесете. Желаете служить у меня по иностранным делам?

— Я почту себя крайне счастливым, ваше сиятельство, и мне кажется, что это именно то дело, которое может увлечь меня.

— Так, стало быть, по рукам и пока об этом довольно; я сделаю нужные распоряжения, познакомлю вас с моей канцелярией, там в канцелярии я буду вашим начальником, но здесь прошу вас считать меня только хозяином... Не забывайте меня, мой дом открыт для вас... Завтра вечером тут у меня пляс будет, пожалуйста!

Безбородко протянул Сергею свою жирную руку и вдруг совсем оживился.

— Вы, я слышал, еще и Петербурга не видали, так на первых порах веселитесь, молодой

человек...

Сергей благодарил графа за его любезное приглашение и в то же время про себя удивлялся, как это все только и знают что советуют ему веселиться.

А Безбородко между тем спрашивал:

— Были в театре? Как понравились наши актеры, а главное, актрисы как понравились? В Петербурге столько хорошеньких женщин, ну, а где скажите, где можно встретить вот хоть такую?..

Он схватил с маленького столика, стоявшего у его кресла, миниатюрный портрет и передал его Сергею. Это была, действительно, замечательно хорошенькая головка очень молоденькой девушки.

— Что, хороша?.. Хороша?.. — спрашивал Безбородко.

— Очень хороша, — отвечал Сергей, — если только художник не постарался прикрасить ее на портрете...

— Какое прикрасить!.. Она здесь хуже... Хуже, чем в натуре... О, эти глаза!.. Этот ротик!.. Нет, это такая девочка, какой я еще не видел!..

— Кто же она?

И, сказав это, Сергей смутился — может быть, не следовало спрашивать!

— Кто она?.. Да весь Петербург ее знает, и вы, конечно, скоро ее узнаете. Это актриса Каратыгина!.. Только что появилась на сцене и какой талант! Это чудо!.. Волшебница!

Куда девалась заспанность и обрюзглость Безбородки. Он вскочил с кресла, глаза его горели, он жестикулировал. Сергей с изумлением на него поглядывал. Видно, была права княгиня Пересветова, когда рассказывала свои анекдоты про графа Безбородку...

В это время у двери, ведущей в приемную, где дожидались просители, вдруг раздалось громкое зевание, потом топанье ног.

— Это еще что такое? — прислушиваясь, сказал Безбородко. — Вы не заметили, много там народу?

— Очень много.

— И вот так каждый день, замучили меня совсем.

Опять раздалось топанье и даже ручка дверей зашевелилась.

— Нет, это любопытно! — воскликнул Без-

бородко, тихонько подошел до двери и неслышно приотворил ее.

Через минуту он обернулся и поманил к себе Сергея.

— А загляните-ка, — шепнул он, — вот так потеха!

Сергей взглянул в щелку. Некоторые из просителей уже ушли, очевидно, ограничившись объяснениями с секретарями, другие терпеливо дожидались, сидя у окон на стульях. Один только хохол в огромных сапожищах, с длинными усами и необыкновенно добродушным лицом ходил по комнате.

Сергей, дожидаясь в приемной, уже заметил этого хохла, который тогда с большим любопытством разглядывал картины, покрывавшие стены; теперь же он, видимо, пересмотрел все интересное и потерял всякое терпение дожидаться своей очереди. Его стала одолевать зевота, и он нисколько не стеснялся. Вот он еще раз подошел к двери, а потом вдруг остановился и сделал рукой по воздуху быстрое движение — он заметил муху. Раскрыл ладонь — муха вылетела.

— А от же поймаю! — сказал он и погнался

за мухой.

Безбородко дернул Сергея за рукав.

— Ну, не потеха ли?

Он закрыл рот платком, чтобы громко не рассмеяться и продолжал глядеть в щелку. Между тем хохол все гонялся за мухой по всей комнате. Наконец муха села на огромную китайскую вазу.

Хохол, стараясь не стучать своими сапогами, подкрался — хлоп!

Ваза пошатнулась, с грохотом упала и разбилась вдребезги. Хохол выпустил пойманную муху, раскрыл рот, расставил руки и остался неподвижным. Просители вскочили в ужасе со своих мест, двое детей заплакали, некоторые поспешно убежали из приемной.

Безбородко распахнул двери и своей тяжелой походкой подошел к несчастному хохлу, но тот ничего не замечал и глядел как полумертвый на валявшиеся вокруг него куски дорогой вазы. Граф хлопнул его по плечу и, улыбаясь, ласковым голосом спросил:

— Чи поймав?

Хохол очнулся, понял, кто перед ним, и упал на колени перед графом.

— Да вставай, дурень, муху-то выпустил — вот обида! — уже громко смеясь, сказал граф. — Вставай, кто ты? чего тебе от меня треба?

Ободренный ласковым голосом и смехом вельможи, хохол поднялся на ноги и начал быстро излагать дело, приведшее его к графу.

— Постой минуту, — перебил его Безбородко, — да стой смирно, мух уже не лови — не поймаешь!

Он вернулся в кабинет, где дожидался его Сергей и сказал ему:

— Мой секретарь проводит вас в канцелярию, и через полчаса я сам там буду, а теперь этими надо заняться, ведь все равно не уйдут.

Сергей поклонился, все еще продолжая улыбаться от только что виденной сцены.

На звон колокольчика явился секретарь, а граф начал обходить просителей. Но он на этот раз был особенно рассеян; выслушивая разнообразные дела, слушал и не слышал и сейчас же забывал слышанное. Перед ним все мелькало хорошенькое лицо актрисы Каратыгиной.

— Не оставьте, не забудьте, — говорила

ему просительница, — пристройте, ваше сиятельство, моих деточек!

— Не оставьте... не забудьте... пристройте моих деточек... — рассеянно твердил граф ее последние слова.

— Ваше сиятельство, да вы неравно забудете! — со слезами в голосе говорила озадаченная мать.

— Забуду, забуду!.. Будьте покойны! — ласково повторял он и шел дальше.

XVIII. СЛУЖБА

Прошло несколько недель, но Сергей не замечал времени. Опытность Ивана Ивановича, а главное, конечно, деньги превратили старый петербургский дом Горбатовых в роскошное жилище.

В обширных светлых сенях с утра и до позднего вечера толпилась прислуга, широкая лестница покрылась дорогим ковром, парадные залы были отделаны заново, потолки украшены лепной работой, всюду наставлена золоченая мебель, обитая заграничным штофом. Скоро у подъезда начали останавливаться всевозможные экипажи. Сергею приходи-

лось восстанавливать старые связи отца, войти снова в сношения с близкими и дальними родственниками, принимать новых знакомых, которые нахлынули со всех сторон. И кроме этих приемов у себя, надо было посещать лучшие дома Петербурга.

У Сергея не было решительно ни минуты свободной. Сначала еще он задавал себе вопрос: как же тут служить, как найти время для занятий, если такая жизнь будет продолжаться? Но скоро этот вопрос перестал занимать его. Он видел, что все окружавшие его живут так же, как он, и что иначе и жить невозможно в Петербурге. По утрам он выбирал час-другой, чтобы побывать в канцелярии Безбородки, познакомиться с делами, со службой. Это знакомство оказалось очень легким, то есть, собственно говоря, его совсем и не требовалось.

Сергею в первое время никак не удавалось понять, в чем же состоит его служба, какими делами он должен заниматься. Дела, очевидно, было много, потому что несколько десятков чиновников сидели за работой, спешно составляя и переписывая бумаги. Секретари

то и дело отправлялись с полными портфелями в кабинет Безбородки. Но когда Сергей обращался к кому-нибудь из чиновников с предложением помочь, с просьбой дать ему какое-нибудь занятие, — чиновники изумленно на него поглядывали и отвечали:

— Да вы не извольте беспокоиться, дел таких спешных нет — мы поспеем...

Сергей обращался к Безбородке, жалуясь ему на свое бездействие и прося у него работы. Граф с ласковой улыбкой его выслушивал, заводил с ним иногда живую, интересную беседу об отношениях России к иностранным державам, иногда давал ему составить на французском языке какую-нибудь незначительную бумагу. Такая работа не могла затруднять Сергея. Он очень легко излагал свои мысли и в особенности на французском языке.

Наконец, он начал понимать мало-помалу, что такое служба вообще и в чем должна заключаться в особенности его служба.

Нельзя было сказать, чтобы дело, во главе которого стоял граф Безбородко, шло плохо. Екатерина не делала ошибочных назначений

и недаром вывела киевского семинариста Безбородку в государственные люди. Узнав его еще в 1775 году по рекомендации его прежнего начальника, Румянцева, и назначив его кабинет-секретарем для принятия челобитен, она была необыкновенно поражена его способностями и его феноменальной памятью. Он не только наизусть знал все законы, но знал даже на какой странице какой из них напечатан. Он умел налету схватывать мысли императрицы, разрабатывать их и облекать в надлежащую форму. И все это делалось у него живо, без всякого труда, без всякого усилия.

За такого человека надо было ухватиться обеими руками, и Екатерина, конечно, это сделала.

Бедный незначительный малоросс в скором времени был назначен сенатором, гофмейстером, министром иностранных дел. Но этого было мало. Екатерина любила широко награждать полезных ей людей. Богатые поместья с тысячами душ крестьян жаловались Безбородке. Вместе с важными чинами и графским титулом к нему пришло и огромное

богатство. Он нисколько не изменился на высоте своего счастья. Он остался тем же самым добродушным, сластолюбивым, талантливым и ленивым человеком, каким был и прежде. Он работал, потому что работа давалась ему легко, но при первой же возможности переходил от горячей умственной деятельности к ничегонеделанию и ко всевозможным наслаждениям, которые он ловил жадно и ненасытно.

Разработав блестящий план, наложив на кипу бумаг, составленных в его канцелярии, свою талантливую руку мастера, он спешил успокоить глаза на какой-нибудь хорошей, только что купленной им картине или статуе, потом его ждал обильный, изысканный обед с тонкими винами, а вечер он обыкновенно проводил, если только не был зван к государыне, в театре. Его ухаживания за хорошенькими актрисами, его закулисные шашни были известны всему городу. Говорили, и не без основания, что у него целый гарем, персонал которого часто меняется вследствие непостоянства графа. Наконец, иногда поздно вечером или чересчур рано утром, в то время, как

можно было предполагать, что он предается спокойному сну, его встречали в самом простом и скромном костюме, с толстой палкой в руке, в таких местах, где важному сорокалетнему сановнику бывать совсем не подобало. Нередко граф даже слишком далеко заходил в своих любовных шалостях. На него являлись жалобы, достигавшие до слуха императрицы. Она не раз ему строго выговаривала, заступалась за обиженных им, но он оставался неисправим, и она поневоле должна была забывать слабости своего талантливого сподвижника.

Но далеко не на одни удовольствия и любовные похождения тратил Безбородко свои большие денежные средства. Всем было известно, как много добра он делал. Немало бедных и несчастных семей было обязано ему своим благоденствием.

В обществе он являлся всегда живым, веселым собеседником, умел обращаться с людьми, щадить их слабости, не выставляться, не гордиться своим умственным превосходством. Таким образом, он достиг того, что на его месте достигается весьма редко — у

него было не много врагов и завистников. Почти все его любили, и даже самые строгие судьи отдавали должное его талантам и познаниям и порицали только его лень да слабость, с которой он окружал себя самыми недостойными лицами. Эти лица, бесполезные и ровно ничего не делавшие, только ели и пили в его доме, но он никогда не мог от них избавиться и смотрел на них как на привычную мебель.

Служившие под его начальством делились на два разряда. Первый разряд составляла собственно его канцелярия и секретари. По большей части это были дельцы-работники, исполнявшие всю черновую работу, к которой граф не любил сам прикасаться. Почти всегда без всяких связей, без имени, часто не получившие никакого образования, эти люди под руководством графа иногда вырабатывались в очень дельных и знающих чиновников, достигали мало-помалу довольно видного служебного положения. Большинство же, конечно, навсегда оставалось в черной работе, высоко не метило и понемногу устраивало свои делишки посредством взяток.

К другому разряду служивших у Безбородко принадлежали люди хороших фамилий, со связями и средствами, в число которых попал и Сергей Горбатов. Все это были будущие дипломаты-сановники. Они по самому происхождению своему и связям предназначались к блестящей карьере. Им не нужно было трудиться, проходить шаг за шагом ступеньки служебных лестниц, не нужно было пачкать своих изнеженных рук в черной работе. Если они обладали хорошими способностями и ясным умом, то школа Безбородки, конечно, приносила им пользу, и он без труда поднимал их на высоту, на которой они могли держаться с достоинством. Если же у них не было ни ума, ни способностей, они все же устраивали себе почетное, блестящее положение, стремились к различным синекурам и легко получали их. Очень немногие и то вследствие каких-нибудь особенно неблагоприятных обстоятельств видели себя вынужденными покинуть государственную службу, но для этого нужна была феноменальная глупость или редкая незадача.

И вот Сергей скоро понял, или вернее, по-

чувствовал все это. Он все реже и реже надо-едал чиновникам-труженикам своими прось-бами о работе. Он только старался вслушать-ся в разговоры Безбородки, вглядываться в его действия, яснее и красноречивее излагать те французские письма, составление которых поручал ему начальник.

В канцелярии он встречался и сближался с людьми, служившими на равных с ним условиях, с блестящими молодыми людьми, заранее предназначенными к занятию высо-ких должностей. Один из этих счастливцев, граф Сомонов, приходился Сергею кузенком, и между ними скоро завязалась дружба. Они стали почти неразлучны.

Граф Сомонов был на несколько лет стар-ше Сергея и уже обладал достаточной опыт-ностью и знанием света; к тому же он путе-шествовал по Западной Европе, прожил более года в Париже. Сергей познакомил его с Рено, и Рено пришел в восторг от этого знакомства. Он увидел в молодом русском графе своего compatriote'a, плененного Парижем во всех отношениях. Сомонов с одинаковым энтузи-азмом говорил и об удовольствиях Трианона,

о любезности Марии-Антуанетты, и о веселой бульварной жизни, о шумных клубах, где подготавливалась революция, где воспитывались и вырабатывались самые видные ее деятели.

На Рено пахло родным воздухом, и он радовался, что Сергей сблизился с таким человеком, который не станет отвлекать его от их заветной мечты — попасть скорее в Париж.

Впрочем, теперь эта мечта на время почти позабылась. Сергею некогда было ни о чем думать — он только отдавался впечатлениям минуты, жил как в чаду, иногда по целым дням не виделся со своим воспитателем, переносясь из канцелярии Безбородки и его кабинета на званый обед, потом на вечер или в театр.

Молодое самолюбие Сергея било радостно тревогу. Его ведь встречали с распростертыми объятиями. Сколько милой душистой лести наслышался он в эти несколько недель; сколько хорошеньких ручек пришлось ему держать в своей руке на балах, во время танцев, сколько милых глазок глядело на него с

нескрываемой лаской. Иногда у него голова кружилась.

Он постоянно слышал от своих новых приятелей о различных любовных историях. Он подмечал на собраниях и балах их ухаживание за красивыми девушками. Ухаживание это тогда называлось почему-то «маханьем». Это была целая забавная наука, выработавшая свой собственный безмолвный и в то же время красноречивый язык цветов, бантиков, вееров и наклеивавшихся на лицо мушек...

Вот в ярко освещенной, наполненной нарядными гостями зале бродит молодой человек. Он едва скрывает свое волнение, очевидно, ждет кого-то. Наконец в дверях появляется молодая девушка в роскошном «панье», с целой башней, устроенной из напудренных волос на голове, с маленькой черной мушкой у правого глаза.

Плохо скрываемая радость изображается на лице юноши. Он еще не успел обменяться поклоном с девушкой, не успел сказать ей ни одного слова, но ему этого пока и не надо, он издали видит маленькую черную мушку. И эта мушка говорит ему, чтобы он надеялся и

что в контрдансе будет объяснение. Если же мушка оказалась бы под левым глазом, то это означало бы отказ от всякого объяснения и нежелание танцевать.

Маленькие милые комедии, начинавшиеся и кончавшиеся в течение нескольких дней, даже любовные драмы, так же скоро разыгрывавшиеся, проходили перед Сергеем. Он хорошо понимал, что и сам может быть в числе актеров. Его сердце вдруг начинало шибко стучать от какого-нибудь быстрого горячего взгляда. Он иногда чувствовал, как хорошенькая ручка, затянутая в перчатку, крепче, чем бы следовало, пожимает ему руку. Он и сам невольно отвечал на пожатие, но танец кончался, и он отходил в сторону, подавляя в себе вздох.

Ему делалось скучно, даже грустно; он вспоминал свою Таню. Зачем ее нет здесь?! Вот было бы счастье!.. Было бы веселье!.. А теперь все же недостает чего-то... Даже многого... Недостает настоящей жизни...

Часто, возвращаясь домой, он находил у себя на столе письмо Тани. Она была верна своему обещанию — писала ему изо дня в

день. Жадно читал и перечитывал Сергей эти письма. В них не было ничего особенного, не было ни страстных признаний, ни сентиментальных вздохов. Таня писала о своих занятиях, передавала ему содержание только что прочитанной ею книги, говорила ему о его матери и сестре, о его любимых лошадях, даже о погоде... Но о чем бы она ни писала, в каждом ее слове Сергей чувствовал всю ее нежность к нему, всю ее любовь. Он целовал эти письма и отдавался полузабытью, которое переносило его в присутствие милой девушки, рисовало ее в самых обаятельных красках. Это были сладкие грезы, но все же они скоро уходили. Оставалось чувство неудовлетворенности, тоски и скуки. А на следующий день наступали новые соблазны, били в глаза красота и молодость, горячие взгляды, многообещающие улыбки...

Голова кружилась все больше и больше.

XIX. НОВОСЕЛЬЕ

Перед масленицей дом Сергея Горбатова был окончательно отделан; и он пригласил к себе на новоселье всех своих новых и старых знакомых. К этому времени из Горбатовского привезли в огромном количестве великолепную серебряную посуду. Марья Никиртишна позаботилась также отправить сынку лучшие произведения своего домашнего хозяйства — удивительно откормленную живность всякого рода. Пир готовился на славу. Сергей видел, до какой роскоши дошла жизнь высшего петербургского общества, и не хотел ударить лицом в грязь. На его столе ничего не должно было красоваться, кроме чистого серебра и золота. Очень крупную сумму ассигновал он на самые дорогие иностранные вина.

Иван Иваныч всем распоряжался и выказал большое понимание дела. Вообще он теперь был в самом лучшем настроении. Обстоятельства изменились. Молодой хозяин начинает жить по-модному — на большую ногу, денег не жалеет и не знает им счету. И уж ес-

ли при покойном Борисе Григорьевиче кое-когда удавалось нагреть руки, то теперь и по-давно немало прилипнет к рукам Ивана Иванныча и очутится в его кармане.

Моська тоже оживился и с большим интересом следил за приготовлением к пиршеству. Он помнил другие пиროвания в этом же доме и с жаром про них рассказывал своим приятелям из прислуги. Он то и дело входил в столовую, оглядывал огромный стол, устроенный «покоем», пересматривал каждый куверт, каждую тяжеловесную серебряную тарелку, украшенную гербом Горбатовых. Потом он взбирался на хоры, где уже музыканты настраивали свои инструменты. Он спрашивал, какие они будут играть пьесы, похваливал те, которые прежде игрывались во время больших обедов и подсмеивался над незнанием музыкантов, когда они говорили ему, что про его пьесы они никогда даже не слыхивали.

Вот и гости стали съезжаться — вся петербургская блестящая молодежь, военные и статские франты. Никто не отказался от приглашения любезного хозяина. Этого мало —

граф Сомонов, заботясь о том, чтобы новоселье его нового друга было шумно и весело, просил у него разрешения привезти нескольких приличных молодых людей, по большей части гвардейских офицеров, которые еще не имели удовольствия познакомиться с Сергеем Борисовичем, но очень желали как можно скорее получить это удовольствие. Конечно, Сергей охотно дал свое согласие. Он встречал всех крайне любезно и в то же время с тем изящным достоинством, которое было у него врожденным.

Между представленными ему Сомоновым молодыми людьми один поразил его своею красотою. Это был офицер, совсем почти еще мальчик, стройный, ловкий во всех движениях, с тонкими чертами лица, с нежным румянцем и великолепными глазами. Но, несмотря на свою редкую красоту, этот юноша с первой же минуты, произвел на Сергея довольно неприятное впечатление. Он чересчур уже приторно, почти подобострастно сказал ему что-то «о счастье удостоиться подобного знакомства».

Сергей не расслышал его имени и, улучив

удобную минуту, спросил о нем у Сомонова.

— Pas grande chose, — отвечал тот с полупрезрительной, но в то же время и снисходительной улыбкой, — бедный офицерик, счастливый тем, что попал в гвардию, его зовут Платон Зубов. Il n'a pas beaucoup d'esprit, mais au fond c'est un bon diable... Иногда бывает забавен... Мы ему часто даем кой-какие поручения, и он всегда охотно их исполняет... А что? Ты, может быть, недоволен тем, что я привез его, в таком случае прости, пожалуйста!.. Но он так просил, так умолял, что я не в силах был отказать ему.

— Ах, Бог с тобой! — отвечал Сергей, — напротив, я очень рад, и твоя рекомендация для каждого достаточна, чтобы быть у меня дорогим гостем. Я спрашиваю о нем просто, чтобы знать, кто он, он, такой красавец.

— Да, красавец! — повторил Сомонов с легкой усмешкой, — и, кажется, на красоту-то свою он, главным образом, и надеется...

Широкие двери столовой распахнулись; с хор грянула музыка; многочисленные веселые гости стали размещаться к столу без чинов — какие чины могли быть между молоде-

жью?

Хорошенький Зубов, даже покраснев от волнения, употребил все старания, чтобы оказаться за столом рядом с хозяином, но это все же не удалось ему — его оттерли. Тогда он поспешно обошел и захватил себе место как раз напротив Сергея. Он внимательным и жадным взором оглядел обширную комнату, стены которой были заставлены шкапами с дорогой серебряной и фарфоровой саксонской посудой. Он с удовольствием поглядывал на нарядную прислугу, разносившую кушанья.

Но скоро он почти позабыл даже о вкусных кушаньях и винах, найдя себе другую заботу. Он почти не спускал глаз с Сергея, заговаривал с ним при первой возможности ласковым и вкрадчивым голосом, старался передавать ему то бутылку, то тарелку, одним словом, ухаживал за ним, как за хорошенькой женщиной. И он достиг своей цели. Излишняя его предупредительность и заискивающий тон перестали смущать Сергея: он увидел в нем только любезного и милого мальчика.

Обед шел своим чередом. Гости кушали с

аппетитом. Молодое общество, сначала несколько сдержанное, под влиянием вина стало все более и более оживляться, послышался смех, веселые шутки и, наконец, что совершенно неизбежно в холостой компании, не особенно скромные анекдоты и разговоры. Говорили, по большей части, по-французски, и Рено мог делать свои наблюдения. Хорошо изучив лицо Сергея, он мог читать на нем его мысли; он видел, как его воспитанник краснеет при некоторых словах, как какой-нибудь чересчур нескромный рассказ возбуждает в нем неловкость и чувство гадливости.

«Ведь вот, — думал он, всматриваясь в то же время в другое, еще более молодое, почти детское лицо Зубова, — вот этот мальчик совсем иначе ко всему относится, хотя сам и не говорит ничего, но зато внимательно и с видимым удовольствием слушает. Все эти рассказы в его вкусе, он понимает соль их, он, верно, сам уже прошел через многое... Да и все они так еще молоды, а между тем такая ранняя опытность! Нет, прав был старик Горбатов, что выдержал его в деревне; тут нельзя было бы избежать товарищества, а при таком

товариществе вряд ли я, несмотря на все мои старания, что-нибудь сделал бы, я бы не уберег его... А теперь вот уберег до двадцати трех лет. Теперь он на ногах и не споткнется... Хорошая натура! Но любопытно — измена нашей милой фее? А уж будет измена, и ничего, пусть узнает жизнь... И ведь, конечно, сам же придет и мне все расскажет, а это главное...»

Веселый говор все усиливался. Различные вина производили свое действие. Красивый широкоплечий молодой офицер, князь Бабищев, сидевший рядом с Сомоновым, вдруг обратился к Сергею:

— Любезный хозяин, вы подумали решительно обо всем, что может усладить желудок ваших гостей, но позвольте сказать вам, что самой важной вещи все же недостает на нашем пиршестве...

— Сделайте одолжение, скажите, что такое? — быстро спросил Сергей, несколько смущенный таким замечанием и не понимая, о чем он не позаботился. — Скажите, и если только в моей власти исправить ошибку, я тотчас же это сделаю.

— Увы, Сергей Борисыч, ошибка неиспра-

вима. Для нашего полного благополучия недостает веселых соседок, и чем вкуснее ваш обед, чем превосходнее вина, тем этот недостаток ощущается все больше и больше, и я уверен, что все со мной согласны.

— Да, да, конечно! Самый лучший обед теряется без хорошеньких женщин, — разом отвечали многие.

— Ну господа, в этом вините меня главным образом, — сказал Сомонов, — мой кузен новичок и в Петербурге, и в жизни, я должен был подать ему мысль пригласить всех нас с нашими приятельницами, тогда, действительно, было бы очень весело...

Губы Сергея нервно вздрогнули, и на мгновение блеснули глаза его.

Рено под столом потер себе руки, не отрываясь глядя на своего воспитанника.

— С вашими приятельницами? — сказал Сергей. — У каждого из вас, конечно, могут быть приятельницы среди хорошеньких женщин, но дело в том, что ни одна благовоспитанная и порядочная женщина не приняла бы приглашения незнакомого ей молодого человека, у которого нет в доме хозяйки. Если

же вы говорите о таких приятельницах, которые бы не затруднились присутствовать на моем обеде, то как бы они ни были красивы, милы и любезны, я не хотел бы их видеть там, где когда-нибудь будет хозяйкой будущая жена моя, где и теперь, хоть и отсутствующая, хозяйка — моя мать, и где, может быть, мне суждено, при другой обстановке, принимать ваших жен и сестер, господ!

Рено продолжал под столом потирать руки.

Веселое общество смолкло. Некоторые почувствовали себя неловко.

Рено услышал несколько таких фраз:

«Dieu, qu'il est naïf!.. Да это сущий ребенок — и такой же гордец, каким был, говорят, и старик его...»

Некоторые даже вздумали немного обидеться. Но Сергей так добродушно глядел на всех, что неприятное впечатление было скоро забыто. Один только князь Бабищев, поднявший вопрос, сидел молча, как бы что-то обдумывая. Потом он наклонился к своему соседу, Сомонову, и шепнул ему:

— Однако, mon cher, твоему кузену нужно

отплатить за его урок и тон проповедника. И если правда, что он прожил до сих пор в монашеской келье, то ему непременно нужно показать что-нибудь другое.

— Я и сам об этом давно подумывал, — также шепотом ответил ему Сомонов. — А уж сегодня, после того, как он вздумал нас сконфузить, конечно, я постараюсь проучить его. Он милый малый, и из него должен выйти прок. Я тебя уверяю, что завтра мы хорошо посмеемся над его благочестием и что не позже как через неделю он будет нас угощать здесь в веселом женском обществе...

Они еще пошептались немного, и затем Сомонов встал со своего места, подошел к Зубову и сказал ему:

— Поменяемся, братец, местами.

Тот изумленно взглянул на него; но Сомонов тихонько толкнул его ногой, делая глазами едва заметный знак. Зубов понял и поспешно встал. Сомонов уселся против Сергея.

— Cher cousin! — сказал он, — мне кажется, ты на меня рассердился?

— Нисколько! — ответил Сергей.

— Нет, право, я уж по глазам твоим вижу.

— Да, уверяю тебя, что нет... и мне решительно не за что быть на тебя в претензии. Напротив, может быть, кто-нибудь нашел мои слова резкими, и в таком случае я прошу извинения, хотя иначе говорить не мог...

— А коли так, то и довольно! — весело вскричал Сомонов. И да будет все забыто! Чокнемся! Только смотри, до дна выпьем за нашу дружбу.

Он налил Сергею полный стакан крепкого вина и чокнулся с ним, повторяя:

— Да смотри, разом и до дна!..

Сергей выпил.

Он не привык к вину, а теперь, с самого начала обеда, должен был попробовать то то, то другое. Этот стакан разом на него подействовал. В голове приятно зашумело, беспричинная радость вдруг охватила его, и он почувствовал ко всем такое искреннее душевное расположение. А тут и веселый князь Бабищев вдруг очутился с ним рядом и подставил ему свой стакан, прося и с ним чокнуться, чтобы не оставлять никаких недоразумений. Сомонов опять налил Сергею и опять заставил его до дна выпить.

Весь конец обеда прошел как в тумане. Разговор начал сливаться, Сергей сам говорил много, но что, для чего — уже не соображал. А тосты следовали за тостами, он пил не разбирая, без всякого вкуса.

Рено еще мог бы остановить его, но и он не воздержался. И молодые люди сумели заставить его столько выпить, что он теперь совсем сонный, положив локти на стол и подперев руками голову, бормотал что-то и глядел на всех странными глазами. Наконец, голова его совсем покачнулась, — он захрапел.

— Ну, этого уложили!.. Это самое важное! — перешепнулись заговорщики. — Он бы еще помешал, пожалуй. Теперь не нужно только терять времени.

Обед был наконец кончен. Музыка продолжала играть на хорах, но никто уже ее не слушал. Велись беспорядочные речи, многие хотели встать со своих мест и не могли. Обед продолжался часов около пяти, и последствия этого должны же были сказаться.

Сомонов и князь Бабищев, обняв едва державшегося на ногах Сергея, уговаривали его проехаться.

— Посмотри, какой славный вечер... у тебя сразу голова освежится, и потом мы покажем тебе такое чудо, какого ты еще в жизни не видывал.

— Прокатиться?! Да едемте, едемте хоть на край света, — радостно говорил Сергей. — Здесь так душно... на воздух!.. И... да, покажите мне что-нибудь необыкновенное... что-нибудь чудесное!..

В это время к ним подошел Зубов. Он совсем не был пьян. Вообще он немного пил за обедом, да и вино на него мало действовало.

— Голубчик, граф, — шепнул он Сомонову, — возьмите меня с собой.

— Да ты знаешь ли, Платошка, куда мы едем?

— Знаю, знаю, все слышал...

— Дурень, ну куда тебе, только лопнешь от зависти — не по твоему карману...

— Да мне хоть одним глазком взглянуть!.. Возьмите, сделайте милость!!! Ну, может, там понадоблюсь, неравно Сергею Борисычу не совсем хорошо будет, так ведь я, знаете, граф, я очень сильный, я один могу снести его! Благодаритель, возьмите!..

— Ах ты, вечная попрошайка!.. Ну, пожалуй, только знаешь, в санях-то и нам троим едва-едва места будет, так тебе разве на облучке?

— Я и на облучке доеду.

— Ладно...

Через несколько минут Сергей, поддерживаемый приятелями и в сопровождении хорошенького Зубова, почти ничего не видя, сходил со своей парадной лестницы.

У подъезда дожидалась лихая тройка.

Молодые люди уселись в сани. Зубов пригнулся рядом с кучером на облучке. Сомонов крикнул «в Коломну!»

Тройка помчалась как стрела по смолкающим улицам.

XX. ФАРАОНКА

Куда он едет? Об этом Сергей не думал, да и вообще в нем не было никакой мысли — было одно только странное, новое ощущение, какого он до сих пор никогда не испытывал.

Морозный воздух несколько освежил его, то есть выбил из его похмелья все неприятное и тяжелое, оставил легкий туман и широкое чувство веселья, радости, порывания вперед.

Сани мчались. Ему казалось, что он скользит в пропасть. Дома, улицы, слабо мигавшие фонари — все это спускалось ниже и ниже, вертелось и прыгало, наступало одно на другое. Сердце то замирало, то начинало шибко биться. По членам пробегал огонь. Хотелось движенья, но не обычного движенья, а полета.

И вот Сергею казалось, что ему стоит приподняться на воздух, и он полетит в сверкающую холодную мглу, расстилающуюся перед его глазами.

Он, действительно, приподнялся в санях и хотел было лететь, но товарищи вовремя его

удержали.

Между тем сани уже скользили по пустым, темным улицам тогдашней Коломны. Мимо тянулись пустыри, полуразвалившиеся заборы, сады, остатки еще не высохших болот. Только местами возвышались и мигали призывными огоньками домики, по большей части деревянные и одноэтажные.

Сани остановились у запертых наглухо ворот.

— Ну, Платоша! — крикнул Сомонов, — ступай на разведку.

Зубов как резиновый мячик слетел с облучка, подпрыгнул и побежал к воротам.

— Заперты! — крикнул он.

— Известное дело — заперты! А ты вот силой хвалился — выбей калитку, чего тут, не дожидаться же!

Зубов попробовал. Но сила его оказалась недостаточной.

— Эх ты, хвастунишка! — презрительно проговорил князь Бабищев, вышел из саней, хватил раз, другой, а на третий уж не пришлось — калитка с треском и визгом распахнулась и повисла на одной петле.

Сомонов вывел Сергея, который, может быть, хорошо бы полетел, потому что ходить почти разучился — его так и покачивало во все стороны.

Разогнав собак, с громким лаем кинувшихся из глубины двора, молодые люди направились к домику, выглядывавшему из-за обледевевших деревьев.

Все ставни были заперты. За исключением собачьего лая, тишина кругом стояла невозмутимая.

— А что если, как на смех, ее дома нету? — проговорил Сомонов.

— Нет, дома, граф, дома, наверно! — забегая вперед уверял Зубов. — Вон взгляните — с той стороны, там щелка у ставни и вон свет виден. Наверное, дома, а коли и нету, то не беда — я на сей случай придумал.

— Да много ты придумал! Уж молчи лучше да постучись-ка в двери.

Зубов взбежал по скользким ступенькам крыльца и стал стучать.

— Где мы? Что это такое? — несколько приходя в себя, спросил Сергей.

— А чудо-то обещали показать — забыл,

что ли? Тут вот самое это чудо и заперто.

И с замиранием сердца он начал ждать чего-нибудь, действительно чудесного.

Двери приотворились, выглянула чья-то голова, которую трудно было разглядеть во тьме.

— Дома? — спросил Зубов.

— А вы кто такие? Чего вам? — вместо ответа послышался довольно грубый женский голос.

Сомонов поднялся на крыльцо.

— Али не узнала, Матрена Кузминишна? Свои, не бойся...

Наклонившись к ней, он шепнул:

— Такого золотого фазанчика привезли, что останешься довольна... Дома, что ли? Да впускай поскорее.

— Дома-то, дома, а уж не знаю как и сказать вам, впустить ли. Вишь ты, с утра головка болит, весь день в постели, да и теперь тоже... Не вы первые — уж раза три наведывались после вечерни, да как приехали, так и отъехали.

— Впускай, впускай, Божья старушка, там сами уговаривать будем.

Он что-то вынул из кармана и сунул в руку женщины. Та сняла крепкую цепь и отворила дверь.

Этот домик, насколько позволяла его различать вечерняя мгла, был очень неказист с виду. Но, пройдя маленькие сени, где молодые люди сбросили с себя шубы, они очутились в просторной, причудливо и роскошно убранной комнате, освещенной бледно-голубым, висевшим посреди потолка, фонариком.

Пол и все стены были покрыты мягкими и пушистыми коврами самых ярких узоров. Восточные диваны с бесчисленным количеством разноцветных подушек, расставлены вдоль стен. Окна скрывались за тяжелыми шелковыми занавесками. По комнатам носился аромат какого-то пряного, раздражающего куренья. Двери были так закрыты коврами и задрапированы, что их совсем не было видно.

— Где мы? — изумленно спрашивал Сергей своих спутников, спускаясь на мягкие подушки шелкового дивана.

— Во сне! — улыбаясь отвечал Сомонов.

— Во сне? — повторил Сергей.

Ему вспомнились те чудесные сказки, которые бывало, в годы детства, рассказывал ему карлик. Тогда горячая детская фантазия превращала каждую фразу в роскошную картину, заставляла переноситься всецело в фантастический мир и забывать о действительности.

Точно так же и теперь действительность была забыта. Причудливая, странная комната, озаряемая голубоватым, как бы лунным светом, мало-помалу теряла в глазах Сергея всю свою осязательность.

Разноцветные узоры ковров мелькали, то и дело изменяясь. Он недвижно сидел, то открывая, то закрывая глаза, вдыхая в себя теплый ароматный воздух и ожидая чего-то более чудесного.

Он не заметил, как Сомонов скрылся, как Бабищев и Зубов развалились на подушках в глубине комнаты и тихонько шептались, пересмеиваясь и по временам на него взглядывая.

Вот где-то вблизи слышались тихие музыкальные звуки. Какой-то голос, неземной голос, примешался скоро к этим звукам, то

поднимаясь и перехватывая одну за другою чистые серебристые нотки, то вдруг падая и почти замирая.

Что это за музыка? Что это за пение?

Он ждал — вдруг тихо-тихо колыхнулась шелковая занавеска, и перед ним предстало видение.

Такой обольстительной, такой совершенной красоты он никогда еще не видывал. В первую минуту он даже зажмурил глаза, будто ослепленный. И когда он открыл их, то увидел, что видение не исчезло. Чудная красавица стояла перед ним, в двух шагах от него, и глядела прямо в глаза ему своими огненными прекрасными глазами.

Это была настоящая красавица, такая, какую можно встретить только раз в жизни. И при этом в ее красоте, во всей ее фигуре, в ее странном наряде не было ничего обычного и знакомого. В ней все поражало, начиная с блестящих черных волос, заплетенных в длинные косы и перевитых жемчужными нитями. Нежное и молодое лицо с самым мягким овалом было бледно, но не болезненной бледностью — матовой белизной мрамора.

Большие глубокие глаза так и горели из-за длинных ресниц, изливая потоки странного света. Тонкие ноздри небольшого правильного носа были несколько раскрыты, точно так же, как и полные горячие губы, из-за которых виднелся ряд ослепительных своей белизною и ровностью зубов. Она была высока и стройна, и вся прелесть ее роскошных форм не могла скрыться от пораженного глаза: на ней было надето что-то вроде древнегреческой туники из легкой шерстяной материи. Полная шея, высокий бюст, плечи и руки были открыты. Из-под мягких складок не достигавшей до полу туники виднелись маленькие ножки в атласных узких туфлях.

Чем больше глядел на нее Сергей, тем больше убеждался, что все это во сне или что перед ним совершается самая волшебная сказка.

А она подошла к нему еще ближе, нагнулась, звеня подвесками длинных серег, сверкая золотом и разноцветными камнями браслетов, обхватывавших у кисти и выше локтя ее полные руки. Его обожгло ее горячее дыхание. С замирающим сердцем он приподнялся

с дивана и кинулся было к ней, но она его отстранила, и он опять упал на подушки, не отрываясь на нее глядя.

Она прилегла на диван в грациозной и кокетливой позе, еще более выказывавшей всю красоту ее, и взяла из рук Сомонова какой-то инструмент вроде гитары.

Снова раздались тихие звуки, которые слышались несколько минут тому назад. Она медленно перебирала струны тонкими пальцами и вдруг запела.

Сергей жадно слушал. Голова его опять начинала кружиться, сердце безумно стучало, он весь, всей душой ушел в эти странные, могучие звуки.

Это была страстная, безумная песня, говорившая о какой-то безумной любви, требовавшая огненных поцелуев, томленья и муки.

И новая любовь, про которую она пела, загоралась в Сергее и жгла его, принося мучительную отраду, блаженное мученье. Это была не та нежная, светлая любовь, какую он чувствовал наяву, в другие волшебные минуты, на берегу Знаменского озера. Эта новая любовь доводила до бешенства, до отчаяния,

до сумасшествия...

Но он оставался недвижим и все слушал. А песня лилась, и слышался в ней то безумный хохот, то горькие слезы, то мольбы, то проклятия. Голос певицы, причудливый и капризный, как и эта мелодия, быстро доходя до самых чистых и высоких ноток, вдруг будто надрывался и падал. И она уже не пела: это был хохот, это был звон колокольчиков лихой тройки, взвизгивание удалого ямщика, скрип полозьев по крепкому снегу... И потом вдруг опять откуда-то доносящаяся тихая мольба о пощаде, и опять поднимались все выше и выше серебристые звуки, и опять закипали горячие слезы...

Сергей уже не мог больше выдержать. Он бросился к ней, к этой волшебнице, упал перед ней на колени. Рыдания, долго собиравшиеся в груди его, вырвались наконец наружу, и он как сумасшедший рыдал, захлебываясь на ее коленях.

Его товарищи даже испугались, засуетились, подняли его почти бесчувственного, намочили его горящую голову и виски водою, дали ему нюхать спирту.

Он очнулся, открыл глаза, изумленно глядя кругом, и мало-помалу начал приходить в себя. Теперь опьянение прошло, сознание вернулось, он чувствовал, что не спит и не грезит. Он вспомнил все, вспомнил, что веселые товарищи увезли его и обещали показать ему чудо.

Так вот это чудо!

Но жарко натопленная и надушенная куреньем комната уже не казалась ему волшебным жилищем сказочной царевны. Да и сама эта царевна перестала быть видением, хотя красота ее от этого ничего не утратила. Сергей и теперь не мог оторваться от этой соблазнительной женщины, но только он уже начал подмечать в ней такие черты, которые уменьшили силу ее соблазна. Она уже не пела, она громким и резким голосом разговаривала с Сомоновым и Бабищевым, смеялась. Они ловили ее руки, старались поцеловать ее. Она отбивалась; но Сергей сразу видел, что это была только игра и что она привыкла к поцелуям.

Он огляделся и заметил Зубова, который сидел поодаль и жадно смотрел на красавицу.

Он подошел к нему и тихонько спросил:

— Кто она такая? Полно же морочить... Скажите всю правду...

Зубов боязливо взглянул на товарищей, но видя, что они очень заняты красавицей и мало обращают на него внимания, зашептал:

— Кто?! А вы разве не знаете?! Ведь это фараонка...

— Какая фараонка?!

— А цыганка, Маша-цыганка! Ее все знают... красавицы такой во всем Петербурге нету. А поет как — ну да вы сами слышали... Ее вот уж больше году граф Безбородко из Москвы вывез: только, видно, скоро надоели ее песни, а то и сама она вырвалась — ведь он их за замками держит, никому не показывает...

Сергей узнал голос Зубова.

— Где моя шуба? Помогите отыскать, дайте уйти мне...

— И вы взаправду? От такой-то красавицы?.. Вот, человеку счастье, а он бежит! Да кабы у меня было рублей хоть пятьсот в кармане, так я бы почел себя в магометовом раю!..

Зубов чуть не плакал.

Сергей вынул из кармана туго набитый кошелек.

— Вот... тут больше чем пятьсот рублей... возьмите, когда-нибудь сочтемся, только, ради Бога, помогите мне отсюда выбраться.

Прошло несколько мгновений. Зубов стоял неподвижно; потом вздохнул всей грудью, поймал руку Сергея и схватил кошелек.

— Спасибо... При первой же возможности верну вам и вовек не забуду вашу доброту и эту услугу; ах, Сергей Борисыч, ах, как я вам благодарен!

Он засуетился в темноте.

— Вот, вот ваша шуба... а тут и дверь, позвольте, я вам открою...

Но в это мгновение Сомонов и Бабищев показались в сенях со свечой. Сергей уже держал нараспашку наружные двери.

— Это что? — в один голос закричали приятели. — Бежать! Да ты с ума сошел?! Зубов, дурень, как же это ты смел его выпустить!

Они кинулись к Сергею; но тот уже сбежал со ступенек крыльца.

— Прошу оставить меня, все равно не вернусь, а вы без шуб только себя простудите! —

крикнул он.

— Да Бог с тобой, коли так! Силой держать не будем... Только ты тройку-то не забудь прислать обратно!

— Не забуду.

Он выбежал за ворота, сел в сани. Застоявшаяся тройка помчала его вихрем.

Дома было все тихо. Гости давно разъехались, а тех, кто не в силах был ехать, Иван Иваныч уложил в заранее предусмотрительно приготовленные постели. Рено тоже спал как убитый.

Сергей прошел к себе, разделся, затушил свечи. Но заснуть он долго не мог. Он грезил о Тане, он рвался к ней. В эту бессонную ночь он был безумно влюблен в нее.

XXI. МАСКАРАД

Карьера Сергея начинала устраиваться. Императрица сказала ему при первом представлении: «До свидания, мы скоро увидимся!» И эти слова были многозначительны. Она не забывала своих обещаний, не любила возбуждать надежд, которым не суждено было осуществиться. Сергей скоро был пожалован в камер-юнкеры и, таким образом, получил возможность часто бывать во дворце и попадаться на глаза императрице.

Петербург был в большом оживлении по случаю возвращения очаковского победителя, Потемкина. Балы сменялись балами. Екатерина, здоровье которой поправилось, находилась в самом лучшем настроении духа и не только являлась любезной и веселой хозяйкой в своем Эрмитаже, но и посещала собрания у некоторых из близких ей лиц. Между прочим, она обещала быть и на великолепном маскараде, который устраивал Лев Александрович Нарышкин.

Маскарад этот был назначен именно в тот день, когда Сергей узнал о пожаловании ему

придворного звания. Он с особенным удовольствием и оживлением готовился к маскараду. С помощью Рено он придумал себе костюм, который чрезвычайно шел к нему и в то же время отличался крайней простотой. Грациозный черный берет на голове, волосы по плечам, широкий кружевной воротник, бархатный короткий камзол, весь в атласных прорезах и подпоясанный широким поясом, обтянутые в черное трико ноги, башмаки с длинными, несколько загибающимися носками, небольшая красивая шпага и поверх всего черный плащ, грациозно драпирующий стройную фигуру. Одним словом, что-то вроде средневекового художника или ученого.

Сергей знал, что к маскараду Льва Александровича готовятся самые роскошные костюмы, знал, что его сверстники будут сиять не только настоящими, но и поддельными бриллиантами, и потому он не сомневался, что в пестрой сверкающей толпе его черный, изящный костюм непременно обратит на себя внимание. Выставлять же напоказ свои бриллианты ему не было необходимости — пусть это делают те, у кого их мало, кто дол-

жен целый день бегать, чтобы добыть их напрокат у разных тетушек и кузин, даже у родственников. Ему этого не нужно, потому что его богатство всем известно, и известно также, какую редкую коллекцию драгоценностей наследовал он от отца.

И он был прав. Его появление было тотчас же замечено в залах Нарышкина, наполненных разнообразно, причудливо костюмированными гостями. Музыка уже играла с хоров. Живая, веселая толпа масок двигалась из залы в залу, пересмеиваясь, переговариваясь, стараясь узнать друг друга. Прелестные женские фигуры, лица которых под маленькими масками казались еще заманчивее, мелькали мимо Сергея, порою обжигая его своими таинственными взглядами. То там, то здесь появлялся на мгновение и исчезал веселый хозяин, не утерпевший, чтобы для начала маскарада не закостюмироваться волшебником Мерлином, но только без маски.

Однако полного оживления еще не было: никто еще не решался вполне отдаться веселью, все то и дело останавливались и посматривали на двери, в которые должны были

войти высокие гости.

Императрица не заставила себя ждать. Там, где не требовалось обязательного этикета, она не любила церемоний, к тому же она привыкла рано ложиться спать и для того, чтобы воспользоваться приятным вечером, раньше его начинала.

Она появилась в сопровождении Анны Никитишны Нарышкиной, сияющая величием, и прошла через залы, отвечая милостивым наклоном головы и легкими улыбками на почтительные поклоны столпившихся гостей.

Когда-то, в молодые годы, Екатерина страстно любила маскарады; уже будучи императрицей, она появлялась на них никем не узнаваемая, не только в маске, но часто и в мужском костюме. Никто как она не умел придумать смешную мистификацию, и немало забавных приключений хранила ее память. И теперь еще любила она причудливую, веселую атмосферу маскарада, но годы были уже не те, не шли на ум мистификации — привлекал к себе зеленый столик с картами, кружок обычных любимых партнеров. Толь-

ко между игрою выходила она на несколько минут в залу, с удовольствием глядела на оживление и веселость танцующей молодежи, на ходу раздавала свои приветливые улыбки, ласковые слова, остроумные замечания.

Ее присутствие никого не смущало, она обладала редким талантом — ничего не утрачивая из своего величия, не только не нарушать всеобщей веселости и свободы, но даже увеличивать их своим присутствием.

Вслед за императрицей между замаскированными оказалась новая высокая мужская фигура, появление которой было встречено заметным шепотом.

Новый гость был замаскирован средневековым миннезингером, с какою-то лютней через плечо. Костюм его, в общем, походил на костюм Сергея, только был совсем не выдержан: черный бархатный камзол, которого не скрывал на одно плечо накинутый плащ, был весь в ярких атласных прорезах; пряжка пояса сверкала крупными бриллиантами; такие же бриллианты чистейшей воды и высокого достоинства красовались на руках, на груди и

на башмаках.

«Мамонов!..» — послышалось Сергею.

Но ему уже некогда было дальше вслушиваться. К тому же все вдруг присмирели и смолкли.

У дверей залы показалась грузная и величественная фигура светлейшего князя Потемкина. Целая свита важных сановников и приближенных к нему лиц сопровождала его. Он медленной, ленивой походкой подвигался, едва замечая обращенные к нему поклоны, едва отвечая на них легким движением головы. Полное равнодушие, почти апатия, изображалось на его красивом, уже значительно обрюзгшем лице, на котором трудно было заметить отсутствие одного глаза — так он был хорошо подделан. Было очевидно, что ему нет ни до кого дела, что нет ровно ничего общего между ним и этой пестрой толпой. А между тем его появление сразу останавливало молодой смех, сразу налагало печать принужденности и боязливой оглядки всюду, где проходил он.

Сергей уже два раза видел мельком очковского героя, но еще не был ему представ-

лен. Он уже успел освободиться от своей юношеской робости и чувствовал себя теперь везде и со всеми свободно и непринужденно. И тем с большим изумлением он заметил, что появление Потемкина и его заставило почти вздрогнуть, быстро попятиться и оглядеться.

Но вот светлейший прошел в гостиную, где находилась императрица.

Маски снова оживились, послышался смех, шутки, веселые разговоры. Примолкнувшие было звуки музыки опять полились с хоров. Разноцветная толпа начала разделяться на пары, приготавливаясь к танцам.

На этот раз, как это часто делалось в маскарадах, было объявлено, что для первого танца дамы выбирают себе кавалеров.

К Сергею грациозно подбежала прелестная пастушка и взяла его за руку.

— Хотя ты поэт или художник, — сказала она, видимо, изменяя свой голос, — и, может быть, думаешь теперь об Италии или слагаешь чудные стансы в честь дамы твоего сердца, но все же позволь оторвать тебя от твоих мечтаний — не откажи протанцевать контрданс с бедной пастушкой!..

— Благодарю тебя, прелестная пастушка, — живо отвечал Сергей, — я вовсе не думал об Италии и не слагал стансов, а думал о том, как досадно, что я не могу сам себе выбрать дамы для контрданса...

— Кого же ты хотел выбрать? — с легким смехом перебила она. — Я очень добра и простодушна и сейчас докажу тебе это — назови мне твою избранницу, и, если только она еще свободна, то я уговорю ее танцевать с тобою...

— Зачем ты меня перебила, милая пастушка? Я досадовал именно на то, что не могу пригласить тебя...

Пастушка сверкнула глазками и опять засмеялась.

— Будто? Не верю. Да разве ты меня знаешь?

— Узнал, только что увидел.

— Неправда, ошибаешься...

— Как бы ты ни оделась, каким бы голосом не заговорила — я всегда узнаю тебя, *belle cousine!* — сказал Сергей, невольно и нежно пожимая маленькую ручку.

Он не ошибался. Это, действительно, была его кузина, прелестная Марья Львовна На-

рышкина, на которую он слишком часто заглядывался и которая нередко, помимо его воли, становилась в его мечтаниях между ним и далекой Таней.

— O, cousin! Вот вы уже совсем превратились в петербургского любезника!.. И знаешь, это нехорошо, потому что я уже давно не придаю никакой цены этим любезностям... я им не верю.

И в то же время из-под легкого кружева маски она ласково и самодовольно улыбалась своим хорошеньким ротиком.

— Vite, vite a vos places! — раздался голос дирижера.

Пастушка совсем почти склонилась на плечо своего кавалера, обдавая его запахом тонких духов, ослепляя горячей белизной прелестных плеч.

Оторвавшись на мгновение от шутливого разговора с милой пастушкой, Сергей оглядел сверкавшую огнями залу, и его взгляд приковался к той двери, в которую вошли императрица и Потемкин. Теперь на пороге этой двери, шагах в десяти от Сергея, стоял небольшого роста худощавый человек в военном мун-

дире — и, взглянув на него, Сергей уже не мог от него оторваться. Он забыл свою пастушку, спутался в фигуре контрданса.

Между тем стоявший у двери не трогался с места. Он, очевидно, только что приехал и выжидал окончания танца, чтобы пройти через залу. Он стоял неподвижно, опершись одной рукой на шпагу, а другой перебирая пуговицы своего мундира. Он был далеко еще не стар, лет тридцати пяти, не больше; но на его выпуклом высоком лбу уже легли преждевременные морщины. Лицо его было поразительно: он был дурен, с маленьким, очень вздернутым носом, далеко отстоявшим от верхней губы; большой рот его то и дело принимал неприятное, презрительное выражение. Одни только глаза, большие, синие и глубокие, скрашивали это некрасивое лицо. Эти глаза были чрезвычайно выразительны, проницательны, и в то же время что-то мечтательное, задумчивое и грустное в них светилось.

Вот он переменял позу, скрестил на груди руки, будто утомленный, опустил голову. Мимо него одна за другою мелькали пары танцу-

ющих, не обращая на него почти никакого внимания. Но Сергей, проходя у двери со своей пастушкой, на мгновение остановился и, не задумываясь над тем, хорошо ли то, что он делает, следует ли так, отдал ему глубокий, почтительный поклон и затем продолжал свой танец.

Тот, кому он поклонился, слегка вздрогнул, будто приходя в себя и отрываясь от своих мыслей, привычным, любезным движением наклонил голову и проводил Сергея долгим, внимательным взглядом. И вдруг краска залила его бледные щеки, он выпрямился, опустив руки по швам, причем на его груди блеснули две звезды — Андреевская и Анненская, и скрылся за дверью.

— Ты представлялся цесаревичу? — спросила Сергея пастушка.

— Нет еще, я в первый раз в жизни сейчас его увидел.

— Ну так теперь трудно будет тебе снискать его милость.

— Отчего? Чем я провинился?! — изумленно спросил Сергей.

— Да разве ты не заметил, как ты смутил

его своим поклоном? Вовсе не следовало кланяться во время танца и когда он так стоял, что, видимо, не хотел обращать на себя внимания. Это очень неловко вышло, cher cousin, а главное — цесаревич обидчив...

Сергею стало тяжело и неловко.

— Да, конечно, — смущенно проговорил он, — я понимаю, что не должен был ему кланяться, но я сделал это совсем бессознательно, не рассуждая, да и рассуждать было некогда; я просто не мог не поклониться цесаревичу и особенно увидя его в первый раз в жизни.

— А еще дипломат! — пожав прелестными плечами и тихонько хлопнув Сергея веером по руке, заметила Марья Львовна. — Ну, да авось обойдется! И потом, в сущности, что же? — Невелика беда, если и посердится, слава Богу, его гнев не может иметь больших последствий...

Контрданс кончился. Хорошенькая пастушка упорхнула.

— Великая княгиня!.. Цесаревич! — слышал Сергей.

Снова показалась небольшая, чересчур

прямо державшаяся фигура Павла Петровича. Он вел под руку молодую, стройную красавицу, вовсе не роскошно, но чрезвычайно со вкусом одетую. Ее милое, розовое лицо приятно улыбалось, грациозная головка то и дело наклонялась, отвечая на поклоны. Цесаревич тоже откланивался, но ни на кого не глядел и по временам морщил брови. Только проходя мимо Сергея, он вдруг на мгновение даже остановился, судорожная, нервная полуусмешка скривила его губы, его глаза прямо, холодно и пристально взглянули на изящного средневекового художника.

Сергей опять почтительно поклонился вслед за окружающими его и опять вспыхнули быстрым румянцем щеки Павла Петровича. Он отвернулся, и Сергей слышал как он довольно громко сказал великой княгине:

— Je voudrais bien savoir qui est cet individu? Этот... в черном!..

В звуке его голоса заметно было сдержанное раздражение.

Мария Федоровна подняла свои голубые глаза на Сергея и потом изумленно взглянула на цесаревича.

Они прошли мимо.

Танец следовал за танцем. В залах становилось жарко, многие уже сняли маски. На пороге большой танцевальной залы появилась императрица, а вслед за нею и веселый хозяин, преобразившийся из волшебника Мерлина в обер-шталмейстера.

Екатерина приветливо улыбалась знакомым лицам, снявшим маски, подозвала к себе Марию Львовну Нарышкину.

— А ты, плутовка, всегда знаешь, как нарядиться, — сказала она, дотронувшись веером до ее подбородка, — знаешь, что этот простенький костюм самый опасный!.. Подойди, растормоши светлейшего, а то он сидит в углу и дуется!.. Приведи его сюда.

Марья Львовна улыбнулась и побежала, едва касаясь пола своими маленькими ножками, исполнять приказание императрицы.

— Вот и еще очень изящный по своей простоте костюм. Ты не знаешь, Левушка, кто это? — сказала Екатерина, останавливая свой взгляд на Сергее.

— Это... это... да если не ошибаюсь — это Горбатов! — ответил Нарышкин.

— А! Позови его...

Сергей, снимая на ходу маску, подошел к императрице и поспешил выразить ей свою благодарность за пожалование, которого он удостоился.

— Очень рада, — милостиво сказала она, — граф Безбородко доволен вами, в чем я, впрочем, нисколько и не сомневалась, — я читала составленную вами бумагу — вы хорошо пишете...

— Но, кажется, он танцует еще лучше, — заметил Нарышкин.

— Что же, и это не мешает, — ласково проговорила Екатерина, — но еще лучше то, что вы о вас узнала, господин камер-юнкер...

Она замолчала и одарила Сергея своей самой милой улыбкой. Он растерянно взглянул на нее.

— Что вы узнали, ваше величество?

— Ну... этого я вам не скажу.

В это время подошел Потемкин. На его лице не было уже скучающего, апатичного выражения; он улыбался, бережно держа под руку хорошенькую пастушку — Марью Львовну.

— Я знала кого послать, чтобы развеселить

князя, — сказала императрица.- Votre petite bergère fait des prodiges, monsieur le Grandecuyer!

— Са не те regarde pas — я давно на нее махнул рукою! — ответил Нарышкин и шепнул Сергею:

— Что, братец, задали загадку?! Да ты не ломай себе голову... Каким путем — не знаю, а сделалась известной твоя поездка в Колумну, также и то, что ты бежал мужественно от чар соблазна...

Сергей покраснел и смутился, как ребенок. Он только думал о том, как бы отойти незаметно и вдруг встретился с зорким взглядом Потемкина, внимательно на него смотревшего. Смущение его еще усилилось от этого взгляда, и в то же время он услышал голос императрицы:

— Это вот, князь, рекомендую — молодой дипломат и мой новый камер-юнкер, господин Горбатов.

Потемкин еще раз взглянул на Сергея, отвечая полунебрежным кивком на его поклон.

— Нам теперь дипломаты очень нужны, — рассеянно проговорил он, — но только истин-

ные, серьезные дипломаты...

— Такие, надеюсь, и выйдут из школы графа Безбородки, — спокойно сказала императрица.

— Конечно.

И Потемкин, отвернувшись, наклоняя голову и заглядывая в глаза Марьи Львовны, стал нашептывать ей какие-то любезности.

Она, улыбаясь, отшучивалась.

Сергей незаметно смешался с толпою.

XXII. НЕЖДАННЫЙ ДРУГ

Танцы возобновились. Сергей принял в них участие, но был очень рассеян и едва мог заставить себя занимать танцевавших с ним дам неизбежными разговорами. Он не замечал, что начинает с каждой минутой возбуждать к себе больше и больше внимания, а между тем на него тихомолком указывали, о нем шептались. Иначе и быть не могло: едва появился — и уже попал в придворные! Императрица так милостива к нему, беседует, сама представляет его Потемкину...

— Быстро пойдет в гору!.. — говорили про него в один голос.

Молодые люди с завистью на него поглядывали и в то же время не могли не сознаться, что он хорош собою, отлично себя держит, со всеми любезен, внимателен и скромнен.

Между молодыми девушками и женщинами тоже немало было разговоров про Сергея. Они объявили его красавцем.

«И он так богат, у него говорят, такие бриллианты, каких пожалуй не найдешь и у Потемкина!..» — шептали невесты.

А молодые замужние дамы говорили другое:

«Он так молод, так свеж! У него иногда среди разговора делается вдруг такое наивное лицо, будто у ребенка... и как хорош, ах, как хорош! Только чересчур застенчив, он совсем почти не смотрит на женщин, никому не оказывает предпочтения, со всеми одинаково вежлив и холоден... Это неестественно в его годы... Или тут расчет? Очень может быть, что расчет, и даже верный. О, он, конечно, быстро пойдет в гору!..»

Но сам Сергей был крайне недоволен собою. Он не забыл своей неловкости относительно цесаревича, его тревожила мысль о

дурном впечатлении, которое он, очевидно, произвел на него. Он давно уже привык время от времени думать о цесаревиче и им интересоваться. Он даже не раз решался спрашивать покойного отца своего о нем. Но отец не любил подобных вопросов.

— Что же я могу знать?! — резко отвечал он. — Когда я видел его, он был еще совсем маленький мальчик, резвый и бойкий и в то же время трусишка — темной комнаты боялся... Иной раз придет и лепечет невесть про что, про какие-то страсти, которые якобы ему чудятся... Бабы старые запугали!.. У государыни Елисаветы Петровны этих баб было видимо-невидимо. Они его нянчили — ну и запугали своими глупыми сказками... да что!..

И Борис Григорьевич, недоговорив, бывало, махнет рукой. Все лицо его вдруг вспыхнет, встанет он с места и начнет большими шагами ходить по комнате. Сергей уже боится дальше расспрашивать. Он видит, что отец рассержен и понимает, что нельзя больше касаться его старых ран, тяжелых воспоминаний.

Но он все же время от времени старался

осторожно возвращаться к этому разговору.

И до Горбатовского доходили различные слухи, и в деревенской глуши передавались всякие вести о петербургской придворной жизни.

Сергей узнавал, что цесаревич, уже давным-давно совершеннолетний, не принимает почти никакого участия в делах государственных, что он совсем удален от правления. А между тем ведь он же законнейший наследник императора Петра III!.. Правление Екатерины славно, она великая женщина, но ведь все права на его стороне! Зачем же он удален, будто его совсем и нету? Или он человек без воли, без способностей?! Но нет, приезжие из Петербурга рассказывают много прекрасных черт его характера, рассказывают про его благородство, его находчивость и остроумие. Говорят, он много работает, всегда занят. А вот Рено рассказывает, что в Париже, в то время, когда цесаревич приезжал туда со своею супругою под именем Comte du Nord, он совсем пленил парижан, и его называли не иначе, как самым умным, самым милым и любезным из европейских принцев. Все говорят,

что императрица его не любит, но в то же время прибавляют, что сам он относится к ней с величайшим почтением. Как же выносит он свое странное, неестественное положение, как он с ним примиряется?

Из всего того, что Сергей слышал о Павле Петровиче в течение всей своей жизни, в его воображении вырос прекрасный и вместе с тем загадочный образ, этот человек с такой странной судьбою возбуждал в нем большую симпатию, восхищение и жалость. И он крайне удивлялся тому, что все эти господа, которые рассказывают о цесаревиче, о его прекрасных качествах, решительно не придают никакого значения этим качествам, не сожалеют его. Его, очевидно, никто не любит. Да за что же? Что все это значит?

По приезде в Петербург Сергей очень желал увидеть цесаревича, но до сих пор ему этого никак не удавалось — Павел Петрович был почти невидимкой, редко показывался из своей таинственной Гатчины. И опять, спрашивая о нем, Сергей замечал, что вывод, сделанный им еще в Горбатовском, оказывается верным: цесаревича не любят, не жале-

ют, и главное — о нем совсем не думают, им не интересуются.

Наконец Сергею удалось его увидеть, и едва взглянув на него, он почувствовал к нему неодолимое сердечное влечение. Его некрасивость, неприятное, язвительное выражение его рта мгновенно забылись при грустном мечтательном свете синих, устало опущенных глаз. Что-то совсем особенное, необычное и вполне соответствующее тому образу, который уже создало его юное воображение, подметил Сергей в цесаревиче.

«О, это, наверно, великая, страдающая и непонятная душа!» — подумал он, чувствуя как сильнее и сильнее начинает биться его сердце.

Тут он и отвесил свой почтительный и неловкий поклон. И вот прелестная Марья Львовна пугает его немилостью, да и сам он уже подметил явные признаки раздражения, им вызванного.

Сергей забывался на несколько мгновений, охватываемый оживлением бала, но снова все вспоминал и едва удерживал свое волнение.

«Фу, какую глупость я сделал! — с отчаянием думал он. — До сих пор все шло так хорошо, все так удавалось — и нужно же было, чтобы я именно повредил себе в его глазах!..»

Он положительно страдал; он полюбил цесаревича юной восторженной любовью, полюбил, совсем его не зная, по какому-то предчувствию. Танцевать больше не хотелось и, снова надев свою маску, он бродил по залам и гостиным. Дом Нарышкина был так обширен, гостей набралось так много, что в этой быстро двигавшейся и жужжавшей, подобно пчелиному рою, толпе легко было замешаться, заблудиться, совсем затеряться, как в лесу. Среди этой толпы, где все были заняты по преимуществу собою, своими делами и своим весельем, где почти у каждого были свои маленькие или большие цели, теперь с каждым часом становилось все свободнее и привольнее. Тут можно было сколько угодно мечтать и забываться, ибо чем гуще и оживленнее толпа, тем больше в ней уединения. И многие пользовались этим заманчивым уединением среди тысячной толпы, уединением среди несмолкаемого говора, под звуки музыки,

несшейся из танцевальной залы.

Для того, чтобы хоть сколько-нибудь развлечь себя и уйти от своих тревожных мыслей и недовольства собою, Сергей начинал присматриваться и прислушиваться к тому, что вокруг него делалось. И он ясно видел, как уже многие воспользовались своим уединением. Мимо него мелькали счастливые пары. Все укромные уголки, где было побольше тяжелых драпировок, широких листьев тропических растений, были заняты этими счастливыми парами. Но встречались и странные пары.

Сергей видел почтенных с виду сановников, взявшихся под руку и шепчущихся между собою горячо и страстно, подобно нежным любовникам или заговорщикам. Но, прислушиваясь к их шепоту, оказывалось, что вся любовь, весь заговор состоят только из сплетен да пересудов, из жалоб оскорбленного чиновничьего самолюбия или толков об ожидаемой служебной награде.

А вот и еще странная пара: в полном самого изящного комфорта уголке пышной гостиной, на покойном, раззолоченном кресле кра-

суется великолепная фигура Потемкина. Рядом с ним милая пастушка, Марья Львовна. Между ними ведется оживленная беседа, они улыбаются друг другу. Князь забывает, очевидно, и свое величие, и свои годы, и свою лень; он в роли любовника, в роли влюбленного юноши. На его монументальном лице сладкая улыбка, которая делает это замечательное, величественное лицо таким странным, смешным даже. Вот он быстро склонился к соседке, ловко поймал ее ручку, прижал ее к губам своим. Пастушка замахивается на него веером, а сама смеется, сама шутит, сама от него не отходит... Странная пара!..

Идет Сергей дальше и видит, что стройный миннезингер, сверкавший бриллиантами, ведет под руку венецианку шестнадцатого века. Они оба, видимо, не замечают никого и ничего кругом себя. Эта пара проходит как раз мимо Сергея, и он слышит, явственно слышит страстный шепот миннезингера Мамонова:

— Дорогая, да скажи же... Повтори еще раз сегодня, что меня любишь... Ведь только в этом слове все мое счастье... Ведь только чтобы услышать его, я выношу терпеливо мои

мучительные дни, мои бессонные ночи...

— Люблю!.. — тихо и как-то грустно отвечает венецианка.

Пара исчезает. А через несколько минут сверкающий бриллиантами миннезингер появляется в толпе уже один и бесцельно, рассеянно бродит, опустив голову.

Толпа неустанно движется, ежеминутно меняясь, мелькая своею пестротой. Становится душно, даже туман стоит в высоких залах, заволакивая легкой мглой сверкание бесчисленных люстр и кенкетов.

Сам не зная как, Сергей очутился в тихом уголке, за раскидистой пальмой. Он устал и с радостью заметил низенький диванчик. Здесь так хорошо можно отдохнуть несколько минут, отдохнуть невидимкой, под жужжанье толпы, под далекие звуки веселого мотива...

И он забылся. Но вот близкие и явственные голоса, раздавшиеся где-то почти у самого его уха, за широкими листьями пальмы, заставили его очнуться.

— Дуришь, брат Сашура, дуришь! — говорил один голос. — И нехорошо дуришь —

опомнишься, да поздно будет... Так лучше вовремя подумай, что затеваешь, глупый человек!..

— Я не понимаю, князь, о чем вы? — отвечал другой голос, и смущение, и тоска слышались в словах этих.

— Не понимаешь?! Прикидываешься... Так я скажу и прямо. Ну, к чему это «маханье» с Щербатовой?.. Коли я заметил, то и другие могут заметить. Да ты, по видимости, даже и скрываться-то не намерен... Опомнись!

Ответа не было, и голос продолжал:

— А ведь я считал тебя благоразумным, я на тебя полагался... А ты словно малый ребенок... Да коли тебя уж так бес смущает, так ты бы это умненько... Мало ли как... Ну, нашел бы что-нибудь подходящее... Не на глазах у всех...

— Ах, да чего вы меня мучаете!.. Тошно мне — вот что!..

— Тошно!.. Кислятина ты, брат Сашура, и ничего больше!.. Ну и пропадай, коли охота, я предостерег, а там уж не мое дело... Другие найдутся поумнее тебя... Дурить-то не станут. Одного такого я, кажется, сегодня уж видел.

— Кого?!

— Кого! Сам приглядишься, может и узнаешь. Мне представлен и даже открытие сделано: умен, образован и душа чистая...

Яркая краска залила щеки Сергея. Но голос уже смолк... Потемкин с миннезингером проходили в следующую гостиную и встречные почтительно давали им дорогу.

— А я тебя повсюду ищу!.. Пойдем, цесаревич желает тебя видеть...

Это говорил Нарышкин.

«Цесаревич!» Сергей сразу позабыл странный разговор, сейчас слышанный, позабыл все и почти с остановившимся сердцем поспешил за Львом Александровичем, который провел его в одну из дальних внутренних комнат.

Это был небольшой кабинет. В покойном кресле у стола, на котором горели две свечки, слабо озарявшие комнату, и стояла ваза с фруктами, сидел Павел, облокотясь одной рукой на стол и поддерживая ею свою голову, а другою отрывая ягоды от крупной кисти винограда; он медленно клал их в рот, высасывал и бросал на серебряное блюдечко.

В комнате больше никого не было.

Когда Нарышкин представил Сергея, Павел остановил на нем свои внимательные глаза, но, будто забывшись, несколько мгновений не говорил ни слова и продолжал высасывать виноград.

Сергей стоял совсем смущенный, не зная, чем все это кончится.

Наконец Павел слабо улыбнулся и кивнул Нарышкину.

— Благодарю вас, Лев Александрыч, не стесняйтесь, пожалуйста... я вас не задерживаю — ведь у вас сегодня хлопот немало.

— Да, уж извините, ваше высочество, одно дело сделал, а сотни других ждут.

С этими словами Нарышкин скрылся.

Сергей остался наедине с цесаревичем, а тот все еще не говорил ни слова и все внимательно и загадочно смотрел на него. Сергей не мог дольше выносить этого взгляда, он чувствовал себя как во время пытки.

«Зачем он меня мучает? Зачем казнит?»

Еще несколько мгновений — и он заговорил бы первый и опять не как дипломат, а как милый и искренний мальчик. Конечно,

он насказал бы много лишнего, он объяснился бы в любви перед строгим мучителем.

Но Павел предупредил его. Он вдруг взял его руку.

— Садитесь, сударь, — сказал он, указывая ему на стул рядом с собою. — Знаете ли, сударь, что вы успели, еще не познакомясь со мною, рассердить меня своим неуместным поклоном во время танца?..

— Знаю, ваше высочество, — ответил Сергей дрогнувшим от волнения голосом, — и понял всю вину мою, но тогда уже было поздно ее исправить. Я сам не знаю, как дозволил себе такую бестактность, но я не мог тогда рассуждать, я так давно ждал счастья увидеть ваше высочество... моя голова сама собою склонилась перед вами...

Павел закусил губы, ноздри его раздулись.

— Так недавно здесь и уже научился льстить!.. Слишком рано и стыдно, сударь!..

— Льстить! — отчаянно повторил Сергей, внезапно бледнея.

Слезы показались на глазах его.

Павел взглянул, и вдруг все лицо его мгновенно преобразилось. Глаза засветились доб-

ротою, на губах мелькнула улыбка. Он опять взял Сергея за руку.

— Простите... ошибся... спасибо!

— Ваше высочество, вы простите меня и забудьте мою неловкость!

— Я даже рад тому! Вы заставили вас заметить, я пожелал узнать кто вы, а узнав, захотел с вами познакомиться... Знаете ли, сударь, что вы мне не чужой?

Сергей изумленно и в тоже время радостно глядел на цесаревича.

— Да, не чужой... сын Бориса Григорьевича Горбатова не может мне быть чужим. Я хорошо помню вашего отца, хотя и был тогда ребенком... и мне ли его не помнить, одного из немногих и самых верных друзей и слуг отца моего! Я всех помню, всех... и все! Я не раз хотел написать Борису Григорьевичу, и только многие серьезные причины лишали меня этого удовольствия. Но я постоянно справлялся и узнавал о нем... Мне горько было услышать весть об его кончине. Я сказал вам все это для того, чтобы вы поняли, что всегда и во всем можете на меня рассчитывать... Я вам не чужой, слышите!.. Я не забываю...

Голос Павла оборвался, глаза подернулись слезами, он провел рукою по лбу, будто отгоняя тяжелые мысли.

Сергей вскочил в невольном горячем порыве, склонился к ногам его, поймал его руку и жарко прижал к ней свои губы. Цесаревич его поднял, и, обняв, усадил опять рядом с собою.

Он стал расспрашивать его об отце, о нем самом, о его воспитании. Минуты проходили. Слушая Сергея, Павел сидел, задумчиво опустив голову.

— Жаль, что ты приехал сюда, мой друг! — наконец, сказал он, оставляя «вы» и «сударь» и начиная говорить ему «ты». — Поверь, что там, в деревне, ты был бы здоровее и телом, и духом... Здесь воздух скверный, здесь отравы! Но делать нечего... да избавит тебя Бог от здешней отравы — может, и не заразишься. Хотел бы я побольше поговорить с тобою, поближе познакомиться... Приезжай ко мне в Гатчину, только не говори о том никому, выбери день свободный и приезжай тихонько... Не изумляйся, я знаю, что говорю — и говорю для твоей же пользы. Тихонько приезжай, но

приезжай непременно... когда хочешь, всегда рад тебя видеть... до свиданья!..

Сергей вышел из кабинета будто окрыленный; широкое счастливое чувство наполняло его. Не обмануло его воображение, оно рисовало ему цесаревича таким, каким он оказался в действительности. Да, он всегда знал и чувствовал, что он именно такой... другим он и быть не мог.

Но все же прежняя загадка оставалась нерешенной. Все та же таинственность и непонятность окружали благородный образ цесаревича, и та же мучительная жалость к нему, только еще с большей силой, сжала сердце Сергея.

Полный мыслей о нем, об этом новом неожиданном друге, он вышел в залы и почти столкнулся с императрицей. Она собиралась уезжать. Заметив Сергея, она приветствовала его улыбкой.

— О, как раскраснелся! Совсем затанцевался... А много любезностей наговорил? Я, чаю, и счесть невозможно.

Она глядела на его пылавшее лицо и сиявшие глаза внимательно и с видимым удо-

вольствием. Он невольно опустил веки перед этим взглядом.

Императрица прошла, любезно кланяясь на все стороны.

Кругом пронесся едва слышный шепот. Сергей чувствовал себя предметом всеобщего внимания. Он пробрался к выходу из танцевальной залы и поспешил домой, полный новых ощущений.

XXIII. ЗАТИШЬЕ

В эти последние годы Петербург уже совсем превратился в красивый европейский город. На широких его улицах, еще недавно обнесенных пустырями, садами и огородами, теперь возвышались высокие обширные дома разбогатевших русских и иностранных торговцев. Рядом с этими домами высились дворцы вельмож, поражавшие своим великолепием.

Народонаселение возрастало с каждым годом. Кипела разнообразная, живая торговля, множество иностранцев прибывало постоянно. В центральных улицах весь день и большую часть ночи кипела жизнь.

Был другой город, в котором народу насчитывалось несравненно больше, чем в Петербурге, в котором движение было непрестанно, неостановочно в течение нескольких столетий. Но уроженцы этого города — Москвы, приезжая в Петербург, сразу замечали, что здесь совсем иной характер движения. Москва — муравейник, там кипит трудовая жизнь, там черный люд работает всю черную работу. И из-за этой работы не видно бесцельного движения праздного, развлекающегося, веселящегося люда. Роскошные экипажи богачей-бар, проезжая по бесчисленным переулкам и закоулкам, поднимаясь с горки на горку, исчезают среди обозов, нагруженных всевозможными припасами; нарядные фигуры пропадают среди черной толпы. Только в праздничные дни изменяется вид города: народ отдыхает и празднует, по-своему веселится. И опять-таки в этом народном веселье и праздновании поглощается барское веселье. Москва — город русского народа, и народ здесь является во всей своей черноте и в своей красоте, и в своем безобразии, со всеми особенностями своих нравов и своего быта.

Петербург совсем не то. Москвичи чувствуют себя здесь иностранцами. Образ русского народа, образ крестьянина, торговца, мастерового сливается с образом другого крестьянина, другого торговца и мастерового — немца, чухонца и, сливаясь с ним, теряет мало-помалу свои коренные особенности. Но и человек из русского народа, и немец, и чухонец — все они здесь мелькают только время от времени, робко и прячась, и скрываясь за другим образом. Петербург — придворный город, город чиновной знати, праздных богатей, приезжих иностранцев. Это город веселья и роскоши. Веселье и роскошь водились в нем и прежде, почти с самого его основания, но в предыдущие царствования это все же была не та роскошь, не то веселье, которые завела великая Екатерина.

Теперь Петербург превратился в настоящую столицу. Когда ни выйти на Невский проспект и прилегающие к нему улицы, всегда там шумно илюдно. Только по утрам за тишье, но едва настанет полдень — и уж со всех сторон одна за другою мчатся нарядные кареты. Чиновные лица, весело прошедшие

добрую половину ночи, поздно проснувшись, позавтракав и неспешно одевшись, отправляются к должностям своим. Исключение составляют только те, кто обязан явиться с ранним докладом к государыне, эти поневоле должны проснуться в восемь часов, хоть иногда пришлось поспать каких-нибудь часа три-четыре после веселого бала или иной пирушки.

Прошли и проехали чиновники и сановники, и опять одна за другою мчатся кареты. В пух и прах разряженные модницы, со всевозможными кораблями и башнями на головах, с форейторами и ливрейными лакеями спешат делать визиты. А то и так разъезжают по самым людным улицам, выглядывая из окон карет или красуясь в колясках, выставляя себя на удивление и восторг толпе блестящей молодежи, которая в экипажах и пешком снует взад и вперед по улицам. Светские франты в самых изящных кафтанах, зачастую выпитых прямо из Парижа, гвардейские офицеры в разнообразных, неимоверно дорогостоящих мундирах; по целым часам они прогуливаются по тротуарам, то катаются тоже с ви-

зитами, то заседают в ресторанах.

И ведь все они служат государству, у каждого, судя по должностям их, должны же быть дела. Наивные провинциалы только изумляются: когда это они все поспевают!

Приходит вечер, и у Петербурга новые удовольствия: балы, всевозможные вечера, маскарады, пикники, театр. Ночь превращается в день, только с той разницей, что жизнь среди ночи еще деятельнее, еще разнообразнее.

Весело и привольно живется Петербургу; императрица никого не стесняет и, ежедневно катаясь по улицам, с удовольствием замечает, как обстраивается ее столица, как все богато, весело, оживленно. Большая разница между тем временем, когда она только что приехала в Россию: тогда еще Петербургом и жизнью его общества трудно было похвастаться перед европейцами. Ну, а теперь пусть приезжает кто угодно, русское общество в грязь себя не уронит, русский двор и русская знать выдержит сравнение с самыми роскошными дворами Европы и с европейской знатью.

Мнение о России быстро возрастает, хотя

Россию почти не знает никто, хотя ее не совсем знает и сама императрица, несмотря на то, что еще так недавно сделала по ней огромное путешествие. Она хотела все увидеть, во всем убедиться собственными глазами. Но это оказалось невозможным. Она могла увидеть вещи, которые ее сильно бы опечалили. А близкие ей люди, конечно, не могли допустить, чтобы государыня была опечалена.

Ее путешествие было нескончаемым рядом удовольствий и разнообразных сюрпризов. Все города и местечки, через которые она проезжала, вдруг изменили вид свой, нарядились, обчистились, даже как будто обстроились, хотя это были только временные, декоративные постройки. Народ русский, радостно встречавший царицу, имел такой сытый, здоровый вид. Мужики и бабы, парни и девки, и ребятишки были одеты не только что в крепкие, но даже и живописные костюмы. И чем дальше двигался веселый, торжественный проезд Фелицы, тем больше и больше встречалось чудес.

Государыня ожидала видеть пустые печальные пространства, но при ее приближе-

нии эти пространства превращались в живописные оазисы. С обеих сторон дороги, то здесь, то там, являлись прелестные картинки, и невозможно было издали заметить, что это опять-таки только декорации, что их вчера еще не было и завтра опять не будет.

Из всех приближенных только один Лев Александрович Нарышкин иногда расстраи-вал остроумно придуманные сюрпризы и открывал императрице глаза на действительно существующее, на некоторые печальные стороны русской жизни. Но и он не заходил далеко, и он боялся ее чересчур тревожить, да и не хотел, вероятно, уж слишком сердить сильных людей.

Так и вернулась Екатерина в свой милый Петербург, составив себе не совсем верное понятие о виденной ею России.

Да, весело, пышно и привольно жилось в Петербурге, и многие из посещавших его не знали, что недалеко от него есть такое местечко, где, по-видимому, должно было так же весело, привольно и пышно житья, но где между тем было совсем иное. Это местечко называлось Гатчина, это была резиденция ве-

ликого князя-цесаревича. Небольшая мыза с дворцом, прежде принадлежавшая Григорию Орлову, Гатчина после его смерти снова была куплена Екатериной и подарена ею Павлу Петровичу. Мыза теперь превратилась в городок, но городок совсем особенный, со своею собственной и оригинальной жизнью...

Уже начавшее по-весеннему греть солнце только что взошло, освещая своими косыми лучами гатчинскую дорогу. В морозном утреннем воздухе стоял туман; но он рассеивался мало-помалу, и то там, то здесь по сторонам дороги обрисовывались деревушки, полосы лесов, то уходившие почти к самому горизонту, то приближавшиеся, вырастая, почти к самой дороге.

По направлению к Гатчине быстро мчалась карета на полозьях, запряженная целым шестериком добрых коней. Серей Горбатов, по желанию цесаревича, спешил представиться ему в его резиденции. Он выбрал для этого первый свободный день и выехал еще до света, никому не сказавшись, приказав прислуге всем объявлять, что он нездоров и никого не принимает.

Удобная и прочная карета то и дело под-скакивала на сугробах и ухабах. Уже почти половина пути была окончена, а между тем никто не встретился. На ямском дворе, где пришлось остановиться, было все чисто, опрятно, но бедно. Сергей тут оставил своих лошадей до вечера, и уж ямщицкие лошади должны были довести его в Гатчину; свои чересчур устали — ведь более восьмидесяти верст туда и обратно.

— Ну уж и дорожка же у вас! — говорил Сергей старому ямщику-хозяину, почтительно, без шапки, стоявшему у окна его кареты. — Разбирать-то пути некогда — спешу, ну, а ухабы такие, что ажно колотья сделались.

— Да что дорожка, ваше сиятельство, — отвечал ямщик, — такие ли бывают! Оно точно — поправлять некому, иными местами и сугробы, ноне зима была снежная, метели тоже, только дорожку нашу за что же хаять — это вам, сударь, с непривычки после Питера показалось. Вон великая княгиня-голубушка, та никои не жалуется, да и великий князь тоже... а уж езда-то их, езда!.. Коня, как доедут до двора, смотреть жаль...

— Ну, до разорения-то великий князь, чай, не допустили?

— Да и мало ли их и совсем пропало! — вмешался другой ямщик, стоявший в стороне. — Просто разорение с этой ездой!

Старый ямщик почесал затылок и улыбнулся.

— Оно точно, ваше сиятельство, — проговорил он. — Да кабы и так, по недостатку, в долгу он у меня остался, так я это за честь себе почту, последнюю лошадь отдам и не пожалею. А это он зря болтает, — прибавил он, показывая на другого ямщика, — его нечего слушать. Кому же и угодить, как не нашему великому князю. Одно его ласковое да простое слово коня стоит...

Лошади были готовы. Сергей щедро заплатил ямщикам. И опять началась безумно скорая езда по ухабам, от которых Сергея бросало из угла в угол кареты.

Вот и Гатчина. Кони на всем ходу вдруг остановились у шлагбаума.

— Кто такие? За каким делом?

Сергей отвечал, что к великому князю, которому известно о его приезде.

Шлагбаум поднялся, карета въехала в городок, но уже на козлах рядом с ямщиком сидел гатчинский солдат. У плаца карета остановилась снова. Солдат слез с козел и опрометью кинулся к небольшому домику, перед дверью которого стоял часовой.

— Ну что же ты? Пошел! — крикнул Сергей ямщику. — Я чаю, ведь знаешь, куда тут!

— А вот, что солдат скажет, — тихонько проговорил ямщик. — Тут, ваше сиятельство, своя поведенция, тут строго... ухо остро держать надо, не то как раз в солдатские лапы попадешься и не разделаешься.

Сергей выглянул из окна кареты. Перед ним обширный плац, в глубине которого полукругом возвышается здание дворца. На плацу большое движение. Солдаты в полной форме, офицеры командуют; производится обычное утреннее ученье.

Наконец, к карете подошел молодой офицер и, подробно расспросив Сергея, сказал ему:

— В таком случае, сударь, попрошу вас выйти, дальше карете никак нельзя проехать. Потрудитесь следовать за мною, я провожу

вас.

Сергей вышел. Огибая плац вдоль стены дворца, они добрались до среднего подъезда, у которого опять стояли часовые, тотчас же скрестившие штыки перед ними. Но по слову офицера солдаты разомкнули штыки, вытянулись в струну, пропуская входивших.

Сергей огляделся. Он был в небольшой, довольно низенькой комнате в два окна. Убранство этой приемной было самое простое. В углу большая голландская печка; на выкрашенных желтой краской стенах три темные картины с мифологическим сюжетом; между окон зеркальце, овальный стол красного дерева; простые, такого же дерева, стулья вдоль стен; посреди комнаты с потолка спускался большой стеклянный фонарь, на окнах белые гладкие шторы.

Эта комнатка напомнила Сергею столовые в деревенских домах помещиков средней руки и никак не была похожа на дворцовую приемную.

Но едва Сергей успел заметить эту непривычную для него простоту, как внутренняя дверь приемной отворилась и вошел человек

уже не первой молодости, с красивым лицом и блестящими черными глазами. Он был одет очень просто; но его темный суконный кафтан был тщательно вычищен; манишка и манжеты сверкали белизною, парик был особенно искусно причесан. Он ловко и любезно поклонился Сергею и приятным голосом спросил:

— С господином Сергеем Борисычем Горбатовым имею честь говорить?

Сергей в свою очередь поклонился.

— Цесаревичу доложено. Они теперь заняты, но очень скоро освободятся. Хорошо сделали, сударь, что пожаловали: цесаревич все дожидается вас и не далее как вчера изволил мне говорить о том, что вы долго не едете.

— С кем имею удовольствие? — спросил Сергей, замечая по тону слов этого господина и вообще по некоторым, хотя неуловимым, но все же ясным признакам, что он имеет дело с одним из самых приближенных к цесаревичу лиц.

— Иван Павлов Кутайсов, — улыбаясь ответил черноглазый господин. — Прошу любить да жаловать. А коли желаете знать, ка-

кова моя должность и что я есть за птица, то уж не умею как и сказать вам, сударь. Я и побрить великого князя, и посудить с ним о том, о другом, я и сложить голову за него, коли пришлось бы, ибо всем, как есть всем, ему обязан.

Он замолчал и пытливо своими черными блестящими глазами глядел на Сергея.

Но Сергей был приготовлен. Странные слова господина Кутайсова и определение им его обязанности при великом князе были ему не новостью. Он уже слышал в Петербурге об этом пленном турчонке, об этом ловком брадобрее Павла Петровича, который с помощью бритвы, приятных манер и большого такта умел, оставаясь цирюльником, превратиться в одно из самых влиятельных лиц в Гатчине.

— Очень рад познакомиться с вами! — добродушно и искренне сказал Сергей, крепко пожимая Кутайсову руку.

У того все лицо просветлело, он улыбнулся, показывая свои прекрасные зубы и заговорил:

— Хорошо сделали, сударь, что пожаловали, и смею надеяться, что дурного от нас не

увидите; веселость у нас после Питера встретить трудно; но доброму гостю рады душою, а на простоте нашей не взыщете... Да что мы тут... пожалуйста-ка, сударь, я вас проведу поближе к цесаревичу, как он освободится, так сейчас к вам и выйдет — пожалуйста.

Он предупредительно отворил дверь и ввел Сергея в следующую комнату, несколько обширнее первой, но так же просто меблированную.

— Это вот у нас неприятная комната, — смеясь, сказал он, — ее наши господа офицеры не очень-то долюбливают, тут их цесаревич иногда ух как распекает!.. Вот и дверцы в коридорчик, а за ним и гауптвахта. Из этой комнаты туда как есть самый прямой путь... Так-то, сударь, вот как у нас. Но комнатка сия не для вас... сюда теперь пожалуйста.

Он опять отворил дверь, и они вошли в третью, совсем уже маленькую комнатку, уставленную белыми стульями, крытыми красным с пестрыми разводами штофом.

— Здесь вы обождите малость, Сергей Борисыч, присядьте. В этой комнатке мы уже с большим разбором кого принимаем. Дверь-то

эта в спальню да в кабинет цесаревича. Не обширно у нас, да зато тепленько... Вот тут взгляните — эта витая лесенка прямо вверх, в спальню великой княгини... ну да как освоитесь у нас, так цесаревич сам все покажет, все гатчинское устройство. А пока извините, я вас одного оставляю, самому мне бежать нужно — уж больно много приказаний дано мне на сегодня... Да вы, сударь, как бы вам сказать, с цесаревичем нынче поосторожнее, они с самого утра не в духе — еще вчера их больно рассердили...

Он вздохнул, поклонился Сергею и вышел.

Сергей присел на белый, довольно жесткий стул и ждал. Сквозь двойные рамы низенького окна глухо доносились окрики команды с плаца. Где-то пробили часы, и опять все смолкло.

Прошло еще несколько минут. И вот в соседней комнате, дверь которой была не совсем плотно притворена и на которую Кутайсов указал Сергею, говоря, что тут спальня и кабинет цесаревича, слышались голоса. Кто-то вошел туда, громко хлопнув за собою дверь, отчего дверь маленькой приемной,

где сидел Сергей, уже совсем отскочила, образовав щелку, в которую даже можно было все видеть.

Но, конечно, Сергей не воспользовался этим. Он сидел неподвижно, даже сожалея о том, что Кутайсов провел его сюда.

«Мало ли что может говориться за этой дверью, а выйдет цесаревич, поймет, что он, сидя здесь, все слышал и, конечно, может остаться крайне недоволен. Гораздо бы лучше туда, в первую приемную».

Сергей уже и хотел это сделать, но между тем не шелохнулся. Его поразил крикливый, раздраженный голос великого князя. С первых слов он даже не узнал этот голос; но скоро не могло оставаться никакого сомнения. Да, это говорил цесаревич, быстро шагая из угла в угол по небольшой комнате.

— Уж моих сил нет... слышите, сил нет!.. И никто не уверит, чтобы это случайно. Все это нарочно делается для того, чтобы раздражать... бесить меня... Разве они когда-нибудь подумают обо мне... разве пожалеют, что я нездоров... устал, не в духе!..

— Нет, дорогой друг, — перебил его тихий

и в то же время чрезвычайно звучный женский голос, — вы несправедливы, и слова ваши мне крайне прискорбно слушать... Я не узнаю вас — вы клеветаете на верных слуг ваших. Я уверена, что во всей Гатчине не найдется человека, который бы захотел вам причинить малейшую неприятность. Но я сама вижу: в иные минуты угодить вам становится невозможно. И чем это вы нынче так раздражены? Расскажите — посмотрим, может быть, совсем не так серьезно... будьте откровенны!..

— Чем раздражен! — опять закричал цесаревич и какой-то предмет с треском упал на пол. — Чем раздражен? — кричал он. — Все тем же! Хорошо вам говорить о смирении, о терпении... Вы знаете терплю ли я... смиряюсь ли... Но, наконец, ведь сил не хватает... Я вчера поздно вернулся из Петербурга... Какой день!.. Что я там вынес!.. Поехал к нему... Сколько раз обещал себе больше не унижаться, не ездить, а все же поехал, не для себя, конечно... Но ведь он Бог знает до чего доходит!.. Теперь ему мало преследовать друзей моих, он до всех лучших русских людей доби-

рается... Он запугивает... всюду видит политические замыслы. Образованные, ученые, добродетельные люди собираются рассуждать о нравственных вопросах, о Боге, работают над собственным очищением, стараются распространить по России свет просвещения... издаются полезные книги, а он объявляет их заговорщиками, преступниками... их преследуют... Я не мог молчать, я обязан был за них заступиться, попробовать его усовестить. Ну и поехал, и жестоко раскаиваюсь... Должен был знать давно уж, что мое заступничество никому, кроме вреда, ничего не может принести, а мне только унижение... Заставил ждать... а как принял!.. Роскошь кругом такая, как только в волшебных сказках, а сам валяется на подушках нечесаный, немытый, в каком-то халате, босиком, грызет морковь и тут же раскрытое Евангелие!

«Извините, — говорит, — что так принимаю: болен, душа скорбит... тоскую...»

— И сам подносит Евангелие к своему единственному глазу, читает. Ведь это кощунство!.. И уж лучше бы не извинялся — только новая обида... Что я вынес, на него глядя!.. Но

сдержался и виду не подал. Заговорил мягко; стал доказывать всю невинность и не только не опасность, а прямую пользу тех ученых кружков, на коих он накинута. И слышать ничего не хочет, говорит: «Я знаю, что делаю, это волки в овечьей шкуре...»

— Да вы спокойно спросили бы у него доказательства, — перебил женский голос.

— Я сие и сделал и в ответ слышу: «Кабы не имел точного понятия о сих людях и не знал их козней, то не стал бы и говорить о них; других доказательств кроме собственно моего убеждения мне и не надо. И напрасно, — говорит, — вы являетесь их заступником, только себя компрометируете...» Слышите, компрометирую! Теперь он в их список и меня включит, и меня сделает заговорщиком! Уж не помню как я от него и уехал. Ведь это что же такое?! Ведь это прямое насилие... и я должен молчать, терпеть... Да и для себя теперь не знаю, чего ожидать должен...

— Вы увлекаетесь, ваше высочество. Конечно, все это может и должно возмущать вашу душу; но опасения на счет себя крайне неосновательны. Как бы человек ни зазна-

вался, на какое зло он ни был бы способен, он все же сохранит настолько рассудок, чтобы понять, где ему следует остановиться. Затем, несмотря на всю его силу, это могущество имеет предел, вам нечего бояться; вы говорите пустое...

— И этими словами меня не успокоите; для этого человека не существует никаких пределов: он окончательно забылся. Он перечитывает Евангелие, вздыхает и молится и в то же время помышляет о короне... Ему не удалось сделаться польским королем, и он теперь хочет наверстать потерянное. Вот он уезжает опять в армию, и знаете ли, что его имя будет упоминаться в церквях и на выносе. Мы с вами это услышим и здесь, в нашей церкви. Я тоже кое-что знаю, да он и не скрывается, он кой-кому передает свои планы. Все эти войны, которые поглощают государственные средства, ведутся только ради его возвышения. Посмотрите, пройдет год, и если счастье будет ему благоприятствовать, если он станет побеждать, то мы увидим на карте Европы новое королевство, в котором он будет королем. И, наконец, вот смотрите, эта газета,

только что полученная из заграницы и дождавшаяся нынче моего пробуждения! Прочтите вот тут, — это продажное перо, им подкупленное... Панегирик!..

— Что это такое? I! — изумленно спросил женский голос.

— Да — I после его имени и значит это: Imperator. А вы мне говорите о каких-то пределах, говорите о безопасности. Я должен ожидать всего... Так как же мне быть спокойным?! Знаете ли, какую ночь я провел — глаз не мог сомкнуть... думал, что сердце разорвется. А тут утром еще эта газета и потом вдруг узнаю — приказания мои не исполняются; выглядываю в окно — вижу, путаница... солдаты ступить не умеют... офицер самых первых правил не понимает. И ведь знают, что я гляжу... знают, что я вижу... Нет, это нарочно, чтобы окончательно меня замучить... Но я не допущу, я покажу этому негодяю, что такие шутки неуместны!

И он в волнении, почти задыхаясь, быстрыми шагами подошел к двери и уже хотел отворить ее.

— Au nom du ciel arrêtez vous, venez...

écoutez moi!

Павел отошел от двери.

— Что вы мне скажете? Что можете мне сказать? Зачем вы меня удерживаете... Это только послабление и ничего больше. Если бы я всегда слушал, что вы мне говорите, то мне пришлось бы совсем распустить моих солдат... сделать Гатчину всеобщим посмешищем. Пусть другие распускают, пусть другие заводят в армии и гвардии всякие нелепые порядки, пусть губят военный дух... дисциплину. Я слышал немало насмешек над русским войском, я хочу доказать, что и русское войско может быть примерным, что оно не уступит никакому другому... И, наконец, хоть в Гатчине я должен быть хозяином, меня должны слушаться и исполнять мои приказания...

— Господи! Да прежде всего успокойтесь, разве в таком состоянии вы можете справедливо разобрать дело?!

— Разбирать нечего, довольно и того, что я видел.

Он опять бросился к двери, но его не пускали.

— Я не могу выпустить вас — такого, вы Бог знает что такое сделаете и потом жестоко будете раскаиваться и меня же винить будете, что я вас не удержала. Одумайтесь, ради Бога! Сядьте, друг мой, переждите! Или вы хотите, чтобы великая княгиня и я проплакали весь день, или хотите, чтобы всюду толковали о вашей жестокости?

— Я ничего не хочу. Я знаю, что делаю... простите меня!

— Да не могу, не могу, я чувствую, что придется краснеть за вас... я не...

Тут Сергей услышал прорвавшиеся рыдания. Дверь с шумом распахнулась, и на пороге показался Павел.

Он был совсем не тот, каким видел его Сергей в маленьком кабинете Нарышкина. Теперь все лицо его было искажено бешенством, глаза налились кровью — он был страшен... Он не заметил Сергея, ничего не видел. Но вдруг остановился, схватил себя за голову, закрыл глаза и остался несколько мгновений неподвижным.

Из соседней комнаты явственно слышалось женское рыдание.

Вдруг он повернулся назад.

— Успокойтесь! — проговорил он прерывающимся голосом. — Успокойтесь, я сдержу себя уж хоть ради того, чтобы избавиться от ваших пилений. Но совсем оставить этого дела я не имею никакого права; я должен выслушать, что он мне скажет, как он объяснит свое поведение. Да успокойтесь же... даю вам слово, что ничего не будет.

Рыдания смолкли. Павел опять вышел в приемную все такой же красный, но уже на лице его не было заметно прежнего раздражения. Он увидел Сергея, который стоял ни жив, ни мертв.

— А, Горбатов! Я забыл совсем... прошу извинить, сейчас возвращусь.

Он оглядел комнату, взглянул еще раз на смущенное, побледневшее лицо Сергея, вздрогнул и прошел в «неприятную для гатчинцев комнату», не запирая за собой двери.

Сергей продолжал стоять и не сразу заметил, что на него глядели тихие и покрасневшие от слез глаза показавшейся у порога женщины. Это была небольшая, стройная и грациозная фигура; миниатюрное, еще совсем

молодое и замечательно нежное лицо никак нельзя было назвать красивым. Мелкие черты были неправильны. Но это лицо поражало какой-то внутренней красотой; такие лица производят несомненно сильнейшее впечатление, чем лица самых замечательных красавиц.

Сергею показалось, что святая Цецилия вышла из рамы прелестной картины и глядит на него своими грустными, светлыми глазами. Он поклонился, не имея сил оторваться от этого милого лица и этих заплаканных глаз.

Ему ласково ответили на поклон — и грациозное видение исчезло.

XXIV. СРЕДИ СВОИХ

Видение исчезло... А с другой стороны, из Брастворенной двери, слышался опять голос великого князя.

С того места, где стоял Сергей, ему видна была почти половина комнаты. Он не знал, был ли кто там дальше, но в нескольких шагах от него, почти у самой двери в первую приемную, где он познакомился с Кутайсовым, стоял, вытянувшись в струнку, молодой офицер, очень еще молодой, с приятным лицом. Он был страшно бледен, как бы сильно утомлен; но в то же время казался и спокойным: волнения и страха не было заметно.

Павел, подойдя к нему почти в упор, уже не кричал; напротив, его голос то и дело понижался почти до шепота, но отчетливого, ясного, в котором звучало едва подавляемое раздражение.

— Вы мне, сударь, ответьте одно, — говорил он, — знали вы мое приказание о том, что к сегодняшнему дню солдаты должны быть выучены новому приему?..

— Знал, ваше высочество, — спокойно от-

ветил офицер.

— Так как же вы, сударь, не только что не выучили порядком вверенных вам солдат, но и сами выказали полнейшее непонимание. Ведь я сам видел: все вправо, вы влево! Солдаты не знают, что делать... кого слушаться... С них я не могу взыскивать; но вы... вы причиной общего расстройств; вы показали самый возмутительный пример, расстроили весь план. Знаете ли вы, сударь (и голос его поднялся до крикливой ноты), знаете ли, что уважение солдата к офицеру — это первое дело! Солдат должен знать, что офицер не может ошибиться. А тут что же — какое к вам будет уважение, какой пример вы подаете! Тут было только учение... проба... маневры, но ведь это не простая игра. А представьте действительное сражение, и такой ваш поступок — ведь из-за вас сражение было бы проиграно, ведь русское оружие было бы покрыто позором!.. Что же, я ошибаюсь, я говорю неправду? Как вы о том думаете... отвечайте, прав я или нет?..

— Правы, ваше высочество, — опять спокойно проговорил офицер.

— Господин Семенов, вы насмехаетесь надо мною! — вдруг переставая владеть собой, крикнул Павел. — Как вы это говорите, каким тоном?.. Я вижу, вы нисколько не чувствуете вины своей, не понимаете, что такая вина в военном деле заслуживает самого строгого наказания!

Офицер побледнел еще больше и пошатнулся.

— Ваше высочество, — с трудом заговорил он, — если я виноват, то наказывайте меня, но я не знаю, что говорю... у меня мысли путаются.

— Отчего же это, со страху что ли? Так и в сем случае вам мало чести.

— Не со страху, ваше высочество, — едва ворочая языком, едва держась на ногах, сказал офицер. — Мои солдаты обучены изрядно, и если б я не ошибся, так они доказали бы это. Но я вчера получил письмо из Петербурга... Моя мать умирает... в бедности, почти в нищете, за лечение платить нечем... я у нее один... все, что могу, конечно, посылал ей, но мы сильно задолжали, еще с самой смерти отца, так все почти и шло на уплату долгов... Ее

может теперь на свете нет, а я уж и проститься не мог с ней... не пустили, говорят: наутро ученье... сам знаю. Хотел было умолять ваше высочество, да вы изволили быть в Петербурге, поздно вернулись... всю ночь глаз не смыкал. Боже мой!.. Ваше высочество, если б вы знали, как добра моя мать, как всю жизнь мучилась, билась, чтобы только поставить меня на ноги... Я не понимаю, как это случилось... знаю, что нужно вправо, а беру влево... вижу, что путаю, а все же продолжаю...

Голос офицера оборвался, из глаз закапали слезы. Он крепко стиснул зубы, чтобы удержать рыдания.

Цесаревич несколько мгновений стоял перед ним молча и вдруг схватил его за плечо.

— Так что же ты, сумасшедший человек, — закричал он, — чего ты стоишь передо мною, чего время теряешь!.. Сейчас, сейчас отправляйся в Петербург... Живо, чтобы в минуту!.. Да вот, погоди...

Он повернулся и бегом мимо Сергея бросился в свой кабинетик. Через минуту он уже возвращался — в руке его были деньги.

— Возьми... многого не могу... да на первое

время, может, и хватит... потом, если будет нужно, скажи... скажи прямо, слышишь! А теперь спеши...

Офицер, взволнованный и растроганный, уже не в силах был сдерживать рыданий; он целовал руку великого князя.

А тот, сам смигнув набежавшие слезы, тихим, ласковым голосом, говорил ему:

— И главное успокойся, может, все еще благополучно обойдется... может, и жива еще твоя старушка и выздоровеет... Бог не без милости... Ну, с Богом, голубчик, с Богом, не теряй времени!

Офицер, шатаясь, вышел, а Павел Петрович несколько раз в волнении прошелся по комнате. Когда он подошел к Сергею, ласково протягивая ему руку, в нем уже ничего не было общего с тем гневным, раскрасневшимся, с налитыми кровью глазами человеком, каким он был еще за несколько минут. Взглянув на его бледное лицо, озаренное ясными, ласково светящимися глазами, Сергей невольно подумал:

«Если б он всегда был такой, кто бы мог называть его некрасивым?!»

Сергей глубоко был потрясен всем неволь-но им виденным и слышанным. И это виден-ное и слышанное не только не уменьшило его восторженного поклонения цесаревичу, но, напротив, еще усиливало.

— Рад, что ты приехал, — сказал великий князь, — хоть очутился здесь не вовремя. Ведь ты тут давно, я сам велел Кутайсову про-вести тебя в эту комнату, да и забыл. Ты пря-мо попал в свидетели всех моих семейных дрызг...

— Ваше высочество! — начал, было, Сер-гей, — я не желал быть нескромным...

— Да нечего оправдываться, сударь, — улыбаясь перебил его цесаревич, — это уж та-кова судьба твоя, и оно, пожалуй, так и луч-ше... Я тебе доверяю... Я уверен, что ты не ста-нешь болтать направо и налево. А после того, что привелось тебе видеть и слышать, мне уж нечего с тобою чиниться... Да, я крикун, я иногда совсем не умею владеть собою... Ка-юсь во грехе этом! Но что же делать?!.. Только вот жена да друг наш, Катерина Ивановна Нелидова, меня удерживают, не будь их, я со-всем пропал бы... Скажи, ты видел Катерину

Ивановну?

— Видел, ваше высочество, если только она — то чудное существо, которое выглянуло в эти двери.

— Конечно, она, кто же больше. Так она тебе понравилась? Впрочем, иначе и быть не может, она всем нравится. И нужно иметь слишком черное сердце, чтобы решиться клеветать на нее!.. А клеветники все же находятся...

На мгновенье краска разлилась по лицу цесаревича, губы его нервно вздрогнули. Но вот он улыбнулся и шутливо продолжал:

— Только ты, пожалуйста, не подумай, что она ангел в образе человеческом! Нет, и в ней подчас бесенок сидит. Я по слабости своей даю ей слишком большую волю и иной раз такую выношу брань от нее, что упаси Боже... Думаю, когда-нибудь мы даже с ней передеремся... Ну, любезный друг, теперь мне надо кое-чем заняться, так я тебя проведу к жене и ей представлю; там с Катериной Ивановной поближе познакомишься, а часа через полтора и обед поспеет.

Цесаревич просто и дружески взял Сергея

под руку и повел его к великой княгине.

Час времени в обществе любезных и образованных женщин прошел для Сергея незаметно. Великая княгиня обворожила его своей ласковой простотою, а об Екатерине Ивановне Нелидовой им уже было составлено самое высокое мнение, которое только с каждой минутой все укреплялось.

Раздался звонок, сзывавший к обеду. К столу собралось небольшое интимное общество и несколько офицеров. Павел Петрович, в котором было незаметно и следа утреннего раздражения, сам разливал водку по небольшим рюмкам и подносил из своих рук офицерам.

— А тебе, сударь, поднести? — спросил он, обращаясь к Сергею. — Водка у меня старая, с трех рюмок языка лишает и с ног валит, но я больше одной рюмки никому не даю.

— Я и одной не выпью, ваше высочество, — отвечал Сергей.

— Как, совсем не пьешь?

— Не пью!

— И прекрасно делаешь, мой друг, я тоже от всех напитков давно отказался, кроме вреда — ничего. Да, а попробуй завести в Гатчи-

не общество трезвости и принимать в него членами господ офицеров — ведь от меня все разбегутся.

— Нет, ваше высочество, — сказал кто-то из офицеров, — гатчинцам нетрудно было бы освоиться с уставом сего общества. Вы нас и так исподволь готовите в его члены. Ведь рюмки-то год от году все меньше становятся!

— Меньше? Будто? — смеясь сказал Павел. — Может и так, только я тут не причинен, приказаний на сей счет никаких не давал, и это дело хозяйки — с нее вы и взыскивайте!..

В таком непринужденном тоне велась беседа почти во все продолжение стола. Обед был простой, но сытный и хорошо приготовленный.

Сергей снова увиделся с Кутайсовым. Хотя он и не был в числе обедавших — он стоял за креслом цесаревича, прислуживал ему, исполнял его приказания, но в то же время вмешивался и в общую беседу, совершенно свободно шутил и смеялся. Все, не исключая даже великой княгини и самого Павла, обращались с ним как с равным, а иные так даже вы-

казывали ему особое почтение.

К концу обеда как-то незаметно он окончил свою роль камердинера и уж сидел рядом с гостями, поддерживая беседу шутками и юмором, который, как оказывалось, всегда попадал в тон великого князя.

Сергей чувствовал себя свободно и весело. Он заранее ожидал увидеть особый, своеобразный мирок; но никогда не мог подумать, что гатчинский дворец был таков, каким теперь оказался. Тут не существовало ровно никакого этикета, и если бы не произносились по временам слова «ваше высочество», то можно было бы подумать, что находишься в кругу нечиновных, веселых офицеров. Впрочем, в подобном кругу редко можно было встретить такого образованного, остроумного и изящного человека, каким казался совсем развеселившийся Павел. Его шутки были всегда так неожиданны, тонки и остроумны; он умел-таки посмеяться над маленькими слабостями окружавших его, нисколько при этом их не обижая, умел так хорошо рассказывать...

Заговорили, между прочим, о Франции, о

последних событиях в Париже, о страшной революции, с каждым днем развивавшейся.

Павел нахмурил брови и грустно покачал головою.

— Да, это ужасно! — сказал он. — И кто бы мог подумать несколько лет тому назад...

— Помнишь, Marie, — обратился он к великой княгине, — помнишь, как во время нашего пребывания в Париже все было там счастливо, тихо, лучезарно! Да, господа, тогда казалось королевское семейство счастливейшим семейством в мире. И какие чудные люди! Король Людовик — это воплощенная доброта и благородство; королева — грация, ум, таланты... Но, видно, одного ума мало, мало доброты и благородства. Королева погубила себя своим умом, король — своей добротой. И пусть говорят мне что угодно, но я утверждаю, и в скором времени вы увидите, правли я, что оба они погибли и погубили Францию. Я жду всевозможных ужасов... Их ничто теперь не спасет. Зверь, страшный зверь выпущен из клетки. Король вообразил, что он может действовать на зверя своей кротостью, своим благородством, но ведь зверь бессмыс-

лен, высоких чувств не понимает... Королева вообразила, что она может укротить зверя своей смелостью, энергией; вошла в клетку безоружная, полагаясь только на силу своего гордого, самоуверенного взгляда, вошла как убежденный в своем влиянии укротитель; но зверь чересчур голоден, он растерзает ее на части, как часто растерзывает самоуверенных укротителей... Европа будет свидетельницей ужасов, и хорошо, если сумеют вовремя поставить преграду вырвавшемуся зверю... Я полюбил короля Людовика и прекрасную Марию-Антуанетту. Они оба оказывали нам такое внимание, такое радушие, и мне теперь тяжело о них думать. Я еще недавно видел страшный сон, о какой страшный!..

Цесаревич побледнел, вздрогнул и продолжал с горящими глазами:

— Я видел окровавленную голову Людовика!..

Он оглядел присутствовавших, но некоторые офицеры уже удалились сейчас же после обеда, остались только самые близкие к цесаревичу и великой княгине лица.

— Господа, — мрачно сказал он, — все, что

я говорю, конечно, останется между нами, о таких вещах нельзя рассказывать, мало ли что снится... Но этот сон был так ярок, я не могу забыть его... Эта окровавленная голова!.. Мне чувствуется, что сон мой может сбыться...

Его мрачное настроение, его вдохновенный, убежденный голос начали производить тяжелое на всех впечатление.

— Ах, эти сны! — проговорила великая княгиня. — Мой друг, ты всегда придаешь им слишком много значения и напрасно волнуешься. Было бы слишком страшно жить на свете, если бы пришлось верить всем страшным снам...

— А между тем я не могу не верить, — как-то таинственно прошептал цесаревич. — Не только во сне, но и наяву я видел такие вещи, которые способны навек потрясти человеческую душу...

Он вздрогнул, побледнел еще больше и замолчал.

Разговор мало-помалу принял другое направление.

Цесаревич приказал заложить сани и

предложил Сергею с ним прокатиться.

Во время прогулки они много и оживленно говорили. Разговор Павла переходил с предмета на предмет, показывая как он глубоко всем интересуется. Он расспрашивал Сергея о деревенской жизни, о провинциальном обществе, о помещичьих нравах.

— Все это так интересно, — говорил он, — и все это так необходимо надо знать. Если бы была малейшая возможность, я бы на несколько лет, скрывая свое имя, отправился один путешествовать по России, чтобы проникнуть во все слои общества, чтобы во всем убедиться, а главное, узнать все нужды русской жизни. Я почти с детства мечтал об этом, но, конечно, это неосуществимая мечта. А между тем сколько неизбежных ошибок, сколько заблуждений — потому, что эта мечта неосуществимая. Я всегда громко говорил и говорю, хоть меня и не слушают, что эти господа жестоко ошибаются, думая будто они все знают и все понимают. Петербургская жизнь, доступная нам, совсем иная, чем вся русская жизнь. Иной раз думаешь обо всем этом, и слишком тяжело становится... О чем

задумался, друг мой? — вдруг спросил Павел, пристально всматриваясь в лицо Сергея.

— Прикажете правду сказать, ваше высочество?

— Конечно, и без всяких рассуждений... Если хочешь лгать и кривить душою, так лучше ничего не отвечай.

— Нет, я не солгу. Я задумался вот о чем: слушая слова вашего высочества, соображая все ныне виденное мною и слышанное, мне все больше и больше хочется обратиться к вам с большою просьбой...

— Что такое, говори скорее!

— Ваше высочество, найдите мне местечко в Гатчине, возьмите меня к себе, я вам верно служить буду.

Павел Петрович ласково улыбнулся.

— Спасибо, голубчик, но просьбы этой все же не исполню. И поверь, этим сам себя лишаю большого удовольствия. Если ты расположен ко мне, то здесь ли, там ли — теперь это все равно, но я-то, желая тебе добра и боясь быть причиной многих для тебя неприятностей, я не могу в настоящее время, когда обстоятельства твои уже сложились известным

образом, переманить тебя в Гатчину... Поверь, ни тебе, ни мне никогда не простят этого! Живи там, служи, успевай, но в душе оставайся гатчинцем — вот служба, которую я жду от тебя.

Сергею стало грустно, но в то же время он понимал, что цесаревич прав, этого мало, что он о нем заботится и выказывает ему такое расположение, какого пока он еще ничем не успел заслужить.

Он уехал, когда стемнело, и вернулся в Петербург истым гатчинцем.

XXV. ЧЕМ КОНЧИТСЯ?

Поездка в Гатчину произвела на Сергея такое впечатление, что Рено даже испугался.

Сергей до сих пор нисколько не изменился в своих отношениях к воспитателю и с прежней, привычной откровенностью всегда передавал ему каждую мелочь, рассказывал о каждой своей встрече, обо всем, что с ним за день случалось. Рено уже давно понял, что обстоятельства складываются не совсем благоприятно для его планов — Петербург оказыва-

ется не станцией по дороге в Париж. Со всех сторон начинают появляться препятствия к достижению заветной цели.

Прошло всего два-три месяца, как они здесь, а вот Сергей уже далеко не тот, каким был в Горбатовском. Новая жизнь охватила его и увлекает за собою. Юноша сразу встретил большой успех, его ожидает карьера. Рено старательно вслушивается в каждый рассказ Сергея, взвешивает каждое слово; но, кроме того, до его слуха достигают и другие рассказы об успехах его воспитанника, он уже знает про городские толки, соображения, ожидания. Он не может не смущаться. О такой быстрой и опасной карьере для Сергея он никогда не думал и он вовсе ее для него не желал. Он видел теперь, что не следовало допускать этой поездки в Петербург, а ведь он мог бы ее не допустить, его влияние было бы тогда достаточным.

«Да, следовало бы совсем сюда не ехать. Мало ли под каким предлогом можно было отказаться. Нужно было ехать прямо за границу, прямо во Францию. Но кто же мог все это предвидеть!..»

И повторяя себе: «кто это мог предвидеть!..», он все же признавал, что непременно должен был это предвидеть. Молодой человек, красивый, милый, благовоспитанный, с огромным состоянием и большими связями! Конечно, легко было понять, что петербургское общество, раз заручив в свою среду такого человека, постарается его не выпустить. Бедный Рено ясно видел, что теперь, то есть в скором времени, нечего и думать о заграничном путешествии.

А дальше что будет?

Сергей изменился, он с видимым удовольствием позволяет увлекать себя этой новой жизнью, но ведь все же до известного предела. Товарищи мало имеют на него влияние, он до сих пор остается все тем же чистым, невинным ребенком, каким был в Горбатовском; вряд ли и честолюбие в состоянии завлечь его. Нет, он ничем не жертвует этому честолюбию; как избегнул соблазна фараонки, точно так же избегнет и других соблазнов...

«Испортить и развратить его трудно, но ведь его погубить можно в этом омуте интриг

и честолюбия... Он может оказаться жертвою интриганов, вся его жизнь может быть испорчена!» — с тревогой думал Рено и жадно следил за каждым шагом своего воспитанника.

А вот и новое влияние!

Рено тотчас же увидел, что Сергей вернулся с нарышкинского бала совсем влюбленным, очарованным. Он в первую минуту даже подумал, что его предсказание исполняется, и вот уже, действительно, наконец, нашлась соперница Тане, что юноша не на шутку пленился какой-нибудь красавицей.

Но признание не замедлило со стороны Сергея. Он оказался влюбленным в цесаревича, и это восторженное поклонение еще выросло после поездки в Гатчину.

Сергей только и мог говорить с Рено что о Павле. Рено понимал, что иначе не могло и быть, что воспитанник остается верным самому себе, и все это ничто иное, как выражение благородной и чистой природы Сергея, выражение его юной души. Он не поддавался обычным соблазнам, на которые обыкновенно легко ловятся юноши его лет, его пока еще не ослепили даже успехи. Но таинственный

образ цесаревича, бедная тихая Гатчина и прием, оказанный в ней Сергею, — вот настоящий подводный камень, о который очень легко разбиться всем мечтам Рено, всем его планам.

— О, Рено! — говорил Сергей воспитателю в одну из редких теперь минут их дружеской беседы с глазу на глаз, — каждый день убеждает меня в том, что внезапная мысль, мелькнувшая у меня в Гатчине, была светлой мыслью!.. Мое место там, возле цесаревича, и только там я могу быть счастлив и спокоен. Он этого не хочет, он думает о моей карьере — но что такое карьера? Зачем мне она?..

— Так ведь об этом нужно было заранее подумать, любезный друг! — перебил его Рено, по-видимому, спокойным голосом, но в душе сильно волнуясь. — Что же, вы полагаете, что отказавшись теперь от своей службы по иностранным делам, уйдя от графа Безбородки, вы не навлечете на себя гнев государыни? Она сама позаботилась о вас, устроила все, она дала вам придворное звание, и вдруг вы все это бросаете и удаляетесь в Гатчину!.. Как вы полагаете, можно будет равнодушно

встретить такой ваш поступок?.. Это будет оскорбительно для всех, кто принял в вас участие, это будет такая плохая благодарность за внимание государыни и ее милости, что, вероятно, многие порядочные люди изменят о вас доброе мнение. И они будут правы... Так не поступают...

Сергей стал было доказывать, что можно все это сделать не вдруг, не резко, а исподволь, устроить так, что все это выйдет как бы само собою...

— Я могу оказаться неспособным к тому делу, которым теперь занят. Граф Безбородко не захочет терпеть неспособного, бесполезного ему человека...

— Фу, какой вздор вы говорите, Serge!

И почти всегда спокойный, Рено начал кричать в негодовании и волнении.

— Я никогда не думал, что вы можете дойти до подобных рассуждений! Да нет, вы ведь сами хорошо понимаете, что все это вздор, что ничего подобного не сделаете и не можете сделать!..

Сергей должен был замолчать, потому что он, конечно, понимал, что действительно го-

ворит вздор, что в настоящее время переселение в Гатчину — мечта не исполнимая.

— И этого мало, — говорил Рено, — вы можете как вам угодно восхищаться великим князем и любить его, но вы будете настолько благоразумны, чтобы не носиться с этой любовью и восхищением перед всеми. Со мной хоть только об этом и говорите. Пишите про ваши чувства княжне Тане, но только осторожнее, чтобы она не узнала правду...

— Что такое? Какую правду я должен от нее скрывать?!

— А то, что вы великого князя любите больше, чем ее.

Сергей тихонько улыбнулся.

— Нет, Таня-то меня ревновать не станет, а вот вы, Рено, так, кажется, и вправду ревнуете!

Рено совсем покраснел.

— Вы сегодня такие вообще говорите глупости... Вам возражать на них я нахожу невозможным... Лучше не перебивайте, а выслушайте до конца. Я хотел вам сказать, просить вас — послушайтесь моего совета, который, как я вижу из ваших слов, согласуется

и с желанием великого князя — не ищите встреч с ним, не ездите часто в Гатчину... Одним словом, надо серьезно постараться о том, чтобы ваши с ним отношения никому не были известны.

— К несчастью, поневоле приходится следовать вашему совету, — грустно проговорил Сергей, — вот уж больше двух недель я не видел его и не далее как сегодня получил от него уведомление, чтобы без его приказа не ехать в Гатчину...

Рено несколько успокоился.

Сергей продолжал свою веселую жизнь и нетрудную службу. Он часто получал приглашения в Эрмитаж, где государыня была к нему неизменно милостива и иногда подолгу с ним беседовала. Эти беседы бывали интересны и серьезны. Сергей изумлялся всесторонности и глубине познаний императрицы, той легкости, с которой она переходит от одного предмета к другому, сейчас же овладевая новым предметом, как будто он-то именно и был ее специальностью и исключительно всецело занимал ее мысли.

Иногда суждения, высказываемые импера-

трицей, были не совсем по вкусу Сергею, шли вразрез с его любимыми мыслями и взглядами. Он не мог, конечно, позволить себе спорить с нею, но все же не мог удержаться от некоторых замечаний и вопросов. Екатерина любила замечания и вопросы.

Они показывали ей, что говоривший с нею, действительно, интересуется предметом и давали ей возможность развивать свои мысли.

Она никогда почти не увлекалась, редко волновалась и возвышала голос, вполне владела своей мыслью и отчеканивала ее в ясной и сжатой фразе. Иногда она успевала кое в чем и убедить Сергея, как и прочих слушателей...

Сергей очень любил подобные беседы с государыней.

Но вот в последнее время все чаще и чаще заводились другие беседы, доказывавшие, что государыня уже совсем освоилась с новым молодым придворным и смотрела на него как на члена своего интимного кружка.

Он был уже посвящен в ее литературные, эрмитажные забавы, присутствовал при

представлении ее комедий. Она являлась перед ним любезной хозяйкой, остроумной женщиной, он мало-помалу узнал все ее отношения, ее симпатии и антипатии. Но и тут, в этой интимной, скрытой от посторонних глаз жизни, Екатерина-женщина часто уступала место Екатерине-императрице. Он знал, что она расположена к такому-то и такому-то, что напротив, такой-то и такой-то ей решительно неприятны, а между тем эти неприятные люди занимают высокие влиятельные места, императрица осыпает их щедротами, и в то же время милых, симпатичных ей людей, которым она во всех мельчайших случаях высказывает истинное расположение, она не выдвигает слишком далеко вперед, не дает им важных назначений, милости свои ограничивает личным вниманием, богатыми подарками.

Приглядываясь, Сергей ясно видел причину этого: неприятные люди обладают большими талантами, приносят пользу тому делу, к которому приставлены; милые и симпатичные люди, несмотря на все свои достоинства, не имеют этих талантов.

Сергею начинало сильно хотеться узнать, к какому же разряду причисляет его императрица, видит ли она в нем задатки каких-нибудь способностей, думает ли она, что он может на что-нибудь пригодиться, если не теперь, так впоследствии.

Он никак не мог решить этого вопроса, но видел одно, что императрица уже привыкла к его присутствию и смотрит на него как на своего человека. Этого мало. Она часто с ним шутит; но он не любит этих шуток. Ему в такие минуты кажется, что она принимает его совсем за ребенка, а он еще настолько молод, что обижается, когда его считают ребенком...

На эрмитажных собраниях иногда появляется цесаревич. Но он редко долго остается. Он держит себя в стороне от всех, он почти не обращает внимания на Сергея и заговаривает с ним только тогда, когда видит, что этого никто не заметит. И в то же время Сергей чувствует, что цесаревич всегда следит за ним, не выпускает его из виду. Он уже не раз подмечал на себе его быстрые взгляды во время своих разговоров с кем-либо из влиятельных лиц, с самой государыней.

Сергей по-прежнему остается почти в стороне от молодого женского общества. Он даже перестал ухаживать за прелестной кузиной Марьей Львовной, которая после отъезда Потемкина успела найти себе немало новых развлечений. Ее красота, к которой Сергей уже пригляделся, не производит на него прежнего впечатления. Он не одобряет ее легкомысленного кокетства. Встречаясь с ее горячим, заманчивым взором, прежде бросавшим его и в жар, и в холод, теперь он остается равнодушным. Ведь многие, и не только молодые люди, но и старики, удостаиваются подобных взглядов с ее стороны, и эти заманчивые взгляды ровно ничего не значат.

Теперь петербургские красавицы объявляют маленькую войну Сергею, пускают на его счет насмешки. Но он не обижается, ему даже весело, потому что он хорошо понимает, что стоит ему только захотеть — и эта война превратится в самый сладостный мир, а язвительные стрелы — в стрелы амура.

Государыне его поведение очень нравится; она уже не раз называла его монахом — и с такой ласковой улыбкой.

Ему хорошо, привольно, он не замечает, как идет время. Но вот в его настроении происходит внезапная перемена, что-то случилось, чего он определить хорошенько не может. С некоторого времени он отчего-то уж без прежней радости отправляется во дворец, смущается при каждом приближении к нему Екатерины, ему иногда становится как-то неловко, грустно...

Что же случилось? Да ровно ничего не случилось. Или у него явились какие-нибудь новые планы, цели, стремления? Или он, подобно другим, уже успел сделаться интриганом?

Нет, он такой же искренний и добродушный юноша, как и прежде, и ему не в чем упрекать себя.

А между тем тяжесть не проходит, неловкость увеличивается.

Конечно, эти неясные ощущения, неясные мысли приходят только временами, а когда уходят, то опять поднимается молодая радость жизни, жажда веселья, и дни мелькают в нескончаемых праздниках, не в гостях, так у себя.

Дом молодого Горбатова посещается луч-

шей петербургской молодежью. Граф Сомонов и Бабищев давно с ним помирились, признали себя совсем побежденными и только иногда, и то с большой оглядкой, немного подтрунивают над его скромностью и ребячеством. Он, конечно, им не поминает старого и нисколько на них не в претензии за их маленький заговор, который вдобавок и окончился-то к их посрамлению.

— Но только ты берегись, Сергей, — говорят ему приятели, — ты нажил себе такого врага, от которого можно ожидать чего угодно. Фараонка наша тебя ненавидит... И так вся и побледнеет даже, как услышит твое имя. «Никто, говорит, ни разу в жизни не оскорбил меня так, как этот человек, и уж отплачу же я ему, не умру спокойно, пока не отомщу». А теперь знаешь, ведь она страшная и хитрая, и злобы в ней не меньше, чем у любой пантеры...

Сергей смеялся и уверял приятелей, что нисколько не боится коломенской пантеры.

И уж, конечно, не признался он им, что она не раз ему снилась во всем обаянии своей красоты и страсти.

Эти яркие и горячие сны были ведь тоже своего рода отмщением. Но Сергей призывал на помощь нежные и светлые воспоминания о Тане и искал успокоения в ее милых письмах...

Рено скучал и хандрил. Он успел познакомиться со многими своими соотечественниками, жившими в Петербурге, но, за малыми исключениями, все это были люди, с которыми он не имел почти ничего общего. Письма к нему из Парижа давно не приходили. Забыли ли его тамошние друзья, или писем просто не пропускали — он не знал.

Из иностранных газет, получаемых Сергеем, он узнавал, что революция развивается с каждым днем, что в Париже теперь кипит самая горячая, деятельная жизнь, что там много дела, к которому и он мог бы приложить руки. Он уехал из Парижа совсем в другое время, и все теперешние обстоятельства представлялись ему совсем не в том виде, в каком они действительно были. Он видел только одну светлую сторону революции, ждал от этого могучего движения самых благих последствий, не верил в возможность

ужасов, несправедливостей. Для него революция была благородная борьба за самые дорогие права человечества, и горячий мечтатель, он страстно и наивно мечтал на эту тему. А тут приходилось жить день за днем, однообразно, скучно, и он тоскливый, мрачный, слонялся по роскошным, заново отделанным комнатам обширного дома своего воспитанника.

Рено часто сталкивался с карликом Моськой, но среди мечтаний не замечал его пристальных взглядов, его злорадных усмешек.

Между тем Моська торжествовал и злорадствовал. Он давно знал замыслы француза увезти Сергея в Париж и боялся этой поездки пуще всего на свете. Ему так хотелось видеть своего Сергея Борисовича близким ко двору, окруженным почетом, в больших чинах, увешанным орденами.

«Отец поупрямился, отец, ничего не видя, прожил весь век свой в деревне, так по крайности сынок наверстать должен, за себя и за родителя отличиться...»

Моська каждый вечер приходил в спальню Сергея и выпросил у него позволения раз-

девать его.

Во время этого раздевания, когда Сергей не был очень утомлен и не объявлял ему, чтобы он уходил, что спать хочется, Моська хитро расспрашивал его о том, о другом и почти всегда успевал узнавать все, что ему было нужно.

Он знал, как хорошо принят Сергей Борисыч во дворце, как к нему милостива государыня, знал также и о том, что он был в Гатчине у цесаревича.

«И это хорошо, — думал он, — даже очень хорошо, это большая заручка. Люди-то ох как глупы... О завтрашнем дне не думают, кто нынче в силе, тому и кланяются...»

Он помнил Павла Петровича маленьким мальчиком и тоже, по-своему, принадлежал к числу его горячих приверженцев и даже иногда, только с большою осторожностью, называл его «государем».

— Ну, так как же мы теперь, батюшка Се-реженька? — говорил он, засматривая в глаза Сергея. — Ведь этак, пожалуй, из Питера совсем и не выберемся и Горбатовское не скоро увидим?

— Да где тут выбраться! — печально отвечал Сергей. — Дай Бог, летом недели на три, на месяц получить отпуск, а о большем и думать нечего.

— Ну, что же, вестимо, служба-то не свой брат, и грустить тут нечего. Оно, конечно, Марья Никитишна, чай, ждет не дождется, ведь ей хоть глазком взглянуть на сыночка, денюшка три, и того довольно. А главное — знать бы ей да ведать, что сынок в добром здоровье и все идет как по маслу. Я вот, батюшка, кажиную неделку ей про твою милость отписываю...

— Что же ты такое пишешь? Хоть бы показал мне.

— Чего показывать, интересу мало. Вот, мол, встали Сергей Борисыч в такому-то часу, кушали то-то, тот-то был у нас, туда-то, мол, отправились, в котором часу вернулись... ну и все такое... а материнскому сердцу оно и приятно...

Под эту болтовню карлика Сергей засыпал, и Моська тихонько отправлялся в свою комнату, довольный и веселый.

«Вот ты и гриб съел, басурманская кры-

са! — радостно думал он. — Вот и на нашей улице праздник, кончилось твое царство! Что там ни говори теперь, как ни болтай своей трещоткой, а Парижа своего не увидишь... И здесь хорошо Сергею Борисычу, чего ему на заморскую невидаль смотреть! А то, коли тебе так уж тошно, и отправляйся восвояси, отправляйся себе один туда, откуда взялся... Не бойся, плакать о тебе не станем...»

XXVI. В ЦАРСКОМ

Между тем среди придворных развлечений и веселий, среди больших и маленьких забот и тревог, слухов, толков, пересудов и ожиданий незаметно подкралась весна. К концу апреля из Царского Села пришло известие, что там уже снег давно стаял, парк высох и необходимый ремонт дворца окончен. Погода стояла чудесная, и 28 апреля императрица переехала в свою летнюю резиденцию. Накануне этого переезда она подошла в Эрмитаже к Сергею и сказала:

— Не правда ли, здесь уже так душно и нехорошо стало, мне кажется, что я замечаю на всех лицах усталость. Вот и ты как будто

побледнел, а вам это вовсе не к лицу, нужно вернуть румянец, и, я надеюсь, мы его вернем в Царском. Я уже распорядилась, чтобы вам там был маленький pied-arterre, знаю, что тесно, неудобно, да что делать! Впрочем, это незаметно — там мы весь день все вместе... Люблю я мое Царское Село — хорошие бывали там времена, что-то это лето скажет!..

Сергей откланялся, благодаря императрицу за ее внимание, и в то же время смутно и тоскливо было на душе у него. Она верно заметила — он побледнел, он в первый раз в жизни чувствовал себя как будто утомленным. Ему было душно, казалось, не хватает воздуха, хотелось вырваться из затуманившей его городской атмосферы, хотелось полей, лесов.

Это была первая весна, которую он встречал среди душного города. Ему некогда было и заметить ее — он чувствовал ее приближение только временами, когда поднималось особенное томительное и сладкое ощущение, неясная, тихая грусть, тоска, когда все чаще и чаще вспоминалась Таня. Теперь он написал ей одно за другим длинные письма, возна-

граждая ее за долгое зимнее молчание, он обещал ей и матери отпроситься непременно летом в деревню. Но посылая им эти обещания, он почти наверное знал, что не придется их исполнить — где уж тут вырваться! Вот и в Царском Селе pied-a-terre приготовлен! Но хоть в Царское, только бы скорей из города!..

И вот опять перед ним маленький городок с дворцом и густым парком. Но как этот городок не похож на Гатчину! Это действительно царская резиденция: роскошный дворец ничем не уступает петербургскому. Всяких затей дорогих, «капризов», как их называет Екатерина, видимо-невидимо! С утра и до вечера в городе шум, движение. Ко дворцу и от дворца катятся нарядные экипажи, проходят шеренги гвардейцев в своих красивых мундирах, с музыкой и барабанным боем. По петербургской дороге мчатся курьеры, кареты, коляски сановников. В живописных рощах мелькают веселые кавалькады...

Вечер был такой ясный, теплый и тихий, когда Сергей в первый раз спустился из дворца к царскосельскому озеру. Это озеро, все покрытое маленькими, красивыми лодками, ка-

залось будто нарисованным: его обрамляли живописные группы только что распустившихся или распускавшихся деревьев, между которыми мелькали павильоны и статуи. Веселая шумная жизнь кипела повсюду. На ярко-зеленой траве то там, то здесь мелькали гуляющие нарядные дамы и девушки, нарядные кавалеры; слышался веселый говор, смех, плескались весла лодок. Еще вчера тихий парк вдруг совсем оживился: испуганные, изумленные, в ветках прятались векши; одни только птицы, не смущаясь человеческими голосами, заливались по-весеннему и где-то далеко-далеко куковала кукушка, предвещающая Сергею долгие, счастливые годы.

Но он не был теперь счастлив — все тоскливее и тоскливее становилось на душе его, да и кругом, с первого же дня переселения двора в Царское, замечалось что-то странное. Все хорошо видели и сознавали, что это лето не может так весело и мирно кончиться, как кончались прежние.

Императрица принимала участие во всяких *parties de plaisir*, в прогулках, она, как и всегда, вставая рано утром, бродила по своим

любимым дорожкам, опираясь на тонкую палочку, сопровождаемая своими любимыми собачками. Она, как и всегда, милостиво разговаривала со встречными, шутила, смеялась, но иногда вдруг шутка у нее оборвется, смех замрет. Все чаще и чаще она вздыхает — и между придворными проносится шепот.

Несколько раз на прогулках она подзывала Сергея и опиралась на его руку. Она несколько раз спрашивала его об его семействе, о матери; он пользовался этими случаями, чтобы намекнуть на свое желание съездить в деревню; но императрица будто не понимала и переменяла разговор.

С каждым днем все тяжелее и тяжелее становились для него эти прогулки. Он Бог знает что бы дал, чтобы только уехать из Царского, даже хоть и не в Горбатовское, а просто куда-нибудь уехать. А между тем его положение при дворе, очевидно, начинало упрочиваться: его решительно все ласкали, мало того, к нему уже начинали относиться с большим почтением, в нем, видимо, заискивали люди, положение которых было несравненно значительнее его положения. Его уже несколько

раз просили упомянуть о том, о другом в разговорах с императрицей. Он всеми силами старался отвечать любезностями на любезности, но ему так не нравилось все это, он уже не верил почти ничьей искренности. Ему пришлось в короткое время изменить свое мнение о многих людях, которые так ему понравились сначала.

Но теперь, в Царском Селе, завязались у него и новые отношения: он вдруг сблизился с человеком, с которым никак не воображал сблизиться, — с графом Мамоновым.

Мамонов в первое время появления Сергея при дворе не обращал на него никакого внимания, относился к нему очень свысока, но вскоре, после маскарада у Нарышкина, это изменилось. Граф как-то на одном из собраний в Эрмитаже подошел к Сергею, любезно заговорил с ним, пригласил его к себе. Это приглашение было не особенно приятно Сергею — Мамонов ему не нравился, его что-то от него отталкивало, но было крайне неприлично и даже опасно отказаться от приглашения всемогущего вельможи. Сергей отправился к нему в его роскошное помещение, которое он

занимал во дворце.

Он застал хозяина среди самой изящной обстановки. Мамонов радушно его встретил, а ведь он видел, с каким высокомерием и презрением он относится ко многим сановникам. Но, очевидно, он умел быть простым и милым, когда этого хотел. Это было свидание двух молодых людей, равных по своему общественному положению.

Мамонов сейчас же постарался доказать Сергею, что он интересуется и литературой, и наукой, показал ему новые, только что полученные из-за границы издания, даже решился высказать несколько суждений политического свойства. Теперь он показался Сергею неглупым, даже способным, но неглубоким человеком. Показался он ему также и очень грустным, действительно страдающим.

Затем Мамонов в скором времени отдал визит Сергею, и они до переезда в Царское еще несколько раз виделись. Их сближение, конечно, было замечено многими, и это несколько не повредило Сергею, напротив того, за ним стали еще больше ухаживать.

В Царском им пришлось чаще видеться:

Мамонов, очевидно, искал встреч, и Сергей уже не избегал их. Он начинал понимать этого человека, который сначала казался ему таким антипатичным, он начинал жалеть его, потому что видел теперь всю силу его страданий. Две-три случайные прогулки вдвоем в глубине парка окончательно их сблизили. В последнюю из этих прогулок Мамонов много говорил Сергею о себе, о своих обстоятельствах, наконец, он кончил тем, что стал уверять его в своей дружбе.

— Знаете ли, Сергей Борисыч, — сказал он, беря его под руку и заглядывая ему в глаза своими грустными, красивыми глазами, — знаете, что мне сегодня так тяжело, как никогда. Меня всю ночь не покидала мысль... ужасная мысль... меня так вот и тянет покончить с собою...

Сергей вздрогнул и испуганно взглянул на него.

— Разве такими вещами можно шутить, граф?

— Я не шучу нисколько.

И говоря это, он был так бледен, глаза его так странно блестели, рука его так дрожала,

что Сергею стало и страшно, и очень жалко его.

— Неужели вы так несчастны... вы, которому все завидуют?

— Завидуют... — как-то страдальчески улыбнулся Мамонов. — Есть чему завидовать! Завидуют и ненавидят! А спросите — за что? Кому я зло сделал? Напротив, я помогал очень многим... Я знаю, что говорят про меня... меня обвиняют в гордости, в заносчивости, в презрении к людям... Мне кажется, я никогда не был гордым, но я в последние годы научился понимать людей, я узнал им настоящую цену, и если я обращаюсь с кем пренебрежительно, так потому, что знаю, что эти люди ничего другого не заслуживают. Да, я многих презираю, но презираю и себя не меньше других...

Он опять вздрогнул и закашлялся.

— Кто знает, как я живу?! — продолжал он прерывающимся голосом, отдаваясь порыву волнения. — Мне не с кем душу иногда ответить, и вот я рад, что встретил хорошего человека... я чувствую, что теперь многое могу наговорить вам. У меня много накипело — надо

высказаться. Но вам я могу говорить все — я знаю, что ничего дурного из этого не выйдет... Я вам верю — вы не такой, как они все... У вас есть сердце, вы молоды и не развращены. Я был бы счастлив, если бы мы с вами стали настоящими друзьями.

Сергей искренне протянул ему руку.

— Вы во всяком случае можете рассчитывать, граф, что ваша откровенность высоко ценится мною и что я был бы очень рад, если бы мог чем-нибудь вас успокоить.

Скоро, сами не замечая как это сделалось, удаляясь все больше и больше в глубину парка, они говорили как старые друзья, откровенно и искренне.

Сергей увидел в Мамонове совсем нового человека — это был уже не блестящий, честолюбивый и, как о нем почти все говорили, зазнавшийся вельможа, это был молодой человек с сердцем и совестью, слишком дорого платящий за свое легкомыслие.

— Ах, если б я мог все вам сказать! — говорил Мамонов.

— Да и говорите, лучше высказаться разом — легче станет, — перебил его Сергей. —

Я вам помогу, я сам назову ваше несчастье — вы любите!

Мамонов остановился в изумлении.

— А! Это уже вам известно — значит, об этом говорят все, все знают...

— Я не могу вам сказать знают ли все — я всегда стараюсь не слушать о чем говорят, — но я-то давно знаю тайну и совершенно случайно.

И он рассказал ему, как на маскараде у Нарышкина случайно услышал его разговор с «венецианкой».

Мамонов шел несколько минут, опустив голову и тяжело дыша.

— Так, значит, мне нечего перед вами скрывать?! Да, я люблю ее, и это целый год длится... Но понимаете ли — ведь это не каприз, не такая любовь, которая может завтра кончиться, это дело всей жизни. Понимаете... понимаете, в каком я положении?!

— Что же вы намерены предпринять? Чем все это кончится?

— Вы это скоро увидите... Я решился.

— Решились?.. На что?

— Я не могу дольше тянуть этого... На днях

же я буду просить у государыни разрешить мне жениться на княжне Щербатовой.

— Вы?.. У государыни будете просить?..

— Да, если до тех пор не покончу с собою...

— Дай Бог вам всякого счастья!

— Счастья... я не думаю, чтобы у меня было счастье — мне в него не верится... Но, во всяком случае, хуже, чем теперь, не будет. Ах, Боже мой, чем... чем все кончится, я не могу себе и представить!..

— Я вам предсказываю, что вы будете счастливы, — сказал Сергей твердым, уверенным голосом и крепко сжал руку Мамонова.

Но рука его была холодна, как лед, лицо бледно; он был подавлен и крайне грустен. Теперь он казался Сергею таким благородным, таким прекрасным человеком: он сразу вырос в глазах его. Но, конечно, Сергею и в голову никогда не могло прийти, чего стоило Мамонову только что высказанное им решение. Это решение было им принято еще около года тому назад, и между тем вот до сих пор он не мог привести его в исполнение. Он мучился, лгал себе и другим, доходил до отчаяния, готов был действительно наложить на

себя руки и все не мог решиться, и все тянул...

Даже и теперь-то ему казалось, что никогда не наступит этот день, что он никогда не решится сам на себя наложить руки. Он все заглядывал в будущее, все хотелось ему так или иначе предотвратить беды, которые он уже предчувствовал, удержать за собою то, к чему он привык и чего, раз достигнув, ему трудно было лишиться. Да вот и теперь, хоть он и угадал в Сергее хорошего и благородного юношу, хотя он и говорил с ним искренне, но это сделалось случайно, а до этой прогулки он искал с ним сближения, тоже задумываясь о будущем...

XXVII. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Проходили дни, недели, по-видимому, не принося никаких изменений в обычном ходе придворной жизни. Государыня, по-прежнему, в определенные часы занималась делами, выслушивала доклады, много гуляла, принимала участие в различных увеселениях, а между тем все замечали в ней с каждым днем усиливавшуюся перемену. Сергей уже два раза заставлял ее с покрасневшими глазами: она, видимо, чем-то тревожилась. Ее грустное настроение не могло не отражаться и на всех окружавших, и все временами как-то притихали, озабоченно поглядывая друг на друга и перешептываясь.

Сергей иногда уезжал из Петербурга по делам службы и часто возвращался в Царское вместе с графом Безбородко и его молодым красивым племянником, Милорадовичем, которого граф недавно представил государыне и который теперь часто появлялся во дворце.

Мамонов оставался все таким ж сумрачным, видимо, избегал общества и, наконец, стал избегать даже Сергея. Они уже не возвра-

щались более к откровенному и дружескому разговору.

Мамонову нелегко было глядеть на Сергея — он понимал, что слишком долго тянет, и все же никак не мог решиться.

Однажды Сергей его встретил утром в одной из дальних аллей парка вместе с княжной Щербатовой. Он издали им поклонился и свернул в сторону на первую попавшуюся дорожку. Он не мог не подивиться одному — каким образом эта девушка возбудила такую страсть в Мамонове. Она была недурна, но не особенно красива и, главное, в ней не замечалось ничего привлекательного, приятного.

Глядя на нее, Сергей всегда думал, что она не может быть добра, а, напротив, верно, она даже и злая; ума ее также никто не замечал, и вообще она была довольно бесцветна.

В это же утро Сергею предстояла и другая еще встреча. Во дворце, у покоев императрицы, он увидел караульного секунд-ротмистра, который вдруг кинулся к нему с протянутой рукой и радостно заговорил:

— Ах, Сергей Борисыч, давненько мы не виделись! Как я рад вас встретить.

Это был хорошенький Платон Зубов, в новом с иголочки нарядном мундире, такой свеженький и розовый, такой стройный и изящный. Но Сергей не особенно радостно отвечал на его приветствие.

— А! Вы в караульных? Давно ли?

— Недавно, Сергей Борисыч.

— Довольны?

— Помилуйте, как же не быть довольным... А уж как боялся, когда в первый раз должен был войти и доложить государыне. Ведь, знаете, это такая великая женщина... это просто богиня какая-то... Я понимаю, что даже посланники, привыкшие к разговорам с государями, немеют при ее виде... Когда я видал ее в торжественные минуты, она меня совсем ослепляла, я не мог глаз поднять на нее, но здесь, у себя — она другая. Тут она уже не богиня, не царица — это ангел доброты! Она всегда так милостиво меня выслушивает, так кротко глядит... Мне хотелось бы упасть перед ней на колени и прикоснуться губами хоть к кончику ее платья...

— Похвальные чувства, — улыбаясь не особенно ласково, заметил Сергей. — Государы-

ня, действительно, очень милостива.

— Ах, как милостива! — с напускной торжественностью подхватил Зубов. — Я, право, поклоняюсь как божеству — и тут нет греха!

— Конечно, — сказал Сергей и хотел было пройти, но Зубов удержал его.

— Сергей Борисыч, вы на меня не сердитесь?

— Сердиться... помилуйте, да за что же?

— Да что я до сей поры вам должок не вернул...

— Ах, что вы, я и забыл совсем.

— Нет, как же можно, я очень хорошо помню и при первой возможности возвращу, только потерпите, благодетель — совсем денег нет. Прошу отца, прошу, чтобы выслать из деревни, а он отмалчивается... ужасный скряга у меня отец...

— Забудьте об этом должке и никогда мне о нем не поминайте больше, если не хотите, чтобы я и взаправду рассердился, — сказал Сергей и, слегка пожав руку Зубова, прошел дальше.

Это хорошенький мальчик решительно ему не понравился.

Прошло еще несколько дней. 18 июня рано утром, едва Сергей проснулся в своей маленькой комнатке в одном из дворцовых флигелей, как к нему явился посланный от графа Мамонова, который просил его немедленно к себе пожаловать.

Сергей наскоро оделся и отправился в большой двухэтажный флигель, весь отведенный под помещение Мамонова.

Он застал графа уже совсем одетым и в волнении ходившем взад и вперед по большому роскошному кабинету. Лицо его было бледно, большие глаза совсем красны от слез и бессонной ночи.

— Простите, что я вас побеспокоил, — сказал Мамонов, — я сам хотел идти к вам, но это обратило бы всеобщее внимание. И тут все за мной шпионят, подсматривают, но вам все же безопаснее и легче незамеченным пройти ко мне... Вы, я думаю, Бог знает что обо мне думали в это последнее время... Да, я сам понимаю, как я жалок с моей нерешительностью, но что ж мне делать?.. Наконец, сегодня я окончательно решился и иду... Но прежде мне хотелось пожать вашу руку, мне хотелось

вашего дружеского напутствия. Теперь все на меня обрушится, Сергей Борисыч... В меня грязью бросать будут, но я уверен, что вы не откажетесь в числе моих врагов...

— Еще бы, — сказал Сергей, — за кого вы меня принимаете? Если вам нужна моя дружба, то вы можете смело на нее рассчитывать и именно теперь я ваш всем сердцем.

Несмотря на все свое волнение, Мамонов вдруг искоса и как-то странно взглянул на него, но Сергей не заметил этого взгляда.

— Не оставляйте меня, пойдемте вместе... Будьте неподалеку — знаете, мне как-то страшно: мне кажется, что я схожу с ума.

— Да успокойтесь же, вы, действительно, нездоровы, — сказал Сергей, беря его горячую, сухую руку и замечая лихорадочный румянец, быстро появлявшийся и исчезающий на лице его.

— Пойдемте, — запинаясь, упавшим голосом говорил Мамонов. — Пойдемте, но только, пожалуйста, не уходите оттуда — дождитесь меня.

Они вышли. Сергей проводил графа до пороков императрицы, а сам стал бродить по за-

лам. Он сам уже не хотел уходить далеко, его самого уже интересовало положение Мамонова. За все это время он ко многому присмотрелся, многое узнал, многое стал понимать по-новому: то, что казалось ему прежде так просто, естественно, представлялось теперь очень сложным, очень запутанным. Мамонова же в эту минуту он любил искренне и понимал, что в его решимости, несмотря даже на то, что она пришла так мучительно и медленно, все же много истинного героизма.

Прошел час, другой, и вот, наконец, Мамонов вышел из покоев императрицы. Он шел, спотыкаясь, бледный, как полотно, с еще более опухшими, покрасневшими глазами.

Сергей подошел к нему. Он молча сжал его руку своей холодной, как лед, рукою.

— Пойдемте ко мне, — тихо проговорил он. Сергей за ним последовал.

Запершись в кабинете, Мамонов упал в кресло и вдруг неудержимо зарыдал.

Долго не мог Сергей его успокоить.

Наконец, он мало-помалу остановил свои слезы и все только хватался за грудь и часто кашлял.

— Ну что же, — робко спросил Сергей, — надеюсь, все благополучно? Конечно, государыня дала вам согласие на брак с княжной и вас можно поздравить? А воть счастливая семейная жизнь поможет вам вылечиться, вы должны серьезно о себе подумать!

— Да, поздравьте меня, Сергей Борисыч, — мне разрешено жениться. Государыня очень милостива, она только пеняла мне, что я давно ей во всем не признался. На сих же днях будет свадьба, послезавтра сама государыня обручит нас, и немедленно после свадьбы я уеду для поправления своего здоровья. Позвольте вы мне надеяться, что наше краткое знакомство не изгладится из вашей памяти?! Я ведь здесь оставлю так мало друзей... почти никого, могу ли рассчитывать, что вы меня не забудете?

— Напрасно вы так говорите, граф, как будто все еще сомневаетесь. Если чем я могу быть вам полезным, смело на меня рассчитывайте, но вряд ли я мог что-нибудь — вы сами знаете, какое у меня влияние! Да я так полагаю, что недолго мне и быть тут. Мне тоже начинает что-то нездоровиться, я подумываю,

как бы уехать подальше.

Мамонов с изумлением взглянул на него.

— Вы... уехать! Куда же? Зачем же?.. Нет, вы теперь не уедете!..

— Не знаю, только во всяком случае пожелайте мне скорого отъезда, потому что я сам себе всего больше этого желаю.

Мамонов еще раз взглянул на него и ничего не понял:

«Что же это он — смеется, что ли?.. Ролю играет?!» Но Сергей смотрел очень серьезно, даже грустно.

XXVIII. NOTTURNO

Прошел день. Говорили, что императрица нездорова. Она не показывалась из своих покоев, и при ней находилась только одна Анна Никитишна Нарышкина — других не допускали.

Во дворце с каждым часом замечалось все больше и больше волнения; но это волнение было не шумно, а, напротив, развивалось почти неслышно, таинственно. Никто не говорил громко, все шептались, ходили на цыпочках. Когда из двери апартаментов государыни

показывалась почтенная, несколько мрачная фигура камердинера Захара, некоторые сановники и придворные дамы спешили к нему и робко, как-то даже почтительно спрашивали:

— Ну что, Захар Константинович, каково?!

Камердинер на мгновение останавливался, уныло качал головой и говорил:

— Известно, нездоровы... растревожили их шибко... ну, да авось Бог даст — уладится... Анна Никитишна успокоит...

И он медленной своей походкой шел дальше.

Едва показывался Сергей — все поспешно давали ему дорогу, иные заговаривали с ним предупредительно и любезно. Безбородко был тут же вместе со своим красивым племянником, Милорадовичем, от которого теперь почти не отходил. Но и он нашел время подойти к Сергею и сказать ему несколько любезных фраз; однако в его улыбке, в его взглядах на этот раз не было прежнего добродушия. Сергей чувствовал какую-то перемену в обращении с ним его начальника, как будто он был им недоволен и в то же время всячески скры-

вал это неудовольствие под видом любезности.

Мамонова не было видно. Сергей зашел было к нему, но ему объявили, что граф нездоров и никого не может принять.

И так продолжался весь день. Очевидно, никто не мог заняться своим делом, все слонялись, будто чего-то ожидая, не то со страхом, не то с надеждой.

Наконец, Сергею сделалось так тяжело и скучно, что он ушел к себе в свою маленькую, низенькую комнатку, заперся, открыл окошко и опустил штору. День был жаркий, в комнатке душно. Он лег на кровать, помещавшуюся за маленькими красного дерева ширмочками, пробовал заснуть, но это долго ему не удавалось — и духота, и комары, и всякие нерадостные мысли мешали.

Наконец, совсем утомленный и обессиленный, он задремал и проснулся только вечером. Освежившись умыванием, он вышел в парк и долго бродил, пока, наконец, усталость не заставила его очнуться. Солнце уже зашло, наступила прозрачная полумгла короткой июньской ночи.

Сергей увидел, что он забрался слишком далеко и, осматриваясь и вспоминая местность, стал искать ближнюю дорогу к озеру.

Никто не попадался ему навстречу. Он долго плутал по извилистым дорожкам. Но вот, наконец, остановился перед небольшой пирамидой: это было знакомое место — собачье кладбище, где под мраморными плитами покоились любимые собачки императрицы. На плитах были вырезаны французские надписи — эпитафии, из которых одну, очень милую и остроумную, сочинила сама Екатерина в память своего старого любимца Тома Андерсона. Возле пирамиды стояла низенькая скамейка. Утомленный долгой прогулкой, Сергей с удовольствием на нее опустился. Крутом было тихо, прохладно, душисто. Сзади едва слышно плескались водяные струйки, перебегая с камня на камень. Прямо — серебрилось озеро, и вдали, на фоне бледного неба, белели очертания павильонов.

Где-то близко, почти над самой головой, из глубины дубовых ветвей, раздались звуки соловьиной песни. У озера, в кустах осыпавшейся сирени, им завторило новое щелканье,

отозвалось чуть не на каждом дереве — и пошли звонкие переливы, с каждой минутой перебивая друг друга, подхватывая последние нотки и заливаясь звончее и звончее, будто все соловьи со всего царскосельского сада слетелись в этот тихий угол и давали свои прощальные серенады перед скорой разлукой.

Сергей заслушался этого пения, и вспомнились ему такие же тихие, соловьиные ночи в глуши Горбатовского или Знаменского парка, такие же ночи, только еще волшебнее, темнее, горячее, душистее... Далеко уносил его соловьиный рокот и сильнее поднимал в нем тоску и мучительную жажду счастья.

Ему думалось — как хорошо теперь там, на берегу Знаменского озера, в голубой беседке! Может быть, там теперь белеется платье Тани, она сидит на шатких ступеньках и тоже слушает соловьиные песни, и думает о нем. И ей так же тоскливо, и в ней такая же жажда, поднятая этой душистой, горячей ночью. И ему уже виделось, как призывно и нежно блестят ее глазки, как простираются к нему ее крепкие, полные руки...

Зачем же все это? Зачем эта разлука? Зачем этак неволя?..

Но ведь он сам захотел этой неволи, этой разлуки. Он сам бежал от Тани за призраком новой жизни, нового счастья!..

Ну и что же — прошло немного времени, куда девалась эта новая жизнь?.. Где же счастье? Оно опять-таки осталось там, в голубой беседке...

«Таня! Таня!!» — почти громко, с замиравшим сердцем звал он к себе милую, далекую девушку.

И ему уже начинало казаться, что она его слышит, что она спешит к нему. Вот между кустов мелькает ее белое платье.

Что это, не сон ли?.. Его чуткий слух ясно различает шорох шагов. Белая фигура все ближе и ближе.

Весь в волнении, почти готовый поверить в невозможное, он вскочил со скамейки, кинулся к приближавшемуся призраку. Вот он уже в нескольких шагах от него. Он остановился и вздрогнул — перед ним императрица...

Да, это ее полная, величественная фигура в

белом кашемировом капоте, в маленьком чепце на голове, из-под которого спускается несколько мелких локонов.

Она тоже остановилась и вздрогнула, но, внимательно всмотревшись в Сергея, ласково протянула ему руку.

— Ах, это ты?! Ты меня испугал... Я не думала кого-нибудь встретить... Я желала пройти одна и даже сказала, чтобы никого не пускали на эту дорожку... Как вы сюда попали?..

— Ваше величество, простите меня, — совсем смущенный и будто упавший с облаков выговорил Сергей. — Я шел не со стороны дворца... давно гуляю... заблудился...

— Беда невелика, — тихо сказала Екатерина, — и если вы заблудились, то это даже кстати — я выведу вас на дорогу... Да и сама устала... помогите мне... пойдём...

Она оперлась на руку Сергея и тихо пошла с ним вдоль озера по береговой дорожке.

Он с болью оторвался от своих мечтаний, от мыслей о Тане. Он уже не слышал соловьиных песен, не чувствовал душистой свежести, несшейся ему навстречу. В нем было теперь

только одно смущение, одна забота идти мерно и плавно, в ногу с императрицей, и крепче держать руку, на которую она опиралась. Он боялся взглянуть ей в лицо, это лицо было не то грустно, не то чересчур серьезно...

— Я что-то совсем устала сегодня, — сказала она таким слабым и кротким голосом, какого он еще никогда не слышал от нее. — Я нездорова, голова тяжела... думала освежиться... но эти светлые ночи, эти соловьи на меня иногда дурно действуют... тоску нагоняют... Не желаю тебе тоски такой, друг мой!

— Как тяжело слышать от вас подобные слова, ваше величество! — нашел в себе силы ответить Сергей. — Когда вам весело — и всем весело, ваша тоска производит всеобщую тоску. Мы все чувствуем заодно с вами.

Она слабо улыбнулась.

— Если б это было так, тогда все бы должны были стараться, чтобы я не тосковала, а между тем многие об этом не думают. Я встречаю немало неблагодарности, *beaucoup de duplicité*... и именно в тех, от кого всего менее могла ожидать этого. Такие ошибки в людях в мои годы очень тяжелы... Ах, и вечно-то ложь

и обман! И зачем, зачем — когда я так люблю искренность и только ее и желаю?! Но, конечно, я не стану, обманувшись в ком-нибудь, найдя в одном дурные качества, — подозревать те же качества в других... Вот я уверена, мой юный друг, что вы и искренни, и не двуличны.

— Благодарю, ваше величество, за такое лестное обо мне мнение. Но смею надеяться, что я заслужил его: я ненавижу фальшивость и нахожу всего лучше быть искренним.

— Да, ты молод и неиспорчен, слава Богу, — ласково сказала Екатерина, — оставайтесь таким, хотя это и очень трудно в жизни. Ну, и докажите мне, что ни я, ни вы в вас не ошибаемся; скажите, о чем вы думали, там, у пирамиды, окруженные тенями моих верных собачек, про что вам пели соловьи?

Вспыхнули щеки Сергея, опустились глаза его, и в то же время он заботливо соразмерял свой шаг с шагом императрицы и старался крепче поддерживать ее руку.

— О чем я думал?.. — прошептал он. — Да и сам хорошенько не знаю, ваше величество.

— Как не знаете?.. Вы, наверное, думали о

ней?!

Он изумленно поднял глаза. Екатерина пытливо в него всматривалась. Ее светлые, блестящие глаза были так близко-близко, ему становилось даже страшно.

— О ком о ней? — запинаясь, прошептал он.

— Dieu, que sais-je? Да, наверное, у тебя есть «она», celle, que vous aimez!.. Eh bien, moi franchement, mon ami — ведь ты ее любишь?

Сергей вдруг замедлил шаг, почти остановился и, прямо взглянув на императрицу, в каком-то порыве, почти отчаянно выговорил:

— Oui, je l'aime, votre majesté!

И он опять стал соразмерять свой шаг с шагом императрицы.

Прошло несколько мгновений. Далеко-далеко раздавалась соловьиная перекличка, какая-то большая рыба плеснулась в озере; в древесных ветках раздался шорох, спросонья встрепенулась птица — и опять все смолкло.

— Где она, близко или далеко?

— Далеко...

— И она вас любит, или вы еще не знаете чувств ее?

— Я верю ей, что она меня любит, ваше величество...

Еще прошло несколько мгновений молчания. До дворца было уже недалеко.

— Ну, и спасибо вам за вашу откровенность, — тихо и медленно произнося слова, сказала Екатерина, — я в вас не обманулась... Желаю вам полного счастья, которого вы заслуживаете. Я отдохнула и теперь пойду одна. Прощайте... *mersi, mon ami!*

Она оставила его руку, кивнула головой и повернула на дорожку ко дворцу.

Он остановился и долго стоял неподвижно, почти без мысли, почти в полузабытье. Но вот он очнулся, огляделся, прислушался — легкие шаги императрицы давно смолкли. Кругом было пусто и тихо. Он поспешил другой дорожкой. Его сердце шибко стучало, кровь то прилиwała к лицу, то опять отлиwała. Неясное смущение не покидало его, но тоска, давившая все это последнее время, вдруг улеглась, почти совсем пропала — было легче дышать, мало-помалу явилась бодрость.

«Таня!! Таня!!» — страстно шептал он...

XXIX. СУДЬБА

Вернувшись к себе, Сергей с изумлением увидел, что его дожидается Моська.

— Степаныч, что такое? — спросил он. — Что это ты так поздно приехал, все ли благополучно?

— Не тревожься, сударь-батюшка, успокоительно пропищал карлик, — все у нас как след быть, разве вот только мусье Рено на голову жалуется, ну да старуха Маланья ему горчичники приставила, завтра будет как встрепанный...

— Так чего же ты так поздно приехал?

— Так чего же мне и не приехать, — обиженно отвечал карлик, — запрета от тебя, сударь, кажись, еще не было. Стосковался по тебе — ну вот и приехал!.. Ведь шутка ли: пятый день нонче как ты домой не наведывался. Так и не стерпел я, чтобы не проведать. Да вот еще и писулька к тебе есть...

И он изменил обиженное выражение своего лица на лукавую улыбку.

— Письмо? От кого? Давай, Степаныч!

— От кого письмецо-то?! Да так полагать

надо, от княжны нашей, от Татьяны Владимировны... И где ж это оно, куда я его?! В кармашек его сюда положил, ан и нету... уж не затерял ли как дорогой?

Карлик уморительно засуетился, выворачивал карманы своего кафтанчика, делал испуганное лицо.

— Степаныч, да ты шутишь, что ли, или серьезно?! — начиная волноваться, крикнул Сергей. — Разве можно терять письма, этого еще не доставало!..

Карлик тихонько засмеялся.

— Ну, ну, не кипятись... и впрямь шучу. Да и ты тоже хорош, Сергей Борисыч, как погляжу на тебя. Ну, слыханное ли дело, чтобы Моська потерял что, а особенно письмецо такое? Да ведь знаю же я, коли Моська один — так его встречают — «зачем мол приехал?» Дескать «и не надо бы тебе вовсе!» Ну, а письмецу этому не скажут небось — «зачем ты, мол, появился?» Может, ради письмеца и Моська прощение получит...

— Степаныч, это ты никак обижаться вздумал, а не то с жары ошалел? Я тебя спрашивал со страху, не случилось ли чего, а приезду

твоему и без письма рад.

— Ну, говори теперь, говори, вывертывайся, — ворчал Моська. — А вот не дам писульку, так и увидим, кому это ты рад!

Сергею вдруг стало весело, привольно как-то, он схватил карлика на руки, высоко его приподнял, потом взял под мышку, а другой рукой стал щекотать его.

— Защекочу, Степаныч! Подавай письмо!

— Ой, батюшки! — пищал Моська. — Да отпусти ты, непутевый, не то так визжать начну, что со всего двора сбегутся... Отпусти, дам я тебе письмецо...

Сергей поставил его на пол. Моська вдруг принял степенный вид, вынул из заднего кармана кафтанчика письмо и почтительно подал его Сергею.

Сергей быстро распечатал, притворил окно, зажег свечку и стал читать.

Да, это писала Таня, но уже с первых же строк он увидел, что это письмо не похоже на прежние ее письма.

Что там у них случилось? Что-то особенное! Так и есть. Таня писала о внезапной и опасной болезни своей матери. Писала урыв-

ками, отходя от ее кровати.

Из Тамбова три доктора приехали и живут в Знаменском. Горбатовский Богдан Карлыч стал, было, лечить княгиню, да ей от его леченья только хуже сделалось, и тамбовские доктора объявили, что Богдан Карлыч совсем не понял болезни и своими лекарствами много вреда наделал...

«А чем кончится — неизвестно. У нас теперь добрая твоя матушка и Елена, помогают мне — спасибо им, голубушкам... Нынче вот как будто легче немного, да бывали уже дни такие, что полегчает, а потом и опять хуже... Доктора уверяют, что Бог милостив, надеются — а кто же ведь знает! Но не одно это горе у меня, друг мой Сережа! Коли Бог даст и поправится матушка, так другое есть горе и с ним не знаю, как справиться... Понадеялась вот было на свои силы!.. Жду не дождусь твоего приезда... Кабы знал ты, как ты мне теперь нужен! Скоро ли свидимся? Обещал, что скоро, а все тебя нету... Когда же? Ради Создателя, голубчик мой, ответь ты мне, скоро ли едешь и не откладывай, говорю тебе, за большим делом зову тебя...»

Сергей опустил голову и сильно задумался.

Таня ли писала это? Никогда ведь еще не говорила она таким тоном.

И вот он вспомнил многое, вспомнил иногда, изредка прорывавшиеся у нее слова. Он почти уже знал за каким делом зовет она его, в чем нужна ей его помощь. Да, и вот какое время! Княгиня больна тяжело, умрет, пожалуй... Ему необходимо быть возле Тани. И, вообще-то, пора отсюда, пора!

«Завтра же отпрошусь у государыни, — думал он, — неужто она меня теперь не отпустит?..»

Но на следующий день Сергею не удалось увидаться и переговорить с императрицей. Она опять не выходила из своих комнат. Во дворце волновались еще больше, шептались о том, что, по словам Захара, в этот день будет обручение графа Мамонова и княжны Щербатовой.

Этот слух оправдался. Перед вечерним выходом всем было известно, что государыня в сопровождении Нарышкиной и Салтыкова прошла в помещение, занимаемое графом Мамоновым и что там происходит теперь об-

ручение.

Придворные по всем углам толковали о неожиданном и знаменательном событии. Изумлялись прежде всего на Мамонова.

— И кто бы мог ожидать такого?! — толковали одни. — Вот уж доподлинно, коли Господь наказать захочет, то разум отнимет. Ну, чего он, чего ему было мало?.. И кого он отыскал — каку-таку царь-девицу! Ровно насмешка. Чем она могла ему полюбиться: ни красоты, ни приданого, сирота почти без роду, без племени... Одна и родня, что Рибопьеры, нечего сказать — хороша родня! И смотрели за ней хорошо тоже — с англичанином-то история ведь всем известна...

— Да уж точно, диво дивное! — говорили другие. — Ну, взбесился парень с жиру, захотел убежать от своего счастья, так зачем тут ему Щербатова понадобилась? Ведь вот доподлинно это известно: государыня, видя на какой конец дело идет, сама ему предложила женить его на дочке графа Брюсса, тут, по крайности, и богатство и знатность, а главное — желание императрицы. Так ведь нет — Щербатову подай ему!.. Истинно — разума ли-

шился.

— На государыню только дивиться нужно, на ее к нему милости. Стоит он того, чтобы наказать его примерно за все его продерзости и кривляния. Шутка ли — на глазах у всех он около года ведь эту роль играл. Болен, вишь ты, скучно, тяжело... А вон Захар сказывал: три тысячи душ жалуется, в Москве дом ему будут строить.

— Ах, что-то теперь будет? Что-то и там происходит? — говорили, мигая по направлению роскошного дворцового флигеля, занимаемого Мамоновым.

Но никто не мог знать подробностей обручения графа: кроме государыни, Нарышкиной и Салтыкова никого там не было. Однако на другой день говорили, что государыня была чрезвычайно милостива к жениху и невесте. Они стали перед ней на колени, просили у нее прощения, и она их простила...

Сергей все ждал возможности увидеть Екатерину и лично передать ей просьбу об отпуске.

На следующий день после обручения Мамонова он присутствовал на вечернем выхо-

де. Императрица появилась спокойная и величавая, но все ясно заметили ее бледность, признаки утомления. Она по своему обычаю милостиво подходила то к тому, то к другому, несколько минут разговаривала с графом Безбородко. Все жадно прислушивались к каждому ее слову.

Сергей стоял в нескольких шагах и, вовсе даже не прислушиваясь, слушал, что говорила императрица графу.

— Я уж изготовила письмо, — сказала она, — нужно принять решительные меры, я не хочу, чтобы на меня возлагали такие надежды, которых осуществить я не в силах. Симолин должен объясниться ясно и прямо, высказать, что я не могу одобрить ни одну из принимаемых мер... Страшная, фатальная слабость, чрезмерные уступки, которым конца не будет!.. Приговор этому несчастному правительству подписан... Приготовь, граф, все бумаги, завтра доложи мне, и мы отправим надежного человека...

Безбородко молча поклонился.

Екатерина, проходя мимо Сергея, почти не остановившись, сказала ему:

— Господин Горбатов, прошу вас ко мне через час — у меня до вас дело.

Сергей вспыхнул, а затем побледнел. Он ждал случая говорить с нею, и вот она сама зовет его. Но это дело, какое дело? Чего ему ждать? Что будет? А ждать целый час.

Этот час оказался для него еще мучительнее, чем он ожидал.

Придворные решительно не дали ему покоя. Он наслушался столько любезностей, увидел столько утонченного внимания к себе, выслушал столько выражений преданности и сердечного к нему влечения, которое все эти господа почувствовали, как только его увидели, что, несмотря на привычную свою сдержанность, он едва воздержался от резких ответов. Ему было невыносимо среди этих людей, он спешил уйти, хотел пробраться в сад и скоротать там остающееся время ожидания, но его не пускали. К нему то и дело подходили новые лица.

Он был предметом всеобщего внимания. Все слышали слова, сказанные ему императрицей, и выводили из этих слов свои заключения.

Конечно, он получит какое-нибудь новое назначение.

Наконец час прошел. С замирающим сердцем, с холодеющими руками Сергей направился в покои государыни. Он опять столкнулся с дежурным офицером Зубовым. Хорошенький мальчик и на этот раз предупредительно с ним поздоровался. Но Сергей, даже несмотря на все свои волнения, заметил в нем какую-то перемену. Лицо его так и сияло, великолепные глаза так и искрились.

— Пожалуйте, пожалуйста, Сергей Борисыч! — сказал он. — Государыня ждет вас, мне нечего й докладывать.

Сергей молча кивнул ему головой и прошел.

Войдя в кабинет императрицы, он увидел ее перед письменным столом; она что-то писала и, по-видимому, была погружена в свою работу, так что не слышала скрипа двери, не заметила его появления. Он остановился в недоумении и кашлянул.

Императрица продолжала писать.

Он сделал несколько шагов к письменному столу.

Наконец Екатерина обернулась, кивнула ему головой и, указывая на кресло рядом с собою, проговорила:

— Присядьте здесь, я сейчас кончу.

Он исполнил ее приказание и сидел, рассеянно глядя на быстрое движение ее пера по бумаге, на ее строгий профиль с выдающимся подбородком и резкой чертой между бровями.

Он чувствовал, что чем ближе минута объяснения и выхода из неизвестности, тем сильнее и сильнее его волнение. Да и кроме того, у него вдруг явилось совсем иное, неожиданное ощущение. Он по чему-то, по чему-то совсем неуловимому, но для него достаточному и ясному, теперь уже знал наверное, что должно совершиться что-то особенное. Императрица так же, как и всегда, милостиво кивнула и улыбнулась; она пригласила его сесть и подождать своим обычным и ласковым голосом. Но ведь она не та, совсем не та, он не узнает ее, она производит на него новое впечатление, не имеющее ничего общего ни с тем, когда он только что узнал ее, ни с тем, когда она, допустив его в свой интимный кружок,

оказывала ему знаки своего внимания... Она не та... не та!.. Но что же случилось, что теперь будет?..

Екатерина положила перо, открыла табакерку, понюхала и обратилась к Сергею. Он встретился со взглядом ее светлых глаз, но ничего не прочел в этом взгляде, к тому же это было одно лишь мгновение.

Она опустила глаза, будто рассматривая крышку табакерки.

— Сергей Борисыч, — сказала она, — назначив вас на службу к графу Безбородко, я не ошиблась в ваших способностях: вы доказали их и вашему начальнику, и мне. В короткое время вы сумели заслужить мое доверие, сейчас я представлю доказательства в этом.

Что значило это вступление? Сергей хотел что-то сказать и не мог. Он только слушал, и сердце его то замирало, то принималось ожесточенно биться.

— Я намерена возложить на вас такое поручение, какое могу дать только человеку, в способностях которого, скромности и разумности я вполне уверена. Я получила очень серьезные депеши и письма Симолина, и мой

ответ должен заключать в себе подробную программу дальнейшего способа наших действий относительно Франции. Мне нужен верный человек, который передал бы Симолину письмо и некоторые документы, и который бы, кроме того, знал мои взгляды, мог бы быть ему полезным помощником в такое трудное время. Готовы ли вы служить мне?

Сергей начал теряться. Он не совсем даже понимал, что ему говорили и, почти машинально встав и отдавая глубокий поклон, проговорил, что служить императрице и исполнять ее приказания — его прямая и священная обязанность.

Екатерина подняла на него свои спокойные, блестящие глаза и сказала:

— В таком случае, мой друг, отправляйтесь сейчас же в Петербург, соберитесь в дорогу; на это, сударь, я могу вам дать только сутки времени. Завтра к вечеру в этот же час я буду ждать вас... Ты найдешь у меня и графа, мы передадим тебе, что нужно, а послезавтра утром и в дорогу — нельзя ни одного дня терять, дело спешное и крайней важности...

Сергей побледнел и все сразу понял. От та-

кого поручения, выраженного в крайне лестной для него форме, отказаться немыслимо. Послезавтра он будет на дороге к Парижу. Мечта долгих лет так неожиданно осуществляется; но ведь обстоятельства изменились. Он жадно ухватился бы за поездку во Францию, но теперь ему нужно быть в Горбатовском, там ждет не дождется его Таня. Да и с матерью хотелось бы увидаться перед долгой разлукой. Он побледнел еще больше. На выразительном его лице ясно изобразились его чувства. Императрица внимательно на него взглянула.

— Вы смущены поручением, мною на вас возложенным, вам оно не нравится? Скажите прямо!

— Я горжусь доверием вашего величества, — смущенно выговорил Сергей. — Но есть одно обстоятельство, которое смущает меня — семейные дела зовут меня теперь в деревню!..

— Что такое, не больна ли ваша матушка?

— Нет, она здорова, ваше величество.

— В таком случае, друг мой, я намерена поступить тиранически — вы должны ехать в

Париж. Я извинюсь перед вашей матушкой за то, что лишаю ее удовольствия видеть вас... Но служба прежде всего. Поезжайте же в Петербург, готовьтесь к отъезду и прошу до завтрашнего вечера никому не говорить об этом деле.

Она протянула ему руку. Он наклонился, молча поцеловал эту руку и взглянул на Екатерину.

Но она на него не глядела, она озабоченно пересматривала бумаги на письменном столе.

«Другая, совсем другая!..» — невольно подумал Сергей.

Он вышел. У двери Платон Зубов с улыбкой ему поклонился.

— Сергей Борисыч, верно, можно поздравить с какой-нибудь новой милостью государыни? — шепнул он ему, все продолжая улыбаться.

«И этот вот совсем другой, — подумалось Сергею, — и чего ему нужно? Зачем он пристает ко мне?»

Он прошел дальше, ни слова не ответив на вопрос Зубова. К нему подходили, его спра-

шивали, стараясь всячески добиться от него хоть намека относительно того, что происходило в кабинете государыни.

Но он не мог и не хотел ни с кем говорить, он спешил скорее из дворца, ему надо было пользоваться временем.

XXX. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Моська все еще находился в Царском. Он отлично знал все обстоятельства своего господина и теперь с нетерпением дожидался Сергея в маленькой комнатке надворного дворцового флигеля.

«Эх, дитя неразумное! — думал он. — Так ведь и рвется в Горбатовское, а о том не думает, что может, вернувшись, уж не наверстает потерянного времени! Ведь так оно во всем мире водится... Помню, на моих глазах бывало еще и при Елизавете Петровне: уедет человек из Питера на короткое время, уедет себе в силе, в почете, а вернется — ничего прежнего нету... Добрые люди не упустили времени — наговорили... Государыня и глядеть не хочет, и приходится опять уезжать из Питера, только уж не по своей доброй воле, а неволею: де-

лать-то здесь уже нечего... Ох, боюсь — того вот и жди, что и с нашим то же будет!..»

Но эти неясные опасения скоро уступили место другому чувству. Моське самому неудержимо, хоть на несколько деньков, хотелось теперь в Горбатовское, хотелось ему повидать и Марью Никитишну, и всех своих старинных приятелей; хотелось повидать княжну Татьяну Владимировну Пересветову, которую он в своих мыслях считал суженой «батюшки Сереженьки» и которую любил горячей отцовской любовью.

Хотелось ему и помолиться на могиле Бориса Григорьевича, хотелось подышать воздухом горбатовского дома, горбатовского парка... Совсем ему здесь не нравилось, в этом Царском Селе, где знойной летней порою таклюдно, и шумно, и пыльно...

И вот он мечтал о милом Горбатовском, когда в комнату поспешно вошел Сергей. Едва взглянув на взволнованное и смущенное лицо Сереженьки, карлик понял, что это неспроста, что решение принято, но какое? Здесь ли оставаться или ехать в Горбатовское?

— Собирайся, Степаныч, мигом собирай-

ся... Уложи все вещи... Сейчас едем! — взволнованно сказал Сергей.

— Уж и сейчас! Что так скоро? Куда мы на ночь глядя поедем?! — изумленно запищал карлик. — Раньше двух ден никак нам, ба-тюшка, в Горбатовское не выбраться, ведь ка-бы знать заранее, ну так оно, конечно, все бы подготовить можно было, а теперь и то, и дру-гое, и третье надобно...

— Да не в Горбатовское! Не в Горбатовское, Степаныч — совсем другое!.. — перебил его Сергей. — Не отпускают меня в Горбатовское. А вишь ты, в один день я должен собраться и послезавтра утром за границу еду... В Париж!..

Карлик всплеснул руками, вытаращил гла-за да так и остался.

— Что же это?! — наконец, завопил он. — Что за напасти?! Зачем такое — за границу?! Зачем к басурманам?! И как же теперь ма-тушка?! И опять, княжна наша? Что же это, Сереженька, али ты путаешь меня, голуб-чик?.. Не томи, скажи правду!..

— Правду и говорю, Степаныч, сам не рад, да что же делать... Дорогою расскажу, а те-перь ступай скорее, распорядись лошадьми

да призови камер-лакея, чтобы вещи укладывал!

Но карлик не слышал приказания господина. Он все еще стоял, состроив самую жалкую, испуганную мину, и никак не мог примириться с этим неожиданным и возмутительным для него известием.

«В Париж! В Париж-таки! Басурманская трещотка, французишка треклятый торжествовать будет! В Париж, это на погибель-то! Господи не попусти! Господи помилуй!..»

— Да очнись, Степаныч, что с тобой?! — говорил Сергей. — Слышишь, нечего терять времени, мне еще столько дела... Не знаю, как и справлюсь. Да уж и ты не ленись — отдохнешь в Горбатовском, когда меня проводишь.

— Что?! — завизжал карлик, — в Горбатовском?! — Это чтобы я отпустил тебя к басурманам одного-то? Нет, уж это как твоей милости угодно, а такого дела не будет. Да и Марья Никитишна как собаку меня из Горбатовского выгонит, коли узнает, что я отпустил тебя!..

— Неужто ты и за границу со мной? — улыбаясь сказал Сергей. — Я так думал, сам не поедешь... И ты хорошенько об этом подумай,

ведь это не то, что в Питере: и жизни не рад будешь!..

— Нечего мне тут и думать! Коли ты в пекло лезешь, так и я за тобою! — проворчал карлик и, наконец, пошел распоряжаться лошадьми.

Дорогой были решены все вопросы.

Из откровенного рассказа Сергея карлик убедился, что Сереженьку винить нечего, что эта ужасная поездка решилась не по его воле, а сама судьба подшутила. Но хотя и понимал карлик, что винить некого, а все ж таки винил одного человека.

«Добился своего, анафемская трещотка, — шептал он про себя, съезжившись как маленькая обезьянка в углу кареты. — Добился-таки, понадобилась, видно, тебе погибель дитяти... Ну, да посмотрим еще... Глаз с него теперь спускать не буду... Ох, тяжкие времена!..»

И он то и дело ерзал на своем месте, не в силах будучи подавить волнения и злобного чувства, которое поднимала в нем мысль о том, что вот теперь Рено торжествовать будет.

По приезде в Петербург он поскорее про-

шел в свою комнатку, чтобы не быть свидетелем радости и торжества француза.

И он был прав.

Рено, узнав от Сергея о внезапном решении и их предстоящей скорой поездке в Париж, чуть с ума не сошел от радости, даже забыл свою сильную головную боль, которая его мучила в последние дни. Он бросился обнимать Сергея, смеялся, хлопал в ладоши. Ведь он уже совсем отказался от своих заветных планов и томился в тоске и бездействии, с каждым днем убеждаясь, что Сергея ожидает непредвиденная им и опасная карьера, что он надолго связан с Петербургом. И вдруг такое счастье!..

Он внимательно выслушал рассказ Сергея, понял все и с невольными слезами на глазах крепко обнял своего воспитанника. Он был им очень доволен. Но, придя несколько в себя, после первых минут восторга он заметил, что Сергей сумрачен и печален.

— Ах, дорогой Serge, — сказал он, — не время сегодня печалиться и смущаться чем-либо. Конечно, очень жаль, что мы не можем захватить в Горбатовское, но было бы уж чересчур

требовать от судьбы полнейшего исполнения наших желаний. Поймите, лучше того, что случилось с вами, не могло случиться... И как хорошо, что эту зиму вы прожили здесь, она принесла вам большую пользу. Теперь вы появитесь на великой арене европейской деятельности уже человеком с некоторым опытом, с некоторым знанием... О! Как хорошо! Когда же мы едем — завтра?!

— Послезавтра утром, — отвечал Сергей. — И я прошу вас, Рено, вместе с Иваном Ивановичем все здесь приготовить к отъезду. У меня не будет времени ни о чем думать... Я должен еще съездить в Гатчину, проститься с цесаревичем.

— О да, конечно! — согласился Рено.

— Если сейчас выеду, — продолжал Сергей, — то все равно, пока доеду до Гатчины, уже будет поздно — великий князь рано ложится. Я выеду ночью, с тем чтобы застать его при его пробуждении — это самое удобное время...

Сергей так и сделал. Но как он ни торопился, а все же раньше шести часов утра не успел добраться до гатчинского дворца.

Зная теперь более или менее ходы и выходы, он обратился к Кутайсову и узнал от него, что Павел Петрович уже с час как встал и гуляет в парке.

— Не могу терять ни минуты времени, — сказал Сергей, — и мне остается только одно: отправиться сейчас же в парк и постараться найти там его высочество.

Кутайсов задумался.

— Да у вас какое-такое спешное дело? — спросил он. — Я боюсь, как бы вы не растревожили великого князя. Я ваших дел, сударь, не знаю; но по двум-трем словам великого князя должен был заключить, что он будто бы вами не совсем доволен.

— Мною недоволен?! — изумленно воскликнул Сергей. — Нет, Иван Павлыч, вы ошибаетесь... Этого быть не может... По крайней мере, вины за собой я никакой не знаю.

— Да вы за каким делом? — подозрительно взглянув на Сергея, вдруг переспросил Кутайсов. — Что за спешка? Повремените, сударь, вернется с прогулки великий князь, доложу я о вас — и примет...

— Ах, не могу я ждать! Каждая минута мне

дорога. По поручению государыни я еду завтра за границу... Я должен проститься с цесаревичем.

— Завтра за границу... Государыня посылает!.. — изумленно повторял Кутайсов. — Ну, в таком случае, сударь, конечно, спешите. Пойдемте-ка, я проведу вас в парк и укажу, где вы можете встретить великого князя.

Он как-то лукаво улыбнулся. И в этой улыбке уже не было той странной подозрительности, с которою он встретил Сергея. Он провел его в парк к озеру и остановился у того места, где сделан небольшой грот, в глубине которого начинается подземный ход, достигающий внутренних комнат нижнего этажа дворца.

— Вот ступайте, сударь, по этой дорожке, они, наверно, здесь прохаживаются. Только предупреждаю — с первых слов не растеряйтесь, коли сурово вас встретят.

— Спасибо, Иван Павлыч, за то, что проводили, а растеряться я не растеряюсь, я не умею бояться великого князя.

— Да вам и нечего его бояться, как я теперь вижу, сударь...

Сергей не стал доискиваться смысла этих слов. Он пожал Кутайсову руку и поспешно пошел по указанной им дорожке.

Это раннее утро было прелестно. Солнце стояло высоко, но жара еще не наступала. В тени деревьев было прохладно, на траве еще сверкали крупные росинки. Каждый листок, казалось, испускал особенное благоухание, которое так и стояло в воздухе. Кругом все сверкало самыми яркими, горячими красками, птицы заливались в гущине древесных веток. Этот уголок гатчинского парка казался таким заманчивым у тихого, прозрачного озера, обрамленного живописными группами деревьев, не вычищенных, не распланированных, как в царскосельском парке, и тем еще более красивых.

Тут было тихо, так привольно дышалось, что Сергей совершенно не замечал утомления бессонной ночи, проведенной в дороге, и жадно вдыхал в себя чистый, бальзамический воздух. Он шел все вперед, по временам останавливаясь и осматриваясь во все стороны, не заметит ли где цесаревича.

И вот он его заметил. Павел Петрович шел

прямо к нему навстречу, но, очевидно, не обращал внимания на его приближение. Он был погружен в свои мысли и даже временами жестикулировал, как бы говоря сам с собою. Только поравнявшись с Сергеем, он вздрогнул и поднял глаза на него, но несколько мгновений будто не узнал, и только когда Сергей сказал свою приветственную фразу, он очнулся от своих мыслей. Он нахмурил брови, сделал губами обычное презрительное движение и, не протягивая Сергею руки, продолжая идти скорым, мерным шагом, отрывисто спросил:

— Зачем пожаловал, сударь?.. По какому делу?

Сергей хотел было отвечать, но цесаревич, не дождавшись его ответа, проговорил еще раздражительнее:

— И что за время?! Я всегда один гуляю!

— Простите, ваше высочество, — уже невольно начиная смущаться, сказал Сергей, — я никогда не взял бы на себя дерзость тревожить вас, если бы не принудили к тому обстоятельства. Я приехал в Гатчину на полчаса, на час — самое большее, и не могу те-

рять времени.

— Какие же новости вы мне привезли, сударь?.. Я все новости и так знаю, — презрительно улыбаясь и краснея, сказал Павел. — Может, поспешили с известием о каком-нибудь новом и важном назначении, полученном вами? Может, желаете, чтобы я первый вас поздравил?..

Сергей вспыхнул, но вдруг глаза его блеснули, тонкие ноздри его расширились, мгновенно делая его похожим на его покойного отца. Он гордо выпрямился и звучным, твердым голосом заговорил:

— Точно так, ваше высочество, я поспешил известить вас о новом почетном назначении, которого удостоила меня императрица — я завтра отправляюсь в Париж и, вероятно, на очень долгое время. По крайней мере, так я должен заключить из слов государыни и из свойства того поручения, которое она изволила мне дать.

Павел Петрович остановился, смерил Сергея с головы до ног быстрым взглядом, покраснел еще больше и тихо проговорил:

— Пойдем. Расскажи мне подробно.

Сергей, конечно, не замедлил исполнить это приказание. И по мере того как он рассказывал, лицо великого князя светлело все больше и больше. Вот его синие глаза, за минуту еще блестевшие гневом и потерявшие всю красоту свою, снова приняли обычное ласковое и мечтательное выражение и обдали Сергея тихим светом. Он взял своего спутника под руку и, продолжая идти таким образом, задал ему несколько вопросов.

— Да, так вот что! — сказал он, когда рассказ Сергея был окончен. — Ты уезжаешь. Ну, спасибо, друг мой, что не забыл заехать попрощаться со мною. Мне жаль, что ты уезжаешь, что я не буду тебя больше видеть. Я полюбил тебя, и мне больно было думать, что я в тебе обманулся... Но я ошибся — прости мои сомнения, впредь их не будет. Поезжай с Богом, только не думай, что поручение тебе дано легкое; ты едешь в Париж в ужасное время, и я невольно боюсь за тебя. Будь осторожен, следи за каждым своим шагом и Боже тебя сохрани увлечься какой-нибудь сумасбродной, преступной идеей, каких теперь так много во Франции. Помни, что благо чело-

вечества не в насильственных действиях, не в разрушении существующего порядка, а единственно во внутренней борьбе каждого человека с самим собою, со своими дурными наклонностями, дурными страстями. Правда и счастье не могут быть достигнуты преступными средствами, всякая капля пролитой крови влечет за собой только неправду и горе...

Сергей внимательно вслушивался в слова цесаревича. Он говорил совсем не то, что обыкновенно проповедовал Рено и с чем Сергей привык соглашаться. Но то, что теперь говорил цесаревич громким вдохновенным голосом, западало в душу Сергея еще глубже, чем пламенные речи француза-воспитателя.

«Правда и счастье не покупаются преступными средствами, никакая высокая цель не оправдывает преступного средства...» — невольно повторял Сергей и всем существом своим понимал и чувствовал, что это великая истина, перед которой должны замолкнуть всякие другие рассуждения.

Незаметно прошло около часу в горячей беседе. Сергей должен был торопиться. Цеса-

ревич провел его в покои великой княгини, которая встретила молодого гостя самым приветливым образом.

Она сидела перед чайным столом, сама разливала чай и с простотою внимательной и любезной хозяйки угощала Сергея прекрасными молочными продуктами Гатчины.

Тут же присутствовала и Екатерина Ивановна Нелидова, прозрачная, нежная красота которой, еще более выделявшаяся белым утренним платьем, делала ее в глазах Сергея существом иного, воздушного мира.

При разлуке Сергей выслушал самые милые, искренние пожелания счастливого пути и всякого благополучия. Цесаревич был, видимо, растроган. Он обнял Сергея, перекрестил его и говорил:

— Будь счастлив, оставайся таким, каков ты теперь... Я надеюсь, что мы увидимся. Не забывай, что мы все друзья твои.

Волнение, испытанное Сергеем при этой разлуке, было не последним для него в тот день. Вечером в Царском его ожидало новое волнение, к которому он совсем не был приготовлен и на которое до сих пор считал себя

неспособным.

Явившись во дворец несколько раньше назначенного ему времени, он должен был дожидаться в залах, где, по обычаю, толпились придворные, те самые люди, которые вчера осыпали его утонченной любезностью, выказывали ему такое расположение и почтение. Он ждал, что и сегодня они будут надоедать ему и был очень поражен, сразу увидев большую перемену в их обращении. Теперь уж никто не спешил к нему навстречу. Правда, иной подходил и здоровался с ним, но уже совсем не так, как прежде. Это была холодная вежливость, обязательная любезность — и только.

Что же такое случилось? Ровно ничего. Только уже известие о том, что он уезжает в Париж, было у всех на языке. Его даже прямо спросили — правда ли это? Он отвечал уклончиво и удивлялся, откуда знают. Но он вспоминал, что во дворце не могло быть тайн. Он припоминал несколько случаев, когда обстоятельства, по-видимому, только известные одному или двум лицам и державшиеся в большом секрете, через каких-нибудь несколько

часов делались известными всем и каждому.

Он уже, несмотря на свое короткое пребывание при дворе, понял многие свойства придворной жизни, и теперь ему сразу стало ясно, в чем дело, — рассчитывали на его влияние, были убеждены в его быстрой карьере. А вот он едет за границу, вероятно, надолго, теперь нечего в нем заискивать. Всякий рассуждал так же, как и карлик Моська, — и был прав.

Ну и что же, ведь Сергею были так противны это лицемерное внимание, эта лесть и ложь. Он не знал, куда деваться от навязчивости этих господ. Теперь его оставили в покое, он может спокойно дожидаться аудиенции и, наконец, вздохнуть свободно, оставив далеко за собою всю эту затуманившую его жизнь. Он должен радоваться, а между тем, странное дело, у него вдруг опять стало так тяжело, так тоскливо на сердце, ему сделалось обидно, досадно, его самолюбие страдало, в нем закипало негодование, но не то, что кипело в нем вчера, — это было совсем другое негодование.

Ему досадно становилось за свои чувства, и все же он никак не мог их побороть в себе.

Его оставили в покое, но в то же время он все же чувствовал, что за ним наблюдают, — и невольная краска вспыхивала на щеках его. Ему хотелось гордо поднять голову, прямо и презрительно взглянуть на эту нарядную толпу. Он имел право это сделать и в то же время не имел достаточно для этого сил. На него уже пахнуло ядом той жизни, которая его окружала, он уже испытывал на себе признаки петербургской заразы, о которой говорил ему цесаревич в первое их свидание.

Взволнованный и смущенный, вошел он в кабинет императрицы, где уже находился и граф Безбородко. Граф был, видимо, не в духе, хотя и скрывал это. Екатерина была спокойна, но все же не прежняя, а новая, какую Сергей увидал ее накануне.

— Граф одобряет мой выбор, — сказала она Сергею. — Мы передадим вам сейчас все нужное, и завтра же утром, как я вам говорила, отправляйтесь. Надеюсь, вы готовы к отъезду?

— Готов, ваше величество, хоть сию минуту!

— Вот это я люблю, — улыбаясь, заметила

императрица и протянула ему руку.

Но улыбка ее быстро исчезла. Екатерина-женщина превратилась в императрицу, которая с обычной ясностью и отчетливостью стала высказывать перед молодым дипломатом свои политические взгляды.

Сергей напрягал все внимание, чтобы не проронить ни одного ее слова, ни одного слова Безбородки.

Через минуту он уже забыл все, кроме того дела, о котором они говорили.

Около часа продолжалось совещание, и он должен был убедиться, что посылается не простым курьером, что ему оказывается действительное доверие.

— Итак, вы теперь все знаете, — сказал Безбородко. — Вот бумаги, вы их немедленно передадите нашему послу и будете действовать, как решено. Я жду от вас подробных и обстоятельных писем и буду передавать их государыне.

Екатерина поднялась со своего кресла. Императрица снова превращалась в женщину.

— С Богом и доброго пути, мой друг! — сказала она, протягивая Сергею руку. — Вам при-

дется, может быть, попасть в водоворот очень прискорбных событий, но я рассчитываю, что вы будете осторожно и достойно держать себя и не уподобитесь легкомысленным русским молодым людям, проживающим теперь в Париже. Я еще недавно получила известие о том, как ведет себя один из таких юношей. Он носит известное русское имя и позорит его по различным кофейням, ведет дружбу с отъявленными мятежниками, принимает участие в самых возмутительных демонстрациях... С вами ничего подобного быть не может. Только вернешься ли ты, мой друг, таким добродетельным, каким уезжаешь?.. — ласково прибавила она, лукаво улыбнувшись. — Перед француженками, говорят, устоять трудно...

Сергей взглянул на нее, и на мгновение она опять стала прежняя. Он прошептал, что надеется вернуться неизменным.

Екатерина кивнула головой. Он откланялся. Ему показалось, что она тихонько вздохнула и проводила его грустным и ласковым взглядом. Он вышел, и опять было перед ним красивое, торжествующее лицо Платона Зубова.

— Позвольте пожелать вам счастливого пути, Сергей Борисыч. — Остановитесь же на минутку, куда так спешите, поспеете, позвольте, у меня до вас дело! — говорил Зубов, как-то неприятно, как-то невыносимо дерзко улыбаясь и почти силой останавливая Сергея.

— Да что вы ко мне пристаёте, господин Зубов? Мне, право, некогда! — уже не владея собой, проговорил Сергей.

Но резкий тон его несколько не смутил молодого офицера.

— А должок-то забыли? Вот-с, получите с превеликой моей благодарностью! — суетливо проговорил он, вынимая туго набитый портфель и собираясь отсчитывать деньги.

— Вы ничего не должны мне, господин Зубов, и денег я от вас не приму! — сказал Сергей, смерив офицера презрительным взглядом и быстро пошел дальше.

Зубов стоял несколько мгновений совсем растерявшись, но потом положил портфель обратно в карман, злобно посмотрел на удалявшегося Сергея и прошептал сквозь зубы:

— Этого я тебе, голубчик, не забуду.

А Сергей поспешно раскланивался со зна-

комыми, которые провожали его холодной любезностью.

Тоска, злоба, почти отчаяние душили его.

Скорее, скорее вон отсюда, из этой духоты на чистый воздух!.. Дальше, дальше, в ту обетованную страну, которая так часто грезилась в дни первой юности. В новую жизнь... В великий город, где кипит самая горячая человеческая деятельность! Но что там?.. Что ожидает?.. Быть может, и этот заманчивый мир тоже обманет...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. НАД КРАТЕРОМ

Стоял теплый, ясный осенний день. Солнце светило так радостно, так радостно щебетали птицы на пожелтевших ветках садилов, едва выглядывавших из-за каменных стен домов, что невозможно было поверить никаким ужасам, никаким волнениям. Торжественная ясность природы должна была отразиться и в людской жизни. С первого раза так оно и казалось. Париж, переживший уже страшные дни и готовившийся переживать еще более страшные, как будто отдыхал, будто заснул мирно и безмятежно, позабыв все свои тревоги, свои возбуждения и кипевшие страсти. На улицах было все мирно. Оживленная толпа спешила по своим делам, все лица были спокойны, даже веселы. Мальчишки-разносчики привычным голосом выкрикивали названия газет, в кофейных из-за спущенных от солнца маркиз виднелись мирные группы за маленькими столиками.

Глядя в это ясное осеннее утро на красивый, оживленный город, на веселую, но спокойную толпу, на чистоту и порядок на всех улицах, невозможно было представить, что этот город, эта толпа — совсем не то, чем они казались. Все тихо, но стоит откуда-нибудь донестись нежданному и необычному резкому звуку — и эта спокойная, веселая толпа разом дрогнет и превратится в дикого зверя...

Именно так думал молодой человек, оставивший свой нарядный, с английской упряжкой экипаж при въезде в Сен-Жерменское предместье и пешком спешивший по довольно узкой, стариной улице, обставленной роскошными, уже начинавшими темнеть от времени отелями. Но он недолго думал о том, что его окружало: о толпе, о затишье Парижа. Новые мысли, или, вернее, чувства, скоро наполнили его...

Молодой человек был строен, красив, несмотря даже на костюм, будто нарочно придуманный для того, чтобы уничтожить человеческую красоту, чтобы делать смешною мужскую фигуру.

А между тем этот костюм считался в то

время самым модным и входил во всеобщее употребление. Его выдумали англичане, объявив верхом изящной простоты, и он быстро распространялся по всему миру. Безобразная, высокая цилиндрическая шляпа заменила грациозную треугольную шляпу с перьями, вместо длинного камзола и яркого, расшитого позументами кафтана явился короткий вычурный жилет и неуклюжий фрак с длиннейшими, хвостобразными фалдами.

В этом комичном, будто маскарадном костюме трудно было узнать Сергея Горбатова; но все же это он спешил по старинной улице Сен-Жерменского предместья. И не один только костюм изменил его, и в лице его замечалась перемена.

Свежие краски здоровой юности уже померкли, щеки его были бледны, глаза будто впали, обвелись темною тенью. Он казался несколько утомленным. Но этот вид утомления, эта бледность так шли к нему. Он уже не был больше хорошеньким мальчиком — он казался вполне развившимся человеком с интересной и осмысленной наружностью.

Он взглянул на большие круглые часы,

вставленные в фронтоны одного из отелей, стрелки которых ярко сверкали на солнце.

— Одиннадцать! Уже одиннадцать!.. — озабоченно, почти громко проговорил он и прибавил шагу, всматриваясь в величественное темное здание, выделявшееся своей внушительной наружностью даже среди окружающих его великолепных домов.

Почти все отели на этой улице, принадлежавшие представителям знаменитейших французских фамилий, имели теперь очень печальную наружность. Окна были наглухо заперты, местами совсем заколочены. Владельцы редко сюда заглядывали, некоторые из них не выезжали из Версаля, а другие и совсем начинали покидать не только Париж, но и Францию, спасаясь от ужасов наступившей и с каждым днем развивавшейся революции.

Одно только темное здание, на которое так внимательно глядел Сергей, выказывало некоторые признаки жизни: два-три окна, выходившие на улицу, были открыты, калитка высоких чугунных резных ворот с красовавшимся на них гербом герцогов д'Ориньи была тоже приотворена, и возле нее стоял

привратник.

Сергей почти подбежал к этой калитке.

— Герцог вернулся? — спросил он привратника, едва переводя дух.

— Нет, герцог не возвращался, — ответил тот, слегка кланяясь, — но герцогиня уже часа три как изволила приехать из Версаля...

— Она у себя? Могу я ее видеть?..

— Надо думать, что можете, если только герцогиня вас примет, но об этом я ничего не могу сказать вам... Так есть другие, которые, может быть, и знают больше меня... Да вы куда?! Большой подъезд заперт, у нас нынче на улице не найдете ни одного незаколоченного подъезда... Сюда, во двор пройдите... Вон налево, к этой двери — тут вам и скажут, принимает ли герцогиня...

Сергей поспешил по указанному направлению, а привратник глядел ему вслед с презрением и ворчал себе под нос:

«Ишь ведь, каким чертом нынче одеваться начали!.. Как есть черт — и хвост сзади!.. Ну, да там, брат, хоть самым сатаной прикинься — хвостом-то уж никого не надуешь — знаем мы вас, видна птица по полету!..»

Сергей тихонько стукнул у небольшой двери, и она тотчас же отворилась. Показался старый, почтенный лакей, одетый еще в напудренный парик и кафтан. Он почтительно поклонился Сергею, которого, очевидно, уже знал, и тихим, печальным голосом проговорил:

— Пожалуйте, сударь, я проведу вас к герцогине, она ждет вас.

Он пошел перед Сергеем, немного прихрамывая и волоча свои старые ноги.

Долго им пришлось идти по длинным коридорам и переходам. Наконец они поднялись на небольшую мраморную лестницу. Старик неслышно отворил дубовую дверь. Прошли еще две-три комнаты...

— Обождите минуточку, сударь, сейчас я доложу герцогине...

Сергей увидел себя в небольшой, изящной гостиной, заставленной бледно-голубой атласной мебелью, с такими же бледно-голубыми спущенными на окна шторами, с расписанным амурами и гирляндами потолком, с многочисленными узкими и длинными зеркалами, со всех сторон вделанными в стены и

бесконечно отражавшими все предметы.

Тишина стояла полная. Звуки шагов замирали в мягком, пушистом ковре, которым была обита комната. Только с улицы через приотворенное за спущенной бледно-голубой шторой окно доносились по временам отзвуки городского шума.

Сергей стоял неподвижно, рассеянно выронив из рук свою безобразную цилиндрическую шляпу. Лицо его среди этого голубоватого отблеска казалось еще бледнее. В его полужакрытых глазах, в уголках резко очерченного красивого рта виднелось страдание.

Но вот едва скрипнула дверь, и в голубой гостиной появилась женская фигура.

Она была молода, эта женщина, и чрезвычайно красива. Высокая, стройная, несколько худощавая и бледная, но с такой грациозной, изящной манерой, с такими чудными и мягкими черными глазами. Черты ее лица были неправильны: маленький нос совсем неопределенной, почти неуловимой формы, рот, может быть, несколько велик; но все вместе было прелестно. И на всей ее фигуре в темном простом платье из какой-то полу-

прозрачной материи, сквозь которую просвечивали очертания прекрасно округленных плеч и тонких, почти детских рук лежала печать сознательной женской силы, могучего соблазна, с которыми нельзя бороться.

Почти неслышно войдя в комнату и затворив за собою дверь, она тихо улыбнулась Сергею, тихо подняла на него свои темные глаза и протянула ему обе руки.

— Enfin, vous voilà! А я думала, что вы не покажетесь и на мою записку, что вы навсегда исчезли...

Сергей взглянул на нее совсем бледный, совсем страдающий, и вдруг схватил ее протянутые руки и покрыл их безумными, несчетными поцелуями.

— Разве я мог не прийти, когда вы меня позвали?! — страстно прошептал он.

— Зачем же было бежать из Версаля? Разве я гнала вас?!

— Нет, от вас никуда не убежишь! — шептал он как в горячке, пожирая ее страстным взглядом, не в силах будучи выпустить из своих рук ее маленькие, тоненькие руки.

Она повела его за собою к низенькому мяг-

кому диванчику, и он почти упал рядом с нею.

Она тихо улыбалась.

Прошло несколько минут молчания. Они только глядели друг на друга, но он страдал, а на ее лице играла все та же тихая, ласковая улыбка.

Наконец она заговорила:

— Зачем же была вся эта странная сцена, эти безумные признания — и потом вдруг побег?.. Я слушала так внимательно, ваша импровизированная поэма была, действительно, прекрасна...

— Зачем? Зачем?! — задыхаясь, перебил он ее. — Оттого, что я очень несчастлив, оттого, что я люблю вас до сумасшествия!

— В этом еще я не вижу несчастья, мой друг, — сказала она. — Разве я когда-нибудь была жестокой с вами? Разве вы не видели в это последнее время, что я тоже люблю вас?!

Он вздрогнул всем телом, блаженное чувство на мгновение мелькнуло в глазах его, но вдруг он отшатнулся и даже выпустил ее руки.

— Боже мой! Вы меня любите... Вы сами,

наконец, сказали мне это? О, я прежде знал, Мари, что вы меня любите... Боже мой, как мы несчастны!!!

Она с изумлением взглянула на него и тихонько пожала плечами. Но он не заметил этого движения.

— Вы меня любите, — говорил он, — и вот, вместо того чтобы считать себя самым счастливым человеком, я готов наложить на себя руки... Зачем мы встретились? Зачем встретились так поздно? Вы принадлежите другому, он имеет права на вас, и мне нельзя с ним бороться... О, Мари, для чего вы приехали из Версаля, для чего вы меня позвали? Ведь вы же знали, что я прибегу, а мы не должны видеться....

— И он еще спрашивает, зачем я это сделала?! Вы меня просто оскорбляете! Вы, в самом деле, сумасшедший человек и сами не знаете чего хотите... Не будьте же ребенком! С какой стати это была любовь?! Пришло время, я уже два года как вышла из монастыря, отказала нескольким женихам, явился герцог — сделал предложение... Он был хорошей партией и такой приличный человек... Отказывать

ему было бы глупо... Вот я и вышла замуж. Я никогда и не воображала, что люблю его, да и он, я полагаю, не ждал от меня вечной любви... Мы провели с ним веселое время, все было так ново. Ну, а потом увидели, что мало подходим друг к другу... Спросите его: любит ли он меня?.. Как будто я не знаю, что не далее как в прошлом году он купил великолепные бриллианты для одной актрисы...

— Но ведь вы носите его имя, вы навсегда с ним связаны... У вас могут быть дети!..

— *Et vous dites encore que vous m'aimez, monsieur!* — совсем оскорбленная вскричала герцогиня. — Разве это любовь?! Вы рассуждаете как лавочник пред счетной книгой... Вы подводите итоги... Какая же это любовь?! Я вижу, что напрасно приехала в этот ужасный Париж, рискуя, может быть, большой неприятностью, только для того, чтобы вас увидеть...

Но в лице его было столько страдания, столько страсти, что она успокоилась и продолжала уже другим тоном.

— Дети! Однако вот у меня детей нет, да, конечно, и не будет... В это ужасное время, ко-

торое мы переживаем, разве можно иметь детей, разве можно теперь думать о детях? Посмотрите, что кругом делается, ведь не сегодня, так завтра все это взлетит на воздух, ведь мы живем над кратером, который вот-вот поглотит всех нас! И странно, право, разве мне нужно все это говорить вам?! Стыдитесь, я женщина — и я ободряю вас, учу быть мужчиной... Слышите, я люблю вас, вы достигли своей цели... Вы два месяца, с первой минуты как появились в Версале, изо дня в день меня преследовали...

— Я не преследовал вас, Мари! — прошептал Сергей.

— Не преследовали?! Так, может быть, это бессознательно у вас делалось, но где бы я ни была, я видела ваш устремленный на меня взгляд. И вы умели говорить этим взглядом!.. Я сначала не обращала на вас внимания, но вы были терпеливы, вы поступали по-женски, как самая опытная кокетка... Вы тянули, заинтересовывали... Ну и, говорю, добились своей цели! Что же вам еще больше! Вы заставили меня ободрять вас... Вы довели меня до того, что я делаю глупости, я забываю свое

достоинство женщины, я сама иду вам навстречу... Я жду вас, зову — а вы рассуждаете, вы сводите какие-то итоги... Вы безумствуете! Вы заставляете меня думать, что вы обманули меня... что вы не любите меня, что это только игра... Оскорбительная игра — и ничего больше!

Он все молчал, не отрываясь глядя на взволнованное, прелестное лицо ее, ежесекундно менявшее выражение, ежесекундно становившееся все соблазнительнее и прелестнее.

— Serge, что вы со мной сделали?! — проговорила она вдруг упавшим голосом, и на глазах ее показались слезы.

С криком страсти и обожания, вырвавшимся из груди его, он упал перед нею, обхватил ее гибкий тонкий стан жадными руками, покрывая поцелуями ее руки и колени.

Он позабыл все прошлое, всю тоску и мучения этих двух последних месяцев, когда он тщетно боролся с собою, чтобы вырвать из себя ее сладостный образ, наполнявший его мучительным блаженством. Он позабыл все, о чем помнил даже теперь, несколько минут

перед тем, в ее присутствии, все, что казалось ему несчастьем и приговором, что заставляло его гнать мысли о счастье, что стояло неразрушимой преградой между ним и ею.

Теперь уже не было преграды — она рухнула от одного сладостного прикосновения.

Она права: зачем мучиться? О чем думать? Надо жить, надо любить... Надо ловить счастье!..

Не сопротивляясь, она принимала его горячие ласки. Она приподняла со своих колен его голову.

Долгий и сладкий поцелуй тихо прозвучал в голубой гостиной...

— Повтори... Скажи, что ты меня любишь! — шептал он, страстно прижимаясь к ней и засматривая в ее отуманившиеся глаза, — скажи, что меня любишь, что никогда до меня не любила...

— Je t'aime... — услышал он ее слабый вздох. Но ему уже нечего было спрашивать — она принадлежала ему.

Ему казалось, что он взял ее по праву, по самому священному праву — по праву любви, которой нет конца, нет пределов.

II. СЕМЬЯ

Кто же она — эта женщина, одержавшая такую решительную победу над целомудренным Сергеем, заставившая его так скоро забыть далекую Таню, его, до сих пор успешно побеждавшего все соблазны?

Герцогиню д'Ориньи знал весь Париж того времени. Она признавалась одною из самых привлекательных звезд Версаля. Она была дочерью графа де Марси, который еще в царствование Людовика XV был известен в Париже блестящими балами и празднествами, на которые в его роскошный отель собиралось все высшее общество.

Предки де Марси владели огромными поместьями в Бретани. Сам граф получил очень большое состояние: по местному закону он как старший в семье наследовал от отца две трети всего имущества. Его богатства могло хватить на очень роскошную жизнь, но только в том случае, если бы он умел считать свои доходы и расходы — а он совсем не умел этого. Он тратил ровно вдвое более того, что получал, и вовсе не был намерен заботиться о

том, чем все это кончится. К тому же и обстоятельства помогали. В довольно критическую минуту он успел поправить свои дела выгодной женитьбой.

Но это было не надолго: если он до женитьбы бросал деньги направо и налево, то, сделавшись семьянином, он стал тратить, конечно, гораздо больше. Вся жизнь проходила нескончаемым праздником, в придумывании новых увеселений, в светских и придворных успехах.

Граф де Марси, обладавший красивой внешностью, имевший большие связи, умевший жить и держать себя с тактом, пользовался репутацией превосходного и изящного человека. Жена попалась ему под стать, и, по видимому, их супружество было самым счастливым. Да, они оба — и граф, и графиня — действительно считали себя счастливыми и были довольны друг другом. Они оба были прекрасно воспитаны и нисколько друг другу не мешали, уважая взаимную свободу. А ведь только этого и было нужно. В течение долгой семейной жизни между ними не произошло ни одной ссоры, ни одного недоразумения.

Но была ли это семейная жизнь? Муж и жена виделись очень редко. Они обыкновенно встречались на балах и праздниках или в парадных комнатах своего отеля, или в Версале. Встречаясь, любезно улыбались, обменивались двумя-тремя светскими Фразами и расходились.

Граф любил женщин и нисколько не смущался своим положением женатого человека. Все отлично знали о его многочисленных интригах, о его постоянно счастливых любовных приключениях. Конечно, этому никто не придавал большого значения — о подобных историях говорилось с благосклонной улыбкой, вскользь, между прочим.

Графиня любила мужчин и нисколько не смущалась своим положением замужней женщины. И о ее приключениях знали многие, и о них тоже говорила с благосклонной улыбкой. Она ничем себя не скандализировала, она всегда так безукоризненно держалась, никто не знал за нею ни одного бестактного поступка, ни одного лишнего слова — ее уважали.

Времена «варварства», когда воспевались

семейные добродетели, когда неверность супругов считалась преступлением, прошли в Париже давным-давно. При дворе и в обществе уже окончательно выработались новые взгляды, новые понятия, новые нравы. Умение жить с тактом, никому не мешая и доставляя самому себе как можно более удовольствий, — вот была высшая и единственная добродетель, которая требовалась от светского человека и от светской женщины. Несколько поколений потрудились над развитием этой добродетели, и она, наконец, доведена была до совершенства. Французское дворянство вступало в золотой век, жизнь превратилась в сплошное удовольствие.

Среди этого блестящего общества можно было прожить многие годы, не услышав ни одного резкого, грубого слова, не подметив ни одной неприятной сцены. Все были безукоризненно вежливы друг с другом. Даже враги, решившиеся кровью покончить вражду свою, вышедшие на дуэль, перед началом поединка раскланивались друг с другом и в самых изысканных выражениях осведомлялись о здоровье друг друга.

И это была уже не жизнь, а просто роскошный апофеоз волшебного балета. Страсти изгонялись потому, что они были бы безобразящим диссонансом. Страсти портят жизнь, отравляют каждое удовольствие, старят человека. А всем хотелось как можно дольше пользоваться красотой и молодостью, как можно полнее упиваться всеми житейскими благами, которые доставались так легко, без всяких усилий, приходили неведомо откуда и, по-видимому, никогда не должны были исчезнуть.

Так зачем же при таких взглядах было стеснять друг друга и в семейной жизни, к чему тут была ревность, любовь?! Ревность не должна была существовать вовсе, потому что это одна из самых мучительных страстей.

А любовь? Любовь, конечно, процветала, но только как одно из бесчисленных удовольствий, которому должно быть отведено свое место и которое не должно портить других. Любовь была так же нужна, как новый наряд, как остроумный веселый разговор в избранном обществе, как прелестный праздник, как изысканный обед или ужин. Но одни и те же

остроты, одни и те же кушанья, праздники с одной и той же программой, конечно, скоро бы надоели, все это нужно было менять постоянно. Точно так же нужно было постоянно менять и любовь. Она являлась неожиданно, по вдохновению, по капризу. Каприз проходил, вдохновение охладевало — и любовь испарялась, чтобы заместиться новой, такой же неожиданной, капризной и мгновенной.

Страстные поцелуи и клятвы звучали в роскошной тишине алькова. Но проходило несколько дней — и нежные любовники встречались в гостиной... Поцелуи и клятвы были забыты, от них не оставалось и следа; не забывалась только взаимная любезность, первым правилом которой было никогда не поминать старого...

Так жили все. Точно так же жили граф и графиня де Марси. Они были примерными супругами. Графиня знала, что ее состояние испаряется с каждым годом, знала, что муж не ограничивается своими светскими победами, мимолетными интригами с ее приятельницами, что он тратит большие деньги на модных актрис, но ни разу не попрекнула его этим.

Граф тоже не вмешивался в ее дела, и если ему случалось встречать в ее гостиной молодого человека, который чересчур часто туда являлся, он делал вид, что не замечает этого и только удваивал любезность к молодому человеку, стараясь этим показать особенное свое внимание графине. Он был убежден в ее такте, он знал, как она хорошо воспитана, и был уверен, что она никогда не доведет до скандала, не поставит его в неловкое положение перед обществом. С него было довольно этого сознания.

Один только раз во время их семейной жизни чуть было не вышла неприятность. Как-то, войдя в будуар графини без доклада, граф оказался свидетелем слишком нежной сцены между женою и одним из их общих знакомых. На одно мгновение его красивое, спокойное лицо изменило свое обычное выражение, легкая краска появилась на щеках. Но он тотчас же и сдержал себя. Он грациозно раскланялся, вежливо извинился и вышел. А потом, встретясь с графиней и замечая, что она избегает его взгляда, шепнул ей:

— Какая неосторожность! Ну, хорошо еще,

что вошел я, а то ведь мог войти и кто-нибудь другой!..

Графиня ничего не ответила. Она сознавала вину свою и твердо решила, что впредь будет осмотрительнее. С этого времени подобные сцены более никогда не повторялись; впрочем, и граф уже ни разу не входил к жене без доклада.

У графини были дети — сын и дочь. Граф называл их «mon fils» и «ma fille» и считал их продолжателями своего рода. Дети были прелестны. Граф и графиня позаботились, чтобы воспитать их нисколько не хуже, чем как воспитывались дети всех лучших фамилий Франции. Устроить это было легко, для этого не требовалось никаких жертв со стороны родителей. Дети нисколько не стеснялись. В отеле Марси было так много комнат, что детские крики никогда не достигали ни до половины графа, ни до половины графини. Дети являлись каждое утро, разряженные и раздушенные, поздороваться с «рара» и «маман». Папа протягивал им для поцелуя свою руку, гладил их по голове, и этим все кончалось. Маман, если бывала в духе и никуда не спешила, ре-

шалась на полчаса заняться ими. Она сажала их перед собою, оглядывала их туалет, с удовольствием подмечала, что они хорошеют, кормила их конфетами, учила их декламировать хорошенькие куплеты. Но полчаса проходило, дети, сначала сдержанные, начинали шалить, графиня приказывала их увести и возвращалась к своей собственной, веселой, беззаботной жизни.

Где они, как живут, что они делают, под чьим влиянием находятся, нужно ли им что-нибудь, и что именно нужно — она не знала. Дети были красивы и нарядны, но слишком малы, а потому еще не требовали особого попечения. И она не знала, что эти бедные дети живут совсем не так, как жить им бы следовало. Они жили, окруженные грубой прислугой, деревенскими няньками, взятыми из глубины Бретани; они мылись и наряжались только тогда, когда их надо было вести здороваться с «рара» и «тапан», а возвращаясь к себе, они тотчас же становились маленькими грязнушками. Иногда они Бог знает что ели и Бог знает как спали — на грязном белье, часто в холодной комнате.

Но время шло, и графиня, раз как-то внимательно взглядевшись в детей, заметила, что они сильно выросли, и оба необыкновенно милы. Жоржу уже девять лет, Мари — восемь: пора серьезно заняться их воспитанием. К ним приставили гувернантку, учителя; танцмейстер ежедневно давал им уроки. Дети проявляли большие способности, и вот, наконец, графиня решилась показать их своему обществу.

Жорж и Мари появились в салоне и были встречены шумными выражениями восторга.

«Боже, какие прелестные дети! Впрочем, как же и могло быть иначе, ведь они — де Марси!..»

Эти нарядные куколки, действительно, были прелестны.

Правда, на свежего человека они произвели бы несколько печальное впечатление — они были очень мало похожи на детей. Но свежего человека не нашлось в салоне графини. Дети всем казались именно такими, какими должны быть благовоспитанные дети, принадлежащие к одной из самых знаменитых фамилий Франции.

Маленький Жорж в напудренном парике с кошельком, в великолепном кафтанчике и даже при крошечной шпаге, с ловкостью светского человека расшаркивался перед дамами, целовал у них руки, говорил комплименты и проделывал все это очень серьезно, с полным сознанием своего достоинства.

Маленькая Мари, перетянутая в корсет, в роскошном «панье» с гирляндами, с целой башней напудренных волос на голове, была еще милее. Она грациозно обмахивалась веером, кокетливо опускала и подымала глаза, улыбалась, выслушивая любезности, которые сыпались на нее со всех сторон, нисколько не смущаясь и отвечая бойко, не задумываясь. Ее попросили спеть — и она пропела тоненьким детским голоском страстный романс, и умела оттенить некоторые фразы, вложить в них чувство. Это было так забавно, так мило...

«Какие чудные дети! Какое счастье иметь таких малюток!..»

Целую зиму забавляла графиня свое общество «прелестными малютками», но к концу зимы нашла, что это становится слишком однообразно, что дети начинают надоедать и

ей, и гостям.

— Mon ami! — сказала она графу. — Мне кажется, пора подумать о детях, il est temps de placer Marie dans un couvent!.. Она делается уже совсем большой девочкой... А о Жорже вы сами подумайте, я в мужское воспитание не вмешиваюсь.

— Вы правы, chère amie, — отвечал с грациозным поклоном граф, — действительно, пора отдать Мари в монастырь... и о дальнейшем воспитании Жоржа я тоже подумаю.

И вот Мари в монастыре. Она несколько не грустит — ей не жаль расстаться с домом. Положим, было очень весело, когда ее наряжали и выводили к гостям, но ведь это бывало нечасто. А там, в детских комнатах, жилось иногда довольно плохо. Разлука с отцом и с матерью? Но Мари так мало знала их, она вовсе не привыкла к ним, вовсе не любила их. Правда, в первые дни было скучно без брата Жоржа, но новые впечатления скоро заставили ее забыть о нем. Явились подруги, много подруг. В монастыре гораздо веселее, чем в отеле Марси... Ученье не Бог знает какое, разными науками вовсе не отягощают детей, все

направлено, главным образом, только к тому, чтобы девочки хорошо умели держать себя, чтобы хорошо и грациозно умели танцевать, умели бойко сыграть модную пьесу на клавесине, с чувством спеть романс, легко и красноречиво излагать свои мысли в форме сентиментальных писем.

В монастыре заведена строгая дисциплина, но она исполняется только в присутствии настоятельницы. А настоятельница стара, болезненна, часто по целым неделям не выходит из своих комнат. Есть две-три злые монахини, но остальные такие добрые, такие милые, красивые, молодые...

Мари скоро привыкла к монастырской жизни. Графиня посещала ее редко, граф совсем не посещал.

Проходили годы, и маленькая девочка быстро превращалась в девушку. То, что в детстве интересовало: невинные забавы и игры, маленькие шалости, проказы над старыми монахинями — теперь все это уже не казалось забавным. Хотелось других забав, других интересов. И эти интересы понемногу находились: между пансионерками из рук в руки

переходили чудесные книжки, запретные книжки, составлявшие любимое чтение многих из молодых монахинь. В этих книжках, написанных иногда очень талантливо и тонко, даже с соблюдением полного приличия в слоге и манере рассказа, были собраны самые соблазнительные истории, самые циничные приключения. Эти книжки развращали воображение пансионеров до последней крайности.

Но были и не одни книжки. Тихие стены монастыря время от времени оглашались звуками веселья. К монахиням наезжали гости, и мужчины и женщины, под сурдинку шло веселое пируваньё. Положим, пансионерки почти никогда не допускались на эти веселые, слишком веселые вечера, но ведь они знали все подробности, передавали о них друг другу, судили, рядили, делали свои выводы...

Графиня де Марси вернулась в родительский дом грациозной, хорошенькой девушкой, образованной и прекрасно воспитанной, немножко бледной и нервной, составившей себе уже определенное понятие о жизни и страстно рвавшейся в эту жизнь, где все было

так заманчиво и весело, где ожидалось столько радостей, уже заранее и давно предвкушаемых. Графиня де Марси была представлена королеве Марии-Антуанетте и понравилась ей. Понравиться королеве — значило понравиться всему Версалю. Толпа поклонников окружила молодую графиню, но она была скромна, сдержанна, от нее веяло холодом. Она никому не оказывала предпочтения, она рассчитывала, ждала удобного во всех отношениях мужа. Она знала, что муж — не цель жизни, а только средство.

И вот она вышла замуж за герцога д'Ориньи — блестящего, богатого человека уже не первой молодости, но еще очень представительного, на руку которого приятно было опираться при входе в большое собрание.

Граф де Марси был доволен выбором дочери. Герцогу не нужно было ее приданого — а в этом заключалось единственное условие, которого Марси требовал от своего зятя.

В это время, несмотря на то, что жизнь графа велась обычным чередом, что он тратил на свой отель, на свою придворную жизнь громадные суммы, состояние его давно уже

исчезло, и по-настоящему ему давно следовало уехать в один из своих старых замков в Бретани, ликвидировать дела и постараться спасти хоть что-нибудь из прежнего богатства для детей. Но он далек был от подобной мысли. Он нашел новый выход из затруднительных обстоятельств, нашел возможность продолжать роскошную жизнь и даже время от времени платить часть долгов, с каждым днем возраставших. Он устроил себе одну из самых выгодных придворных синекур с баснословным жалованьем, с различными косвенными доходами от дворцовых подрядов и тому подобного.

Высматривая для дочери выгодного мужа, который не требовал бы приданого, он одновременно с этим присматривал выгодное местечко для сына, который еще не окончил своего образования, но должен был скоро окончить. Он рассуждал, что если молодой де Марси окажется благоразумным, то сумеет найти себе богатую невесту, поступить так же, как сестра, и все тогда обойдется благополучно, слава старинного рода не померкнет, влияние сохранится. Устраивая и рассуждая

таким образом, граф был спокоен и доволен собою. Графиня была тоже довольна. Она старилась очень медленно и находила себе еще развлечения, пользовалась жизнью...

Выбор Мари оказался удачным: муж достался ей именно такой, какого она желала. В объяснении с Сергеем она ясно высказала свой взгляд на семейные отношения и на этого мужа. Она вышла замуж точно так же, как вышла ее мать, и устроила свою жизнь тоже по примеру матери. Иначе она и не понимала семейной жизни, она не знала других взглядов, ничего иного не видала вокруг себя. Все так жили. Она знала заранее, что брак широко распахнет перед нею двери в водоворот всевозможных удовольствий, — и так оно и случилось.

За хорошенькой графиней де Марси ухаживали все, кому она нужна была как дочь графа де Марси, кто соображал, что, женись на ней, получит вполне приличную, красивую, прекрасно умеющую держать себя и дом хозяйку, которая может быть полезна многочисленными связями своего отца, влиятельной роднёю. За герцогиней д'Ориньи ухаживали

вали все, кому она нравилась как красивая и ловкая женщина, с которой можно провести несколько счастливых часов, еще более заманчивых потому, что они ни к чему не обязывали.

Герцогиня д'Ориньи блистала в Версале. Королева с каждым днем становилась к ней благосклоннее, самолюбие торжествовало, жизнь была полна всяких удовольствий. Мечты и планы монастыря осуществились.

Отуманенный порывом безумной страсти, в бреду восторга, Сергей просил Мари, чтобы она повторила, что она его любит, чтобы она сказала ему, что никого до него не любила. «Je t'aime» — расслышал он ее шепот, и она его не обманула, она действительно любила его, то есть он был ее капризом. И этот каприз, к ее изумлению, оказывался довольно сильным.

Но она не сказала Сергею, что до него никого не любила. И хорошо сделала, что не сказала, — она солгала бы.

У нее уже было много капризов, и если бы Сергей подробно знал ее жизнь, она, может быть, не произвела бы на него такого рокового впечатления. Но он не мог ничего знать, он

увидел ее во всем обаянии ее капризной красоты и женственной грации, во всем блеске ее живого ума, остроумия и тонкого кокетства. Он увидел ее среди блестящей толпы, которая относилась к ней с уважением. Ее репутация была безупречна.

— «C'est une femme adorable, pleine d'esprit et de grâce... et très distinguée!»

Таково было о ней мнение в парижском обществе. В ее присутствии никто никогда не позволял себе ни одного лишнего слова, ни одного двусмысленного намека. Если графиня-мать отличалась тактом и приличием, то дочь все же превзошла ее, доведя свой такт и приличие до высшего предела.

Бывали минуты, когда, глядя на ее молодое лицо, которому она умела придавать какие угодно выражения, слушая ее красноречивую, но сдержанную речь, можно было ругаться головою, что это самая чистая и глубоко нравственная женщина. Ничто пошрое, ничто безнравственное не могло, не должно было ее касаться. Она была выше всяких подозрений. И именно такую она предстала перед Сергеем, а потом, когда он мог бы разгля-

дочь ее, было уже поздно — он был в ее руках. Он любил ее со всем безумством молодой, в первый раз прорвавшейся страсти. И все это совершилось так быстро, так неожиданно и так бесповоротно! Он видел в этом что-то роковое, видел судьбу свою.

III. ПРОВИНЦИЯ

Бывают в жизни человека периоды, когда незаметно проходят целые годы, не принося с собою никакой внутренней перемены; человек остается все тот же и почти не замечает протекшего времени. Оно, конечно, берет свое, оно медленно, но неизменно приближается к концу, к могиле, аккуратно и не спеша разрисовывает морщинами молодое лицо, серебрит сединою голову; оставляет следы свои и в мыслях, и в чувствах человека, многое изменяет вокруг него. Но все это делается тихо, неслышно, а потому и не производит сильного впечатления — не изумляет. Пройдет несколько лет — и только в случайную минуту, подойдя к зеркалу или вспомнив что-нибудь давно позабытое, человек с изумлением видит, сколько прошло времени...

Но бывают и другие периоды в жизни человека, когда один месяц, один день, наконец — минута значат больше, чем целые тихие годы. В месяц, в неделю человек переживает так много, так все изменяется вокруг него и в нем самом, что и поверить не может он, что прошла одна неделя, один месяц: кажется, целая жизнь прошла!

То же случилось и с Сергеем. Давно ли уехал он из Петербурга? Только около двух месяцев как он в Париже, а ему кажется, что прежняя, недавняя жизнь его далеко-далеко, что долгие невозвратные годы легли между ним и ею. Много новых впечатлений быстро пережил он, перенесясь из деревни ко двору Екатерины, много пережил он в полгода своей петербургской жизни. Но все же это было совсем не то, что теперь...

Там, в Петербурге, все же оставалась тесная связь и с детством, и с юностью. Теперь же он совсем оторван от старого; в нем все новое, он среди совсем новой жизни и живет заодно с нею.

Он выехал из Петербурга в тяжелом, мрачном состоянии духа, долго не мог побороть в

себе мучительных чувств, вызванных последними днями в Царском. Но петербургский яд терял свою силу по мере отдаления от России. Молодость взяла свое. Путешествие было интересно. Столько новых впечатлений! Хотелось бы остановиться, оглядеться... И жалел Сергей, что не было времени, что он должен торопиться, не терять ни одного часа...

Чужие страны, незнакомая жизнь, новый народ, великолепные старинные города, обрывки незнакомых нравов и обычаев, разнообразные картины чудесной природы — все это мелькало перед ним как в панораме, постоянно меняясь и очаровывая все больше и больше.

Как ни спешил он, все же самый способ передвижения — на лошадях — позволял ему ясно различать каждую новую картину волшебной панорамы. Он не чувствовал утомления, ему хотелось только не пропустить ничего, все разглядеть, всякую мелочь поместить в запас своей памяти. Он сожалел, что нужно спать, и то и дело в дороге просил Моську не давать ему спать долго, будить его. Просил — а сам, утомленный дневными впечатления-

ми, засыпал как убитый, и Моське жаль было его тревожить.

«Ишь, чего выдумал: будить! Ну что там за невидаль... все те же немцы, деревня как деревня, город как город... Да и чем дальше, тем хуже — все не по нашему; и не глядел бы — а он, вишь, буди!..»

И Моська не будил, пока Сергей сам не проснется.

А проснется Сергей, выглянет в окошко своей огромной дорожной кареты, увидит чудесную панораму, увидит вдаль, в голубоватой мгле раннего летнего утра очертания оставленного позади городка — и начинает бранить карлика:

— Опять не разбудил, Степаныч, ведь я же тебе приказывал?!

— Прости, сударь батюшка, уж больно сладко дремал ты, да и смотреть тоже было нечего.

— Как нечего?! Много ты понимаешь!

— Понимаю либо нет, а говорю: смотреть нечего... Городишко, что мы проехали, самый плохенький; улицы словно коридорчики — встретятся два рыдвана и не разъедутся. Лю-

ди такие противные, рожи такие красные да глупые, в куртках... Много мы их видели, один как другой — все на одно лицо. Говорю — смотреть нечего. Спи себе с Богом, ба-тюшка, возьми хоть пример с мусье Рено: ишь ведь, храп какой запускает — видно, это он своим храпом тебя и разбудил-то!

Сергей взглядывал на Рено. Тот, действительно, спал, поместясь на подушках кареты самым удобным образом.

Рено, как и Моська, мало интересовался окружающим; к тому же с самого выезда на него напала спячка, он оживлялся только когда останавливались. Он уже проезжал этой дорогой и ничего достойного внимания не нашел для себя в землях немецких. Он был поглощен теперь одной мыслью о родине и как школьник высчитывал дни и часы.

Время тянулось для него невыносимо, и он решил коротать его сном; мерная тряска кареты помогала ему в этом, убаюкивала.

Но вот они, наконец, и во Франции. Рено уже не спит! Он превратился в интересного собеседника, в путеводителя. Теперь они по-двигаются несколько медленнее, потому что

Рено то и дело уговаривает остановиться на часок, оглядеться.

— Да глядеть-то нечего! — ворчит Моська свою вечную песню, — в Немечине, по крайности, люди живут без нужды, в свое удовольствие, всего-то у них вдоволь, а тут что? Вот те и хваленая Франция — беднота, голь!..

И обращаясь к Рено, сделав самую серьезную мину, он спрашивал его на своем ломаном французском языке:

— Вы такой ученый, мусье Рено, и все знаете — скажите, сколько каждый год французов по деревням с голода умирает?..

Если б не Сергей, то карлику досталось бы очень плохо. Рено, пожалуй, несмотря на свои гуманные взгляды, и поколотил бы его — так раздражали его эти ехидные вопросы и замечания: Моська всегда попадал в самое больное место.

Действительно, Францией пока трудно было похвастаться. Ни одна страна не находилась в то время в таком бедственном положении.

Сергей проезжал через города, где сразу замечались признаки волнения. Всюду встре-

чались мрачные лица, оборванные мужчины и женщины из народа злобно поглядывали на богатого иностранца, за каретой которого ехало еще несколько экипажей с его прислугой и вещами. По сторонам пустынной дороги, то там, то здесь показывались деревни, будто покинутые — такая тишина стояла.

Дворянские жилища, замки богачей и высших сановников церкви были тоже совсем пусты: почти все, что имело средства жить — жило в Париже, в Версале. Только бедные дворяне, младшие члены младших ветвей знаменитых титулованных родов — виконты, бароны и шевалье, наследие которых состояло кроме знаменитого герба в голубе, зайце, утке и охотничьей собаке, жили в своих бедных маленьких домиках. Это были большей частью грубые и невежественные люди, собственноручно возделывавшие свой кусок земли, знавшие только землю и мало-помалу во всем уподоблявшиеся крестьянам.

Большая проезжая дорога, ведущая к Парижу, была пустынна. Вся страна казалась погруженной в спячку. Один только дилижанс ходил в это время из главных городов в Пари-

же раз в неделю, и если он бывал полон, то этому все удивлялись, это бывало не более нескольких раз в год.

По Франции расходилась всего одна газета «Gazette de France», выходявшая два раза в неделю...

— Я никогда и не выставлял нашу провинцию в радужных красках, — объяснил Рено Сергею. — Вся Франция в Париже, и в этом-то громадное значение этого города, но все же в прежние времена было несравненно лучше. Очевидно бедность усиливается с каждым годом. Но постойте, мы завтра же обо всем подробно узнаем. Все равно, нам нужно же где-нибудь ночевать столько ночей в дороге!.. Так мы завернем к одному моему приятелю. Это дворянин по фамилии де Сент-Альмэ — старый холостяк, неглупый малый... Его именье будет как раз по дороге... Я полагаю, что он не в Париже — это почти наверное. Он живет в деревне уже несколько лет, и я имел недавно о нем известие. Он примет нас с большою радостью, и, прежде чем попасть в Париж, мы от него узнаем в подробности все, что делается с Францией! Надеюсь, Serge, вы ничего не

имеете против этого плана?

Сергей был сговорчив, и они решили переночевать у приятеля Рено, если только найдут его...

Де Сент-Альмэ очень изумился, когда увидел с террасы своего старинного дома подъезжавшие экипажи. Рено выпрыгнул из кареты, объяснился со старым приятелем, с которым иногда переписывался из России, и скоро вернулся к Сергею, который его дожидался.

— Мой друг очень рад принять вас. Он знает вас по моим письмам и считает за честь познакомиться с вами. Да вот он и сам, пусть он и повторит все это...

Сент-Альмэ — сухой, длинный человек лет за сорок, в черном кафтане и в черных же чулках, не спеша и с достоинством подходил к карете. Сергей поспешил выйти к нему навстречу. Бледное, задумчивое и выразительное лицо этого человека ему понравилось. Понравилась ему и его манера. Он просто и любезно пригласил Сергея в свой дом.

— Я не ждал гостей, — сказал он, — и вряд ли вам будет у меня удобно. Но я рад старому другу Рено, которого не видал так долго, и рад

случаю познакомиться с вами. Вы прекрасно сделали, что решились ко мне заехать. Тут, видите, у нас место плохое, неподалеку большой лес, через него вам пришлось бы ехать ночью, а в лесу беспокойно... Вот уже два месяца, как бродят голодные шайки и грабят проезжих...

— Какие вы ужасы рассказываете! — заметил Сергей.

— Мы привыкли к этим ужасам, — ответил хозяин.

Дом был старый, и не видно было в нем никакой роскоши, никакого даже стремления к комфорту. Но провести ночь в постели было во всяком случае приятнее, чем трястись в душной карете, а до ночи еще было далеко, предстояла, значит, интересная беседа.

Вечер был чудесный. В небольшом садике, куда Сент-Альмэ провел Сергея и Рено, было так свежо, пахло недавно скошенным сеном. На зеленой лужайке появились стол, стулья, несколько бутылок старого вина, деревянный ужин, состоявший из окорока, молока и сыра. Хозяин и гости уселись. Сергей с аппетитом ужинал и добродушно вслушивался в

беседу приятелей, которым было о чем поговорить после долгой разлуки.

Сент-Альмэ заинтересовывал его больше и больше. Он говорил так спокойно, разумно, и через час какой-нибудь Сергей относился к нему с полным доверием, как к старому знакомому.

Он охотно отвечал на все вопросы, удовлетворял его любопытство относительно России, о которой француз имел, конечно, самое смутное и наивное представление.

Незаметно бледнели краски заката, в темнеющей синеве загорались звезды. Беседа все оживлялась и оживлялась за стаканами старого вина.

— Нет, я вижу мой друг, ты совсем ничего не понимаешь в настоящих событиях, — говорил Сент-Альмэ обращаясь к Рено. — Ты фантазируешь на прежние темы, не имеешь понятия о действительном положении дел во Франции и Париже.

— А ты давно был в Париже? — спросил Рено.

— Недавно, я ездил по одному делу и не знал как оттуда вырваться.

— Вот этого я не понимаю! — в волнении закричал Рено. — Как можно теперь, в такие дни, бежать из Парижа, как можно жить так, как ты живешь, запереться в деревенском доме?!

Сент-Альмэ пожал плечами и обратился к Сергею:

— Ваш ментор неисправим, — сказал он, — он все ищет бури, борьбы; но ему, вот увидите, предстоит много разочарований. Буря уже началась, и я наблюдаю ее издали: издали ведь всегда лучше видно. Я, видите ли, человек совсем одинокий... Тоже увлекался тем и другим, но затем понял, что уединение в наши дни — самая лучшая вещь. Вот и живу я в этом старом доме с моими милыми книгами, вдали от всего и ото всех, и буду жить пока не придут, не разрушат моего старого дома и самого меня не убьют...

— Боже, какие мрачные мысли! — с улыбкой заметил Сергей.

— Все это может случиться, — продолжал Сент-Альмэ, — в этом нет ничего невероятного. Теперь недостаточно уйти в свою скорлупу и ни во что не вмешиваться. Кругом бушует

стихийная сила, а такая сила разрушает все, что ей попадает под руку, не рассуждает, не наводит справок...

— Неужели действительно дела так плохи и неужели вы не видите возможности утишить волнение, поднявшееся во Франции? — спросил Сергей.

А сам думал о том, что говорила Екатерина перед его отъездом. Значит, она верно поняла положение — все, что он видел, и вот теперь каждое слово Сент-Альмэ его убеждают в этом.

— Судите сами, — между тем говорил Сент-Альмэ, — ведь Франция вот уже второй год умирает с голоду, и этому голоду конца не предвидится, он растет с каждым днем.

— Однако же нам известно, что употребляют все меры, чтобы остановить это бедствие и помочь населению... Не могут же быть вечные неурожаи?!

— Да, правительство принимает меры, но что оно может сделать?! Оно затратило сорок миллионов, чтобы добыть хлеба для Франции, а хлеба все же нет! И не одно правительство — многие частные лица, богатые люди,

дворяне и высшее духовенство жертвуют и деньгами, и хлебом, раздают деньги и кормят сколько могут народу, по монастырям, в городах, в больших поместьях — вы всюду увидите... И все же мало толку. Нужда растет, народ питается Бог знает каким хлебом. Я видел этот хлеб: это ужасно, поверить трудно, в этом хлебе все, что угодно, кроме хлеба. Сначала умирали дети, теперь уже многие деревни в разных местах Франции почти вымерла; в городах на рынках нет ни зерна, ни муки. У каждой булочной с утра и до вечера толпа. Работники иногда целые дни дожидаются, чтобы получить хлеб для своей семьи за баснословную цену; рабочий день потерян — а вы знаете, что значит рабочий день для народа! Голод — вот первая причина волнений, но есть и другие. Прислушайтесь, что говорит народ: «Король добр, но зачем же его сборщики отбирают у нас последнее? Наши господа тоже добры, но зачем же они заставляют нас вместо себя платить деньги?»

— Все это самые естественные и логичные вопросы, — заметил Рено, — что же отвечают на них народу? Ответить надо!

— Конечно, надо ответить, — сказал Сент-Альмэ, — это хорошо понимают, и вот уже скоро два года как всюду разъезжают королевские чиновники, призывают крестьян, собирают от них сведения о их положении, о их нуждах. И народ думает: о нас начинают заботиться, на нас, наконец, обращают внимание — значит, близится наше избавление от голода и нищеты! А между тем время проходит: избавления нет, голод все тот же... Терпение истощается. И теперь на сцену уже являются женщины. А если женщина из города доведена до отчаяния и начинает кричать — она становится мегерой. Всюду требуют понижения цены на хлеб и повышения поденной платы. Каждый день приносит известия о новых беспорядках. Принимать крутые меры не решаются — король слишком добр, королю жалко этих бедных детей Франции. Военную силу решили использовать только в немногих местах, а в большинстве случаев требования народа исполняются. По городам понижают цены на хлеб, города вследствие этого входят в неоплатные долги, а народ не понимает: «Нас слушают — значит, нас боятся!» И

всюду волнения, разбой. Двойное представительство третьего сословия понимается как желание короля даровать всем равенство. Народ чувствует и объявляет себя всемогущим, отказывается платить подати, восстает на представителей фиска... Что началось только вследствие голода, то идет теперь гораздо дальше. Всюду неповиновение властям — и все это творится «по воле короля». Разъяренная толпа кричит: «Vive le roi!..» Судите же сами, можно ли ожидать скорого и благополучного конца этим волнениям?!

«Зверь вырвался из клетки» — вспомнилось Сергею выражение цесаревича.

Вспомнились ему вместе с этим и долгие, горячие беседы с Рено в Горбатовском. Как все было тогда гладко, логично! Как легко казалось устроить счастье человечества! А вот жизнь выставляет совсем другое... Этих ли ужасов желали мечтатели-философы?!

— Ну что же, Рено? — в волнении спрашивает Сергей воспитателя, — что же вы молчите? Этого ли вы ожидали?

Но Рено не слышит его вопроса. Глаза его горят, нервная дрожь пробегает по его чле-

нам.

— В Париж! В Париж! — шепчет он.

Только после полуночи Сент-Альмэ проводил своих гостей в назначенное им помещение, а рано утром Сергей и Рено уже простились с любезным хозяином и мчались в Париж.

Оба они были задумчивы. Но Сергей все же был благодарен Рено за то, что он познакомил его со своим приятелем. Ему есть о чем написать графу Безбородке, есть что сообщить императрице.

IV. ДВОР

Русский полномочный министр в Париже Иван Матвеевич Симолин встретил Сергея очень радушно.

Это был человек старый, но еще бодрый вследствие неизменно правильного образа жизни. Сын бедного шведского священника из Ревеля, он, благодаря способностям, прилежанию и знанию иностранных языков, был определен в иностранную коллегия и всю свою долгую жизнь посвятил дипломатии.

Сменив в 1781 году в Париже князя Баря-

тинского, он казался многим не на своем месте. Скромный, любивший уединенную жизнь, он не имел ни средств, ни охоты для представительства, а потому не мог получить влияния при версальском дворе, где такую роль играли внешний блеск и роскошь. Екатерина, конечно, знала все это, а между тем не отзывала Симолина. Она находила, что посланник, не играющий видной роли, подходит к ее политике относительно Франции. Исправить ничего невозможно, а потому самое лучшее быть в стороне. Симолин был осторожен, обладал дипломатическим тактом — этого было достаточно.

Однако в последнее время при ежедневно запутывавшихся обстоятельствах старик иногда очень тяготился своим положением. Присылка ему в помощь молодого дипломата, хорошо воспитанного, располагающего огромным богатством, красивого и любезного, была ему очень по душе. Из сообщений Безбородки, из двух-трех фраз в письме императрицы, он понял, что Горбатовым очень интересуются, что его, вероятно, хотят выдвинуть. Он обрадовался и этому. Зависти к молодому ди-

пломату у него не могло быть. При версальском дворе нужна ловкость, красота, богатство — ну вот им подходящий человек, его там полюбят, а старик между тем получит возможным греться у камина в своем кабинете и тихонько заниматься делами.

Обласкав Сергея и любезно предоставив ему все свои парижские связи и знакомства, Симолин направил его в Версаль, объяснив, кому следовало, действительное значение этого молодого человека, представителя одной из богатейших и знатнейших фамилий России.

Сергей был представлен королю и королеве и успел произвести на них приятное впечатление. Его обласкали, он сделался постоянным гостем Версаля, появляясь в Париже только изредка.

Моська был неотлучно при нем, грустный и сумрачный, недовольный решительно всем. А Рено с первых же дней совсем исчез. Ехать в Версаль он не хотел — остался в Париже и просил Сергея не заботиться о нем.

— Очень много дел, нужно повидать всех старых знакомых, разобраться в обстоятель-

ствах. Вы, Serge, можете делать наблюдения над двором, над высшими слоями общества — я стану делать наблюдения над низшими. Таким образом, мы скоро со всех сторон ознакомимся с Парижем. Не ищите меня, а я при первой же возможности буду к вам являться.

Рено исчез, а Сергей принялся за свои наблюдения. Наблюдать было можно многое. Версаль доживал свои последние дни. Роскошное, волшебное представление, доведенное до апофеоза, должно было завершиться нежданной катастрофой, полным разрушением. Но разрушение еще медлило, занавес спускался тихо, блестящие декорации еще не успели рухнуть — роскошный, ослепительный, сверкающий апофеоз виднелся еще в глубине сцены.

В первое мгновение Сергей был совсем поражен этим величием, обилием света и яркостью красок. Двор Екатерины казался очень бедным в сравнении с французским двором; того, что главным образом поражало в Версале иностранца, нельзя было добыть одним золотом: это блеск изящества, утонченности и

остроумия.

Версаль представлял из себя громадный салон, где хозяева — король и королева — подавали пример любезности, предупредительности, уменяя жить в обществе. Несмотря на строгий этикет, принужденности не было и следа, все чувствовали себя свободно и весело, все отлично знали роль свою и разыгрывали ее артистически. Лучшей артисткой была бесспорно королева. Это уж была не шаловливая, беспечная красавица первых годов царствования; очень мало утратив из красоты своей, которая с годами стала только величественнее и осмысленнее, Мария-Антуанетта, умудренная и сладким, и горьким опытом своей жизни, владела теперь чарующим обаянием. Видеть ее, знать ее хоть немного и не преклоняться перед нею — было невозможно.

На первом же выходе Сергей был ослеплен ею. Она вступала в несметную толпу придворных, проходила своей медленной грациозной походкой — и исчезала. Но всякий оставался доволен. Она успела взглянуть на всех, и каждый читал в ее взгляде, в ее бледной улыбке, в ее чуть заметном наклонении головы при-

вет себе, знаки ее внимания. Она никого не обходила, никого не обижала — каждый получал то, на что он имел право рассчитывать, — получал должное. В этом заключалось ее истинно царственное искусство.

Но, к несчастью для себя и для Франции, Мария-Антуанетта не захотела ограничиваться величественной ролью, к которой она была предназначена от рождения, — ей показалось мало быть королевой, она пожелала вместе с тем быть и пастушкой, и философом. Но, будучи истинной королевой, она не могла превратиться ни в пастушку, ни в философа. Она только способствовала распространению всевозможных утопий. Версаль и Трианон преклонились перед Руссо, Вольтером и пошли гораздо дальше. Народ явился героем трогательных идиллий, олицетворением кроткой простоты и невинности — и кончилось тем, что вместо того чтобы накормить этот народ, когда он голодал, а накормив его, твердой рукою управлять им для его блага, неловкими мерами, с помощью философствующих чиновников и демагогов, обуреваемых только собственным честолюбием, деморали-

зовали этот народ, превратили его в дикого, бессмысленного зверя. И очнулись только тогда, когда было поздно, когда идиллия превратилась в кровавую трагедию.

В гигантском, доживавшем свои последние дни салоне Версаля хозяин-король был так же привлекателен, как и королева. Его доброта, благородство, детская чистота души его светились в его взгляде, в каждом его движении, в каждом слове. Во времена крайней распущенности нравов, извращенности нравственных понятий, почти всеобщего падения высоких качеств души человеческой Людовик XVI бесспорно был самым лучшим человеком Франции. Скромный, чистосердечный, только и мечтавший, что о благе народа, способный забывать о себе и ограничиваться очень малым — он мог быть признан образцом доброго человека, семьянина и даже короля, но только не в такое время, когда от короля требовалось много энергии, силы воли и предусмотрительности...

Король, глядевший почти на все глазами талантливой жены, тоже мечтал об идиллиях. Он пуще всего боялся решительных, стро-

гих мер. Он любил всех, почитал себя добрым отцом Франции и до последней минуты не хотел верить в неблагодарность детей своих — своего народа. Он полагал, что народ знает его таким, каким он был в действительности, — это была очень трогательная, но самая ужасная ошибка.

Гроза близилась, но пока она еще не разразилась, пока слышались только первые раскаты грома, в Версале изо всех сил старались не думать об опасности. Только немногим приходило в голову, что прежнее счастье должно скоро окончиться, остальные же все еще надеялись, что черная туча пройдет мимо и снова заблестит солнце.

Придворная жизнь шла прежним порядком. Прежде всего в глаза бросалась несметная толпа придворных, которые, конечно, составляли прекрасный фон блестящего апофеоза — но и только. Эти придворные, принадлежавшие к дворянскому сословию и являвшиеся изо всех углов Франции, ничего не делали — они или проедали окончательно свое состояние, или стоили двору огромных денег. Цель всех этих господ заключалась в том, что-

бы добиться какого-нибудь назначения; для этого они должны были вечно быть на глазах у короля, «rendre leurs levours au roi» — как тогда говорилось.

Таким образом, вся жизнь проходила сначала в растрате своего состояния, а потом в расстраивании состояния короля. Изобретательность в придумывании новых придворных должностей и всевозможных синекур была необыкновенна. Встречались должности, занимая которые, нужно было только раза два в год подписывать свое имя, и за этот труд получалось жалованье в восемнадцать — двадцать тысяч ливров. Сотни должностных лиц находились при каждом принце и принцессе; на личной службе у короля и принцев было пятнадцать тысяч человек с сорока пятью миллионами жалованья. Это составляло десятую часть государственных доходов.

Но жалованьями не ограничивались, различные господа и госпожи выхлопывали себе громадные пенсии, которые иногда давались только ради того, чтобы избавиться от присутствия при дворе неприятного лица. Го-

сударственные заслуги и заслуги таланта не принимались при этом в расчете. Для получения пенсии нужно было только иметь связи, протекцию и состояние — чем больше было состояние, тем на большую пенсию можно было рассчитывать.

Наконец, все, начиная с королевских родственников и кончая последним придворным, то и дело выпрашивали себе у короля большие денежные подарки. Воровство достигало необыкновенных размеров. Короля заставляли утверждать счета, из которых он узнавал, что он один выпивает в год на две тысячи франков лимонаду, что его карета, за которую частный человек заплатил бы не более четырех тысяч ливров, стоит тридцать тысяч ливров. Король, наконец, узнавал, что он должен всем поставщикам и что решительно нет возможности расплатиться с этими долгами.

Он приходил в ужас, он видел, что так не может продолжаться; но вместо того, чтобы принять энергичные меры, чтобы решительно покончить с этой бессовестной эксплуатацией, он горько вздыхал и подписывал неве-

роятные счета, и раздавал жадной толпе последние деньги.

Должал не один король — все были в долгу, все считали необходимостью жить на широкую ногу и тратить, по меньшей мере, вдвое более того, что получалось. Счета деньгам не знали. И немудрено: эти деньги доставались таким легким способом.

Но все же ведь далеко не все из мелких дворян и офицеров добивались своей цели, то есть синекур, возможности ничего не делать и безнаказанно грабить короля. Для этого требовались связи, родство или, по меньшей мере, случай. Таким образом, многие офицеры, небогатые дворяне и низшее духовенство, истратившись в Версале и видя, что без придворной протекции им невозможно сделать карьеру, выходили в отставку, уезжали обратно в свои имения. Эти люди более или менее основательно считали себя обиженными, их самолюбие было оскорблено. И вот они становились демократами.

Таким образом, развивалась с каждым годом вражда мелкого дворянства к дворянству крупному, к сановникам и придворным, кото-

рые составляли правительство, вражда низшего духовенства к высшему. Результаты этой вражды обнаружались при первом удобном случае: мелкое дворянство и низшее духовенство во время созывания государственных чинов подали свои голоса только за людей из своей же среды; учреждение верхней палаты было отвергнуто, потому что мелкое дворянство не хотело допустить господства знатных фамилий...

Конечно, находились здравомыслящие люди, которым было ясно, что такая жизнь, такой порядок вещей не могут продолжаться и должны привести к гибели. Понимал это и король; но одного сознания было мало: надо было действовать, действовать не полумерами, а решительно и бесповоротно. Нужны были сильные люди, нужны были гениальные способности; а таких людей не было в распоряжении короля Франции, он не мог их найти среди окружающих.

Обстоятельства запутывались с каждым днем, приходили отовсюду, а главное из Парижа, самые тревожные известия. Страшным громовым ударом разразилось взятие Басти-

лии. Революция выказывала всю свою силу. Король делал уступку за уступкой по требованию Национального Собрания...

В Версале, чего прежде никогда не бывало, время от времени наступало затишье; веселые лица бледнели; но, во всяком случае, это недолго продолжалось — французский характер брал свое. Из общественного бедствия, из неудачи государственной меры остроумцы извлекали материал для ловкой игры слов, для *bons mots*. *Bons mots*, вызванные печальным событием, повторялись повсюду, все смеялись, становилось весело, и опять ликование начиналось в садах Версаля, в роскошных залах королевского замка, где собраны были со всего мира лучшие произведения таланта и вкуса.

Прелесть придворной жизни была так велика, что самые благоразумные головы затуманивались, и под звуки ласкающих слух мотивов, под обаяние женской красоты и ласки забывались надвигавшиеся беды. Жизнь была слишком хороша! Прежде думалось, что она никогда не кончится, теперь невольно и настойчиво является мысль о возможности ее

окончания; но ведь она пока еще существует, и нужно всецело отдаться ей, насладиться ею... нужно жить, нужно жадно, до последней капли выпить эту сладкую чашу. Жизнь Трианона и Версаля была так хороша, что те, которые ее пережили и спаслись во время грозы, потом уже не жили, а прозябали. На склоне дней своих, при новом порядке и, по-видимому, окончательно сжившись с этим порядком, такие люди повторяли: «Кто не жил до 1789 года, тот и понятия не имеет о сладости жизни!»

Но как бы то ни было, в этом благоухающем воздухе уже все больше и больше чувствовалось приближение грозы, и особенно это было заметно для постороннего человека, для Сергея. Это предчувствие надвигавшихся бед с первых же дней его пребывания в Версале нагнало на него грусть. Но скоро другое чувство, еще более мучительное, овладело им — он встретил герцогиню д'Ориньи.

Он был ей представлен в одну из тех минут, когда она вся была оживление, остроумие, веселость. Она взглянула на него своими искрящимися, черными глазами, улыбну-

лась ему тихой, полудетской улыбкой, протянула руку. И это мгновенное пожатие, этот взгляд, эта улыбка сразу решили все — с первой же минуты он был во власти этой женщины, он безумно любил ее. Встречи были постоянны, и в первое время он даже сам не замечал, как ищет этих встреч, как все усилия направляет к одной цели: видеть ее, говорить с нею.

Он правду сказал ей, что и не думал ее преследовать — это делалось бессознательно. Целый месяц провел он как в чаду, в лихорадке, не замечал своих бессонных ночей, своих мучений — он жил только в ее присутствии... Это было какое-то сумасшествие.

Он очнулся только тогда, когда увидел, что из-за нее пренебрегает своими обязанностями. Он вспомнил о Тане только тогда, когда получил от нее длинное и нежное письмо, где она рассказывала, что ее мать поправилась, что Бог помог ей в одном очень важном деле, ради которого она звала Сергея. Она не обвиняла его в том, что их разлука становится слишком продолжительной, она понимала, что сократить эту разлуку было не в его вла-

сти. Но в письме Тани были ужасные строки: эти строки говорили Сергею о том, что она его любит, что она уверена в неизменности его чувства.

Что же это такое? Что он сделал?! Зачем он обманул ее?!

Но он уже не мучился над этими вопросами, он уже знал, что виноват не он, что виновата судьба, потому что увидеть герцогиню и не полюбить ее — он не мог.

Что теперь делать? Написать Тане, что между ними все кончено, просить ее забыть его, рассказать ей всю правду? Конечно, это было бы всего лучше, но она одна из тех натур, с чувством которых играть невозможно. Он убьет ее своим письмом... Но ведь рано или поздно надо же ей будет узнать истину!.. Если б он мог увидаться с нею, он, может быть, сумел бы мало-помалу ее успокоить — но ее нет. Он даже написал ей письмо, в котором во всем признался и все же не решался послать этого письма. Она одна, ее жизнь нерадостна, в нем ее единственная отрада — отнять эту отраду чересчур жестоко!..

Но вот перед ним являлась герцогиня, он

снова слышал ее голос, ее смех. Она на него взглянула — и Таня была позабыта. Явилось новое мученье:

«Если я буду причиной несчастья Тани, — думал он, — то она отомщена — несчастнее меня она не будет!..»

Любить без взаимности, любить, не смея даже высказать своего чувства!.. Сойти с ума от любви, совсем погибнуть — вот какая будущность представлялась Сергею.

Но вдруг он стал замечать столько ласки во взгляде герцогини, что в первые минуты, действительно, чуть с ума не сошел от блаженства.

«Она меня любит! Боже мой! Но ведь она никогда не может быть моею!..» — думал наивный юноша.

Герцогиня скоро доказала ему, что он ошибался. Она дала ему нежданное счастье, которое его совсем отуманило.

V. ЗА ХЛЕБОМ

Было около десяти часов утра. Сергей крепко спал в своей обширной спальне в доме, нанятом им на бульваре близ величественного и тогда еще не вполне оконченного здания церкви святой Магдалины. Толстые драпировки окон спальни были спущены, и в комнате царил полутьма. С улицы по временам доносились глухие крики.

Но эти крики не нарушали сна Сергея. Он провел бессонную ночь, сначала за спешной работой — за письмами в Петербург, потом же он никак не мог заснуть от волнения. Эта ночь была первой ночью после его свидания с герцогиней в отеле д'Ориньи. Простясь с Сергеем, герцогиня уехала в Версаль, но он еще не мог следовать за нею. Он должен был до следующего дня остаться в Париже, должен был увидаться с Симолиным, который простудился и несколько дней не выходил из дому. Сергей обещал герцогине быть в Версале на следующий день непременно, а пока напрягал все усилие воли, чтобы забыть себя и свое новое, внезапное счастье и заняться де-

ЛОМ.

Ему это удалось. Возвратясь вечером от Симолина, он приготовил письма в Петербург. Но, окончив эти занятия, всецело предался своим ощущениям и заснул только на заре.

В первый раз после двух месяцев тревоги и тоски счастливая улыбка мелькала на его сонном лице, щеки его горели, губы шептали что-то — видно, и во сне он переживал свое счастье.

Дверь спальни тихонько скрипнула, приотворилась, и в полумраке обрисовалась крошечная фигурка Моськи. Карлик подошел к окну, вскарабкался на кресло и стал раздвигать занавес.

— Ишь ты, как заспался, — шептал он, — это его, видно, к погоде... Вишь, дождик-то так и поливает!.. Все небо обложило... Да уж денек! Чем-то кончится?.. Нет, встать пора — неладно, совсем неладно нынче, надо ему доложить про все...

Открыв занавес, карлик подошел к высокой кровати Сергея, взобрался на табуретку, а оттуда уже на мягкую перину и стал тихонько щекотать Сергея, как всегда это делал, ко-

гда нужно было будить его.

— Вставай, батюшка, вставай, дитяtko! — нежно и ласково говорил карлик.

Сергей открыл глаза.

— А? Что, Степаныч? Разве поздно?

— Поздно, батюшка, десять часов уже скоро.

Сергей лениво потянулся, потом вдруг схватил себя за голову. Он вспомнил все, сердце его безумно застучало, глаза загорелись счастьем. Он обнял карлика и стал целовать его крохотное сморщенное личико.

Моська был ему теперь самым близким, самым родным человеком, и хотелось ему крикнуть этому старому другу:

«Степаныч я счастлив, я счастлив, как никогда не был!..»

Но он удержался и только целовал карлика. У Моськи даже радостные слезы на глазах показались от этой ласки.

— Батюшка, Сереженька!..

Он стал ловить его руки, покрывая их поцелуями. Но вдруг ему стало тяжело, грустно и страшно.

— Сереженька, золотой, вставай, — сказал

он, соскальзывая с высокой кровати и подавая Сергею чулки и башмаки, — ведь недаром же я тебя бужу-то! Не стал бы тревожить твою милость, видя, что спишь так сладко, а вот побоялся, что серчать будешь, коли не разбужу. Дело-то, видишь ты, сегодня совсем неладно!..

— Что неладно? Что такое?

— Да ведь чуяло мое сердце, что не на радость мы сюда едем... Недаром, как въехали в этот проклятый Париж, так меня тоска охватила... И давно уж я вижу, что дело совсем дрянь — вот и стряслась беда...

— Степаныч, говори прямо, что такое? Когда ты эту манеру бросишь тянуть да пугать?!

— Что такое?! — мрачно пропищал карлик. — А то, что народ ихний нынче по улицам бунтует.

Сергей поспешно подошел к окну.

Сквозь серую мглу окладного осеннего дождя он увидел по улицам толпу, беспорядочно спешившую куда-то по одному направлению. И это уж не был тот спокойный, веселый народ, которым он любовался вчера при ласковом блеске солнца. Сразу было заметно что-то необычайное в этом движении — люди бе-

ждали будто на пожар; то и дело доносились дикие крики.

— Куда же это они? Не слышал ли, Степаныч, что такое?

— Говорю, бунтуют. А бегут они в Пале-Рояль, там с раннего утра народу видимо-невидимо. Одевайся, батюшка, я тебе сию минуту шоколаду принесу — давно уж готов, а как будешь ты одеваться да кушать, так я и расскажу тебе, что знаю.

Моська поспешно вышел из спальни и через минуту вернулся, таща маленький серебряный поднос с шоколадом и печеньем.

— Я, сударь-батюшка, все это доподлинно знаю, — запищал он. — Что мне тут сидеть дома-то одному, когда из Версаля приезжаем? Как тебя нет, я по улицам и шляюсь... недаром ведь их басурманскому языку научился — все ведь понимаю, с кем хочешь говорить могу. Потаскался-таки по этому Парижу, теперича, почитай, не хуже Питера его знаю. Нечего сказать — народец! Город, что и говорить, важный — ровно в сказке какой!.. Только и бедноты же здесь, срамоты всякой!.. Боже ты мой милостивый! Кабы не своими глазами

видел, то и в жизнь не поверил бы, родному отцу бы не поверил — такое тут творится... Прости Господи, такого наслышался, что как и вспомнишь, так все нутро воротит... Я с ними хитрю, беру грех на душу, дурачка разыгрываю — не раз надо мною потешались, а все же худа мне до сей поры от них не бывало... Нынче чем свет поднялся я, вышел на улицу, народ бежит, и я за народом. Куда, мол? — в Пале-Рояль... И я туда же, да дорогой все и разведаль. Слышь ты, нонче в Версаль к королю народ кинется хлеба просить... хлеба, мол, нету, с голоду помираем. А какой тут хлеб, какой с голоду?! Просто бунтуют, подбили их злодеи.

Сергей с ужасом взглянул на Моську.

— В Версаль? К королю?!

Он понял все — клубные ораторы и демагоги, авторы зажигательных статей в ежедневно появлявшихся листках добились своего. Сергей получал эти постоянно нарождавшиеся газеты и листки, читал их. Он окончательно простился со своими прежними иллюзиями и увидел, что во имя священных принципов справедливости и братства творилось ве-

личайшее, отвратительнейшее зло, эксплуатировались народные страсти и невежество. Сначала эти газетки, эти листки казались ему неопасными. Это был народ трескучих фраз, в которых не замечалось ни искреннего убеждения, ни таланта. Но, видно, листки возымели свое действие, видно, авторы их знали, что делают... «Народ, такой народ — опьяненный, бессмысленный — в Версаль! — думалось Сергею. — Где же это новая Национальная гвардия? Что все это, наконец, значит, к чему все это клонится?!»

Сергею почти не удавалось среди той жизни, в которую он был вовлечен, наблюдать народное настроение. Рено почти не являлся в последнее время, а если и являлся, то на самый короткий срок, чтобы проведать своего бывшего воспитанника. И с каждым таким свиданием Сергею казалось, что Рено все более и более изменяется, что он не тот, каким был прежде. Он будто в лихорадке, будто заговаривается... Начнет Сергей спрашивать — он вдруг замолчит, не договаривает, что-то скрывает.

А то вдруг схватится за голову, жмет Сер-

гею руку, странно на него смотрит.

— Да что, — в волнении говорит он, — жизнь кипит, жизнь всесильна и поневоле нужно уступать ей... Гроза страшна пока бушует, но она неизбежна и очищает воздух...

— Рено, вы говорите загадками... Где вы? Что делаете? Зачем вы это от меня скрываете? — тревожно спрашивал его Сергей.

Француз тихо качал головой.

— Я делаю то, что мне должно делать, но я убедился, мой друг, что дороги наши расходятся. Я прежде об этом не думал, не предполагал возможности этого, а между тем это так, и я не зову вас за собою. С меня довольно сознания, что на том пути, по которому вы идете, вы всегда останетесь незапятнанны. Теперь мое дело будет вовремя предостеречь вас, вовремя сказать вам, когда нужно удалиться отсюда. Не изумляйтесь словам моим, не изумляйтесь, что в них так мало общего с прежним, с тем, что я говорил когда-то. Что делать — тогда я не понимал многого. А вот теперь пришлось понять... не спрашивайте меня больше!..

И Рено, задумчивый, мечтательный и рас-

сеянный, уходил от Сергея.

В другое время, при других обстоятельствах Сергей, конечно, его так не оставил бы, но в эти дни, когда он был почти всецело поглощен новой жизнью своего сердца, безумным, страстным чувством, наполнившим его, он отпускал Рено и сейчас же переставал думать о его загадочных словах.

Однако, как он ни был поглощен своею сердечною жизнью, известие, принесенное карликом в это утро, на него сильно подействовало. Народная толпа стремится в Версаль. Мало ли чем это может кончиться, а ведь там Мари, ей, может быть, грозит опасность... Нужно узнать в чем дело, нужно самому убедиться, предупредить опасность.

Он поспешно оделся и объявил Моське, что сейчас уходит.

— Куда же, батюшка? Ведь ты не приказывал закладывать карету — неужто пешком, в такую погоду, в такую-то сумятицу?! Мало ли что случиться может, ведь это разве теперь люди — это звери!..

— Оттого-то я и иду пешком, — по-видимому, спокойно ответил Сергей, — карету-то, по-

жалуй, остановят, а так кто же меня знает.

— Так постой, постой, коли уж надо тебе идти непременно, я вот принесу твоей милости старый плащ и старую шляпу — все-таки оно будет спокойнее...

— Вот это дело, — проговорил Сергей и задумчиво стал дожидаться Моську.

Скоро карлик явился с плащом и со шляпой. Сергей надел высокие ботфорты, взял в карман пистолет, надвинул на брови безобразную цилиндрическую шляпу, закутался в длинный плащ — в таком виде ему легко было смешаться с толпою. Он поспешно вышел из дома и кинулся по направлению к Пале-Роялю.

Погода была отвратительная, дождь лил как из ведра, на улицах образовались лужи. По мере приближения к Пале-Роялю толпа прибывала с каждой минутой. Сергей должен был все более и более убеждаться, что дело не шуточное. Вся эта бегущая толпа поражала его, он сразу заметил, что находится посреди всевозможного отребья Парижа, которое выползло теперь из своих нор и почувствовало силу. Оборванные мужчины и женщины с от-

вратительными лицами на бегу кричали, потрясая кулаками. Брань, проклятья раздавались со всех сторон. Но к кому относится эта брань, кому эти проклятия — понять было сразу трудно, да вряд ли и сами кричавшие понимали это.

Мимо Сергея проходили и пробегали наглого вида женщины, нищие в лохмотьях, какие-то страшные люди — не то солдаты, не то ремесленники. Попадались и хорошо одетые, в таких же плащах и шляпах, как у Сергея. Одним словом, это была та толпа, которая развилась в Париже в последние годы, толпа людей без всякого дела, потерявших свои прежние занятия вследствие тревожных обстоятельств.

Париж — город роскоши и моды, средоточие блестящего дворянства, обетованная земля богатых иностранцев, съезжавшихся сюда со всех стран света — Париж развил в себе многочисленные классы ремесленников, производителей не только предметов необходимости, но главным образом предметов роскоши. Со времени первых успехов революции, при первых же сильных беспорядках боль-

шая часть иностранцев поспешила вон из Парижа. Вслед за богатыми иностранцами начали уезжать и дворянские семейства Франции; некоторые из них удалялись в свои поместья, другие же, более трусливые, или вернее, дальновидные, совсем покидали Францию — эмигрировали.

Париж пустел с каждым днем, и огромное число ремесленников, до сих пор живших в полном довольствии, осталось без всякого дела, а потому и без куска хлеба. К ним присоединились беглые солдаты из всех полков. Таких дезертиров насчитывалось теперь в Париже около шестнадцати тысяч.

Весь этот голодный, озлобленный люд питался чем попало, начинал воровать и грабить и в то же самое время жадно повторял каждое зажигательное слово, читал и перечитывал листки и газетки демагогов. Весь этот люд составил толпы внимательных и шумных слушателей ораторов Пале-Рояля.

Пале-Рояль был любимым местом сборищ этой разнокалиберной толпы, куда собирались, не боясь никаких неприятностей. Там был, хотя невидимый, но любезный хозяин —

Филипп, герцог Орлеанский. Он не мешал народу, он готов был брататься с этим пьяным народом. Там можно было получить даровой стакан вина, там можно было встретить в великом множестве женщин, иногда молодых и красивых, цветочниц, торговок, которые не отличались суровостью, которые умели кричать и браниться не хуже мужчин, не хуже мужчин умели аплодировать зажигательному слову оратора.

Уже не в первый раз эта толпа собиралась и кричала, уже не в первый раз она наводила ужас на мирных жителей Парижа. Полная безнаказанность доказывала ее силу.

Сергей замечал, как мирные жители спешат скорее спрятаться в своих жилищах. Дома все на запоре, окна закрыты — открыты только одни кабаки. И по пути мужчины и женщины заходят в эти кабаки и выходят оттуда полупьяные, с признаками еще большей необузданности и раздражения. Проклятия раздаются все громче.

Вот коренастая высокая женщина, очевидно, какая-нибудь торговка с высоко подобранной юбкой, в разорванных башмаках, в ма-

леньком чепчике, съехавшем на затылок, с растрепанными волосами наткнулась на Сергея. Он извинился. Она взглянула на него своими налитыми кровью глазами и хлопнула его по плечу.

— Ну, чего ты, мальчишка! — с диким хохотом прокричала она, — не время тут любезничать, вот ужо как наедемся, тогда и потолковать можно будет...

Сергей понял, что его извинение она приняла за любезничанье. Он невольно поморщился и прибавил шагу. Но эта женщина шла рядом с ним, размахивая руками и обращаясь к нему, кричала:

— Слышишь ты, хлеба в Париже нету!.. Так где же он? Значит, в Версале... Вот и пойдём за ним. Раз король, королева и дофин будут с нами — так уж не станем мы сидеть без хлеба, ведь будут же они есть, ну, а коли сами будут есть, так и нас поневоле кормить будут... Тогда, небось, уж не скажут, что хлеба нету!

— В Версаль! — закричала она пронзительным голосом. — В Версаль, и во что бы то ни стало вернемся с булочником, с булочницей и их мальчишкой!..

— В Версаль! В Версаль! — подхватила сотня толосов.

Толпа была уже у Пале-Рояля.

VI. В ПАЛЕ-РОЯЛЕ

Пале-Рояль, этот своеобразный и красивейший уголок Парижа, отделенный от города крытыми пассажами, примыкавший ко дворцу герцогов Орлеанских и заключавший в себе множество магазинов, лавок, кофейных, а также превосходный сад, представлял теперь довольно странное зрелище. Все магазины были закрыты; отпертыми оказались только двери кофейных. Тысячи народу наполняли пассажи, крытые галереи, дорожки сада.

В воздухе стояли несмолкаемые крики; дождь лил как из ведра; но никто, очевидно, не обращал на это внимания. В толпе там и здесь шныряли мальчишки с газетами, выкрикивая их названия. Печатные листки расходились по рукам. Образовывались небольшие группы; кто-нибудь громко читал; но при первом же зажигательном слове слушатели прерывали чтение и поднимали крик,

размахивая руками.

Вокруг кофейных и в саду были расставлены столики. За этими столиками сидели люди всех званий и женщины, бесцеремонно обнимавшие своих соседей, деливших с ними стаканом вина.

Вот возле одного из таких столиков собирается два-три десятка людей. Один кто-нибудь начинает говорить, но его трудно слышать.

— Громче, громче! — кричат ему.

Он взбирается на стол и уже оттуда, отчаянно жестикулируя, обращается к слушателям.

Пробираясь то к одной, то к другой кучке, которые собирались вокруг ораторов, Сергей внимательно вслушивался, желая, наконец, узнать, чем эти ораторы поднимают народ, что ему обещают и чего от него требуют. Но сколько ни вслушивался, он никак не мог уловить ясного смысла в этих речах, которые, очевидно, производили такое сильное впечатление, которые заглушались громом рукоплесканий и криков. Он слышал только фразы, отдельные фразы — в них заключалась

вся сила этих речей. Это были проклятия, отвратительные, бессмысленные угрозы, но ими достигалась цель. Полупьяная, полуголодная, обливаемая дождем толпа теряла последние признаки своего человеческого достоинства — окончательно свирепела.

— Неужели мы будем еще ждать, еще терпеть, еще просить, когда имеем полное право требовать! — кричал оратор. — Пора нам показать, что мы не стадо, которым можно распоряжаться как угодно — мы должны распоряжаться!..

Оглушительный крик, подобный звериному реву, был ответом на слова эти.

Расталкивая здоровыми кулаками народ, протискивалась огромная грязная торговка. Она с трудом вскарабкалась на столик, затрепавший и зашатавшийся под ее тяжестью, и охрипшим, почти мужским голосом закричала:

— Слушайте, граждане, нечего тут переливать из пустого в порожнее, покажем-ка себя, чтобы долго нас помнили!

Она засучила рукава и, грозя кулаками в пространство, совсем почти задыхаясь от бе-

шенства, душившего ее, хрипела:

— А-а, австриячка! Принимай гостей... Танцевала ты для своего удовольствия, потанцуй теперь для нашего... Из кожи твоей мы себе лент понаделаем, кровь твою мы выльем в чернильницы, а вот и мой фартук для твоих внутренностей!..

И она отвратительно захохотала, пошатываясь на столике, который, наконец, не выдержал — подломился. Торговка с проклятиями полетела на землю, но окружавшие ее поддержали, громкими криками выражая ей свое сочувствие.

А с другой стороны в нескольких шагах кто-то выкрикивал: «Les aristocrats a la lanterne!»

Сергею нечего было больше дожидаться — он и так уже видел и слышал слишком много.

Он спешил скорей из этой отвратительной толпы и вдруг столкнулся с Рено. В первую секунду он даже не узнал его — куда девался сдержанный, приличный вид воспитателя. Рено, совсем промоченный дождем, в какой-то безобразной шляпе на затылке, в смятом платье, небритый, похудевший, с блестя-

щим растерянным взглядом, быстро подошел к этой ужасной толпе.

Сергей схватил его за руку. Рено вздрогнул и, ни слова не говоря, стал выбираться с Сергеем, ища в саду уединенной дорожки.

— Зачем вы здесь? — сказал он, наконец, когда вокруг них никого не было. — Вам вовсе здесь не место... уходите скорее!..

— Это правда, Рено, я и ухожу, но уйдем вместе. И я тоже вас спрашиваю: зачем вы здесь, здесь не ваше место... Очнитесь, что с вами? Вы неузнаваемы — вы, верно, больны... Рено, дорогой мой, идем скорее!..

Рено опустил голову и несколько секунд стоял неподвижно. Но вдруг он выпрямился, взглянул на Сергея странным, незнакомым ему, чужим совсем взглядом. Его ноздри нервно раздулись, губы задрожали, и он проговорил глухим голосом:

— Оставьте меня, я уже сказал вам, что дороги наши расходятся. Мое место именно здесь: я у себя, среди народа, из которого вышел и с которым у меня общая судьба и общие цели.

Сергей отшатнулся, его сердце больно сжа-

лось. Он так любил этого человека, он давно привык уважать его, слушать его как оракула.

— Рено, опомнитесь! — сказал он опять, схватывая и не выпуская его руку, — ведь это бред, это сумасшествие! Боже мой! Так вот что вы от меня скрывали, вот ваша деятельность! Рено, слушайте, вы знаете, чем вы для меня всегда были, вы знаете, как многим я вам обязан, и потому-то вы должны теперь объясниться, вы должны оправдаться передо мной... я не могу вас оставить. Я не должен, я не смею думать, что вы составляете одно с этими подстрекателями бессмысленной, кровавой толпы, готовой не только на всякую несправедливость, но и на всякое преступление... У меня мысли путаются — говорите же, говорите сейчас, что вы не имеете ничего общего с ними, что вам это все так же отвратительно, как и мне!..

Рено стоял бледный, пораженный, собираясь с силами. Наконец он заговорил, едва переводя дух, задыхаясь, останавливаясь и сжимая руку Сергея своей горячей, дрожавшей рукой:

— Вы требуете, чтобы я оправдался. О, у меня много оправданий! Если бы можно было достигнуть цели спокойно, без борьбы и волнений — это, конечно, было бы большим счастьем. Но дело в том, что борьба неизбежна, и только эта борьба поможет достигнуть серьезных результатов.

— Каких результатов? Что вы называете борьбою? Говорите слепому и глухому, но ведь я еще вижу и слышу! — вскричал Сергей. — Я вижу, что это не борьба, а отвратительное, зверское насилие. Я вижу, что результат этого насилия — преступление. Вы будете говорить мне, что народ находится в жалком состоянии, что народ невежествен и беден, что он голодает. Все это я знаю. Может быть, прежде и действительно мало заботились о нуждах народа, но ведь теперь призваны представители от всех сословий... что они делают, над чем работают?! Ведь именно над тем, чтобы решать самые жгучие, самые неотложные вопросы, чтобы помочь народу. Так, значит, нужно дать им спокойно выработать необходимые меры. Если вы хотите помочь народу, если вы знаете его нужды — идите ту-

да, в Национальное Собрание!.. Не говорите же о народе — тут дело вовсе не в нем; разве эта зверская, отвратительная толпа — народ?! Это даже не люди, это ядовитая грязь, которую подбирают и пропитывают ядом вот эти ваши ораторы! Я их слышал, я читал их листки, и настолько-то я ведь понимаю... Они не думают о народе, они думают только о себе, тешат только свою злобу...

Язвительная усмешка скривила губы Рено.

— Вы ошибаетесь, — сказал он, — есть зло, для искоренения которого необходимы особые средства, а обыкновенными средствами его не вырвешь с корнем. Положение народа никогда не улучшится, какие бы меры ни принимали, не улучшится, пока существует это гнилое общество, стоящее сверху. Отчего народ груб, невежествен и беден? Оттого, что эти господа, это высшее сословие в течение столетий высасывали из него всю кровь, все силы. Они разделили род человеческий на две половины и воображают, что большая его половина должна существовать ради меньшей, должна вечно страдать, работать и голодать для того, чтобы добывать этой мень-

шей половине радости жизни. Так неужели вы думаете, что какими-нибудь спокойными мерами можно пересоздать такой порядок? Нет, он изменится только тогда, когда будет поглощено и уничтожено это общество, заклеймившее себя веками несправедливости.

«Les aristocrates a la lanterne!» — донесся в тихую аллею дикий крик толпы.

— Вы этого хотите? — мрачно спросил Сергей.

— Хоть бы и этого, если ничего другого не остается!..

— Рено, вы говорите как сумасшедший, и при этом вы забываете еще одно — ведь я, ваш воспитанник, ваш старый, верный друг, принадлежу к тому обществу, которое вы проклинали, которому вы грозите. Вы много лет провели в этом обществе и, кажется, кроме расположения, кроме внимания к себе ничего не видели!..

Рено тихо и печально усмехнулся.

— Вы ничего не можете принимать на свой счет, — сказал он, — мы во Франции, и дело только во французских аристократах. У нас совсем другие условия, у нас все совсем

другое!.. Вы удивляетесь моей ненависти. О, она законна! Я имею право ненавидеть, я схоронил глубоко в себе эту ненависть и таил ее долгие годы. Но время пришло, терпение истощилось... Вы вот эту толпу называете дикими зверями, а те разве лучше?! Без чувства, без совести, без чести, с одной только гордостью, с одним презрением ко всему, что не окружено блеском! Я слишком дорого заплатил, чтобы знать это и чтобы говорить так, как я говорю теперь, — мне всю жизнь испортили, мне душу отравили!..

Последняя краска сбежала с лица Рено. Бледный как полотно, с сверкающими глазами, он схватился за сердце.

— Я знаю, о чем вы говорите, — сказал Сергей, — я помню печальную историю вашей любви, которую вы мне поверили два года тому назад. Я потом много об этом думал, ужасно жалел вас и ужасно негодовал на ту женщину, которая так вас оскорбляла. Но неужели потому, что она была виновата перед вами, виноват целый класс, к которому она принадлежала. Вы встретились с существом испорченным, бездушным и грубым; оно не

оценило любовь вашу, не полюбило вас истинной любовью. И ведь это совсем случайно, что вы встретили ее в высшем обществе, вы могли встретить такое же существо всюду — и во дворце, и в избе. Как не хотите вы понять, что если бы женщина вас действительно полюбила, полюбила бы настоящею любовью, то будь она хоть герцогиня, а вы простой рабочий — она не стала бы задумываться над разницей общественного положения, она была бы ваша. Эта графиня, я хорошо помню ваш рассказ, была несравненно ниже вас в умственном и нравственном отношении, она не могла подняться до вас, и если вы до нее унизились, то это скорей вина ваша — а вы вот вините целое общество!..

— Все они такие, все! — с ненавистью в голосе закричал Рено, — и каждый, кто не принадлежит к этой касте и соприкасается с нею, уходит оскорбленный униженный, оплеванный... Но зачем мы говорим все это, вы меня не убедите, а я вас и не хочу убеждать. Я вам говорил, я вам говорил, что разошлись наши дороги! Оставьте же меня!.. Вы знаете, что я люблю вас. Если вам нужна моя помощь, при-

зовите, и я буду защищать вас до последней капли крови, но пока вам не грозит опасность, пока я вам не нужен — оставьте меня!..

— Рено, еще одно слово. Из такой ненависти ничего хорошего никогда не выйдет. Вся неправда, все зло теперешней жизни должны мало-помалу сами уничтожиться с помощью просвещения; оно сблизит, сроднит людей всех классов, и сами собой рухнут предрассудки. Стараться о том, чтобы это счастливое время пришло как можно скорее, работать для этого — вот задача, достойная истинно просвещенного и благородного человека! Вспомните, ведь мы так ее с вами и понимали, ведь я повторяю теперь ваши же уроки.. Рено, вы исполнили эту задачу, вы сделали для меня многое, вы уничтожили во мне столько предрассудков, вы знаете, есть ли во мне презрение к людям не моего общества.. Если я встречаю образованного и нравственного развитого человека, будь он хоть ремесленник, будь он кто угодно, я считаю его себе равным. Я вижу только одну разницу между мною и этим человеком: я знаю своих предков, а он своих не знает. Тут, действительно,

есть разница — мое происхождение заставляет меня любить доблести моих предков и стыдиться их пороков, потому я обязан всячески подражать этим доблестям и загладить в лице своем эти родовые пороки. Вот к чему обязывает меня мое происхождение — и в этом, надеюсь, нет ни для кого обиды. Вы же сами научили меня таким взглядам, эти взгляды должны сделаться общими, но только не путем насилия...

Он не договорил. Он ясно увидел, что Рено его не слушает и не понимает слов его.

Снова поблизости раздались неистовые крики.

— Пустите меня, пустите и уходите поскорее отсюда! — прошептал Рено и исчез между кустами.

Сергей кинулся к выходу из сада Пале-Рояля, но вдруг кто-то положил ему на плечо руку. Он оглянулся и узнал Сент-Альмэ.

— И вы здесь?! — проговорил Сергей, все еще полный впечатлений беседы с Рено, взволнованный и негодующий. — И вы тоже находите, что чаша народных бедствий переполнена и что поэтому нужно превратить на-

род в палачей?!

Сент-Альмэ улыбнулся.

— Я сейчас встретил вашего ментора, — сказал он, — он имеет вид сумасшедшего — пробежал мимо меня, крикнул, что вы здесь, в этой аллее и чтобы я вас вывел из Пале-Рояля. Пойдемте, я понимаю слова ваши и насколько на них не обижаюсь. Теперь у нас такие времена, что люди то и дело теряют рассудок. Отчего же бы вам было и меня не почесть сумасшедшим; но только вы ошиблись — я здесь затем же, зачем, вероятно, и вы. Я пришел взглянуть на это зрелище, которое ничто иное, как первый акт мировой трагедии. Может быть, помните — я хвастался перед вами, что засел в свою берлогу и не выйду из нее, пока не вытащат силой, — так ведь и положил себе, а вот и не стерпел, приехал в этот проклятый Париж посмотреть, что здесь делается, узнать, скоро ли мне ждать гостей, которые придут за моею рухлядью и за моею головою... Теперь, должно быть, скоро! — совершенно серьезно и с видимым убеждением прибавил он.

Они спешно вышли из сада и подходили к

одному из пассажиров. Сергей заметил, что народу гораздо меньше, крики тоже почти утихли. Мужчины и женщины, обгоняя друг друга, спешили к выходу из пассажа.

— Притихли немного, — прошептал Сент-Альмэ, — да ведь это на несколько минут только, теперь их настроили в «Hotel de Ville». Сегодня, видите ли, у них торжество женщин, решено, что в этих беспорядках будут действовать женщины; расчет верный — в мужчин скорее бы стрелять стали, а в этих не решатся. Теперь вот несколько сотен мегер ворвутся в «Hotel de Ville», и можно себе представить, что там будет. Я так полагаю, что сегодняшней день кончится чем-нибудь решительным — эти господа знают, что делают.

В это время с ними поравнялся худощавый, довольно высокого роста молодой человек. Он пристально взглянул на них своими блестящими, впалыми глазами, насмешливо и горделиво усмехнулся и прошел дальше. Обгонявшие его мужчины и женщины почти-тельно ему кланялись.

— Вы не знаете, кто это? — спросил Сергей Сент-Альмэ.

— Как не знать, это именно один из «этих господ», да еще самый влиятельный. Он знает два-три театральные приема и всегда успешно действует ими на толпу — это Дэмулен.

— И вы говорите, что этот человек имеет большое влияние?

— Еще бы, конечно. Я знаю, что он хвалится, и не без основания, что французская революция и новая эра, как они ее называют, обязана ему всем. Этот Дэмулен, Лустало, Бриссо и Марат — вот властители Парижа, распоряжающиеся судьбами Франции, и в этом заключается злая ирония судьбы. Я имел случай знать всех этих лиц до того времени, как они начали свою блистательную карьеру. Я смотрю на все это со стороны, хладнокровно — вы можете поверить словам моим. Я сейчас скажу вам, кто эти люди, эти вожди народа. Несколько месяцев тому назад Дэмулен был адвокатом без всякой практики — он доказал свою неспособность, незнание законов и тщетно искал себе дела. Он жил в крошечной комнатке весь в долгу. Вот он теперь не узнает меня, а ведь он и мне должен, впрочем, когда я давал ему двести франков, я и не

рассчитывал их получить когда-нибудь обратно. Он жил только на те незначительные суммы, которые изредка высылал ему старик-отец. Лустало был совершенно оборванцем; я помню, что он тщетно искал какого-нибудь служебного местечка и потом его пристроили куда-то с несколькими сотнями франков жалованья. Бриссо старался пристроиться к какой-нибудь газетке, которая помещала бы тот вздор, какой он кропал, но ему постоянно возвращали его рукописи. Знаменитее всех их был Марат — он считал себя писателем, ученым, философом. Но как писатель он жестоко освистан, как ученый он был уличен в шарлатанстве — физик Шарль доказал это. В качестве философа он нес такую ахинею, что совестно было слушать. И знаете ли, чем он завершил свою карьеру? Он поступил помощником младшего ветеринара конюшен графа д'Артуа. Ну, а теперь все они всемогущи, все они гении...

— Я не знал этих подробностей, — печально сказал Сергей, — но с меня достаточно утренних листков, газеток — ведь в них ни одного талантливое и искреннее слова!

— Еще бы, — перебил Сент-Альмэ, — что же такие люди могут сказать?! Но дело в том, что от них и не требуется ни ума, ни таланта, ни убеждений. Им не нужно ничего доказывать, они всходят на свою трибуну и кричат: «Народ!..»

— Народ! — перебил Сергей. — Ведь тут фальшь в самом начале!

— Еще бы, но эта пьяная толпа, окружающая трибуну, считает себя народом и ораторы кричат: «Народ! Ваши враги — двор и аристократы! Ваше послушное орудие — городской совет и Национальное собрание! Вы должны не церемониться с врагами, уничтожить их, перевешать! Вы должны заставить Национальное собрание и городской совет беспрекословно вас слушаться! — вот их программа и они, конечно, проведут ее! И какое торжество для этих помощников младшего ветеринара, для освистанных писак, бездарных адвокатов, оборвышей! Они теперь выместят все обиды своего самолюбия на том обществе, которое их не оценило. О, оскорбленное самолюбие — это самая страшная вещь! Человек простит все, кроме обиды своему самолюбию.

Бездарность, оскорбленная в своем самолюбии, — это именно то ядовитое существо, которое высылает ад в подобные времена, какие мы переживаем. Так было всегда, так всегда и будет... Нет, я довольно навидался, я начинаю волноваться — пора мне в свою берлогу, сегодня же уеду»..

— Вот мы и вышли из омута, — прибавил он, оглядываясь, — и теперь я прощусь с вами.

Сергей молча, крепко сжал его руку и поспешил к себе, на бульвар Магдалины, чтобы захватить Моську и ехать в Версаль.

Пораженный виденным и слышанным, глубоко опечаленный встречей с Рено, он даже почти забыл о себе, о своей герцогине, о том, что пропустил много времени.

Скорее же теперь в Версаль, скорей!

В его воображении мелькал соблазнительный образ Марии. Страстное мучительное чувство закипало в нем. Но и среди этого чувства, рядом с милым образом то и дело вставал другой образ, вспоминалось бледное, искаженное злобой лицо Рено.

«Бездарности, оскорбленные в своем само-

любии! — шептал он, — и, может быть, море крови... И это Рено, Рено!»

Прежний Рено, прежняя жизнь, Горбатовское, Таня — все вдруг представилось далеким сном. Но теперь — разве это жизнь? Это опять новый сон, томительный и ужасный.

VII. КОРОЛЕВА

Сплошная серая мгла покрывала небо, нигде не замечалось светлой полосы, которая обещала бы скорый конец ненастью. Сильный дождик, шедший всю ночь и утро, несколько утих; моросило мелкими, частыми, едва видными каплями, тонкой сероватой дымкой заволакивавшими все предметы. Ни малейшего дуновения ветра; в воздухе духота. Недвижно, уныло стоят пожелтевшие деревья и только время от времени роняют сухие листья.

Небольшое озеро дремлет — не шелохнется, будто замерли на его поверхности белые лебеди, так что издали и не разобрать — лебеди ли то, или их изваяния. По берегам озера сквозь поредевшие ветви деревьев, виднеются во мгле маленький швейцарский домик,

башенка самой капризной постройки, дальше — небольшое двухэтажное здание с террасой, спускающейся к широкой лужайке, посреди которой расположены красивые цветники и фонтан, ряд стриженных померанцевых деревьев в огромных зеленых кадках.

Это небольшое двухэтажное здание — Малый Трианон. Эти цветники, это озеро, швейцарская хижинка, башенка — любимый уголок королевы Марии-Антуанетты. Все здесь так просто, так непохоже на величественную роскошь королевского замка и парка. Здесь веет тихой интимной жизнью, деревенским уединением. Еще не очень давно здесь радостно и приветливо сияло солнце, и под его лучами кипела радостная жизнь, под каждым деревом, под каждым кустиком слышался веселый смех, беззаботные шутки.

В каждую свободную минуту стремилась сюда королева с самыми близкими ей людьми. Этикет двора, скука и чопорность сюда не смели появляться. При входе в Малый Трианон мгновенно, как по волшебству, забывались все заботы и работы. В миг один происходила всеобщая метаморфоза: короле-

ва и ее дамы превращались в пастушек, чопорные франты Версаля превращались в артистов. Здесь царил один только закон, и ему все должны были строго подчиняться. Закон этот гласил: «Отдыхать, забавляться, быть как можно ближе к природе».

Попасть в заколдованный круг Малого Трианона было заветной мечтою всякого придворного; но эта мечта осуществлялась довольно трудно.

Там, в королевском замке, Мария-Антуанетта была любезной хозяйкой со всеми, там она умела подавлять в себе нерасположение к тем или другим людям, но здесь, в своем заветном уголке, она хотела быть окруженной только истинными друзьями, людьми близкими и дорогими ее сердцу.

И много быстрых, веселых часов протекло под тенью этих деревьев. Все это было еще так недавно. Но вот уже больше года опустел Малый Трианон, и только изредка показывается в нем Мария-Антуанетта, и все короче ее посещения. Трианон потерял для нее прежнюю прелесть. Трианон казался ей прежде живым, милым существом, с радостной свет-

лой душою, которая всегда готова была пригреть и озарить ее тихим счастьем. Но эта душа теперь отлетела. Трианон мертв и сумрачен, будто злобная рука волшебника легла на него и превратила его в труп, будто чары старой сказки пронеслись над ним, и он потерял всю свою прежнюю прелесть. Тоскою, невыносимой, давящей, бесконечной тоскою дышит от этого серого неба, от этих мелких морозящих капель, застилающих предметы своей дымкой, от этих вянущих деревьев!.. Все неподвижно, все туманно, все холодно. Кругом ни звука; мокрые, желтые листья покрывают извилистые дорожки, ни птица не встрепенется, ни сонный лебедь не шевельнет крылом.

Но вот в тихой аллее раздается далекий шорох. По направлению к швейцарскому домику медленно движется будто привидение какая-то фигура — это высокая, стройная женщина, вся окутанная длинным черным плащом. Вот она вышла из аллеи, остановилась у берега озера и смотрит неподвижным взглядом перед собою. Из-под мягких складок накинутаго на голову черного капюшона обри-

совывается прекрасное, будто высеченное из мрамора еще молодое лицо: чудные, небесного цвета глаза, тонкий орлиный нос, несколько удлиненный подбородок. Это лицо поражает своей величавой прелестью, оно почти безукоризненно красиво. Есть в нем только одна черта, которая нарушает общую гармонию — нижняя губа прелестного рта немного выступает вперед. Но этот недостаток мгновенно забывается, к тому же он придает особенный характер лицу, придает нечто горделивое, царственное. Это родовая черта, переходящая от поколения к поколению в цесарском австрийском доме Габсбургов.

Эта величественная женщина, неподвижно стоящая у озера, — дочь Марии-Терезии, королева Мария-Антуанетта.

Да, это она, но кто бы мог узнать ее теперь в это осеннее ненастное утро! Кажется, это только тень ее, призрак. Да и сама она не узнает себя, не узнает окружающего... Полная тоски и горя, полная невыносимой муки и предчувствия, после бессонной страшной ночи королева не в силах была больше владеть собою, незаметно покинула роскошные залы

Версальского замка и еще раз навестила свой Трианон, чтобы здесь, в тишине и уединении, выплакать все свои слезы, передумать все свои думы. Она ждала, она надеялась найти в этом милом ее сердцу уголке хоть одну только, последнюю каплю прежней сладости. Ей хотелось, безумно хотелось хоть на миг уйти от страшной, измучившей ее жизни в мир милых воспоминаний, пережить их снова, отдохнуть, забыться. Ей хотелось взглянуть еще раз на милое озеро, на швейцарский домик, на любимые деревья, на белых лебедей...

Все это перед нею — но, Боже, какая мука!.. Разве это то, что было? Сама она — призрак прошлого, и все, что ее окружает, тоже призрак прошлого. И эти бледные призраки только еще яснее, еще томительнее говорят ей о ее горе, о том, что прежняя жизнь прошла и никогда уже больше не вернется.

Как все холодно, серо и туманно, как неприветно! Слезы душат королеву — хоть бы заплакать, но слезы душат — и не выливаются...

И вдруг ей начинает казаться, что вся эта

счастливая жизнь, которая изжилась здесь, была тоже призраком, что все эти светлые дни только пригрезились. Ведь если б они были действительностью, то вот теперь, когда она не спит, не грезит, они показались бы ей возможными, ведь хоть что-нибудь здесь указало бы на то, что они были. Но она знает, знает всем существом своим, что эти дни никогда не вернуться, от них и следов не осталось. Были ли же они — или их совсем не было? Как прошла вся эта жизнь, куда все делось, за что, зачем такие муки, такие терзания, за что наказание, за какие грехи, за какое преступление?!

Королева подняла свои голубые глаза к небу, но небо было беспросветно, безучастно, и она снова опустила глаза, опустила голову и пошла по тихому берегу. И за нею двинулись, обступая ее со всех сторон, давя ей сердце, темные призраки, тени прошлого, предчувствие грядущих бед и мучений. И мучительнее, и страшнее, невыносимее всех этих призраков стояла над нею страшная, гигантская тень и охватывала ее своими невидимыми руками. Эта тень была таинственная, непо-

нютная судьба ее, которая склонилась над ее младенческой колыбелью и с тех пор не покидала ее никогда и в самые светлые минуты ее жизни грозила ей и пророчила несчастье.

И тем страннее была эта судьба, что представляла, по-видимому, такую противоположность с тем, что должно было встретить в жизни эту женщину. Ведь жизнь осыпала ее всеми своими дарами. Она родилась любимым ребенком императорского австрийского семейства. Но судьба подстерегла даже и минуту ее рождения — она родилась 2 ноября 1755 года, в печальный день «повиновения мертвых». Страшным годом был год ее рождения — земля колебалась, ужасные землетрясения разрушили почти целые города в Европе, Америке и Африке.

Непреодолимое предчувствие относительно роковой судьбы дочери постоянно преследовало ее отца. С обожанием глядя на красавицу-девочку, он часто задумывался и едва удерживал слезы. Он не раз говорил, что почему-то боится за ее будущее. Ей было десять лет, когда он должен был уехать из Вены в Инсбрук, где в это время торжественно совер-

шалось бракосочетание эрцгерцога Иосифа с испанской инфантой Марией-Луизой. Император уже значительно отъехал от Шенбруна — своей резиденции, как вдруг велел остановить карету:

— Скорее вернитесь в замок и привезите эрцгерцогиню Антуанетту, — сказал он лицам своей свиты, — я должен еще раз ее увидеть.

Девочку привезли. Отец бросился к ней, схватил ее на руки, обнимал, целовал, прижимал к своему сердцу, благословлял ее, глядел на нее с выражением глубокой тоски и грусти и едва нашел в себе силы передать ее гувернантке и расстаться с нею. Это было их последнее свидание — император внезапно умер через несколько недель.

Мария-Антуанетта во всю жизнь не могла забыть этой минуты. Она страстно любила отца, и часто вспоминалось ей его лицо, такое нежное, такое грустное. Вспоминалось, как он благословлял ее, как целовал, как не мог расстаться с нею. Вспомнилось ей все это и теперь... голова ее склонилась еще ниже...

«Он предчувствовал весь ужас судьбы мо-

ей!» — прошептали ее бледные губы.

Это печальное воспоминание невольно увлекало ее мысли в далекие годы, и так ярко, ярко все вспоминалось и проходило перед нею. Мелькали одна за другою картины ее детства. Это детство — ведь это было единственно счастливое время ее жизни! Доброго отца не стало, но осталась мать, примерная мать, справедливая и любящая, разумная женщина. Как все было хорошо там, на родине, в милой Вене, в милом Шенбруне. Царственная мать, могущественная императрица Мария-Терезия, была не только императрицей, но и хорошей семьянинкой, она не любила роскоши, и ее простота привлекала к ней всех.

«О, какой добрый наш народ!» — прошептала Мария-Антуанетта, с содроганием вспоминая о другом народе, о котором теперь приходилось думать... «Наш народ действительно любил нас! Как нас всюду встречали. Ведь мы в толпе чувствовали себя окруженными близкими, родными людьми, ведь тысячи крепких рук были всякую минуту готовы защитить нас от всякой опасности; но опасно-

сти тогда не предвиделось... Какая тогда могла быть опасность?!»

И вспомнила бедная королева свои прогулки с матерью и сестрами по окрестностям Шенбруна и Лаксенбурга. Уставшие от долгой ходьбы, проголодавшиеся, они нередко заходили в крестьянскую избушку, чтобы выпить по стакану молока, съесть по куску простого деревенского хлеба, одарить и обласкать хозяев. Вспоминались ей далекие, давно почти забытые друзья, к которым она отправлялась запросто — это были семейства князей Эстергази, Канских, графов Пальфи. В праздничные дни императрица с дочерьми отправлялась на народные гулянья, и ее кучер никогда не смел ехать вперед и заставлять останавливаться извозчиков. Карета императрицы скромно подвигалась в ряду других экипажей. Императрица и эрцгерцогиня раскланивались и улыбались на все стороны, отвечая на восторженные народные приветствия. Мария-Антуанетта приучилась жить заодно с народом, радоваться его радостями, веселиться его весельем. Возвращались они во дворец, и если не было официальных приемов, то их

встречала тихая, семейная обстановка, скромный обед в приятном и умном обществе. К столу императрицы приглашались не только высокопоставленные лица, но и скромные труженики науки и искусства; талант был при дворе лучшей рекомендацией...

В такой обстановке развивались и ум, и способности маленькой Марии-Антуанетты, и незаметно шло время, незаметно превращалась она из ребенка в девушку. И в какую девушку! Она рано привыкла видеть устремленные на нее восторженные и изумленные взгляды. Она выросла высокая и стройная, грациозная, с воздушной поступью. Ее ясные, темно-голубые глаза в минуты материнской нежности Мария-Терезия любила сравнивать с водами Дуная. Каждое утро, когда она расчесывала свои длинные, густые, бледно-пепельного цвета волосы, зеркало улыбалось ей и показывало чудное, овальное личико с высоким горделивым лбом, с орлиным и в то же время нежным профилем, с трогательным и добрым выражением в каждой черте, в каждой мине.

Да, она действительно была добра, и серд-

це ее было открыто для каждого высокого и хорошего чувства. О, как искренне и глубоко страдала она, слыша о чьем-либо несчастье, как мечтала она делать добро насколько только хватит сил и осуществляла эти мечты. Ей вспомнилась одна печальная зима: долгие морозы, снега... голод начался в Вене, народ начинал бедствовать... Как-то утром императрице принесли ведомость, в которой подробно было описано жалкое положение жителей некоторых предместий. Мария-Антуанетта была рядом с матерью. Слушая ужасающие подробности, она горько рыдала, потом выбежала из кабинета императрицы, побежала к себе и вернулась со своей шкатулочкой.

— Здесь пятьдесят пять дукатов, — сквозь рыдания проговорила она, ставя шкатулочку на колени матери, — у меня больше ничего нет... позволь мне раздать это бедным людям!..

Мать позволила и пополнила эти пятьдесят дукатов значительной суммой.

С тех пор узнавать о нуждах венских жителей и помогать им сделалось любимым занятием маленькой эрцгерцогини. Но были и

другие любимые занятия — занятия музыкой, поэзией. А учителями впечатлительной и талантливой девушки были поэт Метастазиио и Моцарт.

Как она помнила эти уроки! Они так и звучат после стольких лет. Перед нею и вдохновенный голос поэта, и чудные звуки бессмертного Моцарта. Какие чувства, какие порывы души поднимали в ней эти звуки! Но не к веселью влекли они, не радостью заставляли биться ее сердце. Ее охватывала сначала тихая сладостная истома, потом какой-то священный ужас. Иногда эти дивные звуки наполняли ее невыразимой тоскою, тени предчувствий поднимались в ее сердце, сразу начинали душить ее. И вся трепетная, испуганная невидимыми призраками, она с рыданиями убегала и пряталась в объятиях матери, будто желая скрыться в этом безопасном убежище от гнавших за нею, наступавших на нее призраков, и долго не могла успокоиться.

Ее все любили, она всем нравилась. Но, едва выйдя из отроческого возраста, она была уже несчастна — судьба, все та же непонятная, страшная судьба стояла над нею и отрав-

ляла ее счастье, ее веселье. Прошло детство, наступила юность, эрцгерцогине исполнилось пятнадцать лет. Она невеста дофина Франции, ей предназначено сиять своей красотой, своими талантами на самом блестящем кресле Европы. На нее обращены все взоры, ее приветствуют всеобщие пожелания долгого и безоблачного счастья. А в глубине ее сердца копошится тоска, нередко приходят минуты томления и долго не уходят. Тяжело расстаться ей с родными местами, с дорогими близкими людьми, с любимой матерью.

Юную эрцгерцогиню провожает вся Вена, расставаясь с нею, многие плачут. Она отгоняет от себя мрачные мысли, старается думать о новой жизни и представляет ее себе лучезарной. Светлые девические грезы, наконец, приходят, на лице ее расцветает улыбка, доверчиво вступает она в свое новое отечество. Она на мгновение даже забывает тоску разлуки, слезы матери, родных, милого народа... Но вот опять тоска, опять предчувствия — и улыбка заменяется слезами...

А в это время грустная Мария-Терезия, показывает портрет дочери известному пред-

сказателю, доктору Гаснеру, и спрашивает его:

— Будет ли счастлива моя Антуанетта?

Гаснер бледнеет и молчит. Императрица повторяет свой вопрос. Предсказатель склоняет голову и грустно отвечает:

— Ваше величество, каждый несет крест свой!..

Мария-Антуанетта во Франции. Ей приготовлена блестящая встреча.

Недалеко от Страсбурга, на Рейне, между двумя мостами воздвигнут великолепный павильон, где должна произойти церемония «передачи». Эрцгерцогиня будет торжественно передана Франции.

Вся огромная зала павильона увешана коврами-гобеленами чудной работы. Но каковы же сюжеты вытканых картин? На них изображены история Язона, Медеи и Креза. Печальные истории, печальные пророчества! Невеста входит в павильон. С французского берега Рейна доносятся звуки стройного пения — это сотни молодых девушек приветствуют ее. Кругом глухо шумят воды Рейна, гудят колокола, раздаются громкие и радост-

ные крики народа, гремят пушечные выстрелы. За нею ее приближенные, ее соотечественники едва сдерживают свои слезы. Она забывает о требованиях этикета и вся в слезах кидается в объятия графини де Ноайль...

И вдруг страшная черная туча заволакивает небо, раздаются удары грома, сверкает молния, Рейн кипит, целые потоки дождя обливают павильон. Все в смятении. Светлая картина изменилась — мрак и ужас, само небо грозит и пророчит беды! Но судьба неумолима — Мария-Антуанетта на земле Франции, и нет ей возврата на тихую родину, к берегам милого Дуная.

Гроза прошла, невеста дофина вступает в Страсбургский собор. Ее встречает духовенство в полном облачении, и впереди всех стоит перед нею молодой прелат, весь залитый золотом и пурпуром.

Она взглянула на его красивое молодое лицо и тотчас же опустила глаза, сердце ее сжалось больно и тревожно — и это опять предчувствие — молодой, блестящий прелат никто иной, как кардинал принц Роган, тот самый Роган, который впоследствии принес ей

столько горя, которому суждено было нанести такие жестокие раны ее самолюбию, ее чувству собственного достоинства, Роган, герой печального и всем известного «дела ожерелья королевы».

Все это невольно через два десятка лет вспоминается теперь Марии-Антуанетте, и она с ужасом видит, как страшная судьба ее постоянно грозила, вещала ей недоброе различными знаменьями. И мысли несчастной королевы несутся дальше.

Вот она и в Версале. Никогда невиданный ею блеск ее встречает. Толпа народа наполняет роскошные сады, готовится великолепная иллюминация, громадный замок принимает ее под свою величественную сень. Сердце пятнадцатилетней красавицы трепещет ожиданием — сейчас она увидит его, человека, который предназначен ей судьбою, с которым через несколько дней она будет связана на всю жизнь. Юный дофин спешит ей навстречу. Она робко вглядывается в его милое добродушное лицо и доверчиво протягивает ему руку. И в ту же минуту опять страшная гроза разражается над самым замком, мол-

нии так и сверкают, оглушительные раскаты грома не прекращаются, дождь льет ливнем, завывает буря, ломает деревья. Толпа народа спешит скорее прочь из садов, приготовления к иллюминации поневоле прекращаются...

Но и эта гроза, и эти печальные предзнаменования ничто перед тем, что ожидает ее через несколько дней при въезде в Париж. Столица Франции дает в честь невесты дофина блестящий праздник. Мария-Антуанетта должна въехать в город вечером. Народ, в количестве четырехсот тысяч, собрался для ее встречи. Эту величественную картину озаряют мириады зажженных факелов и костров. Воздух оглашается радостными криками, ночь безоблачна, прекрасна. Горделивая статуя короля на площади Людовика XV озарена ослепительным светом.

Появляется Мария-Антуанетта. О, как она хороша, какое счастье изображается на нежном лице ее! Забыты все сомнения, все предчувствия. Она видит, наконец, эту великолепную столицу, про которую твердили ей с детства, она видит эти сотни тысяч французского народа, который отныне будет ее народом. И

этот народ встречает ее, избранницу своего дофина, свою будущую королеву. И она его тоже любит, и она обещает себе посвятить всю жизнь благу этого народа. Она мечтает о том добре, которое она может для него сделать и, конечно, сделает.

Тихое вечернее небо, усеянное бесчисленными звездами, будто с тихой лаской склоняется над нею, будто слышит ее мечты, надежды и желания и приветствует их своим кротким мерцанием. Прекрасна и счастлива Мария-Антуанетта в своем драгоценном уборе, сверкающем бриллиантами, во всем обаянии свежей, ничем незапятнанной юности. Королевский поезд приближается к Елисейским полям... И вдруг — что это такое? Это уже не крики радости, это совсем другие крики!.. Да, слух не обманывает ее, ей ясно-ясно слышится ужас, отчаяние в этих народных криках. Поезд останавливается, краска сбегает со щек Марии-Антуанетты, и она испуганным голосом спрашивает:

— Ради Бога, что же это такое? Что случилось, какое несчастье?

— Успокойтесь, ваше высочество, — отве-

чают ей окружающие, — успокойтесь!

Но у тех, кто говорит это, лица бледны, голос дрожит.

— Господи! Да что же такое?! Не скрывайте от меня!..

И в невольном порыве она хочет выйти из экипажа и бежать туда, откуда раздаются эти страшные крики. Но ее удерживают — ей, наконец, говорят правду.

Каждому из этих четырехсот тысяч народа хотелось поскорее ее видеть; произошла отчаянная давка, толпа бросилась вперед, наступая друг на друга... И в этом неудержимом порыве все смешалось, костры стали потухать под горами людских тел... Никакие усилия не могли сдержать натиска... Костры потухали, и вместе с ними потухали сотни, тысячи человеческих жизней... Стоны раненых, умирающих, обезображенных ожогами, раздавленных толпою стоят над площадью Людовика XV.

Поезд Марии-Антуанетты поневоле возвращается в Версаль. А что же сама она? Где это мелькнувшее счастье, эта тихая радость? Она заливается горькими слезами, и никто не

в силах ее утешить. Опять гигантская тень непонятной судьбы стоит над нею и шепчет ей, что на этой же площади Людовика XV будут еще и другие жертвы, будет еще и другая, более страшная катастрофа...

Дальше, дальше летят грезы королевы... Вспоминается ей еще другое время.

Она — королева Франции, девятнадцатилетняя королева! Рядом с нею двадцатилетний король, добрый, благородный и любящий... Это почти дети. И в руках этих детей судьбы Франции. Поклонение, тонкая лесть окружают королеву, но она остается все та же. Наконец, она начинает верить в счастье, забывает свои мрачные предчувствия — жизнь дарит ее улыбкой. Светлым праздником проходят годы, незаметно исчезает юность, являются новые радости: королева — мать. Она долго ждала этого счастья и вот дождалась его. Ей нечего желать, не о чем просить судьбу — настоящее светло, будущее кажется еще светлее.

А между тем беды уже надвигаются, и дальновидные люди уже их предвидят. Иосиф II, добрый и любящий брат, пишет Марии-Ан-

туанетте:

«Ты создана, чтобы быть счастливой, добродетельной и совершенной, но пришло уже время, да, пришло уже время серьезно подумать о благоразумной и твердой системе, которую необходимо провести решительно. Ты уже не ребенок — для ребенка могло быть оправданье, для тебя его нет... И что с тобой станется, если ты будешь продолжать медлить? — В таком случае тебя ждет несчастье и как женщину, и как королеву. И ты принесешь глубокое горе тому, кто любит тебя больше всего на свете... Я никогда не примирюсь с мыслью о твоём несчастье. Добудь же себе репутацию, которой достойны твой характер, твои таланты, твои добродетели!..»

Мария-Антуанетта читала и перечитывала искренние и горячие строки любимого брата и видела и чувствовала, что он прав. Но что она могла сделать?! Он требовал невозможного. К несчастью, в ней было мало сходства с ее знаменитой матерью — что было под силу австрийской императрице, то оказалось не по силам королеве Франции. Мария-Антуанетта как супруга твердого и сильного короля была

бы безупречной королевой; но добрый ее король, ее милый муж, при всех нравственных достоинствах, был слаб и требовал ее помощи. Тяжелое бремя управления расшатанным государством должно было сосредоточиться в ее руках — и она тщетно пробовала сдержать своими прекрасными, нежными руками эту тяжелую ношу.

И вот она чувствует теперь, мучительно, всем существом своим чувствует, что эта ноша совсем выпала из рук ее и готова раздавить и ее, и все, что ей дорого... И неоткуда ждать помощи. Мудрой матери нет на свете, она умерла именно в то время, когда ее любовь, ее советы могли бы удержать ее несчастную дочь на краю гибели. Умирая, Мария-Терезия даже не имела возможности проститься со своей любимой дочерью; на смертном одре она заглазно благословила ее и содрогнулась, произнося ее имя...

Но тут, среди этих страшных, томительных воспоминаний, среди этих печальных мыслей ярко, живо мелькнула перед королевой светлая картина. Она вышла из аллеи на свою любимую лужайку, к цветникам Малого

Трианона и уже не замечает сырости, ее пронизывающей, не замечает мелких, частых капель дождя, насквозь смочивших плащ ее, не видит унылого серого неба, помятых цветов, облетевших деревьев...

Ей чудится: над нею раскинулась звездная, летняя ночь; эта милая лужайка, эти цветники озарены бесчисленными огоньками иллюминации, белое здание Трианона сверкает, все залитое светом, разноцветные бенгальские огни вспыхивают в глубине деревьев и превращают эту теплую душистую ночь в волшебную сказку. Тихие звуки музыки плывут неведомо откуда, веселая, беззаботная толпа милых, близких королеве людей окружает ее со всех сторон...

Но вдруг откуда-то издалека, с озера, несутся не то жалобные стоны, не то невыносимо раздирающая душу мелодия. Королева очнулась. Над нею серое небо, увядший цветник, внезапный порыв ветра прошумел над деревьями, и понеслись, закружились желтые листья. А жалобные звуки не умолкают... И ей кажется, что на озере лебеди поют свою странную песню.

Лебеди поют!!! Ведь они поют перед смертью. Королева схватилась за сердце. Ей показалось, что вот сейчас разорвется это бедное сердце, но оно только мучительно, тягостно замирает... А слез все нет!..

— Ваше величество! — раздается над нею испуганный голос.

Кто говорит это, что это такое?

Она подняла глаза — перед ней одна из любимых ее придворных дам герцогиня д'Ориньи, а за нею молодой русский дипломат Сергей Горбатов.

— Что случилось? Ради Бога? — едва находит в себе силы прошептать королева.

— Вот... Он сейчас приехал из Парижа, — говорит герцогиня д'Ориньи, указывая на молодого человека, — приехал, чтобы предупредить вас — толпы черни идут в Версаль.

Королева оставалась неподвижна, с широко раскрытыми глазами.

— Чернь!.. Что ей еще нужно?! — почти беззвучно шептали ее побелевшие губы.

— Да она, конечно, и сама не знает, что ей нужно, — печально сказал Сергей. — Это фанатизированная дикая толпа, состоящая по

большей части из полупьяных, озлобленных женщин... Терять времени невозможно, ваше величество, необходимо тотчас же принять все меры для безопасности замка...

— О, Боже мой, да, конечно... Король... Его нет в Версале, он охотится в Медонском лесу! — проговорила Мария-Антуанетта, внезапно оживляясь.

Ее испуга и слабости как не бывало. Она думала о муже, детях, а при мысли о них она становилась сильной.

— Поспешите... — прибавила она, обращаясь к Сергею.

— Уже несколько человек отправились в Медонский лес, ваше величество, — ответил Сергей, — но у меня тут верховая лошадь, и я сейчас же еду... Может быть, мне удастся скорее встретить его величество.

— Благодарю вас! — со всей своей величественной королевской грацией сказала Мария-Антуанетта и протянула ему руку.

Он склонился к этой прекрасной руке и поспешил к тому месту, где осталась его лошадь.

А королева быстрыми шагами, опираясь

на руку герцогини д'Ориньи, направилась к выходу из Малого Трианона. Но на дороге, у озера, ее остановил посланный от министра внутренних дел, графа Сен-При.

Записка министра не сказала ей ничего нового: он подтверждал известие, привезенное Горбатовым, и просил королеву немедленно вернуться в замок.

Она остановилась на мгновение, окинула быстрым, невыносимо грустным взглядом свое милое озеро, свой швейцарский домик, башенку — все, что она так любила. Она знала, наверное уже знала, что никогда больше сюда не вернется...

И снова все тихо. Беспросветное небо, не унимается осенний дождик, жалобно шелестит по дорожкам, будто поднимаемые невидимыми руками призраков, желтые листья. И чудится — с озера доносятся заунывные, странные звуки лебединой песни.

VIII. КОРОЛЬ

Сквозь дождь и туман, сгущавшийся под древесными ветвями, мчался Сергей по широкой просеке Медонского леса. По временам он останавливал своего лихого скакуна и чутко прислушивался. Но в лесу было тихо — и он снова мчался.

Наконец, недалеко в стороне раздался выстрел; Сергей повернул по направлению этого выстрела и скоро различил вдали человеческую фигуру. Он всмотрелся — слава Богу!

Через минуту он подскакал к охотнику. Перед ним был человек еще молодой, но значительно тучный, в охотничьем костюме, в высоких сапогах, в небольшой, украшенной серым пером шляпе на Голове. Он клал в свой ягдташ только что убитую птицу. Прекрасная охотничья собака стояла возле него, обнюхивая ягдташ, тихо виляя хвостом и глядела в лицо хозяина умными ласковыми глазами.

Сергей остановил своего коня и почтительно снял шляпу. Охотник поднял голову. Сомнений уже не было — это знакомые, добродушные черты короля Франции: бледные,

несколько обвисшие щеки, двойной подбородок, большой горбатый нос, милая тихая улыбка красивого рта с пухлыми губами. Во всей этой немного сутуловатой фигуре не было ничего величественного, ничего гордого и решительного, но от нее так и веяло доброю и искренностью. В простом охотничьем костюме, в утреннем пудер-мантеле, в роскошной церемониальной одежде, сверкающей золотом и бриллиантами, король Людовик был всегда один и тот же. Смущаться в его присутствии, трепетать перед ним — не было никакой возможности, но надо было иметь разве уж совсем черствое сердце, чтобы сразу не почувствовать к нему невольного влечения.

Немного переваливаясь, король сделал несколько шагов к Сергею и изумленно всматривался в него своими бледными, выпуклыми глазами. Наконец, он узнал его.

— Ah, c'est vous, monsieur Gorbatoff!.. D'où venez vous?..

При виде этого милого лица, этой доверчивой улыбки, Сергею стало вдруг тяжело и тоскливо, ему бесконечно жалко сделалось

нарушить своей страшной вестью спокойствие этого человека. Он придумывал, как бы начать осторожнее, но король не дождался его ответа, заговорил, похлопывая своей пухлой рукой по ягдташу.

— А я отлично провел утро, славный денек для охоты — настролял довольно... Вот посмотрите!..

Но ведь нельзя было терять ни секунды, и Сергей проговорил:

— Ваше величество, я послан королевой, вас уже около часа ищут в лесу...

Он соскочил с лошади и рассказал в чем дело. Король опустил глаза и задумался.

— Ах, Боже мой, — тихо произнес он, — как все это горько!.. Опять недоразумения, я уверен, что это только недоразумения, но когда же будет конец этому?!

Вдали раздался лошадиный топот.

— Нет, ваше величество, здесь больше чем недоразумение! — сказал Сергей.

Невольная досада звучала в его голосе: он видел, что даже его известие принято королем с обычным спокойствием, с обычной апатией. Он ясно понимал, что это спокойствие,

эта апатия — самое ужасное, что только может быть в такие минуты.

Лошадиный топот приближался, какой-то всадник во весь опор мчался им навстречу.

— Ваше величество, спешите в замок, ради Бога, я обскакал весь лес, ища вас!.. Бунтующие толпы народа наводняют Версаль...

Лицо всадника было испуганно, бледно и покрыто потом, он задыхался от усталости и волнения.

— Благодарю вас, любезный де Кюбьер, — по-прежнему спокойным голосом сказал король, — только вы ошибаетесь, говоря, что народ наводняет Версаль — какой это народ?! Это парижская чернь... Не смешивайте ее с моим народом!

— Государь, каждая минута дорога, берите мою лошадь... Спешите...

— Успокойтесь, — с ласковой улыбкой сказал король, — Бог даст и на своей поспею.

Он поднес к губам охотничий рожок и протрубил.

— Тут неподалеку мой конюх... Услышит, — прибавил он.

Конюх, действительно, услышал. Минут

через пять, показавшихся очень долгими и Сергею и де Кюбьеру, он подскакал с королевской лошастью.

Король своей неспешной, развалистой походкой подошел к лошади и занес ногу в стремя. Никто не заметил, как в это время подъехал еще один всадник — это был офицер королевской стражи.

— Государь, — заговорил он, — тут ошибка... Вас обманывают, никакого бунта, ничего подобного нет... В Версале собрались только бедные, отрепанные женщины с парижских улиц. Они говорят, что пришли просить хлеба... Умоляю ваше величество не пугаться!..

Король выпустил ногу из стремени, обернулся и смерил офицера изумленным и строгим взглядом. Он вдруг будто вырос, никогда еще не виданная Сергеем, черта мелькнула на лице его.

— Милостивый государь, — сказал он, — вы просите меня не пугаться!.. Но я не боялся еще ни разу в жизни!

Затем он медленно, с помощью конюха сел на лошадь и выехал галопом на широкую просеку, ведущую из Медонского леса к Вер-

сальскому замку. Сергей, де Кюбьер и конюх следовали за ним в некотором отдалении; позади всех ехал офицер, желавший успокоить короля и невольно его оскорбивший. Он был очень смущен.

Сам же король продолжал казаться совсем спокойным, даже несколько раз ласково обращался к бежавшей рядом с его лошадью своей любимой собаке. Он имел вид человека, возвращающегося с удачной охоты...

Между тем в замке уже собрались министры и совещались относительно мер, которые необходимо принять, не теряя времени. Они с нетерпением ожидали короля. И король, все в том же охотничьем костюме, в высоких загрязненных сапогах, вошел к ним, любезно протянул каждому руку и с видимым удовольствием опустился в покойное кресло. Он устал после нескольких часов охоты в лесу, после верховой езды в это ненастное утро, а здесь было так тепло и уютно.

Он вытянул на пушистом ковре свои усталые ноги, поднял бледные тихие глаза на присутствовавших и, тяжело переводя дыхание, но спокойным голосом, спросил:

— Какие же новости, господа? Что там делается и что вы полагаете предпринять?

Все были сильно взволнованны, появление короля только что прекратило горячий спор. Больше всех горячился министр внутренних дел, граф де Сен-При, спокойнее всех казался старик Неккер. Но и на его почтеном, несколько холодном лице лежал отпечаток грусти.

— Плохие новости, — живо заговорил де Сен-При, — несметные толпы женщин, предводительствуемые этим мошенником Мальяром, который был одним из главных заводчиков при взятии Бастилии, наводнили l'avenue de Paris. Все это рыночные торговки, ремесленницы, наконец, женщины дурного поведения... И притом тут самый возмутительный маскарад — много мужчин, переодетых в женское платье, вымазанных румянами и белилами... Вся эта безобразная толпа кинулась к Национальному Собранию. Мальяр и пятнадцать женщин ворвались в залу заседаний. В первые минуты они вели себя очень прилично, женщины молчали, Мальяр объявил, что в Париже крайний недостаток хлеба и что

этому необходимо пособить во что бы то ни стало... Но его слова были прерваны отчаянным шумом, двери были почти сломаны, дикая толпа ворвалась в залу, на трибунах, на скамьях депутатов, всюду разместились грязные, оборванные женщины. Скоро поднялись крики, ругательства, депутаты не могли вымолвить ни слова, их прерывали бранью, угрозами; депутатам «левой» аплодировали. Теперь сам Бог знает что происходит, и, вдобавок, эта первая толпа ничто иное, как авангард... Из Парижа прибывает все больше и больше народу...

Король опустил голову и задумался.

— Что же теперь делать? Что вы решили?

— Я нахожу необходимым, — горячо заговорил де Сен-При, — укрепить Севрский мост, а затем надо сейчас же собрать все имеющееся у нас войско, на верность которого можно рассчитывать; во главе этого войска, ваше величество, выступите против парижан и сдержите их. По моему мнению, вот единственное, что можно теперь сделать...

Король тихо качнул головой и взглянул на Неккера.

— Вы того же мнения? — спросил он.

— Нет, я никаким образом не могу согласиться с таким планом, — ответил Неккер. — Обнажать теперь шпагу, открыть военные действия, — это, и я совершенно в том убежден, значит, начать междоусобную войну.

— Боже мой, — вскричал в волнении де Сен-При, — но ведь если правительство не покажет твердости и вступит в объяснения с мятежниками, то они сейчас же поймут, что их боятся, что они могут безнаказанно делать что им угодно, и тогда конца не будет их притязаниям!..

В это время дверь залы отворилась, и быстро вошел принц Люксембург — капитан королевской стражи.

— Ваше величество, — сказал он, — нет никакой возможности унять эту расходившуюся пьяную толпу — это не женщины, это мегеры! Беспорядок полный, они не выходят из Национального Собраниа и кричат, что ворвутся в замок. Прикажете употребить военную силу!..

Король поднялся с места и пожал плечами.
— Ах, Боже мой! — сказал он. — Вы хотите,

чтобы я приказал начать военные действия против женщин?! Война с женщинами! Перестаньте шутить, пожалуйста!..

Принц Люксембург, смущенный, вышел из залы; но, несмотря на ответ короля, он отдал необходимые приказания, чтобы защищать все входы в замок и никого не пропускать...

А в это время толпа прибывает с каждой минутой и наполняет l'avenue de Paris.

Пьяные крики, отвратительные ругательства стоят в воздухе, облака сгустились, все небо приняло темно-свинцовый оттенок, и снова полил дождь, еще более раздражая голодную, плохо одетую толпу. На площади d'Armes, перед замком выстроился Фландрский полк. Из толпы парижанок выделяются самые красивые, молодые; они снуют между солдатами, заигрывают с ними, любезничают...

Между этими женщинами особенно обращает на себя внимание одна — высокая, стройная, красивая, с вызывающим нахальным лицом. Она закутана в ярко-красный плащ. Это известная всему Парижу куртизанка Терауан де Мерикур. Ее плащ мелькает то

там, то здесь. Она раздает солдатам деньги...

— Берите, берите, голубчики! — смеясь, говорит солдатам эта красавица. — Деньги хорошая вещь... всегда пригодятся... Ну, чего вы тут спите, чего ждете? То ли дело у нас, в Пале-Рояле? — Милости просим, будете дорогими гостями, попируем на славу... и вина у нас вдоволь, и денег сколько угодно... а у вашего короля денег давно и в помине нету!..

Солдаты, сначала не очень-то обращавшие внимание на этих женщин и даже выталкивавшие их из рядов своих, мало-помалу начинают отвечать на их шутки и, в свою очередь, заигрывают с ними. Они принимают деньги, тот там, то здесь раздается смех. И вслед за этим смехом, за нескромными шутками все чаще и чаще повторяется почему-то одно имя — имя герцога Филиппа Орлеанского...

Пройдет еще час, другой, и Фландрский полк будет плохой защитой королю Франции — на него знали, чем подействовать, чем развратить его...

Между тем президент Мунье выходит из Национального Собрания, окруженный женщинами.

— Laissez passer la deputation des parisiennes!.. Депутация к королю! — кричит он своим звонким голосом.

Их пропускают, они подходят к замку, но за ними рвется толпа. Мунье объясняется у ворот с офицером стражи и требует пропуска. Неистовые крики оглашают воздух. Сотни женщин, а затем уже и мужчины, подоспевшие из Парижа, селятся взобраться на высокую чугунную решетку и хоть этим путем ворваться в замок. Но это невозможно, решетка чересчур высока, а за нею то там, то здесь вооруженные королевские стражники.

Мунье, подавляя в себе бешенство и стараясь казаться спокойным, тщетно старается успокоить толпу и просит, чтобы королю доложили о депутации парижанок.

Принц Люксембург снова входит в залу, где заседают министры и где идет горячий спор между Неккером и де Сен-При, мнение которого теперь уже разделяют почти все остальные министры. Но король поддерживает Неккера...

Люксембург доложил о депутации.

— А! Депутация, — вдруг оживляясь, про-

изнес король, — они хотят говорить со мною... Что ж, я готов их выслушать — и увидите, господа, что все это хорошо кончится, тут недоразумение, очевидно, недоразумение, и я разъясню его... Впустите депутацию, любезный Люксембург, и проведите ко мне этих женщин...

Из залы заседания все переходят в соседнюю комнату — это спальня короля. Но здесь нет ничего интимного, спокойного, укромного, одним словом, того, что бывает в спальне всякого человека. Королевская спальня — это самая официальная комната во дворце. Правда, здесь стоит роскошная кровать под пышным балдахином с затканными на нем лилиями Бурбонов, правда, ночью, когда король покоится на этой кровати, он один. Но едва наступает утро, в назначенный час, в назначенную минуту, эту кровать уже окружают придворные, которым разрешено присутствовать при королевском одевании. Эта великая честь принадлежит только самым высокопоставленным лицам, принцам и герцогам королевской крови. В этой же комнате часто происходят приемы, в ней круглый день дви-

жение, и прекращается оно только тогда, когда с обычной, строго исполняемой церемонией короля разденут и пожелают ему спокойной ночи...

Король вошел в свою спальню, окруженный министрами, и стал спокойно, хотя несколько задумчиво, дожидаться странной депутации.

Дождаться пришлось недолго; через несколько минут двери отворились, и пять женщин показали на пороге. В первый раз с самого основания Версаля подобные странные фигуры появились в этой комнате. Пять парижанок, пять уличных женщин, растрепанных, в беспорядочной одежде, загрязненных и насквозь промоченных дождем, стояли на том самом месте, на котором остановиться представлялось недостижимой мечтой для сотен и тысяч блестящих придворных. Среди этих женщин была одна только некрасивая и пожилая — остальные обращали на себя внимание своей молодостью и даже красотой. Но теперь эти молодые красивые лица потеряли свою привлекательность, их черты были искажены волнением, почти бешенством, и

большой усталостью.

Войдя в великолепную, сверкавшую роскошью королевскую опочивальню и увидя перед собою тучную, добродушную фигуру короля, которая была хорошо известна каждому парижанину и каждой парижанке, женщины остановились как вкопанные. Все они еще сейчас, проходя по коридорам Версальского замка, хорохорились и кричали, они готовились «потолковать с королем по-своему», а тут вдруг почувствовали, что язык не слушается, зубы стучат, только уже не от холода, колени так и подгибаются.

Министры стояли молча и печально глядели на эту странную сцену. Они, видимо, страдали за короля; но сам король вовсе не страдал. Он сделал несколько шагов вперед и, обращаясь к женщинам, ласково спросил их:

— Чего вам нужно, мои милые, чем я могу помочь вам?

Гробовое молчание было ответом на этот вопрос.

Эти женщины, самые бойкие из уличных женщин Парижа, известные, уже прославившиеся крикуньи и зачинщицы всяких беспорядков,

рядков, не смущавшиеся ни перед чем, на всякий крик, на всякую брань отвечавшие удесуренным криком и бранью, теперь, при добродушном вопросе короля, молчали... А ведь они еще за несколько минут перед тем грозили этому королю, издевались...

— Что же вы молчите? — повторил Людовик еще ласковее, еще спокойнее. — Пожалуйста, не бойтесь, говорите откровенно, если я могу помочь вам — я сделаю это с большим удовольствием...

Женщины все молчали, они переминались с ноги на ногу, не зная куда девать руки. Лица их горели краской стыда и смущения, глаза у всех были опущены: они не смели взглянуть на короля.

Наконец, одна из них выступила вперед. Это была еще совсем молоденькая девушка, лет семнадцати, красивая, свежая, задорная — ее имя было Магдалина Шабри, но все ее почему-то звали Lousion.

Она занималась продажей букетов в Пале-Рояле и уже научилась продавать вместе с этими букетами и свои улыбки, свои ласки.

Lousion пользовалась большою известно-

стью между постоянными посетителями Пале-Рояля. Она была так молода, так красива и в то же время так весела, остроумна; у нее всегда готова была смелая шутка, ее звонкий смех звучал так зажигательно...

С самого детства привыкнув к беспорядочной, уличной жизни, она не знала, что такое значит стыд и смущение, она никогда ни над чем не задумывалась, жила день за днем, стараясь только как можно больше веселиться. В детстве она прошла тяжелую школу нищеты, выносила немало колотушек от какой-то старой тетки, в конуре которой жила, исполняя самую черную работу.

Не раз голодная и холодная, она ночевала на парижских улицах. Она рано была продана отвратительной пьяной теткой и теперь даже не помнила, каким образом это случилось. Она никогда не слыхала ни о грехе, ни о Боге...

Грязь, нищета, голод, холод и разврат с детства рано подкосили и убили многих, подобных ей, жалких созданий, с которыми она встречалась среди уличной жизни, но Lousion обладала выносливой, могучей натурой.

Несмотря на все ужасы своего детства и отрочества, она выросла и развилась в сильную и красивую женщину, и теперь, в два-три последние года, совсем позабыла о своем бедственном детстве...

Она считала себя счастливой: жилось привольно, за нею гонялась толпа мужчин, охотно исполнявших ее незатейливые прихоти — большого ей было не нужно. Она никого не любила, она составила себе о всех людях самое дурное мнение. С тех пор как начались беспорядки и волнения на парижских улицах, она нашла для себя подходящую арену; ей нравился шум, крики, угрозы и проклятия.

Все эти роскошные дамы, эти гордые франты, которым теперь можно грозить, которых можно проклинать, не стесняясь, — разве они заслуживают чего-нибудь другого, разве они всю жизнь не обрызгивали ее грязью, мчась мимо нее в своих блестящих экипажах?! Разве, покачиваясь на эластичных, атласных подушках, они не глядели на нее с презрением, на нее — несчастную, оборванную, голодную девчонку?! А чем же она хуже их, этих нарядных дам! Она красивее, гораздо красивее мно-

гих из них! Ну, и вот она сама имеет право презирать их и грозить им.

Louison выступила вперед, гордо подняла голову и впилась в короля блестящими, вызывающими глазами.

«Король! — подумала она. — Ну что ж такое, что король?! Вот он спит на золоте, а я спала на грязных камнях... пускай же он мне теперь ответит!.. Только зачем он так глядит, что становится неловко?!»

Но она поборола эту неловкость.

— В Париже хлеба нет, вот что! — почти закричала она своим звонким голосом. — Бедные люди скоро умирать будут с голода, много детей уже и умерло... Дайте нам хлеба, дайте нам хлеба!!! — повторяла она почти задыхаясь от внезапного прилива бешенства.

Король сделал к ней несколько шагов, тихо положил ей на плечо руку и, глубоко вздохнув, проговорил:

— Боже мой, неужели это правда?! Я никак не предполагал... благодарю вас, что вы пришли мне сказать об этом... Но вы должны знать мое сердце... Я немедленно же прикажу собрать и доставить в Париж весь хлеб, кото-

рый можно получить.

Король замолчал, на глазах его показались слезы. Он продолжал держать руку на плече Lousion и вдруг почувствовал, что Lousion начинает дрожать всем телом. Эта красивая, смелая девушка, говорившая с ним так резко, глядевшая на него таким дерзким вызывающим взглядом, и теперь смотрела на него не отрываясь. Но в одно мгновение все лицо ее преобразилось, ее раскрасневшиеся щеки побледнели, что-то жалкое, детское изумленно, страшно изумленно мелькнуло в глазах ее, и вдруг она слабо вскрикнула и без чувств упала на пол.

Остальные женщины кинулись к ней, но никак не могли привести ее в чувство. Король поспешил к своему туалетному столу, схватил флакон с английской солью, сам склонился над бесчувственной девушкой.

— Вина, скорее вина! — приказывал он в волнении.

Через несколько минут с помощью английской соли и глотка вина Lousion пришла в себя. Ее подняли, она дико озиралась по сторонам и, увидя короля, горько зарыдала.

Людовик поднял ее голову и нежно поцеловал ее.

Но эта новая доброта, эта новая ласка короля заставила еще обильнее литься ее слезы. Она упала перед королем на колени, ловила и целовала его руку. Остальные женщины последовали ее примеру.

— Встаньте, успокойтесь, — говорил Людовик, — пойдите и скажите всем пришедшим с вами из Парижа, что я немедленно же распоряжусь и что хлеб у вас будет.

Женщины вышли из королевской спальни с громкими криками:

«Да здравствует король!!»

И этот крик слышался еще долго.

Когда их вывели из замка на площадь, их обступили со всех сторон.

— Ну что вы ему говорили, как он отвечал вам?

— Мы получили все, что желали! — крикнула Lousion.

— Да, да, это правда! — подтвердили ее подруги, — король обещал доставить в Париж хлеба, сколько только можно будет достать, и теперь мы должны вернуться восвояси. Нам

незачем тут мерзнуть!..

Несколько секунд продолжалось молчание: толпа присмирела, все были изумлены. Ведь это совсем не то, чего ожидали, это совсем не то, что нужно!

Но вдруг раздались десятки голосов, перебивая друг друга:

— Они продались, двор купил их! Каждая из них получила по двадцати пяти луидоров!.. Повесим этих негодниц!.. На фонари!.. На фонари!..

Разъяренная толпа кинулась на Lousion и ее подруг, стала бить их и, несмотря на их раздирающие крики, не оставляла до тех пор, пока солдаты не отняли несчастных женщин и не скрыли за собою.

Вся площадь волновалась и кричала. Барабаны забили тревогу — и между толкавшейся, остервеневшей толпою показались мундиры национальной версальской гвардии.

IX. МРАЧНЫЙ ВЕЧЕР

Наступили ненастные, осенние сумерки, а за ними начала надвигаться и ночь — темная, серая, холодная.

Беспорядки и шум на улицах Версаля и на площади d'Armes не прекращались. Последние опасения бунтующей толпы исчезли, теперь уже нечего бояться военных действий — национальная версальская гвардия совсем передалась на сторону черни, Фландрский полк побежден женщинами. Толпа кричит, бранится, угрожает всем и больше всего королеве... На площади разводят костры и начинают жарить убитую лошадь.

В городе наглухо закрыты все лавки, за исключением булочных и кабаков; жители заперлись по домам и притаились в темноте, не смея зажечь огня, не смея выказать малейшего признака жизни. И так уже в запертые двери каждого дома стучатся пьяные, вооруженные палками и пиками, оборванцы и требуют еды и вина.

Национальное Собрание по-прежнему наполнено женщинами; они притащили хлеба,

говядины, вина и ужинают, разместясь на скамьях депутатов. Президента Мунье нет, он остался в замке, и его кресло занято епископом де Ландр. Тщетно епископ хочет установить хоть какой-нибудь порядок, тщетно обращается к непрошеным посетительницам с ласковой, спокойной речью — его не слушают, его кресло окружено согрешившими, опьяневшими женщинами. Они то и дело обнимают епископа — и он должен выносить все это...

В королевском замке все в волнении — не знают чего ожидать, не знают придет ли избавление, откуда и каким образом придет оно. Король и королева с детьми в своих апартаментах. Но ведь мало ли что может случиться, нужно подумать об их безопасности, нужно спасти королеву, во что бы то ни стало скрыть ее. Ведь именно против нее обращены все угрозы черни, до нее добирается эта остервеневшая толпа. Королева с детьми должна покинуть замок. Приказывают скорее все готовить к отъезду. Уже кареты выезжают из королевских конюшен и останавливаются у решетки замка. Но это движение замечено

пикетами национальной гвардии; солдаты окружают экипажи и требуют, чтобы кучера немедленно же вернулись в конюшни и отложили лошадей.

Фландрский полк покидает площадь d'Armes, за ним отправляется королевская стража в свои казармы. Таким образом, замок охраняется только небольшим отрядом.

Роскошные анфилады зал и галерей освещены кое-где наскоро зажженными кенкетами и лампами. И в этом полумраке как призраки мелькают фигуры царедворцев, придворных женщин. Число их не особенно велико, многие скрылись из замка по своим домам, другие под шумок успели уехать в Париж окольными путями.

По крайней мере, в замке теперь остались надежные люди, верные слуги и друзья королевского семейства, готовые защищать короля и королеву до последней капли крови, погибнуть вместе с ними. Да, погибнуть, потому что многим невольно приходит мысль о гибели.

В числе этих людей находятся герцогиня д'Ориньи и Сергей Горбатов.

Герцогиня возвратившись с Марией-Антуанеттой из Малого Трианона, оставила ее только тогда, когда королева пожелала быть наедине со своим семейством. Но герцогиня и не думала о том, чтобы покинуть замок.

Ее мужа не было в Версале, он уже несколько дней как отправился в одно из своих поместий; но, конечно, о муже она не думала ни минуты. Она только знала одно, выходя из апартаментов королевы, что здесь в какой-нибудь галерее, в какой-нибудь зале ее, наверно, дожидается Сергей. Он не покинет ее теперь ни на минуту!

И она не ошиблась. Сергей поджидал ее. Ведь он являлся ее единственным защитником в этот тревожный вечер, ведь он для нее, для нее одной спешил из Парижа. Но теперь к мысли о Мари, о ее безопасности присоединились и другие мысли: он не ради ее одной оставался в Версальском замке, он здесь потому, что королевскому семейству грозит опасность, потому, что чувствует, что его настоящее место среди защитников и верных слуг Людовика и Марии-Антуанетты. Увлечь за собою Мари — его дорогое сокровище и скрыть-

ся с нею — ведь это невозможно. Она не станет сопротивляться, она последует за ним при первом его слове, он это чувствует — иначе и быть не может.

Ему даже ясно представляется, как легко незаметным образом им выйти из замка, добраться до дому, в котором он помещался в Версале и оттуда, при помощи Моськи, уехать в Париж. Но он и минуты не думал об исполнении этого плана. Моська по дороге в Версаль говорил ему:

— Голубчик ты мой, Сергей Борисыч, ради Создателя, не лезь ты в этот омут! — Ну извести там кого следует о бунте, да и скорее обратно, чего нам в чужую беду мешаться — в чужом пиру похмелье, сам знаешь, горько...

Сергей почти соглашался тогда с Моськой, помышлял только о спасении Марии, об избавлении ее от опасности. Но теперь он далек от подобных мыслей, он здесь и не выйдет отсюда, пока не окончится эта томительная неизвестность, пока все не разъяснится. Это уже не чужой для него пир, его охватывает общая тревога, общее страдание.

В полумраке огромной, великолепной

«зеркальной галереи», этого чуда роскоши и величия, бродит Сергей. Здесь, в этой самой галерее, среди нарядной блестящей толпы он в первый раз увидел свою герцогиню. Это было так недавно, а между тем ему кажется, что целая жизнь прошла с тех пор, как это было. Тогда она представлялась ему чудным, недосыгаемым видением, теперь она — его собственность, его счастье, его мука...

И вот она перед ним, она сейчас же нашла его, какой-то инстинкт привел ее именно в эту галерею. Она оперлась на его руку, почти совсем склонила на его плечо усталую голову, и они медленно пошли вдоль пустынной галереи. Над ним во мраке терялись высокие своды потолка, поддерживаемые величественными кариатидами, расписанные прекрасными картинами. Бесчисленные зеркала отражали их бледные тени. Их легкий шаг гулко отдавался, пробуждая вечернюю тишину бесконечной галереи.

Мари была утомлена, измучена. На ее живом, подвижном, но теперь бледном и будто застывшем лице выражалось страдание. Губы были полуоткрыты, черные, горячие глаза ис-

пуганно и в то же время страстно глядели на Сергея. Она прижималась к нему своей трепещущей, глубоко дышавшей грудью, и счастье любви наполняло его. Но не о своем счастье говорили они в эти минуты — они передавали друг другу свои опасения, сомнения и надежды относительно того, чем разрешится этот ужасный день, что скажет завтрашнее утро.

Они вышли из «зеркальной галереи» и сами не заметили, как очутились в другой, в «галерее статуй». Здесь было еще мрачнее, еще таинственнее. Из каждой ниши глядели на них изваяния королей Франции, и при бледном мерцании двух-трех ламп Сергею казалось, что эти изваяния внезапно оживают и глядят на них, и простирают к ним свои белые, мраморные руки, будто прося и требуя от них исполнения какого-то долга.

«Старые короли Франции требуют от нас охраны своего преемника!» — невольно подумалось Сергею, и он сам не заметил, как громко высказал эту мелькнувшую мысль свою.

— Да, это правда! — прошептала герцогиня. — Пойдем же скорее туда! Что там делает-

ся?! Нет ли новых известий?

Они поспешили к апартаментам королевы и смешались с толпою придворных и обитателей замка...

И вот между ними появилась королева. Только страшная бледность лица ее выказывала все волнение, которое она испытывала; но голос ее был спокоен. Она говорила с таким достоинством, с такой, по-видимому, самоуверенностью; она всех успокаивала, всех старалась ободрить своим примером.

И в то же время до ее слуха, как и до слуха всех присутствующих, доносился глухой, далекий рев толпы, окружавшей замок.

— Вот уже полночь, — говорила Мария-Антуанетта, — а еще в десять часов получено известие от маркиза Ла-Файета, что он спешит в Версаль во главе парижской национальной гвардии. Он просит нас упокоиться и на него положиться. Если он еще не в Версале, то будет здесь через несколько минут.

При этих словах королевы почти все невольно подавляют в себе вздох. Положиться на Ла-Файета — да, конечно, он умеет обращаться с толпою; но еще неизвестно, на чью

сторону он станет — этот любимый герой Америки и Франции?! Ведь нет пределов его честолюбию, его жажде популярности. А разве на подобного человека можно положиться в такие минуты?..

— Маркиз Ла-Файет в Версале! Около двадцати тысяч национальной гвардии, которою он предводительствует, на площади d'Armes! — объявляет, появляясь у дверей, офицер королевской стражи.

— Ваше величество! — возглашает, быстро входя, другой офицер, — маркиз Ла-Файет в замке и просит позволения говорить с вашим величеством!

— Скажи маркизу, что мы ждем его, — спокойно отвечал король Людовик.

На пороге показывается всем известная фигура знаменитого генерала. Он весь в грязи, усталый, но энергичные черты лица его выражают бодрость духа, глаза сверкают.

Толпа расступается перед ним, и он твердой походкой приближается к королю. Но в это время кто-то из придворных невольно вскрикивает:

— Вот Кромвель!

Генерал останавливается, обертывается по направлению раздавшегося голоса.

— Милостивый государь, — произносит он, — Кромвель не вошел бы один и безоружный!

И он идет дальше.

На него обращены все взгляды, все замерли, боятся дохнуть: кто же он в самом деле — враг или избавитель?

Ла-Файет почтительно склоняется перед королем и королевой.

— Государь, — говорит он, и грусть и глубокое уважение к королю слышатся в его голосе, — государь, я принес вам мою голову, чтобы спасти голову вашего величества!..

Это громкая фраза, одна из тех фраз, к которым иногда любил прибегать блестящий герой борьбы за свободу. Но на этот раз он так искренне и горячо произносит эту фразу, что почти все чувствуют некоторое облегчение.

Король протягивает ему руку.

— Государь, — продолжает Ла-Файет, — я ручаюсь вам за чувства национальной гвардии.

— Я вам верю, маркиз, и благодарю вас! —

произносит король.

На этот раз Ла-Файету верит и королева. Она забывает все сомнения, которые давно уже легли между нею и славолюбивым героем. Да что же ей и делать, как не верить?! Ведь эта вера — единственное, что ей осталось. Она верит не для себя, не за себя боится, о себе она забыла, она верит ради своего мужа, ради детей своих.

Ла-Файет предлагает, чтобы внутренние посты во дворце были заняты королевской стражей, а наружные были поручены национальной гвардии. Король соглашается на это.

— В таком случае, — говорит Ла-Файет, — я беру на себя наблюдение над тем, чтобы этот приказ вашего величества был в точности исполнен. Я обойду все посты и затем успокою Национальное Собрание... Успокойтесь и вы, ваше величество, — обращается он к королеве, — я головой ручаюсь вам, что порядок не будет нарушен. Завтра утром толпы разойдутся, спокойствие восстановится...

И, откланявшись королю и королеве, Ла-Файет спешит к выходу из замка...

Он говорил искренне, он успел всех успо-

коить; но это вряд ли бы удалось ему, если бы он рассказал откровенно, каким образом появился в Версале во главе двадцати тысяч национальной гвардии. Не он вел свое войско — оно вело его против воли. Когда он отказался идти в Версаль, солдаты кричали:

«Если маркиз Ла-Файет не хочет идти с нами — мы передадим начальство какому-нибудь старому гренадеру!» Другие, уже прямо к нему обращаясь, говорили:

— Генерал! Мы не считаем вас изменником, но мы думаем, что правительство нас обманывает... Мы пойдем в Версаль, чтобы выгнать королевскую стражу и Фландрский полк, которые отказываются носить национальную кокарду... Если для короля Франции слишком тяжела его корона, пусть он ее снимет — мы наденем ее на его сына, и все пойдет как нельзя лучше!..

Тщетно Ла-Файет употреблял всю силу своего красноречия, которое так часто помогало ему действовать на толпу. На этот раз толпа была сильнее его и увлекла его за собою.

И вот он обещал королю и королеве спокойствие, он поручился головою, что все при-

ведет в порядок! Но в силах ли он будет это исполнить? Он надеется, он снова уверен в себе — а между тем чувствует, как страшно утомлен волнением и усталостью этого тяжелого дня. Его ноги едва слушаются, в голове туман... Уснуть бы! Один час крепкого сна снова оживил бы его!.. Но разве возможно теперь думать о сне?! Надо действовать...

Х. ВО ТЬМЕ

Мало-помалу тишина начинала водворяться в Версале. Сказывалось всеобщее утомление. Ночной холод, не перестававший дождь заставляли всех искать убежища, какого-нибудь крова, где бы можно было хоть немного отдохнуть, согреться.

Солдаты национальной парижской гвардии разместились в казармах, в церквях и в частных домах, куда впустили их с большим страхом, а не впускать не смели, именно вследствие этого страха. Парижская чернь, все эти женщины и мужчины, вооруженные пиками и дубинками, приютились на скамьях Национального Собрания и в кабаках. Кто же не мог найти себе нигде места — а та-

ких было очень много, — те так и остались на площади d'Armes, валяясь в грязи и согреваясь у костра.

Ла-Файет распоряжался и обходил посты, но он уже чувствовал, что не может больше бороться с одолевшей его усталостью. Он хотел убедить себя, и это ему скоро удалось, что теперь все успокоилось, опасности, по крайней мере, до утра не предвидится. Он решил еще раз обойти замок со всех сторон и затем отправиться на улицу de-la-Pempe и там немного отдохнуть у родных своей жены, графов Ноайль, в их отеле.

Королева отпустила своих приближенных, простилась с королем и удалилась в спальню. Король тоже решил заснуть. Придворные, жившие в самом замке, мало-помалу разошлись по своим помещениям. Герцогиня д'Ориньи, утомленная, как и все, и чувствовавшая большую слабость, просила Сергея проводить ее в комнату, в которой она иногда ночевала, оставаясь в замке. Она едва дошла и в изнеможении опустилась на кушетку.

— Ах, какой день! — проговорила она слабым голосом.

Сергей опустился перед нею на колени и целовал ее руки.

— Усни, моя дорогая! — шептал он, — ты слишком потрясена, но сон освежит тебя... усни спокойно...

— Боюсь, что не засну... Где уж спать, разве мы знаем, что там делается, разве можно положить на слова Ла-Файета? Мне даже странно, что все вдруг так успокоились, я убеждена, что опасность нисколько не миновала и она даже еще страшнее в этой темноте, в этом мраке... страшнее, потому что ее не видно...

— Ради Бога, не мучь себя такими мыслями и постарайся заснуть, — упрашивал ее Сергей, — я чувствую себя очень бодро и, конечно, спать не стану. Я сейчас отправлюсь, обойду весь замок, узнаю все и буду здесь, неподалеку от тебя, так что ты, во всяком случае, знай, что я сторожу сон твой, что если бы, не дай Бог, случилось что-нибудь — я с тобою...

Она благодарно сжала его руку, взглянула на него нежно и ласково... Но вот глаза ее сомкнулись, и через несколько мгновений она

задремала...

Было уже около пяти часов ночи; тишина стояла невозмутимая, всюду потушили огни и только в коридорах и на лестницах кое-где горели лампы. Везде было пусто, все спали.

Выйдя из комнаты герцогини, пройдя длинный коридор и очутившись в анфиладе парадных гостиных, Сергей надеялся кого-нибудь встретить, кто бы мог рассказать ему о том, что делается. Но он проходил, комнату за комнатой, едва различая в темноте предметы — и никого не встретил. Наконец, он совершенно запутался и не мог ясно представить себе, где находится. Он пошел снова назад, вышел опять в коридор и сообразил что ему легко будет пробраться к так называемой «мраморной лестнице», которая вела, с одной стороны, в комнаты королевы, а с другой — в комнаты короля.

«Там, наверно, есть люди, и я что-нибудь узнаю», — подумал он.

Действительно, «мраморная лестница» была освещена. На верхней ее площадке он заметил двух людей — это были офицеры Швейцарской сотни. Сергей уже знал, что

Швейцарская сотня была единственная стража короля, на верность которой и храбрость всегда можно было рассчитывать. Но зачем же их так мало? Конечно, если наружные входы и двор хорошо защищены, тогда трудно сюда проникнуть; но все же двух караульных недостаточно. Видно, Ла-Файет уж очень уверен в полном спокойствии...

Сергей поднялся по лестнице и увидел знакомые лица; он давно обратил внимание на этих офицеров, а с одним из них, который ему особенно нравился, даже не раз беседовал. Это был молодой человек его лет, красивый, сильного сложения, с открытым, мужественным лицом и ясными светлыми глазами. Его звали Миомандр де Сент-Мари. Имя другого было Варикур.

Офицеры с изумлением на него глядели, но, узнав его, любезно поклонились ему.

— Вы давно занимаете этот пост? — спросил их Сергей.

— Больше часу, — отвечал Миомандр.

— В таком случае вы можете сообщить мне о распоряжениях генерала Ла-Файета. Достаточно ли защищен дворец?

Миомандр усмехнулся.

— По-настоящему, стоя на часах, мы не имеем права совсем даже говорить, мы должны попросить вас удалиться отсюда... Но сегодня особенный день и особенные законы, только, пожалуйста, говорите тише. Знаете ли, князь (Сергея все называли князем, никаким образом не понимая, что молодой русский вельможа мог не иметь этого титула), знаете ли, князь, что вот мы с товарищем совсем беспокойны. Мало ли что генерал ЛаФайет наобещал! Вряд ли эта ночь благополучно окончится... А насчет защиты замка так лучше и не говорить — какая это защита?! Как шли мы сюда, так видели: у Двора министров поставлено двое солдат национальной гвардии — и только. Куда девалась вся стража — солдаты и офицеры — ничего не знаем. Тут вот, за этой дверью, в первой приемной королевы, два человека наших товарищей — это мы знаем... и вот как защищен замок... Через час нас должны сменить, тогда нужно будет найти всех наших и привести сюда...

— Да уж, ночь — нечего сказать! — зевая,

проговорил другой швейцарец, Варикур. — Пусть король на Господа Бога надеется, а на людей надежда плохая. Ведь весь день сегодня все как сумасшедшие, а этот генерал безумнее всех! Где же это видно — с утра бунтовщики окружают королевский замок, бранятся, издеваются, а перед ними и пикнуть никто не смеет?! Вот еще до того, как эти глупые женщины к королю приходили, мы просили, чтобы нам было разрешено разогнать толпу с площади d'Armes... Поверьте, тогда стоило бы только сделать несколько холостых выстрелов — и все эти крикуньи показали бы пятки. Ведь все дело в том, чтобы захватить вначале, а это что же такое? Эти негодяйки увидели, что их боятся, и теперь, конечно, всего ожидать можно... Но что это, что?.. Слышите?

Сергей прислушался — и у него замерло сердце. Со двора, и не очень далеко раздался пронзительный крик многих голосов.

— Где это, ведь это, кажется, близко, неужели с площади так слышно?!

— Нет, это не с площади, это уже во дворе, — мрачно произнес Миомандр, — вот и

спокойствие, обещанное Ла-Файетом!.. И где же он сам?..

Сергей бросился вниз по мраморной лестнице. Крики раздавались все ближе и ближе.

Что же это такое, что же это случилось? Случилось то, что можно было предвидеть. Неужели эта уличная разнузданная толпа, пришедшая из Парижа, могла воротиться обратно, не достигнув своей цели; неужели это могли допустить те, которые ее подстрекали?! Ведь целый день был употреблен на то, чтобы обезоружить Версаль, сделать его беззащитным, беспомощным. Недаром красивые женщины раздавали солдатам золото и сулили им всякие блага в Пале-Рояле! К середине ночи все поддались усталости, притихли и задремали. Эта тишина обманула Ла-Файета, обманула королевское семейство и некоторых придворных — все заснули, заснул и Ла-Файет. Но подстрекатели не спали — они вовремя разбудили мужчин и женщин, дремавших в Национальном Собрании; вовремя растолкали толпу, приютившуюся бивуаком на площади d'Armes.

В сумраке медленно приближавшегося

осеннего рассвета перед дворцом снова закопошилась многочисленная толпа; женщины и вооруженные дубинами, пиками и топорами мужчины ворвались в первый двор замка. Этот двор охранялся только двумя солдатами национальной гвардии. Что они могли сделать? Да еще вопрос — стали ли бы они противиться, если бы и могли. Они молча впустили толпу и смешались с нею...

Скоро весь двор, так называемый «двор министров», был занят, ворота во «дворе принцев» отворены. Толпа бросается в эти ворота и проникает в парк через небольшую дверь у «лестницы принцев».

Мало-помалу королевский замок окружают со всех сторон, под окнами королевы слышатся голоса.

Страшно утомленная и измученная Мария-Антуанетта крепко, было, заснула, но крики и брань ее будят; она прислушивается, зовет свою дежурную даму и спрашивает ее, что значит этот шум? Та отвечает, что это, вероятно, парижские женщины, не нашедшие себе нигде ночлега, собрались на террасе.

Ее спокойный голос действует на короле-

ву. Если б ей сказали теперь: «Вставайте, пришла опасность, толпа уже проникла в парк, значит, она была пропущена стражей, значит, замок плохо охраняется» — она отогнала бы свой тяжелый сон, победила усталость, она очнулась бы и поняла свое положение. Но ей ответили спокойным голосом, и она не вслушалась в слова, ее голова снова бессильно опустилась на подушку, и она опять крепко заснула.

А между тем опасность все ближе и ближе. Вот уже толпа перед колоннадой, отделяющей «двор принцев» от «королевского двора». Этот проход защищают несколько человек королевской стражи, но толпа напирает на них, сбивает их с ног. Один из солдат прицеливается, собираясь выстрелить, но в ту же секунду он обезоружен десятками рук, его повалили, избили и тащат во «двор министров». Огромного роста и зверского вида тряпичник Журран, который весь день кричал больше всех и раздражался самыми отвратительными проклятиями, кидается к этому полумертвому солдату, наступает ему ногой на грудь и своим топором с маху отрубает ему голову.

Первая кровь пролита, толпа хмелеет, кругом раздаётся неистовый рев, рев зверя, почувшего запах крови. Окровавленную голову несчастного вздевают на пику и торжественно выносят ее на площадь d'Armes как первый трофей начавшейся победы.

Сергей еще не успел добежать до последних ступеней лестницы, как понял весь ужас положения. В одно мгновение толпа наводнила «мраморный двор», а между этой толпой и лестницей оставалась только тонкая, резная чугунная дверь. Дверь на крепком запоре; но вот уже сотни могучих рук ее расшатывают, еще минута, другая — и она слетит с петель.

— Здесь она, здесь австриячка!.. Спит! Так мы ее разбудим! — раздаются дикие голоса.

И это уже не пустые угрозы.

Сергей остановился на мгновение, схватился за голову и бросился назад, вверх по лестнице.

«Может быть, она не знает, может, еще минута — и спасение будет невозможно! Ведь все угрозы против нее направлены, ведь они знают, где искать ее... Тут, сейчас, за три комнаты ее спальня!» — быстро-быстро мелькало

в голове Сергея.

Нужно спасти ее, нужно вывести ее из спальни, верные швейцарцы хоть на несколько минут задержат толпу... А потом он побежит к герцогине.

Он вспоминал ясно, отчетливо, живо, в мельчайших подробностях все выходы, все пути к спасению. Но не успел он добежать и до половины лестницы, как за ним чугунная дверь с громом рухнула, и с криком торжества и дикой радости толпа ворвалась, настигая его. И вот он уже окружен грязными оборванцами, он со всех сторон слышит вокруг себя жаркое дыхание. Страшный, гигантский зверь наваливается на него... Вот уже несколько человек его опередило...

Кровь бросилась ему в голову, в ушах звенит, какой-то туман расстилается перед глазами... Он оступился, он чувствует удар в спину, но снова поднялся и опят бежит, из всех сил стараясь опередить страшного зверя...

Перед ним красивая, мужественная фигура молодого Миомандра. Миомандр говорит, обращаясь к толпе:

— Друзья мои, вы любите вашего короля,

так зачем же вы беспокоите его во дворце и ночью, зачем не дадите ему отдохнуть?!

Дикий рев раздался на слова, и мгновенно перед отуманившимися глазами Сергея что-то происходит. Миомандра уже нет, какая-то масса барахтается на ступенях лестницы... Гигантский зверь снова наступает.

Но Сергей уже наверху, у дверей первой приемной. Дверь на запоре, и с ужасом он понимает, что проникнуть в эту дверь — значит, пропустить с собою толпу. У этой двери только один товарищ Миомандра, Варикур. Он стоит с бледным лицом, с сверкающими глазами, готовый дорого продать свою жизнь. Сергей становится рядом с ним, но ведь он безоружен...

Еще миг — куча людей у дверей, все перепуталось, смешалось. Лампа, задевая чьей-то пикой, слетела со стены, полилось горящее масло. На мгновение яркий свет его озарил разъяренные, искаженные лица. Потом вдруг все потемнело, только слабый отблеск занимающейся зари глянул в широкие окна. Толпа, на несколько времени остановленная падением лампы и тушившая горящее масло,

снова стала напирать на дверь, раздался выстрел, это выстрелил Варикур. Он сделал все, что мог, он предупредил своим выстрелом находившихся в апартаментах королевы, а сам в ту же минуту пал перед защищаемой им дверью, оглушенный десятками ударов, обливаясь кровью.

На Сергея не обращали внимания. По его костюму его трудно было принять за одного из защитников замка, да и откуда бы он мог взяться, этот безоружный защитник?.. К тому же в этом полусумраке трудно было разобраться...

Почти не помня себя, Сергей кого-то ударил изо всех сил, потом кто-то вдруг схватил его руку и так рванул, что затрещали кости. Но внезапная боль заставила его очнуться, вывела его из того тумана, который кружился в голове его. Он понял, что королева теперь должна быть предупреждена, а если она ничего не знает, то, во всяком случае, уже поздно; он понял, что драться ему одному и безоружному бесполезно — его сейчас же убьют и кого и что спасет он этой смертью?! Нужно опять спуститься с лестницы и бежать через

коридор, знакомой дорогой, туда, где он покинул Мари... Ведь он обещал охранять ее сон... Ее спасти он еще может...

XI. 6 ОКТЯБРЯ

С большим трудом пробрался Сергей по лестнице. Будь эта толпа несколько спокойнее и будь больше света — конечно, на него скоро обратили бы внимание, и уж одно то показалось бы странным, что он бежит вниз, назад, когда все стремятся вперед, к дверям королевских комнат.

Но толпа была в сильнейшем возбуждении, все рвались выше и выше по лестнице, все взгляды были устремлены наверх, к той двери, которая вот-вот должна распахнуться. Освирепевшие разбойники наступали друг на друга, толкались и бессмысленно расточали направо и налево удары кулаками. На каждом шагу Сергея стискивали, отталкивали его и, таким образом, часто заставляли останавливаться; он должен был завоевывать каждую ступеньку. Он пустил в ход всю свою силу, но скоро увидел, что может владеть только правой рукой; левая страшно болела, оте-

кала и была почти парализована.

Наконец, кое-как он добрался до нижних ступеней лестницы и проник в коридор. Он вздохнул свободнее, увидев, что здесь никого нет, что ворвавшиеся в замок имели одну цель — мраморную лестницу и искали одну королеву. Он бросился бегом по длинному коридору и, задыхаясь от усталости и волнения, отворил дверь той комнаты, где оставил герцогиню.

Здесь было уже достаточно светло... Слава Богу! Он увидел Мари все на той же кушетке, она, очевидно, и не просыпалась. Он приблизился к ней, склонился над нею, расслышал ее ровное дыхание. На мгновение он позабыл все: и страшную минуту, которая привела его сюда, и с каждой секундой усиливавшуюся боль в руке и во всех членах. Он глядел, очарованный, на милое лицо герцогини, на ее закрытые глаза, опущенные длинными черными ресницами и обведенные легкой тенью, на ее полуоткрытые, влажные губы, на которых снова играла яркая краска; на маленькую черную мушку, которая в последнее время ежедневно появлялась на этом милом, ка-

признаю лице и своим условным смыслом говорила о постоянстве.

Сергей взял маленькую тонкую руку герцогини и сжал ее.

Мари открыла глаза широко, изумленно, ничего еще не понимая, потом приподнялась, взглянула на Сергея и с криком к нему кинулась:

— Serge! Ради Бога! Что случилось? Ты в крови?!

И она схватила его голову, а потом дрожащими руками отыскала свой платок и приложила к его лбу — на платке была кровь.

Сергей взглянул в зеркало. Это пустое, это царапина, которую он и не заметил! Он поспешно стал передавать герцогине все дело.

Она слушала его с ужасом, отчаяние изобразилось на лице ее. В волнении она схватила его левую руку, и он невольно вскрикнул от невыносимой боли. Она увидела, что вся рука его посинела и как-то вывернута.

— Боже мой, да ведь ты вывихнул себе руку!

Он взглянул и только тут понял, что его рука действительно была вывихнута и от этого

он не мог согнуть ее. Герцогиня совсем растерялась, она уже не думала о том, что бунтовщики в замке, о том, что королева в опасности и неизвестно, что с нею, она видела только эту вывихнутую руку.

— Боже мой, что теперь делать, что теперь делать?! — отчаянно повторяла она.

— Помоги мне, — сказал Сергей, стискивая зубы от боли, — дай платок... Крепче привяжи... Вот здесь, может быть, нам удастся вправить... Я видел... Я помню, как это делается...

Мари мгновенно осушила слезы; на ее взволнованном лице вдруг появилось сосредоточенное, даже почти спокойное выражение, и уже не дрожащими, а твердыми руками она искусно стала завязывать платок по указаниям Сергея. Откуда взялись у нее и сила, и ловкость! Она действовала как опытный хирург и через две-три минуты Сергею удалось с ее помощью вправить локоть. Сильная боль продолжалась, но он чувствовал, что рука его на месте.

— Благодарю тебя, моя дорогая! — говорил он герцогине, прижимая ее к груди своей. — Теперь забудь об этой несчастной руке, тут

нет ничего опасного... Решай же, что нам делать?!

Герцогиня стояла молча, собираясь с мыслями.

— Ты сам говоришь, — наконец, прошептала она, — что если мы будем стараться проникнуть туда, никого не спасем и только сами можем погибнуть. Бежать из замка теперь тоже опасно, да я и не хочу этого... Я не тронусь с места, я не уйду отсюда — будем ждать...

— Постой, смотри сюда!.. — вдруг воскликнула она, подбегая к окну.

Он последовал за нею. Перед ним был двор, быстро наполнявшийся народом. Но это была уже не та безобразная толпа, которая рвалась по мраморной лестнице, это были солдаты национальной парижской гвардии. И впереди всех Сергей заметил высокую фигуру человека с растрепанными, развевавшимися длинными волосами — знакомую ему фигуру маркиза Ла-Файета.

— А, вот и он, наконец! — проговорил Сергей. — Вот и он со своими солдатами. Дай только Бог, чтобы не было уже поздно!..

И она побежала из комнаты, увлекая за собою Сергея.

Через минуту они были уже в небольшой гостиной. Герцогиня приподняла шелковую занавеску окна и указала Сергею.

Он увидел с одной стороны в серой утренней мгле очертания деревьев парка, бассейны и фонтаны, с другой — ряд блестящих окон замка, внизу широкую террасу, заставленную огромными мраморными вазами с цветами, во втором этаже несколько легких балконов. На террасе и кругом под окнами волновалось море человеческих голов, раздавались оглушительные крики.

— Королева! Подавайте нам королеву! Пусть она к нам выйдет, мы хотим ее видеть... Да, пусть-ка выйдет — мы встретим ее как следует!!

Сергей и Мари прильнули к стеклу.

— Вот, вот ее окна, а тот вон балкон — спальня королевы...

Они стали глядеть не отрываясь, но окна были заперты, в замке с этой стороны все, по видимому, было тихо.

И на эти запертые окна пристально смот-

рели тысячи мужчин и женщин. Дикая злоба, ненависть изображались на этих грязных, искаженных, по большей части пьяных, лицах. Оборванные торговки, потаскушки, тряпичники, выгнанные лакеи, засучивая рукава, будто приготавливаясь к драке, грозили кулаками. Охрипшие голоса выкрикивали проклятия, угрозы... «Королеву, подавайте нам королеву!» — редела толпа.

И вдруг стеклянная дверь одного из балконов отворилась.

«Боже мой, что же это будет?!» — в один голос с замирающим сердцем прошептали Сергей и Мари. Но больше они ничего не сказали и, прижавшись друг к другу, замерли в ожидании и тревоге.

На балконе показался король. Он был непричесан, лицо его было бледно и грустно, но все же никакого страха не выразалось в этом лице. Он облокотился на перила, остановил свои усталые глаза на толпе... Он хотел говорить, но толпа не дала ему вымолвить ни слова.

— Королеву, королеву, пусть выйдет королева!

Все бесновались, над головами мелькали пики, дубины, топоры. Король постоял еще несколько мгновений, но, убедившись, что его не будут слушать, что его присутствие только еще больше разъяряет эту обезумевшую толпу, он слабо махнул рукой и скрылся за стеклянной дверью.

— Королеву! — изо всех сил ревела толпа...

— Да ведь если она выйдет, она погибла, — шепнула герцогиня, — эти звери...

Но она не договорила и в ужасе всплеснула руками. На балконе перед разъяренной толпой стояла Мария-Антуанетта, держа за руки детей своих. Королева была в утреннем белом пеньюаре — спасаясь из своей спальни, куда уже врывались, ища ее, она не имела даже времени одеться, — ее длинные бледно-пепельные волосы рассыпались по плечам, в лице не было ни кровинки, ни признака жизни. Это прекрасное, горделивое лицо представлялось мраморным изваянием; ни одна черта не дрогнула, все застыло, все превратилось в камень, только глаза горели. И в этих светлых, лучезарных глазах, красотой которых еще недавно восхищалась и горди-

лась Франция, выражалась теперь вся мука наболевшего, разбитого сердца, ужас, негодование, тоска и сознание невыносимого, незаслуженного позора.

Королева только сжимала своими холодными руками руки детей своих, силясь в этом пожатии почерпнуть для себя новые силы. Дети прижимались к ней. Ее дочь, красавица-девочка, будущее подобие матери, глядела на бунтующую толпу большими, изумленными, испуганными глазами, на которых блестили слезы. Она уже понимала опасность, она уже многое понимала. Но маленький дофин, которого разбудили на рассвете и принесли в спальню короля, где собрались все родные, где отец глядел так печально, где мать, полуодетая, растрепанная, в отчаянии ломала руки и плакала, совсем не понимал, что все это значит: зачем так много людей, зачем они так кричат и зачем вот теперь мать с ними вышла на балкон?

Маленькому дофину было холодно, сырая свежесть раннего утра охватила его, а главное — он был голоден. Он давно уже просил есть, но на его слова не обращали внимания,

и теперь его даже начинало тошнить от голода. Он схватил обеими ручонками руку матери и, прижимаясь к ней, шептал:

— Мама, да право же, я очень голоден; хотя бы кусочек хлеба мне дали!.. Тут холодно... Пойдем скорее назад и накорми меня!..

— Подожди, подожди, сейчас все это кончится! — едва слышно вымолвила Мария-Антуанетта.

— Не надо детей, прочь детей! Пусть королева выйдет к нам одна! — вдруг заревела толпа.

Королева скрылась за дверью и через несколько мгновений появилась снова в сопровождении Ла-Файета. Ее лицо было все так же страшно бледно и неподвижно, глаза все так же блестели, но теперь в них уже не выражалась душевная мука, теперь перед бунтующей толпой стояла не измученная, оскорбленная женщина, не жена и мать, трепещущая за участь мужа и детей — это была величественная королева, сознающая свои права, свою силу, свое призвание. Она твердым шагом подошла к решетке балкона и обвела толпу сверкающим взглядом.

Все эти тысячи народа мгновенно затихли и не спускали с нее глаз, затаив дыхание. Этот гигантский тысячеголовый зверь чувствовал, что перед ним не беззащитная женщина, на которую можно кинуться, которую можно растерзать, он чувствовал, что перед ним какое-то особенное существо, владеющее высшей, непонятной силой.

Ла-Файет — старый любимец Парижа, идол и герой черни — подошел к королеве, склонился перед нею и почтительно поцеловал у нее руку.

Неподвижная толпа дрогнула и разом тысячами своих голосов грянула:

— Да здравствует королева!

Послышались рыдания женщин; многие становились на колени.

И в это же мгновение из-за деревьев парка выглянуло утреннее солнце. Яркие лучи его озарили белую, неподвижную фигуру королевы. Она стояла все такая же величественная и глядела все таким же могучим взглядом. Ни она, ни Ла-Файет не проронили ни слова, а между тем в толпе, начинавшей мало-помалу приходить в себя, начинавшей снова волно-

ваться, но не прежними чувствами, а восторгом, то там, то здесь шел говор.

— Слышали, что сказал Ла-Файет?! Он обещает, что королева будет любить нас, как Христос любит церковь...

— Да, да, он сказал это, он обещал это от имени королевы!..

— Она святая — видите, кругом нее сияние! — говорили другие.

Рыдания женщин раздавались все громче и громче.

— Да здравствует королева! — повторялось то там, то здесь, подхватывалось толпою и стояло в утреннем воздухе.

Обрывки ночных туч быстро уносились, разгоняемые свежим ветром. Солнце сияло, отливаясь и горя на мокрой траве, сверкая на зеркале бассейна...

Королева величественно поклонилась народу и исчезла за стеклянной дверью...

— Слава Богу, слава Богу! — восторженно повторяла герцогиня.

Радостные слезы текли по ее щекам, она сжимала руку Сергея.

— Право, можно поверить в чудо, разве не

чудо совершилось на наших глазах?!

— Да, — задумчиво отвечал Сергей, — но я боюсь, что это только мгновение. Королевы нет — и ее обаяние исчезнет...

И будто в ответ на слова эти, крики: «Да здравствует королева!» замолкли и раздались новые возгласы: «Король в Париж! Король в Париж!»

В этом новом гуле опять звучала прежняя нота бешенства и раздражения. Опять слышались угрозы... Снова дверь балкона отворяется, выходит Ла-Файет, за ним виднеется фигура офицера королевской стражи. Ла-Файет жестом показывает, что хочет говорить. Толпа прекращает свои крики и слушает.

— Король согласен ехать в Париж, — говорит Ла-Файет, — король выедет сегодня же в сопровождении королевы и всего своего семейства.

Крики торжества служат ответом на слова эти. Но толпа заметила офицера королевской стражи.

— Долой королевскую стражу! Это изменники... Не надо их!..

Ла-Файет это предвидел, он показывает

шляпу офицера, на которой красуется трехцветная национальная кокарда. Офицер торжественно клянется в верности нации.

— Да здравствует королевская стража! Король в Париж! Да здравствует король! Да здравствует королева! — проносится над толпою.

Но вот чей-то громкий, могучий голос, покрывая все эти крики, ревет:

— Да здравствует нация!

— Да здравствует нация! — как один человек подхватывает вся толпа.

— Да здравствует нация! — доносится с другой стороны замка, со всех дворов, с площади d'Armes...

В замке движение. Все эти придворные кавалеры и дамы, бесчисленная прислуга, все притаившиеся по своим помещениям и не подававшие голоса в ожидании смерти, теперь снуют по всем комнатам, коридорам, галереям, мечутся взад и вперед, собираясь к внезапному отъезду.

Ла-Файет уверил короля и королеву, что нельзя медлить ни часа. Король согласен, он поедет в Париж, поедет куда угодно, лишь бы

только не разлучали его с женой и детьми.

В королевских конюшнях запрягают экипажи. В Версале все в волнении, тысячи пришедшего люда беснуются от восторга, площадь d'Armes по-прежнему наполнена народом, и то там, то здесь, высоко над живыми головами появляются вздернутые на пиках две мертвые, окровавленные головы — солдата королевской стражи Дехюта и швейцарца Валикура. Их тела свезены в казармы, и туда же принесены тяжело раненные при защите мраморной лестницы и комнат королевы Миомандр и его товарищи.

Сергей дожидался герцогиню, которая отправилась в апартаменты королевы. Вот она вернулась, вся обливаясь слезами.

— Через час едем, — заговорила она, — я ни минуты здесь не останусь после королевы. Пойдем сейчас ко мне, в мой отель, я велю приготовить карету, только, ради Бога, не покидай меня, будь со мною, поедем вместе — в карете может поместиться и твой карлик...

— Но что же король? Что королева? — спрашивает Сергей.

— Короля я не видела, говорят он, как все-

гда, спокоен. Из Национального Собрания явился Мирабо и объявил, что Собрание единогласно решило вместе с королем переехать в Париж, объявило себя неразделенным с королем. Он отвечал, что с сердечной признательностью принимает это новое доказательство привязанности Собрания... Да, он спокоен, даже странно спокоен, он будто не понимает или, вернее, не хочет понять, что значит этот переезд, что значит сегодняшней день!.. Зато королева отлично все это понимает и не скрывает этого... Друг мой, на нее смотреть страшно, я едва там не разрыдалась... А она, что это за женщина, она изо всех сил старается казаться бодрой, ко всем относится с такой добротой, вниманием. Обняла меня, поцеловала, крепко сжала мне руку... Знаешь ли, там носят головы убитых, и ей об этом сказали! Если бы ты видел ее в эту минуту, я этого лица никогда не забуду... она вздрогнула и проговорила: «Нас заставляют ехать в Париж, но перед нами понесут головы наших верных защитников»... О, как она сказала это!..

Но им нельзя было терять времени, и они поспешили из замка через парк, избегая тол-

пы, которая радостно бушевала на площади.

Около полудня огромная карета с королевским семейством и кареты придворных выезжали из Версаля. С герцогиней д'Ориньи ехал Сергей, на переднем сидении помещался Моська.

Бедный карлик даже как-то весь позеленел от ужаса и опасения за вывихнутую руку своего Сереженьки. Он успел уже добыть хирурга, рука Сергея была как следует перевязана, хирург уверял, что опасаться нечего и при благоразумном лечении все пройдет в две-три недели. Но Моська все же никак не мог успокоиться, он не доверял басурманскому хирургу, да и вообще он слишком много пережил за вчерашний вечер, за эту долгую, бессонную ночь, когда он не знал даже, жив ли его барин, увидит ли он его. Он уже думал, что придется везти в Россию только одни косточки...

И потом — эта герцогиня! Он в первый раз ее сегодня видел, но уже давно о ней знал; ведь он всегда все знал, что касалось до Сереженьки, от него ничего не могло скрыться... И вот они вместе едут.

Так вот она какая! Ну что в ней?! Господи, и неужто он променял на нее княжну нашу, ведь она ей и в подметки не годится, ведь эта что? Так себе, вертлявая бабенка, а княжна как есть, как есть красавица!..

— Ох, попадись ты мне теперь, дьявол Рено! — задыхаясь от злости, думал Моська, — задушу я тебя, как есть задушу, и за грех считать не буду, и Бог простит! — всему ты причина... Да и что же это, наконец, такое?! Нынче же отпишу Льву Александрычу... Разве можно тут жить! За какие это провинности дитя в тартарары эти проклятые кинули? Напишу, чтобы немедля приказ был от государыни ехать восвояси. Все отпишу... и про бабенку эту... все...

«Ишь ты, проклятая, вертится! — продолжал он свои думы, с ненавистью поглядывая на герцогиню, — ей, видно, и ничего, что он из-за нее искалечен — улыбается... А глазищами-то, глазищами что выкидывает! А еще мужняя жена... Фу ты, срамота какая! Ну, да и ты, батюшка, тоже хорош, погляжу я на тебя, — начинал он мысленно распекать Сергея, — не ждал я от тебя таких делов... А эти-

то черти, эти изверги!»

Он выглянул в окошко кареты.

Гудящая толпа заняла его внимание. Зрелище, действительно, было самое необыкновенное.

Шествие, как верно угадала несчастная королева, открывалось оборванной, кричавшей, прыгавшей и бесновавшейся толпой мужчин и женщин, с возвышавшимися на пиках окровавленными головами. Затем следовала карета с королевским семейством, кареты придворных, депутатов, затем батальоны национальной гвардии, королевская стража, артиллерия. На пушках поместились верхом женщины, размахивая платками и горланя песни. Наконец, двигались возы с мукой, добытой в Версале. Время от времени проносились крики...

ХІІ. ВДАЛИ

Вечный шум и волнение. Расходились на-
родные страсти, давно приготавливавшаяся
гроза, наконец, разразилась, и все страшнее
и страшнее были ее удары. Мщенье, слепое,
бесмысленное мщенье добирается до своих
жертв и сознает, что близок час стонов, кро-
ви, смерти. Что-то давящее, мрачное, раздра-
жающее носится в воздухе, стоит над огром-
ным, прекрасным городом, в котором еще так
недавно широко и привольно жилось челове-
ческому веселью, в котором нужда, горе, забо-
ты прятались по темным углам, так прята-
лись, что со стороны нельзя даже было подо-
зревать их существование. Разнообразная
жизнь, катившаяся полной волною, внезапно
остановилась. Эта жизнь превратилась те-
перь в больное и невыносимое существова-
ние; никто не живет, все прежние интересы
позабыты, все прежние планы, расчеты раз-
рушены. Час проходит за часом, день за днем.
Прошел час, прошел день — и слава Богу, а
что завтрашний день скажет и придется ли
его увидеть — об этом страшно и подумать!

Все глядят испуганно и вопросительно прислушиваются, ждут какой-нибудь новости — и непременно страшной...

Среди этого ада, среди этой муки трудно, почти невозможно себе представить, что где-нибудь жизнь идет по-прежнему — тихо и спокойно, что где-нибудь люди без страха и тревоги думают о завтрашнем утре, что есть такие счастливые люди, которым все эта ужасы представляются далекой, непонятной сказкой.

А между тем ведь есть же такие благословенные, тихие уголки и есть такие счастливые люди... Счастливые! Как будто забота и горе не проникают в самый мирный угол! Ведь если и нет заботы и горя — так уже, наверное, они были или будут.

Стоят последние морозные дни глубокой осени. Давно бы уже пора выпасть снегу; давно бы пора стать зиме; уже ноябрь в половине, но снегу еще нет. С деревьев свалились последние желтые листья. Весь Знаменский парк поредел и сквозит; недавно грязные, размытые осенним дождем дорожки высохли, будто камень. По отлогим берегам озера по-

жолкляя трава покрыта морозным инеем, вода уже застывать стала... Уныло, окруженная сухими кустами и черными деревьями, стоит голубая беседка. Холодное солнце, пробравшись из-за деревьев, вытянуло свои косые лучи, и один из них озарил внутренность беседки и в ней неподвижную, грустно склонившуюся над раскрытой книгой княжну Таню.

Так все кругом тихо, спокойно, так безопасно. Мир и покой и в Знаменском парке, и на расстоянии тысяч верст в окружении: раскаты чужой грозы сюда не доносятся. Непонятна эта гроза мирным людям, занятым интересами своей жизни...

Но чего не знают, о чем не заботятся и не думают обитатели этого спокойно дремлющего края, о том уже давно знает и мучительно заботится Таня. И не только забота — глубокая сердечная мука изображается в ее лице. Вот она уронила с колен своих позабытую книгу и в невольном порыве сжала руками голову.

«Боже мой, что же мне делать?» — прошептала она и бессильно почти в отчаянии, опустила руки...

Немногим более года прошло с тех пор, как Таня в этой же беседке слышала признание Сергея, как чары первой юной любви опутали их своей сетью. Год прошел, только год, но что значит этот год для Тани, и как изменил он ее! Тогда она была еще почти ребенок, теперь она женщина. Она всегда обещала вырасти и развиться в замечательную красавицу, только чудилось, что это будет крепкая, здоровая, румяная красота, какую так любит русский народ, которую он так картинно изображает в своих старых песнях. Но не сбылись эти ожидания, красота Тани вышла совсем другая: правда, она еще выросла за этот последний год, правда, ее стройная крепкая фигура говорит о здоровье и силе, но не заметно в ней излишней полноты, пышности, не блестит она излишними яркими красками, побледнел горячий румянец ее щек; но зато в этом милом, всегда таком открытом и светлом лице явилась новая прелесть. Это прелесть грусти, прелесть мысли, серьезной и мучительной, которая не дает покоя, заставляет много и упорно работать и светится в ее задумчивых глазах, в тихо и слабо, все реже и

реже приходящей улыбке.

Что же такое случилось с Таней? Что пережила она?

Она писала Сергею о своей тоске, о тягости разлуки, она все ждала с ним свидания, потом писала о серьезной болезни матери, о каком-то большом, очень важном и трудном для нее деле. Сергей догадывался, какое это дело, но как оно разрешилось, чем все кончилось — этого он не знал. В последних письмах в Париж она почти совсем не писала ему о себе, она писала только о нем, расспрашивала его, тревожилась за него...

Дело, которое так заботило Таню и приняться за которое она решилась по отъезде Сергея, было мучительное, тайное дело. Об этом деле Таня стала думать уже давно, с той самой поры, как начала понимать окружающее; думала день и ночь — и наконец додумалась.

Она решила: вот она так горячо, так нежно любит Сергея, она может быть с ним так счастлива всю жизнь, но она примет это счастье и будет им наслаждаться только тогда, когда благополучно окончит свое тяжкое де-

ло, а до тех пор ей и счастье не в счастье и радость не в радость. Она должна вырвать мать свою из-под позорной, унижительной власти Петра Фомича, должна заставить этого низкого человека навсегда покинуть их дом, должна, одним словом, снова найти мать, иметь возможность любить ее как бы ей хотелось.

Думая о том, что может прийти такое счастливое время, она замирала от восторга. Она представляла себе, как все тогда будет хорошо и не для нее одной, а, именно, прежде всего для матери. Ведь она тогда совсем другая станет! Разве она теперь счастлива, разве ей хорошо живется, разве она теперь покойна?

Ведь Таня, как она ни молода, как ни неопытна, отлично подмечает волнение княгини, ее неловкость... Даже это бешенство, эта злоба, обращенная на несчастную прислугу, ни что иное как следствие душевной муки, душевного раздражения. Таня еще почти ребенок, но именно эта мучительная семейная история, над которой так много перечувствовала и передумала в уединении Знаменского, что всякого пожилого человека могла бы по-

разить ясностью своих мыслей.

И вот Таня думала и решила:

«Ведь не может же, не может она любить его, разве такого человека полюбить можно? Ведь в нем нет совсем ничего, что привлекает, что нравится в мужчине! Разве это мужчина? Это какое-то ползучее, гадкое животное, это ябедник, сплетник, мелкий воришка и трус, страшный трус! У него нет никакого самолюбия, нет чувства собственного достоинства... Такого человека полюбить невозможно... Но если бы даже это и было — на свете, говорят, случаются странные вещи, говорят, любовь приходит как буря, затуманивает глаза и представляет человека совсем в ином виде, чем он на самом деле, — если бы мать любила его, несмотря на все его отвратительные недостатки, и если бы это была настоящая любовь, ведь тогда она выразилась бы совсем иначе. Нельзя любить человека и держать его в таком положении, нельзя зачастую публично унижать его, как она это делает. Ведь вот бывают дни, бывают целые недели, когда она не может его видеть, когда ей просто противно его появление... Так, значит, тут нет ника-

кой сильной привязанности, это просто слабость, это какое-то отвратительное колдовство, и я должна, должна все это уничтожить!..»

Так думала Таня, и с отъезда Сергея каждый шаг ее был направлен к достижению этой цели. Прежде она невольно отдалялась от матери, не могла уважать ее, она подавляла в себе даже свою любовь к ней, она должна была даже бороться с презрением, с отвращением, которые не раз закрадывались в ее сердце. Теперь она уже не избегала матери, напротив, она почти все время проводила с нею, она выказывала ей такую почтительность, такую ласку, что княгиня не могла этого не заметить. И это новое обхождение дочери действовало на нее мучительно. Иногда она совсем таяла под нежным взглядом Тани, чувствовала себя перед ней раздавленной, приниженной, и в то же время благоговение к этой дочери, благодарность за ее ласки наполняли ее сердце. Дошло до того, что один раз княгиня вдруг зарыдала, крепко, крепко обняла Таню и стала целовать ее руки. Но этот порыв скоро прошел, злоба и какое-то

оскорбленное, невыносимое чувство заговорило в княгине, ей стало так стыдно за свое унижение, за нравственную высоту дочери, что она готова была ее ненавидеть.

Когда Таня была мала, ни о чем этом княгине совсем не думалось; теперь Таня выросла, все понимает, теперь поневоле приходится думать.

И эта Таня вон какая стала! Зачем же она мучает? Чего же она ласкает? Ведь не может же она ласкать от сердца! Ведь вот прежде бегала, отвертывалась — с чего же вдруг так переменялась, чего хочет?!

Дальше этих вопросов княгиня не шла, ее мысль плохо работала. Она только с каждым днем все больше и больше ее раздражала. Таня неотлучно стояла перед нею даже и тогда, когда уходила из дому и целые часы бродила в парке, даже тогда, когда уезжала к Горбатовым.

Нет Тани, но ведь вот она тут, она слышит каждое слово, слышит каждую мысль, всякий шаг ей известен. И княгиня волнуется, княгиня нигде не находит себе места.

Что же это за жизнь — это каторга! Чем это

кончится? Что делать?

Тоска и бешенство поднимаются в княгине, и она вымещает свою злобу на прислуге, вымещает ее и на Петре Фомиче. А между тем Петр Фомич все тут, и его положение не изменяется.

Проходят недели, месяцы, княгиня сама на себя не похожа, ее даже спрашивают, что с ней, не больна ли она?

Она отвечает, что здорова, а между тем сама чувствует, что неладное что-то творится с нею, что тяжело больна она...

И вот, наконец, болезнь разразилась. В мучительном душевном состоянии княгине достаточно было малейшего толчка, легкой простуды — открылась жесточайшая горячка с воспалением мозга.

Таня ни на минуту не отходила от постели матери и при первой же возможности удаляла всех, чтобы остаться наедине с больною, которая металась в забытьи и громко бредила. Тане невыносимо было, что посторонние слышат этот бред, в котором беспорядочно и безобразно, но все же с ужасающей, отвратительной ясностью высказывалась тайна кня-

гини, позор и муки ее больной души. По целым часам слушала Таня этот страшный бред, боролась с бешеными порывами матери, вскакивающей с кровати и все хотевшей бежать, бежать от преследовавшего ее мстителя, который ее затуманенному воображению представлялся Таней. Дочери, склоненной над нею день и ночь, она не узнавала, но перед нею постоянно была другая дочь, грозящая, негодующая, убивающая ее взглядом, рвущая на клочки ее сердце.

— Оставь меня, уйди! — задыхаясь, стонала и умоляла княгиня. — Отвернись, не смотри на меня своими острыми глазами!.. Зачем ты сверлишь ими мое сердце?! Посмотри, что ты со мной сделала!..

Она хваталась за сердце, из груди ее вырывался стон.

— Смотри, смотри, — раздирающим голосом кричала она, — ведь ты меня погубила!.. Что я теперь буду делать, когда во мне нет сердца?! Куда ты его девала? Зачем его вынула?.. Отдай мне его... Я не могу дышать... Что ты положила на его место?.. Ведь это камень, холодный, огромный камень!.. Он давит меня,

леденит...

И она в изнеможении падала на подушки.

Таня глядела на нее без слез, неподвижная, бледная. А когда княгиня засыпала, она тихонько отходила от ее кровати, в угол спальни, озаренный тихим светом лампадки, и склонялась перед киотом.

Она всегда была набожна, и несколько раз, когда Сергей, уже оторвавшийся от прежних верований и проникнутый новыми взглядами, внушенными воспитателем, пробовал в разговорах с нею касаться ее веры, он встречал с ее стороны решительный отпор и строгое запрещение говорить об этом предмете. Но никогда еще в жизни Таня так не молилась, как в эти тяжелые дни болезни матери. Она сознавала, что теперь наступает решительный кризис, что мать должна быть спасена или совсем погибнуть.

И не о смерти телесной, не о телесном спасении думала Таня. Она начинала верить, что Бог ей поможет, что если княгиня выздоровеет, то встанет с одра болезни обновленная духом... Но выздоровеет ли она? Было несколько дней, когда это казалось крайне сомни-

гельным...

Наконец опасность миновала, больная становилась спокойнее, бред стихал, вместо резких движений, метаний по кровати, порываний встать и бежать появилась слабость, значительный упадок сил. Княгиня часами лежала неподвижно, с закрытыми глазами. Таня всматривалась в это осунувшееся, постаревшее, бледное лицо матери и к чувству жалости невольно примешивалось новое, отрадное чувство. Она замечала в этом истомленном лице совсем иное выражение, чем то, которое не покидало его во все время забытья и бреда, чем то, которое было в нем и до болезни. Теперь в этом лице не было ни злобы, ни волнения, ни страха; оно сделалось таким тихим, спокойным, и Таня замечала даже, как иногда, на мгновение, слабая, добрая улыбка скользнет по бледным губам и исчезнет.

«Только зачем она лежит с закрытыми глазами, зачем не хочет взглянуть на меня, ведь она знает, что я здесь, слышит мой голос?!» — думала Таня.

— Матушка, ты спишь? — тихо спрашивала она.

— Не сплю, Танюша! — шептала ей в ответ каким-то странным, новым голосом княгиня.

А сама все лежит, не шевелится и глаз не открывает, а откроет их на мгновение — так все же не взглянет на Таню.

Прошло еще три дня. Измученная бессонными ночами, Таня теперь поневоле должна была иногда отходить от кровати и ложиться спать, но она все же не позволяла себе долго отдыхать. Поспит часа три, четыре — и опять вскочит, и опять уже на своем неизменном месте и смотрит на мать, смотрит, не отрываясь, силится прочесть в этом бледном лице с закрытыми глазами все, что происходит там, глубоко, в самом сердце...

XIII. ВОЗРОЖДЕНИЕ

Тихий и теплый летний вечер. Таня одна у изголовья матери. Из дальнего окна обширной спальни, которое теперь уже открыто, в комнату врываются широкой полосой лучи заходящего солнца. И в этом горячем живом столбе лучей кружатся, играют и сверкают мириады пылинок. Едва слышное дуновение доносит благоухание роскошных цветов: махровых роз, резеды и левкоев, во множестве распустившихся в цветниках под самыми окнами. С далеких деревьев сада слышится тихое птичье щебетание — отзвуки той дорогой, волшебной и могучей летней жизни, которую всегда так любила Таня, в созерцании которой находила такое блаженство.

Благоухание цветов и мириады пылинок, движущихся в ярком солнечном столбе, и птичье щебетанье вызывают Таню из душевной комнаты туда, на волю, в глубину любимого, родного парка. Но не слышит она этого манящего знакомого зова, утомилась она от своих тяжелых мыслей, от своих ожиданий. Она на-

клонилась к матери, прислушивается... дыхание больной спокойно, ровно — видно, заснула. И Танины глаза начинают мало-помалу слипаться, и на нее находит дремота...

Неясные, но понятные сердцу картины проходят перед нею. Раздвигаются стены комнаты, сверкает необозримое пространство, и в этом безграничном пространстве мелькает милый образ. Вот он снова с нею, этот далекий друг, которого она тщетно призывает. Он говорит ей:

«Таня! Таня! Ты достигла цели, забудь же тревоги, забудь свое горе, подумай обо мне, ведь ты одного меня любишь, ведь во мне одном твое счастье, и ты можешь, ты имеешь право теперь любить меня, любить без упреков — ты купила это право хорошей и дорогой ценою...»

И простирает к этому милому образу руки счастливая Таня.

«Да, ты мой, теперь ты мой! — восторженно отвечает она на его нежный шепот, — ты мой и никакая сила тебя у меня не отнимет... Ты мой, но зачем же так долго нет тебя?!»

Дорогой призрак исчез, испарился в свет-

лом тумане. Таня медленно открыла глаза.

Что это? Мать не спит, глаза ее не закрыты? Вот она приподняла с подушки голову, глядит на Таню. Как глядит, какой любовью, каким счастьем горят глаза ее! Она потянулась к ней, крепко-крепко обхватила ее своими исхудавшими руками и, склонившись к ней на грудь, громко зарыдала.

— Матушка, дорогая, что с тобой? — прошептала Таня испуганно и радостно.

Но княгиня ничего не могла ответить, рыдания ее душили, ей надо было выплакаться.

Проходили минуты, и вот, наконец, Таня расслышала тихий голос:

— Моя дорогая Танюша, моя ненаглядная! Прости ты меня, окаянную грешницу, прости меня, мой ангел хранитель!..

— Матушка! — в счастливом горячем порыве крикнула Таня.

Слезы брызнули из глаз ее. Она покрывала горячими, дочерними поцелуями лицо матери, ее руки. Она первый раз в жизни так целовала княгиню, она, наконец, нашла мать свою.

А княгиня между тем говорила:

— Таня, кабы знала ты, какие страшные сны мне снились, кабы знала, какие муки адские я испытывала!.. Смерть моя приходила, страшная смерть, лютая, без покаяния... Да, видно, ты душа святая, за меня Господа Бога умолила — помиловал он меня, окаянную, не допустил умереть в скверне моей греховной... Танюша, дочка моя, сокровище... Дни здесь и ночи лежала я — и все думала, думала... и да-но мне было узреть весь грех мой. Молись же за меня, молись! Видно, твоя чистая молитва угодна Богу, молись чтобы Он простил и сама прости меня. Знаю я, как виновата пред тобою, но только впредь моей вины не будет... Танюша моя, выходила ты меня, вымолила, и отныне вся жизнь моя — в одной тебе, ты мое сокровище, ты моя радость! Учи же меня, Танюша, — во всем тебе буду послушна, что прикажешь, то и исполню...

И долго говорила княгиня, пока позволяли ей ее еще не окрепшие силы. Все было решено, все было понятно. Таня знала, что заветная мечта ее превратилась в действительность, что теперь новая жизнь начинается, а старое горе, старый позор ушли навеки.

Когда утомленная чрезмерным волнением княгиня заснула, Таня выбежала в сад. Солнце только что зашло, и в небе еще не побледнели яркие краски заката. И чудилось Тане, что в этой душистой вечерней тишине немолчно раздаются тысячи голосов — звонких, ласковых, призывных. И все эти голоса только отвечали на счастливый крик ее сердца, радостно и весело трепетавшего в груди ее.

XIV. СМЕЛЫЙ ШАГ

Княгиня еще не выходила из спальни после своей долгой и тяжелой болезни, ее еще никто не видел кроме двух старых, прислуживающих ей горничных и часто навещавшей ее Марьи Никитишны Горбатовой, а уже по Знаменскому разнеслась нежданная, негаданная весть. Петр Фомич, всесильный Петр Фомич, столько времени корчивший из себя важного барина, только и знавший, что доносить на прислугу и всех домашних, ябедничать, сплетничать и быть главной причиной жестоких наказаний, которым то и дело безвинно подвергались знаменские обитатели, Петр

Фомич, ненавидимый всеми, уезжает из Знаменского, совсем уезжает, получает расчет от княгини. Между ними и княгиней не было даже никакого объяснения, она даже не захотела его видеть, не впустила его к себе.

С ним объяснилась Таня. Он уже и сам замечал в последнее время, что началось что-то неладное, что дела его принимают неожиданный, дурной оборот. Но того, что все это случится так скоро, решительно и бесповоротно — он никак не ожидал. Таня, это Таня, на которую он сначала не обращал внимания, как на ничего не значащую девчонку, которую он потом возненавидел и помышлял каким-нибудь способом удалить из дома, вдруг объявила ему, что он сам удален и что должен немедленно же собрать все свои пожитки и как можно скорее уезжать из Знаменского. И она говорила ему все это таким спокойным и в то же время властным тоном, что он вдруг совсем растерялся перед нею и струсил. Однако, несколько придя в себя, он пробовал, было, потребовать объяснения с княгиней. Таня все так же спокойно ответила ему, что об этом нечего и думать, что ее мать его нико-

гда не примет, что самое лучшее удалиться ему скорее и без историй, потому что иначе он наживет себе больших неприятностей.

Таня ушла, а он стоял как пораженный громом, потом поспешил к себе и начал укладываться. Он ясно видел, что теперь уже ничего нельзя исправить, что как ни тяжело это и ни невыносимо, а нужно исполнить приказание княжны. Он сосчитал свои деньги — их было достаточно для того, чтобы где угодно всю жизнь прожить припеваючи.

На следующий день он выехал из Знаменского, и вслед за его отъездом во владениях княгини началось великое ликование.

«Помог Господь нашей княжне, авось теперь лучше житье настанет!..» — говорили в Знаменском.

Между тем княгиня совсем поправилась и, наконец, решилась выйти из спальни. В большой зале собралась вся дворня, все приживалки и приживальщики для того, чтобы приветствовать хозяйку и выразить ей свою радость по случаю ее выздоровления. Несмотря на надежды, возбужденные в этих людях отъездом Петра Фомича, все-таки все с боль-

шим трепетом ожидали появления грозной и жестокой княгини.

«Кто же знает, — думалось многим, — а вдруг теперь не то что легче, а еще и тяжелее станет?! Перед дочкой не выдержала — прогнала управителя, а на нас сердце и выместит!..»

У всех дух захватило, когда на пороге залы появилась княгиня.

«Создатель, она ли это? Совсем, как есть совсем на себя не похожа!»

И точно, княгиню трудно было узнать: от прежней горделивой, властной, молодящейся женщины ничего не осталось; теперь это была почти старуха, с задумчивым и тихим лицом. Она вошла, опустив глаза и опираясь на руку дочери. Таня чувствовала, как мать слабо вздрагивала и прижималась к плечу ее.

Зала огласилась приветствиями. Княгиня подняла глаза, низко всем поклонилась и стала здороваться, ласково подходя к каждому и каждой, обнимая и целуя старых и верных слуг, которые, несмотря на все ее жестокости, много лет безропотно ей повиновались. Никто не мог прийти в себя от изумления.

Да полно, уж наяву ли это? Когда такое бывало?!

А княгиня, обойдя всех, села в кресло — она еще слабо держалась на ногах — и, не выпуская руку Тани, заговорила тихим, но внятнм, совсем новым и до глубины души проникающим голосом:

— Вот... выздоровела, не захотел Господь моей смерти, вымолила и выходила меня дочка... Радуюсь, что вижу вас всех в добром здравии...

Она замолчала, ее щеки покрылись мертвенной бледностью, грудь ее высоко поднималась. Она, очевидно, боролась с сильным волнением. Все, начиная с Тани, глядели на нее, не спуская глаз и инстинктивно понимая, что перед ними творится что-то необычайное, что-то торжественное и умирительное.

И вдруг княгиня поднялась со своего кресла, из глаз ее полились слезы, но она удержала их, и низко, почти земно кланяясь всему этому собравшемуся люду, твердым голосом проговорила;

— Простите меня, грешную! Много неспра-

ведливостей, много зла я вам сделала, враг-искуситель сидел во мне и толкал на погибель мою душу, но Господь помог мне... Простите меня, добрые люди...

Она замолкла и без сил упала в кресло. Почти все рыдали, но пуще всех рыдала Таня, бросившаяся на колени перед матерью, целовавшая ее руки, обливавшая их слезами.

И долго потом в Знаменском только и было разговоров, что об этом «чуде». Всенародное покаяние княгини, которого никто не мог ожидать, на которое никто не считал ее способной, произвело на всех самое глубокое впечатление. О «чуде с княгиней Пересветовой» говорилось далеко за пределами Знаменского, весть о нем быстро разнеслась по всей губернии. Давно уже укоренилась ее репутация жестокой мучительницы, но теперь от этой репутации и следа не осталось. Все вдруг стали считать ее чуть не святою; Таня же единогласно была причтена к лику ангельскому...

Теперь уже в барском знаменском доме не слышалось ни криков, ни стонов: тишь да гладь, да Божья благодать воцарились в нем.

Княгиню мало кто видел, она все больше сидела в своих комнатах и молилась. Зато Таня была у всех на глазах. Таня являлась теперь деятельной, заботливой и справедливой хозяйкой, и тут же все заметили, что, несмотря на всю свою доброту и ласковость, княжна не позволяет водить себя за нос, что ее трудно обмануть, что она вовсе не станет потакать беспорядкам. До сих пор Таню любили и жалели. Любовь к ней осталась, но жалость перешла в уважение.

Так проходили месяцы, прошло лето, наступила осень. У Тани было много дела по хозяйству, все почти свободное время она посвящала матери, которая теперь только и жила ею, думала ее мыслями, чувствовала ее сердцем. Но все же у Тани оставалось в день часа два-три, когда она бродила по своему любимому парку, у нее оставалась ночь, и в это время ей приходилось беседовать с собою и отвечать на вопросы души своей. Таня очень ценила это новое счастье, которое посетило дом их и которого она так долго и так страстно желала; но теперь она должна была мучительно убедиться, что этого счастья ей все же

мало, что жизнь ее не полна, что если ущла одна тоска, то осталась другая и растет с каждым днем и не дает ей спать спокойно, мешает ее работе, самовластно врывается в ее душу.

Таня все яснее и яснее и все сознательнее любила Сергея и тосковала в разлуке с ним. К этой любви и тоске примешивалось еще мучительное за него опасение. Она жадно узнавала все, что только можно было узнать о новостях Франции; она, конечно, многого не знала, не понимала, но и того, что ей становилось известно, было достаточно.

А тут вдруг, в конце осени, она неожиданно получила письмо от карлика Моськи. Он прислал это письмо через посольского курьера в Петербург, а из Петербурга в Знаменское оно было доставлено вместе с письмами и посылками Марье Никитишне Горбатовой. От Сергея давно не было писем, и это письмо Моськи так напугало бедную Таню, что она даже долго не решалась его распечатать. Наконец она дрожащими руками сломала печать...

Ее старый друг Степаныч своими красивыми, тщательно выведенными, будто печатными,

ми, буквами писал ей:

«Княжна наша золотая, Татьяна Владимировна! Не прогневайся на меня старого, что осмеливаюсь утруждать твои глазки моим письмом. Нужда великая и долг верной рабской службы внушают мне обратиться к твоей милости. Совсем нам здесь у басурманов плохо живется, в городе сем Париже от народу беспорядки большие завелись, да и по всему прочему совсем тут не место для Сергея Борисыча. Того и жди, великая беда может случиться, да такая беда, что и не расхлебашь. Упроси ты матушку Марью Никитишну, чтобы она, не медля ни часу, отписала Льву Александрычу Нарышкину и просила дабы указано было Сергею Борисычу ради всяких неотложных дел хозяйственных и семейных и паче того ради Марьи Никитишны болестей и краткого веку (пошли ей Господь, нашей матушке, доброго здоровья на долгие годы) отбыть из Парижа в Горбатовское. Отписал я и сам Льву Александровичу, а Марье Никитишне писать о том опасаясь, чтобы сильно не испужалась и не растревожилась. А ты это дело, разумная наша, золотая боярышня, ум-

ненько сделаешь. За сим нижайше кланяюсь и целую твои княжеские ручки. Верный твой раб Моисей Степанов».

Убежала Таня с этим письмом в глубину Знаменского парка и долго над ним думала. Вот она сидит в голубой беседке, озаренная холодными лучами ноябрьского солнца, уронила бессильно книгу, в которую и не заглядывала, и все думает, вынула из кармашка Моськино письмо, опять его перечитала.

«Коли он пишет, значит, дело нешуточное, значит, и впрямь большая опасность Сереже! Степаныч старик разумный, пугать не любит...»

Таня ни одной минуты не сомневалась в истинном значении этого послания. Она хорошо знала Моську, она знала, что это самый верный, самый преданный человек Сергею, что если он так пишет — значит, немедленно ей нужно действовать. Он не указывает, какие именно опасности, но тем это и серьезнее.

«Сейчас же, сейчас к Марье Никитишне!»

Она бегом добежала до дому, велела заложить лошадей и поехала в Горбатовское. Она

искусно навела разговор с Марьей Никитишной на Сергея, спросила, знает ли она, что во Франции происходят различные беспорядки?

— Ах, Танюша, уж лучше и не говори, — грустно ответила ей Марья Никитишна, — как не знать! Знаю, слышала... Редкую ночь сплю спокойно, все о Сереженьке думается — как-то он там, голубчик? Совсем, совсем ему там не место, давно бы пора вернуться. Больно мы все стосковались, не одна я — вот ведь и ты, голубка... Ну чего краснеть, ведь по глазам вижу!..

Она обняла Таню и нежно гладила ее по головке, как малого ребенка.

— Я не отпираюсь, тетенька, — сказала вспыхнувшая Таня, — конечно, стосковалась. Легко ли, ведь вот уже год целый, как он уехал!.. Давно пора вернуться, а особенно в такое время...

— Что ты мне говоришь, будто я сама дни и ночи о том же не думаю! Давно думаю, Танюша. С нарочным письмецо послала Льву Александрычу Нарышкину, всячески умоляла его, чтобы упросил государыню вернуть Сереженьку.

Таня встрепелулась. Моська опоздал — материнское сердце само вовремя забило тревогу!..

— Ну и что же... что ответил вам Нарышкин?

— А вот, читай сама, что он мне ответил, — грустно произнесла Марья Никитишна, порывлась в своем ридикюле, вынула письмо и подала его Тане.

Таня жадно принялась за чтение.

Нарышкин писал, что, несмотря на все свое желание, ничего не может сделать. И просил государыню — да ничего из этого не вышло... Это было загадочное письмо хитрого вельможи, который не мог сказать истины, а между тем все же намекал между строк на то, что какие-то важные обстоятельства мешают Сергею вернуться в Петербург и что даже теперь для него лучше быть подальше. Он успокаивал Марью Никитишну, уверял ее, что никакая опасность не грозит ее сыну, а в конце концов выходило все-таки, что неизвестно сколько еще времени придется молодому дипломату пробывать вдали от родины.

Таня опустила руки. Марья Никитишна по

простоте своей многое не поняла из этого письма, но Таня поняла все. Она увидела, что какая-то беда стряслась над Сергеем еще в Петербурге, что его пребывание в Париже — что-то вроде ссылки. Но что это могло быть, что все это значило? — Она не в силах была придумать, она только с каждой минутой все яснее понимала, что такое положение невыносимо, невозможно. Нужно все это узнать, распутать... нельзя жить с этой таинственностью, с этими странными, пугающими намеками, которые вот и в письме Нарышкина, и в письме Моськи, и в письмах Сергея...

Ведь что это — его последнее письмо?! Будто и не он пишет... в них столько недоговоренного и, опять-таки, таинственного и страшного.

Таня сидела бледная, почти в забытьи. Ее сердце больно и сильно стучало. Вот она вздрогнула, подняла голову, взяла Марью Никитишну за руку и сказала:

— Тетенька, знаете что? Я с матушкой поеду в Париж.

Марья Никитишна всплеснула руками.

— Танюша, Бог с тобой! Очнись, родная!

Что ты задумала... Статочное ли дело, как вы поедете?

— Так вот и поедем, тетенька! И лучше вы мне ничего не говорите — я уже решила... Ма-тушка уже давно совсем оправилась, и все доктора в один голос сказывают, что она вдвое еще стала бы здоровее, если бы подальше проехала, прожила несколько месяцев в другом климате...

— Слышала я это! — задумчиво шептала Марья Никитишна. — да что твои доктора! Врут все... Чего это по свету-то таскаться... Живут люди на одном месте сидючи, а ведь живут же... и болеют, и выздоравливают, и до глубокой старости доживают. А тут, вишь ты, климат! Какой тут климат?! — Будто не хорошо у нас... Оно бы, конечно, проведала бы Сереженьку, узнала, как он, что голубчик... Да нет, где же там! Все это пустое, Танюша...

— А вот и увидите, что не пустое!

Таня простилась с Марьей Никитишной и, даже не зайдя к своей приятельнице, Елене, поспешила домой.

— Ехать, ехать, скорее ехать! — думала она. — Ведь так жить невозможно, ведь нуж-

но же, наконец, узнать, что все это значит!..

Княгиня сначала даже не поняла, чего хочет от нее дочь, а как поняла, ужаснулась:

— Танюша, да мы живы не вернемся! Ведь убьют нас, зарежут на дороге!

Но Таня через силу смеялась, ласкала мать, упрашивала ее и, конечно, скоро победила все ее опасения. Княгиня была теперь как воск в руках ее — не только за границу, а и в самый ад пошла бы она по слову дочери.

— Делай, как знаешь, Танюша, — сказала она спокойным и покорным голосом. — Ехать так ехать... оно и правда — чего бояться... везде люди, не звери же!..

Таня ожила и принялась за всевозможные хлопоты, торопя отъезд, с которым нечего было мешкать.

XV. ДНИ И ЧАСЫ

События шли своим путем, постепенно расширяя его и уже не имея перед собою никакой преграды. Королевское семейство, по воле толпы покинувшее Версаль и переселившееся в Тюильри, в самый центр волнующегося Парижа, уже хорошо сознавало свое настоящее положение. Иллюзии, которыми еще недавно некоторые себя успокаивали, теперь окончательно исчезли — надеяться было не на что, оставалось только смиренно ждать своей участи.

Представители лучших домов Франции наскоро собирали свои деньги и драгоценности и убегали в Германию, Англию, Италию и даже Россию, покидая свои громадные, но уже почти разоренные родовые поместья, свои роскошные отели, покидая своего короля в самое страшное для него время. Почти каждый день Людовику XVI и Марии-Антуанетте приходилось прощаться с людьми, к которым они привыкли, которых еще недавно считали преданными и верными слугами. Почти каждый день приносил новое разочарование вме-

сте с ужасным сознанием, что все их покидают, все забывают и не от кого ждать помощи, не на кого положиться.

Королева уже выплакала все свои слезы; теперь ее глаза были сухи, на губах ее мелькала тихая и скорбная усмешка, когда она прощалась с этими людьми, которых постоянно осыпала милостями не по заслугам, для которых ничего не жалела. Это была невыносимая усмешка, способная смутить самого холодного человека — и многие смущались, многие бледнели и опускали глаза перед королевой, у многих являлось сознание своего тяжкого и позорного греха — неблагодарности. Но это сознание скоро засыпало, убаюкиваемое чувством самосохранения. Эмиграция с каждым днем усиливалась.

Совершалось нечто возмутительное по своей жестокости и роковое: честного и добродушного короля, прекрасную королеву покинул весь мир. Вряд ли Людовик и Мария-Антуанетта сделали кому-либо сознательное зло в свою жизнь. Когда они были окружены блеском и могуществом, когда они являлись на самом прославленном и высоком

престоле Европы, перед ними все преклонялись, ими восхищались, они не могли внушать к себе ненависти и вражды, в соседних государствах у них не могло быть врагов: они старались поддерживать дружественные отношения со всеми... Но вот блестящий престол рухнул, добрый король и прекрасная королева в несчастьи, в унижении, на краю гибели — и ни одна дружественная рука не приходит к ним на помощь!..

Все бегут от них, как от зачумленных, предоставляют их самой страшной участи, которая начинает уже всем становиться ясной...

Убедившись в неблагодарности, низости и жестокости своих близких друзей и слуг, облагодетельствованных ими, они обращаются за помощью к соседям; но соседи молчат, совсем отвертываются или глядят безучастно, будто не видят этого невероятного, ужасного положения, будто не слышат голоса, зовущего их на помощь. Европа желает присутствовать спокойной и холодной зрительницей при гибели короля и королевы Франции.

Что должна была почувствовать в вы-

нужденном уединении Тюильрийского дворца несчастная Мария-Антуанетта?! Она уже убедилась в жестокой действительности, уже поняла, что никто и ничего не придет к ним на помощь, уже перестала верить в людей, ждать от них какого-нибудь чувства. Она только изумлялась, что не все еще разбежались, что они все же не совсем одиноки, что у них остался десяток-другой старых друзей, которые не хотят их покинуть и решились погибнуть вместе с ними.

«Да уходите же, уходите, скорее!» — говорила она в минуты отчаяния этим друзьям. — Оставьте нам хоть одно утешение — знать, что мы никого не увлекали в бездну вместе с собою!..

Но друзья не уходили.

В числе их была и герцогиня д'Ориньи. Ее отец и мать уже выехали из Франции. Граф де Марси выпросил у короля последние подачки, покинул свою упраздненную синекуру и решил в Лондоне, где у него были друзья и связи, выждать тяжелое время. Он рассчитывал, что все же в конце концов дело обойдется благополучно и что еще настанут лучшие

времена, когда можно будет вернуться на родину и снова позаботиться об устройстве своих денежных и иных обстоятельств.

Графиня согласилась ему сопутствовать не из страха — она не понимала ясно того, что делается крутом, не понимала революции. Она видела только, что Версаль не существует, что в Париже крайне скучно: прежняя жизнь разрушена, общества почти нет. А жить без двора, без общества, без вечного шума она не могла, и поэтому естественно стремилась туда, где предполагала найти ту жизнь, с которой сроднилась. Она надеялась еще поблистать в английском обществе.

Она звала с собой и дочь; но та наотрез отказала ей. Графиня не стала настаивать, тем более, что Мари подарила ей довольно значительную сумму денег.

Герцог д'Ориньи уехал в Вену — король и королева дали ему поручение к императору. Он не торопился с возвращением. Мари занимала одна громадный, великолепный отель д'Ориньи; но она не знала уединения — половину своего времени она проводила в Тюильрийском дворце, а когда возвращалась к себе,

то ее уже дожидался Сергей Горбатов. С ним она переживала безумные дни страсти.

Сергей давно уже свободно владел своей вывихнутой рукой. Ночь на 6 октября, все эти неожиданные события, которых он был свидетелем и участником, представлялись ему теперь тяжелым сновидением. Но в этом ужасном и мрачном сновидении, в этом кошмаре для него заключалось все же много счастья. Вместе со всеми ужасами он пережил в эту ночь такие блаженные минуты, каких у него еще не было в жизни.

Уединение вдвоем с Мари среди немых, полутемных галерей Версальского замка, ее нежные заботы о его вывихнутой руке и потом этот час напряженного, тревожного ожидания и волнения перед окном, из которого они, прижавшись друг к другу, были свидетелями величия и мужества королевы!.. Все это сблизило их более, нежели могло бы сблизить долгое время общей жизни. Среди тревог и волнений наступившего хаоса, любовь для них являлась еще прекраснее — она удаляла их от этой искаженной, невыносимой жизни, переносила в иной лучезарный мир.

В первые дни, вглядываясь долгим, горячим взором в глаза Сергея, герцогиня часто повторяла:

— Что бы мы стали теперь делать, если бы у нас не было друг друга?! Какой-то добрый гений, верно, сжалился над нами!.. Забудем же все — пусть там кипит эта проклятая жизнь, пусть эти безумные люди беснуются — какое нам до них дело! Сюда не проникнут их крики... Смотри, как все здесь тихо, уютно... Смотри — я не узнаю эту обстановку, это не то, что было прежде, к чему я привыкла!.. Здесь все новое и волшебное.

И она оглядывалась в изумлении, в экстазе.

Бледный свет голубой лампы тихо разливался по кокетливо и грациозно убранному будуару. Сергей видел, что Мари права, что, действительно, вокруг них все волшебное и новое. Все, прежде неподвижное и холодное, теперь вдруг ожило. Разве это не живые амуры и нимфы глядят на них с высокого потолка, готовясь осыпать их душистыми цветами? В каждом зеркале отражается какая-то невидимая, чудесная перспектива, среди которой,

поминутно меняясь, являются и исчезают обольстительные образы.

— И мы одни, — говорит герцогиня, — нас видят только эти нимфы и амуры, но они не нарушат нашей тайны, они нас охраняют...

В первые дни Сергей всецело отдавался вдруг нахлынувшему на него счастью; он спешил в этот тихий уют, как в рай, и забывал здесь все, что прежде его так томило, тревожило, мучило. Неделя, другая прошла в таком сладком забытьи. Нимфы и амуры по-прежнему стерегли их тайну, по-прежнему готовились осыпать их цветами. Сергей чувствовал, что с каждым днем только растет и крепнет его страсть к Мари.

А между тем к блаженству, охватившему его и доведшему его до самозабвения, вдруг стало примешиваться новое мучительно чувство — это была тоска, это было что-то даже хуже тоски, что-то похожее на упрек совести.

Мари как-то в разговоре упомянула про своего мужа. Сергей вздохнул и побледнел. Она заметила это.

— Неужели я тебя смутила? — изумленно спросила она. — Впредь я буду осторожнее,

действительно, нам нечего говорить о нем и думать, он дальше от нас, чем кто-либо.

— Ах, как ты заблуждаешься! — в волнении перебил ее Сергей. — Напротив, он ближе всех, и эта-то близость так ужасна для меня! Большое благополучие, что он уехал, я не имел бы силы с ним встретиться... Я ненавижу этого человека и в то же время чувствую себя перед ним виновным, и понимаю, что моя ненависть бессмысленна... Его здесь нет; но ведь со дня на день он может вернуться — что же тогда будет?! Я все это время старался об этом не думать, но вот ты сама назвала его, мы говорим о нем, так делать нечего — нужно же договориться!.. Мари, неужели ты не понимаешь, что такое положение ужасно, что оно тяжело, позорно. Мы любим друг друга, наша любовь прекрасна, мы созданы для того, чтобы принести счастье один другому... Мы не виноваты, что встретились, что полюбили — иначе не могло быть... Это судьба наша... А между тем все же, хотя и невольные, мы воры и преступники!..

Мари сидела, задумчиво опустив руки; но при последних словах его она вдруг подняла

голову и взглянула на него с улыбкой. Ее оживленное, капризное лицо, ее сверкающие черные глаза были прелестнее, чем когда-либо. Сергей глядел на нее с восторгом. Когда она была такая, когда она так смотрела — она доводила его до безумия. Но зачем же на этом прелестном, соблазнительном лице, на этих горячих губах, ждущих поцелуя, такая странная усмешка?! Не то чтобы злое, но нехорошее что-то в этой усмешке.

— Ты опять принимаешься за свои старые фантазии, Serge! — проговорила, все продолжая усмехаться, Мари, — *tu manques de logique*: «Мы не виноваты, что встретились, что полюбили, и в то же время воры и преступники!» — как понимать это?.. Нет, что-нибудь одно: или мы правы, или неправы... Я полагаю, что мы правы... Конечно, если б я знала, что встречу с тобою, то не стала бы выходить замуж за герцога; но ведь я не знала этого, и при том, как я уже тебе говорила, он сам меня несколько не стесняет — следовательно, я права, а потому и не могу мучиться теми вопросами, которые так тебя мучают. Советую я тебе бросить твою философию, и

без философии жизнь теперь стала такой страшной!.. Есть одна только возможность забыться и среди всяких ужасов найти счастье, а ты все отравляешь своей философией!.. Брось это, мой друг, пользуйся тем, что дает жизнь...

Ее усмешка вдруг исчезла — новое выражение, в котором Сергей мог бы подметить, если бы пристально смотрел на нее, нечто злобное и мрачное, мелькнуло в ее глазах.

— Или, может быть, — проговорила она, — ты оттого философствовать стал, что тебе уже надоели эти часы? Тебе скучно со мною!.. Так скажи мне это прямо... Так будет гораздо лучше!..

— Мари, ты с ума сходишь! — крикнул изумленный, негодующий Сергей. — Какое право ты имеешь так говорить?! У тебя не должно и не может быть подобных мыслей... Если бы эта любовь не была неизбежной, если бы в ней не заключалась судьба моя, если бы я не чувствовал, что жить и не любить тебя — для меня невыносимо, поверь, я бы сумел совладать с собою и уйти от тебя вовремя. Ты не знаешь какую борьбу пришлось мне выне-

сти! Но именно потому, что я люблю тебя, не могу быть без тебя, потому, что я верю (что было бы со мной, если бы я не верил этому!) что и ты останешься ко мне неизменной, — я и думаю о том, что нам необходимо вырваться на свободу, выйти из этого позорного положения... Я хочу любить тебя открыто, не таясь, не прячась, не скрывая от всех посторонних глаз мое сокровище. Я не хочу быть воровом — пойми ты это!

Она тихо качала головою, сжимая его руки, глядела на него горячими глазами и вдруг привлекла его к себе и стала целовать.

— О, я верю, что ты меня любишь, — говорила она, — так позабудь же все мрачное, тяжелое, раздражающее! Жизнь так коротка, может быть, даже гораздо короче, чем мы думаем... Разве мы можем знать, какая судьба нас ожидает?! Вот сегодня мы здесь, вдвоем с тобою, а завтра что будет? Завтра? Кто нам ответит на это? Так будем же счастливы, пока это возможно!..

Но Сергею было мало этого счастья, которое она ему предлагала. Для него это было не счастье, а опьянение, и он уже начинал

отрезвляться. Она не разогнала своими ласками, своими поцелуями тоски его.

Он говорил ей:

— Постой, подумаем, неужели нет выхода, неужели всю жизнь такое мученье ради твоей невольной ошибки?.. Мари, дорогая моя, ты должна развестись со своим мужем — он не может иметь ничего против этого, он должен сам помочь тебе. Я знаю, что это трудно, но с большими связями, с большими средствами все это можно устроить... Мари, подумай только, ты будешь свободна, я по праву назову тебя своей женой!.. Если захочешь — я увезу тебя в Россию, ты найдешь там новую родину, найдешь друзей. Если же ты не захочешь этого, останемся здесь или уедем хоть на край света... Скажи слово — и я всюду пойду за тобой, я покончу со всем и со всеми, я порву все связи, я буду жить только одной тобой!..

— О! Как ты фантазируешь! — прервала его горячую речь герцогиня. — Может быть, все это и было бы очень хорошо, но я еще никогда об этом не думала и, мне кажется, все это невозможно. Да знаешь ли ты, что?.. Нет,

нет, это, пожалуй, было бы хуже...

— Как хуже, что ты говоришь? Я тебя не понимаю!..

— А вот послушай: право, я теперь спокойнее, я увереннее в любви твоей, чем если бы исполнилось то, о чем ты мечтаешь. Ты так еще молод... Если бы я была твоей женой, твоей неотъемлемой собственностью, я, пожалуй бы скоро тебе надоела — ты знал бы, что я никуда не уйду от тебя... Если ты философствуешь, позволь и мне последовать твоему примеру, только моя философия основана на знании жизни, на опыте. Поверь, любовь только тогда и заключает в себе поэзию и счастье, когда она окружена тайной, когда в ней борьба. Нет, я не променяю этих наших часов в обществе нимф и амуров моего будуара, этих встреч во дворце, когда мы передаем друг другу наши чувства только быстрыми взглядами, только тайным, мгновенным пожатием руки, я не променяю этого на то, что ты мне предлагаешь!..

Сергей слушал ее в испуге и в волнении, тоска давила его все больше и больше.

— Ты сама не знаешь, что говоришь, —

шептал он, — ты на себя клеветешь. Неужели ты хочешь уверить меня, что ты так меня любишь?! Ведь, значит, что же? Предполагая, что я разлюбил бы тебя, если бы ты была моей женою, ты заставляешь и меня предполагать, что ты сама бы так поступила... Что ты была бы способна изменить мне, Мари! Что же это такое — неужели так?!

Она звонко рассмеялась.

— Может быть, и так, не знаю... Право, не знаю! Я знаю только, что теперь-то я люблю тебя — и пожалуйста, оставим этот разговор, мы ни до чего веселого не договоримся... Пойди лучше сюда, открой крышку клавесина... Дай мне вот эти ноты — я спою тебе хорошенькую песню.

Он исполнил ее приказание. Она взяла несколько аккордов и запела своим небольшим, но чистым и приятным голосом.

Это был средневековый романс, в котором говорилось о пламенной и чистой любви рыцаря к своей даме, о любви, остающейся неизменной среди всех испытаний и переходящей даже за пределы могилы.

Сергей уныло слушал. Тихие, мелодичные

звуки, в которые герцогиня умела вложить душу и чувство, западали ему в сердце невольным упреком. Ему вдруг вспомнилась Таня. Ведь он еще так недавно считал себя ее рыцарем, он ушел от нее и обещал ей, что его чистая любовь останется неизменной посреди всевозможных испытаний.

Таня! Бедная Таня! Что теперь с нею? Предчувствует ли она, что он изменил ей, что он обманул ее и забыл все свои обещания?

Его сердце сильно и тревожно забилося, ему почудилось, что он не переставал любить Таню...

Но звуки средневекового романса замолкли, герцогиня начала новую песню. В ней опять говорилось о любви, но уже не было ни рыцаря, ни его далекой дамы. В песне этой кипело веселье, жажда наслаждения и жизни. Игривые звуки требовали забвения всех тревог и забот. Солнце светит, небо безоблачно, вся природа ликует — будем же любить и наслаждаться, пока не найдут тучи, пока не грянет гром и не заблестит молния. Пусть приходит гроза в свое время, и чем она ближе, тем с большей жадностью нужно ловить

светлый миг — в этом вся задача.

Но Сергей уже не мог больше слушать. Безумные, страстные звуки увлекли его, затуманили. Он видел только прелестное лицо Мари, длинные ресницы ее полуопущенных глаз, ее почти детские, тонкие руки, ее нежные полупрозрачные пальцы, быстро бегавшие по клавишам...

Жизнь зовет... Гроза близка, нужно ловить последние светлые мгновения! — Боже мой, да ведь, может быть, она права — ведь это жизнь, это мука, и в этой муке столько блаженства!..

Он склонился к Мари, засматривал ей в глаза.

— Оставь, не пой, я с ума схожу от твоего пения! Ты сирена... Ты волшебница!..

— Говорят!.. — с грациозной и кокетливой минкой ответила она, прерывая свою песню и беря последние аккорды. — Говорят, что сирена... Только разве это дурно? Разве ты хотел бы, чтобы я была иная?..

— Нет, нет, я ничего не хочу... Будь сиреной, будь вакханкой, будь кем хочешь — только люби меня!..

XVI. ГРАФ МОНТЕЛУПО

Таким образом, страсть Сергея, начавшись для него мучением, потом давши ему несколько дней безумного счастья, скоро опять превратилась в муку. Он снова проводил бессонные ночи, искал выхода из своего невыносимого положения, томился тем, что Мари будто не хочет понять его.

«Да, нет же, нет, — успокаивал он себя, — конечно, она хорошо все это понимает и чувствует, только то решение вопроса, которое я нахожу возможным, ей почему-то — по крайней мере, теперь — представляется трудным, и она просто жалея себя и меня, старается забыться... Но ведь так не будет же продолжаться, придет время — и она сама увидит, что надо со всем этим кончить!...»

Он успокаивал себя такими рассуждениями, а между тем тоска его не проходила. Он чувствовал, не отдавая себе даже сознательного отчета, что в Мари есть что-то странное, что-то такое, чего он не хотел бы в ней видеть.

Но каким бы несчастным он почел себя, ес-

ли бы мог хоть на миг один заглянуть в ее душу! Он все же верил в любовь ее, верил, что они сошлись не случайно и не временно...

А между тем она уже начинала с каждым днем сильнее и сильнее чувствовать, что встреча их именно временная, одна из тех встреч, какие у нее уже были. Ее обращение с Сергеем не изменилось, она была так же нежна и ласкова, но эти тихие вечера уже не доставляли ей такого счастья, как в первое время. Если бы он мог быть наблюдательнее, он бы подметил в ней иногда не то усталость, не то скуку. Среди живого разговора, среди нежных слов и, в особенности, в то время, когда он развивал перед нею свои мечты, свои планы, свои надежды, в которых она, конечно, играла первую роль, она вдруг иногда умолкала и сидела неподвижно, опустив руки. Живые краски сбегали с лица ее, огонь ее глаз потухал, и вся ее красота, заключавшаяся, главным образом, в этом оживлении, в веселости, остроумии, почти испарялась. Она делалась так бледна, апатична, она вдруг как будто старела...

Ей становилось просто скучно, а скука бы-

да первым врагом ее, от которого она бежала, как от чумы, которого прогнать она всегда была готова всякими средствами, всякими даже жертвами...

И как же ей было не скучать! Ведь это все одно и то же: Сергей остается неизменным, он только с каждым днем сильнее и сильнее ее любит, он с каждым днем сильнее тоскует и мучается... Он все уверяет ее в любви своей... Боже мой, да она сама видит, слишком даже видит, что он ее чрезмерно любит, только пусть бы уж лучше любил поменьше, да сумел бы прогнать ее скуку!..

Только очень чистые женщины, стоящие на большой нравственной высоте, способны как следует оценить любовь человека и сильно любить за то, что их сильно любят. Большинство же женщин, и в особенности таких женщин, какою была герцогиня, не нуждаются в истинном и сильном чувстве. Чтобы заставить таких женщин любить себя, чтобы приковать их к себе на долгое время, человек должен отдавать им как можно меньше своего сердца, получить над ними власть и пользоваться ею деспотически.

Сергей мог заинтересовать и увлечь герцогиню своей красотой, своей молодостью и свежестью, приятными сторонами своего ума и характера. Он являлся перед нею совсем новым человеком, он так не похож был на тех молодых людей, с которыми она до сих пор встречалась в Париже и в Версале. Он увлек ее сильнее, чем кто-либо, но удержать ее было не в его силах. Он слишком ей поддавался, слишком был послушен. Угождать ей, исполнять все ее желания и капризы было для него потребностью, а собственных желаний и капризов перед нею у него не было.

Потом он строил планы. Он вот хочет заставить ее развестись с мужем, наделать бездну глупостей. Он, пожалуй, вздумает оторвать ее от всего, что ей близко, с чем она сроднилась, без чего жить не может... О, конечно, он считает ее своею собственностью, думает, что вся ее жизнь, как есть вся жизнь, должна теперь сосредоточиться в нем одном. Как он ни нежен, ни послушен, ни мягок — он, конечно, самый смешной ревнивец! Она еще не успела убедиться в этом, до сих пор она не подавала ему повода к ревности, но

она не может ошибиться — он так по-детски, так глупо любит... и потом, эти вечные нежные элегические признания.

Она любила их в пятнадцать лет, когда жила еще в стенах монастыря, признания эти понравились ей и в нем, напомнили ей то старое время ее девической наивной жизни.

Но что было хорошо в первые дни их любви, то ведь, наконец, становится и скучным!..

Конечно, он мил иногда, он такой славный мальчик, совсем ребенок... Мило в нем и то, что он не знает жизни, что он еще не устал, не пресытился жизнью, как все его сверстники. Да ведь она-то устала, она пресытилась, ей необходимо разнообразие — а то она умрет от скуки!

Бедный Сергей! Ему стоило только затеять маленькую игру, стоило начать опаздывать на свидания с нею, раз-другой совсем не явиться, завести какую-нибудь легкую, мимолетную интригу, о которой стали бы говорить, о которой бы и она узнала, тогда она перестала бы скучать, в ней все же было настолько к нему чувства, чтобы взволноваться этим. И если бы в объяснении с нею он выдер-

жал характер, если бы он успел доказать ей, что она может легко его лишиться — она ни за что бы его не выпустила, и в чем больше бы он стал пренебрегать ею, тем больше бы у него было над нею власти.

Но на подобную игру Сергей не был способен. Если бы какой-нибудь опытный друг посоветовал ему все это, он почел бы этого друга врагом, а благоразумные советы — святотатством.

Он начал, наконец, замечать в Мари какую-то странную перемену — она уже положительно скучала и не могла скрывать этого.

— Ты бледна, ты грустишь?! — с тоскою говорил он, вглядываясь в ее потухающие глаза. — Мари, что с тобою, скажи мне ради Бога!

— Ровно ничего, — ответила она, — мне просто скучно.

Скучно!!! Он совсем не понимал этого. Могло быть тяжело, грустно, страшно — но только не скучно! Он старался вывести ее из этого странного настроения — удваивал к ней свою нежность, свои ласки, всячески доказывал ей любовь свою. Но этим он только вредил делу — Мари становилась все страннее и стран-

нее...

Однажды, подъезжая в обычный час к отелю д'Ориньи, Сергей еще с улицы заметил свет в некоторых окнах.

«Что бы это такое могло значить? — с беспокойством подумал он. — Неужели герцог вернулся?!»

Его сердце болезненно забилося. Он решительно не в состоянии был встретиться с этим человеком, которого знал очень мало, который всегда оказывал ему самую изысканную любезность. Ненависть охватила его.

«Что же такое, что она его не любит! Ведь он ее муж, он имеет самые страшные права на нее!..»

Но он все же, может быть, как-нибудь справился бы со своей ненавистью, он не мог справиться с другим чувством — с сознанием своего унижительного положения перед этим человеком. Ведь он должен лгать перед ним, бессовестно лгать, выказывать ему почти-тельную любезность...

«Нет, я не могу с ним встретиться! — решил Сергей. — Я не выдержу, у нас сегодня же плохо кончится... а между тем ради Мари, ра-

ди ее спокойствия это невозможно!»

Он уже хотел ехать обратно; но мысль, что, может быть, герцог не возвращался, что свет в окнах имеет какое-нибудь другое объяснение, остановила его. Привратник объяснил ему, что у герцогини гости. Большая тяжесть спала с души его, и ее заменило изумление.

«Гости! Ведь она почти никого не принимала все это время и в этот час всегда ждала его, всегда бывала одна...»

С неопределенным, мрачным предчувствием, с тоскою прошел он ряд освещенных комнат и вошел уже не в будуар, а в одну из парадных гостиных. Мари встретила его и сразу поразила: бледности, апатии и скуки последних дней в ней не было и следа. Она снова сияла красотой и оживлением, она была мила и весела, как в то время, когда он только что узнал ее.

Общество, собравшееся в ее гостиной, было ему знакомо. Почти со всеми этими лицами он уже встречался в Версале. Это был интимный, родственный кружок герцогини: два-три дяди ее, еще недавно занимавшие важные места и теперь не знавшие на что ре-

шиться: последовать ли примеру графа де Марси и спешить вон из Парижа, или остаться в ежедневно редеющем кружке Тюильри. Были тут две тетки-старушки, кузина, потом неизменный член великосветской гостиной — изящный аббат с вкрадчивыми манерами и тихим голосом, с быстрыми глазами, умеющими проникать всюду и подмечать даже и то, чего никто не видел.

Но среди этого небольшого кружка оказалось и новое лицо, которое сразу остановило на себе внимание Сергея. Это был человек уже не молодой, но далеко еще не старый, хорошо сохранившийся, крепко сложенный. Он одет был с изящной простотой весь в черное — и этот черный костюм еще более выделял красоту его смуглого лица с резкими чертами, с огненными глубокими глазами, которые не то тревожно, не то пытливо глядели из-под густых, почти сросшихся бровей. Это лицо неприятно поразило Сергея, он заметил в нем что-то отталкивающее, что-то фальшивое. Еще у порога гостиной, где встретила его хозяйка, он спросил ее:

— Кто это?

— Это очень интересный человек, — ответила Мари, — меня им сильно заинтересовала моя тетка, маркиза. Его зовут граф Монтелупо, он итальянец, известный путешественник, ученый, доктор, обладающий многими важными медицинскими секретами, добытыми им на Востоке...

— Я никогда не слышал о нем, — проговорил Сергей.

Герцогиня даже как будто обиделась на это его замечание.

— Мало ли о ком вы не слышали, но это не мешает ему быть тем, что он есть — а именно, очень интересным человеком.

В это время к ним подошла старуха-маркиза.

— Ah, monsieur Gorbatoff, очень рада вас видеть, и этим удовольствием я обязана графу Монтелупо — ведь вы не имеете обычая навещать таких скучных старух, как я. А я все время была очень больна — не могла шевельнуться и, если бы не граф, который самым чудесным способом спас меня, я вряд ли когда-либо была бы в состоянии появиться в гостиной моей племянницы... Однако, что же

мы стоим? Пойдемте... Мари, познакомь скорее monsieur Горбатова!..

Сергей и граф Монтелупо вежливо расклялись друг перед другом. Старуха маркиза опять заговорила, обращаясь к Сергею:

— Да, вот, вот мой спаситель! Не будь его, да я, может быть, и месяца не прожила бы.

— Чем же вы были больны, маркиза? — почел своим долгом осведомиться Сергей.

— Ах, лучше и не спрашивайте меня! Страшно и подумать... я не знаю названия моей болезни; но дело не в названии. У меня вдруг отнялась нога... и при этом боли... боли! Ни днем, ни ночью не имела покоя... Вдруг приезжает в Париж граф; у него было рекомендательное письмо ко мне от одной моей приятельницы. Недвижимая на своей постели, я не решилась принять его... тогда он мне написал, рассказал все симптомы моей болезни и уверял, что меня вылечит... Признаюсь, к большому стыду своему, что я сильно сомневалась. Но вот граф явился, сделал какую-то смесь, обмакнул в эту смесь кисточку, нарисовал на моей несчастной ноге какой-то знак, произнес при этом таинственные сло-

ва — и, как видите, я здорова, я хожу, все мои боли, все мои мучения прошли, как сон...

Сергей взглянул на итальянца — тот сидел полуопустив глаза, на лице его выразалось спокойствие и чувство собственного достоинства.

— Болезнь маркизы, — произнес он на ломаном французском языке, — хотя и казалась здешним докторам непонятной и опасной, но для меня она была совершенный пустяк. Мне удавалось в один день излечивать самые страшные болезни, признанные всеми медицинскими знаменитостями за неизлечимые.

— В таком случае вы обладаете самыми могущественными средствами! — едва скрывая невольную улыбку, заметил Сергей. — Но, скажите, пожалуйста, причем же тут таинственные слова, о которых упомянула маркиза?

Итальянец поднял на Сергея свои черные, пронзительные глаза и с едва заметной усмешкой ответил:

— Главная сила моих средств и заключается в этих словах; ту смесь, которую я делаю, можно анализировать, ее может приготовить

всякий, но без знания необходимых моих слов она не произведет никакого действия.

— Мне до сих пор не приходилось встречаться с подобными чудесами, — сказал Сергей, — и я не полагал, чтобы какое-нибудь слово могло иметь исцеляющую силу; но перед вашим свидетельством, я, конечно, должен смолкнуть.

Он учтиво и сухо поклонился и отошел от графа Монтелупо.

«Да ведь это или сумасшедший, или самый наглый обманщик! — подумал он. — Что выжившая из ума старушка-маркиза поддалась всему этому — немудрено; но каким образом Мари может им интересоваться?»

А между тем он видел, что и Мари, и все присутствующие смотрят на этого итальянца как на какое-то особенное существо, засыпают его любезностями, ловят каждое его слово. Только на губах изящного аббата по временам мелькала саркастическая усмешка, которую он, однако, тотчас же и прятал, стараясь представиться таким же заинтересованным и восхищенным, как и все остальные.

Граф Монтелупо возобновил свой рассказ,

прерванный появлением Сергея. Он отвлотительно говорил по-французски, но очень бойко, и обладал даром слова. К тому же он рассказывал самые невероятные вещи и увлекал не формой рассказа, а его содержанием. По его словам, он недавно вернулся из Азии, где прожил несколько лет, преимущественно в Тибете.

— Чему же изумляться, — говорил он, — если я могу своими средствами восстановить расстроенную функцию какого-нибудь органа! Мои познания могут удивлять в Европе; но для Азии они слишком ничтожны. Я только ученик великих учителей...

— Но если ученик производит такие чудеса, — с благоговением произнесла старушка-маркиза, — то что могут сделать учителя?!

— Все, что угодно! — торжественно и спокойно ответил граф Монтелупо. — Для них нет ничего невозможного. В Тибете я сам был свидетелем, как Далай-Лама при огромном стечении народа кинжалом распорол себе живот, собственными руками вынул все свои внутренности, положил их в большой таз с водою, вымыл, затем опять вложил на место,

замазал громадный, зияющий разрез одному ему известным составом — и через несколько минут не осталось никакого видимого следа от этой страшной операции. Только Далай-Лама оказался гораздо бодрее. Народ ликовал; вода, в которой Далай-Лама вымыл свои внутренности, получила целительную силу, и каждая ее капля ценилась на вес золота...

— И вы сами, своими глазами все это видели! — с волнением в голосе произнесла Мари.

— Конечно! Иначе я бы не стал и рассказывать, герцогиня! Я находился в двух шагах от Далай-Ламы и видел такие подробности происшедшего... Но и это еще не все — восточные мудрецы способны на большее. Опять-таки у меня на глазах один из них оживил мертвеца, пролежавшего около полугода в замурованном склепе, в герметически закупоренном гробу...

— Это непостижимо! Это поразительно! — повторяли все и слушали с открытыми ртами, жадно впиваясь глазами в рассказчика, не смея дышать, боясь проронить одно его слово.

И Сергей с изумлением видел, что более

всех поражена, более всех возбуждена Мари. Глаза ее сверкали и искрились, на щеках то и дело вспыхивал румянец. Она подседа ближе к графу Монтелупо, она глядела на него почти с обожанием.

Сергей не мог выносить этого. Его не так возмущал самый рассказ графа — он всегда с удовольствием слушал интересные сказки и даже, в известном настроении, был готов почесть самую причудливую сказку за действительность. Его возмущала не сказка, а сказочник, его тон, его манера, в которых он все яснее и яснее подмечал что-то фальшивое и наглое. Ему еще не случалось встречаться с шарлатанами-авантюристами, которых было так много в течение XVIII столетия и которые очень ловко пользовались доверчивостью общества и отлично устраивали свои дела в столицах Европы, но он много слышал о подобных людях, и, взглядываясь в этого итальянца, не сомневался, что он принадлежит к числу их.

Но ведь Мари не раз при нем зло и остроумно смеялась над такими шарлатанами, над этими делателями философского камня и от-

крывателями универсальных целебных средств. Так что же это с нею? Чем этот сказочник так увлек ее, куда девались ее апломб, ее остроумие, ее живой и насмешливый ум? Она как глупая девочка слушает эти рассказы и принимает их как откровение.

Да и полно — что это за граф Монтелупо?! Тот ли он еще, за кого выдает себя? Кто его знает? В его манере, в его обращении столько деланного, он так не похож на человека, привыкшего к хорошему обществу...

Сергею стало тяжело и скучно, рассказы итальянца его не увлекали. Он поднялся и, отговариваясь делами, стал прощаться.

Мари его не удерживала и рассеянно протянула ему руку. Их взгляды встретились; но в первый раз он не прочел в ее глазах ничего, к чему привык, воспоминанием о чем всегда жил от минуты разлуки до нового свидания с нею.

Она его будто совсем не видела.

XVII. НЕЖДАННАЯ РАДОСТЬ МОСЬКИ

Красивый и обширный отель у церкви Магдалины был окутан вечерними сумерками. Стояла свежая и ясная зимняя погода. Бесчисленные звезды высыпали на темное небо. А внизу, кругом отеля, на бульварах шла обычная городская жизнь. Пестрая толпа менялась то и дело, мигали ряды зажженных фонарей, огни в лавочках, магазинах и кофейнях. Всюду слышался оживленный говор, иногда доносились звуки удалой, возбуждающей песни...

Стоило немного прислушаться и приглядеться — и легко можно было по тому, что делалось и говорилось, в полчаса каких-нибудь, в час уяснить себе настроение умов и положение дел в Париже. Несмотря даже на зимнее время и на этот, хоть и ясный, но довольно холодный вечер, все-таки вся парижская жизнь была на улице. По домам оставались только дети, да престарелые люди, которым было не до жизни. И сразу становилось ясным, что этот Париж, вышедший на улицу не

из богатых палат, а по большей части из каморок и чердаков, находится в самом веселом, возбужденном настроении духа, что он чувствует себя хозяином и не боится никаких стеснений. Но опять-таки в этой свободе, в этом веселии чувствовалось что-то худшее даже самой неволи — среди видимой безопасности была самая страшная опасность, опасность беспорядка, безначалия, каприза дикой черни, всех этих бесцеремонных, грубых мужчин и женщин, при встречах величавших друг друга «сiтоуен» и «сiтоуенне» и в то же время не имевших ни малейшего понятия о своих гражданских правах и обязанностях.

В этой атмосфере мог себя хорошо чувствовать только человек ни над чем не задумавшийся, не имевший за душой ничего близкого, ничего дорогого и святого...

Толпа сновала взад и вперед. Иные оставались и бесцеремонно усаживались на ступенях подъезда отеля, в котором жил Сергей Горбатов. Несколько человек прислуги, вышедших из отеля, вступали в беседу с проходящими и отдохнувшими на подъезде; только в числе этой прислуги, конечно, не было

ни одного русского человека. Все люди, привезенные Сергеем из Петербурга, а их можно было насчитать около дюжины, выходили на улицу только в крайнем случае. Если хозяина не было дома, они обыкновенно собирались в кухне и толковали о своем горестном положении, о том, скоро ли придется вернуться на родину.

Так было и теперь. Хозяин уехал — он в это время в гостиной герцогини с тоскою и изумлением слушал рассказы графа Монтелупо, — и его ожидали домой во всяком случае не раньше полуночи. Только в кухне да в сенях виднелся свет. Обширные и роскошные покои стояли почти в полном мраке, слабо озаряемые едва мелькающим отблеском уличных фонарей. Впрочем, в отеле была одна небольшая комната, вблизи от спальни Сергея, в которой был зажжен огонь — эту комнату занимал карлик Моська.

Грустно проводив Сергея — он, конечно, хорошо знал, куда отправляется «дите» каждый вечер, — Моська прошел в свою комнату и улегся на свою маленькую кроватку. Сон составлял теперь его единственное утешение,

но он редко мог пользоваться этим утешением — совсем плохо стал спать. Вон и теперь, как ни старался он, а все же никак не мог заснуть, только поворачивался с боку на бок, старался найти какое-нибудь самое удобное положение — то нога, то рука помешает, то уху почему-то совсем неловко и даже больно.

— Нет, не заснешь! Нечего валяться! — прошептал Моська и слез с кровати.

— А и стужа в комнате! — продолжал он свой шепот — думать вслух была его старая привычка. — А и стужа же, оно немудрено, как там ни говори, все ж таки хоть и французская, а ведь зима!.. Даром, что снег пойдет и в ту же минуту растает... а утренники порядочные стали... Ну, а в доме вон и зимних рам нету — от окошек, как из пропасти, дует.

Он сел на кроватку и оглядел комнату. Комната его была небольшая, но уютная, с двумя светлыми, широкими окнами, с мягкой, низенькой мебелью, с камином. Когда Сергей Горбатов въехал в отель и решено было, что карлик займет эту комнату, она ничем не отличалась от подобных же помещений в богатых парижских домах. Но не прошло и

недели, как внешность ее совсем изменилась. Остался только лепной, высокий потолок да камин с широким зеркалом в золоченой раме и двумя прекрасными севрскими вазами.

Моська устроил себе детскую кроватку с высоко взбитыми пуховыми перинами и целым десятком подушек, мал-мала меньше, возвышавшихся пирамидой у изголовья. Кровать была покрыта ватным одеялом, состоявшим из разноцветных треугольников и квадратиков всевозможных материй, очень красиво подобранных и сшитых. Это одеяльце было сшито в Горбатовском по приказанию Марьи Никитишны, даже под ее личным руководством, и подарено ею Моське в день его ангела.

В правом углу комнаты помещался киотик с образами, перед которыми горела неугасимая лампадка. Тут же была воткнута и верба, и тоненькая восковая свечка с наклепленными на нее двенадцатью восковыми катышками. Эту свечку Моська хранил от последнего Великого Четверга, от «двенадцати Евангелий». В киотике же помещалось, вместе с образами красное пасхальное яичко, два пу-

зырька, заткнутых воском и заключавших в себе один — святое масло, другой — святую воду. Тут также лежали и ватка от «Иверской», и колечко от святой великомученицы Варвары.

Самое видное место в киоте занимал образ преподобного Сергия, с висевшим на нем тоненьким шелковым пояском. На этом пояске была выткана молитва угоднику и три раза покоился этот поясок на мощах преподобного.

Моська сам привез его от «Сергия-Троицы» в последний раз, как был там. Он хотел, было, как в прежнее время, опоясать им Сереженьку, да тут же и раздумал.

«Бросит дите неразумное, не станет носить святыню... француз проклятый надругается только!..»

Но никому не подарил Моська этого пояса и вот теперь аккуратно каждый вечер вынимал его из киота и незаметно клал под подушку Сергею.

По стенам Моськиной комнаты были развешаны, гвоздочками приколотенные, плохие гравюры библейского содержания и лу-

бочные картинки, по большей части изображавшие «адские мучения». Карлик чрезвычайно любил подобные картинки или «листы», как он называл их. Особенно же нравились ему «мучения грешников», и чем такая лубочная картина была безобразнее, тем более находил в ней прелести Моська. Иногда, в свободные минуты, он останавливался перед «адскими мучениями» и смотрел на них долго, не отрываясь. Воображение его, прицепившись к какой-нибудь отвратительной фигуре черта с хвостом и бычачьими рогами или поджигаемого грешника, похожего на что угодно, только не на человека — рисовало ему грандиозную и страшную картину, и Моська трепетал от ужаса.

Он собирал эти листы всю свою жизнь и никогда не расставался с ними. Уезжая куда-нибудь, он снимал их со стены своей комнаты в Горбатовском, сдувал с них пыль, свертывал их в трубочку и тотчас же по приезде в Петербург или в Москву, или вот теперь в Париж прибывал их к стенам своего нового помещения. Картинки были отрепаны, запылены, засижены мухами, но по-преж-

нему милы и дороги Моське.

У окошка на столике стоял поднос, кувшин с квасом и опрокинутый стаканчик. Моська не мог жить без квасу и первым делом позаботился о том, чтобы в числе штата, взятого из Петербурга за границу, находился и один из Горбатовских поваров, специальность которого была приготовление самого вкусного и почти даже целебного кваса. Рецепт этого кваса в числе многих других, приятных и полезных для домашнего обихода секретов принесла с собою Марья Никитишна в горбатовское хозяйство.

Посреди комнаты стоял другой, довольно большой стол на коротеньких ножках и перед ним маленькое, покойное креслице. На столе лежало несколько книг, чернильница, перья, бумага. Это был письменный стол карлика; тут он работал по несколько часов в день, сочиняя письма для прислуги, для поваров и лакеев, привезенных из Петербурга. Они истомились тоской по родине и находили единственную отраду посредством Моськи беседовать со своими присными о «всяких здешних басурманских мерзостях».

Дверь в Моськину комнату всегда стояла на запоре. Он не любил, чтобы кто-нибудь без него входил в его помещение. Он вставал всегда чем свет и сам убирал и выметал свою комнату, а выходя, запирали ее и ключи клал в кармашек камзола. Поэтому-то в целые дни запертой Моськиной комнате, как в Горбатовском, в Петербурге, так и здесь стоял особенный запах лампадного масла, мятного квасу и еще чего-то неуловимого, но ничуть не противного, а приятного даже, одним словом, запах монастырской кельи.

Сергей с детства знал и любил этот запах. У него всегда как-то спокойно и тихо становилось на душе, как только он его слышит и поэтому нередко он заглядывал в Моськину келью. Заглядывал он в нее и теперь, в это последнее время, только уж Моськин воздух не производил на него прежнего умиротворяющего действия. Слишком шумная и тревожная гроза бушевала в его сердце...

Моська несколько минут просидел на своей кровати, но холод начал пронимать его. Из окон, действительно, сильно дуло.

— Растопить камин, — подумал Моська, —

а то того и жди лихоманку схватишь!

Он подошел к камину, растопил его и следил, как пламя перебегает с одного полешка на другое и вот охватило их все и засверкало, и заструилось, и помчалось вверх, пропадая в темном каминном устье. Дерево весело трещало, корчась и пламенея. Красный отблеск обдавал крохотную фигуру Моськи, его сморщенное грустное и значительно похудевшее в последнее время личико. Он стоял, повертываясь то одним боком, то другим к огню и становя то одну, то другую ногу на каминную решетку. Вот он и совсем согрелся, даже чересчур жарко стало.

— Ну, что в нем толку, в этом камине-то, — зашептал он, — согреешься, накалишься, а отошел, — и опять холод... и потому ведь никакого тепла не держит. И это, говорят, умный народ! Нечего сказать — умный! До печки не додумался. Что такое зимние рамы — не знают... дрожат, мерзнут, плачутся, а как пособить горю — им и невдомек, а уж чего бы, кажись, легче!.. Эх, кабы тут да лежаночку!

Ему так ясно-ясно вспоминалась его ка-

морка в Горбатовском с вечно горячей лежанкой, на которой он так любил подремать, свернувшись клубочком.

— Эх! Кабы тут моя лежаночка! — грустно повторил он, отошел от камина и присел в креслице перед своим письменным столиком.

Он зажег все свечи в низеньких шандалах и принялся за работу: открыл на замеченных бумажками страницах три книги: первая книга была Евангелие на славянском языке, старинная, засаленная, в толстом кожаном переплете, с большими медными застежками. Вторая — новенькое Евангелие на французском языке. Третья — французско-русский словарь.

Моська с первого дня, как увидал француза Рено, догадался, а потом и убедился, что это безбожник, совсем безбожник, даже хуже идолопоклонника. Но он не раз слышал, и Сергей ему доказывал, что французы хотя и не православные, но все же христиане. Несмотря, однако, на все доказательства, этот факт оставался не совсем ясным для карлика. А по приезде в Париж и навидавшись здесь

всяких ужасов, он наотрез отказался ему верить.

— Какой же христианин, — говорил он, — не может того быть. Кабы христиане были, разве так бы жили, разве бы такое творили?! Как это Сереженька говорит, что у нас одно Евангелие — не могу поверить. Наверно, в ихнем Евангелии то, да не то написано...

И вот он добыл французское Евангелие и в свободные минуты принялся сличать его со славянским. Какого слова не поймет — сейчас в словаре справится, а если же сомнение осталось, то пометит и на бумажку запишет, а потом при случае и спросит Сереженьку. К величайшему его изумлению до сих пор во французском Евангелии ошибок не находилось; но он все же не изменил своего убеждения и каждый раз, присаживаясь к работе, ждал, что вот-вот сейчас и нападет на что-нибудь совсем неподходящее и еретическое...

Как не удалось Моське заснуть, так не удалось ему и углубиться в любимую работу. Проверив несколько строк и записав на бумажке не совсем понятное ему слово, карлик отложил в сторону книги и сидел, подперев

голову своими крохотными ручонками и тяжело вздыхая. Он опять начинал громко говорить сам с собою:

«И ведь кажинный-то вечер! Господи, и долго ли же это так будет, и чем оно кончится?! Ведь совсем, как есть, на себя не похож сделался... Ведь Марья Никитишна кабы увидала, так руками бы всплеснула, меня корить бы стала: „не доглядел!..“ А мне что же?.. Что я тут поделаю, как за ним доглядеть?!»

Моська развел руками и опустил голову.

«Нешто он меня послушает!.. Ведь вон на медни завел было стороною разговор о Горбатовском, о матушке, о княжне нашей — так он вид делает ровно не слышит, а потом осерчал — „уходи, говорит, Степаныч, не время мне, дел много, надо работать“ — а какие там дела, какая работа! Чай, и работы да дела все свои кинул!.. Ровно она его околдовала, ведьма эта французская! Ведь узнавал, ведь узнавал — всю подноготную про герцогиню эту выведал!.. Совсем, как есть, непутевая эта бабенка! Он, может, думает, что она золото, а того не знает, что не он у нее первый, не он последний... Много ее же люди бают — много у

нее перебивало...»

«А ведь как свертела его, сердечного! — даже стыда всякого лишился... и это он-то, он, наш голубок белоснежный, Сереженька!.. Давно ли же на нем ни пятнышка не было, ни зазоринки!.. Думал я — так его в чистоте и к венцу представлю, княжне нашей раскрасавице из рук в руки передам: „на, мол, бери свое сокровище, уберег он себя от всякого греха и соблазна!..“ Так ведь и думал, на то и надеялся. Мало ли что в Питере могло случиться, а ведь не случилось же... а эта, эта! На глаза лишь попалась — и все прахом пошло!..»

«Да, Господи ты мой милосердный, где же, говорю, глаза-то у людей? Ну что он в ней нашел? — Ведь дохленькая — кости да кожа, в лице ни кровинки, а рот-то как раскроет, так ровно съесть хочет — и всего-то меня, и с головою, и с руками, и с ногами проглотить может... Ну, уж ротик, нечего сказать — красавица! И это после Танечки-то, после княжны-то!.. Тьфу ты, прости Господи! Заворожила, как есть заворожила!..»

Моська встал и маленькими, но скорыми шагами начал ходить по комнате из угла в

угол.

«Одно спасенье, одно спасенье — скорее вон отсюда, да так, чтобы никоим манером нельзя было остаться! По приказу государыни!.. А проживем здесь еще месяц, другой, так он уж тогда не разделается, пропадет, ни за что пропадет ребенок. Да что же это за муки такие?.. Чего они все молчат, ровно перемерли — не дай Господи! Ведь писал я Льву Александрычу, писал Татьяне Владимировне, кажись, писал как следует. Перед Львом-то Александрычем не стал запираяться, всю как есть подноготную выложил: спаси, мол, племянника, коли дружбу старую Бориса Григорьяча помнишь!.. Ну, да и княжне тоже хоть прямо и ничего не сказал, а поймет она, сердечная, что женишка спасать надо. Так что же они?! Чего молчат?! О, Господи!..»

Крохотные руки карлика поднялись, и он стал загибать пальчик за пальчиком, считая дни и числа...

«Давным-давно те письма получены, давным-давно ответ бы мог быть, а ни слуху ни духу, пропасть не могли, об этом и думать нечего. Так что же они? Ведь так нельзя,

нельзя дитю оставлять без защиты. И ведь где ж таки видано, чтоб этакое делалось — услади без вины в ад кромешный и думать позабыли! Пропадай, мол... да что он им такое сделал, в чем провинился? И разве можно доброго, православного человека держать в этом проклятом Париже?! Ну, вот они присмирели теперь, изверги, да надолго ли? Ведь они теперь всякого, как есть всякого страху лишились, над ними никакого начальства нету... Они своего короля в грош медный не ставят. Он на потеху дался им, играют они с ним, как кошка с мышью: а повернись, дескать, направо, а пробегись влево, делай, что мы приказываем! А он-то исполняет, того не ведая, что чем больше их слушается, тем большего с него требовать станут, а вволю натешившись им, вконец его погубят — да одного ли его? Это что за народ — это народ без Бога, без совести, без разума — как учнет крушить, так разбирать не станет, кто прав, кто виноват... лишь бы под руку подвернулся... и не остановится, пока сам не подохнет! Зверь, как есть зверь!.. И вот у этого-то зверя и мы ноне в лапах, да еще и другую гадину, пиявку поганую,

при себе держим. И впрямь она пиявка, бабенка эта негодная, всю кровь из ребенка высасывает!..»

Моська остановился, сморщенное его личико сморщилось еще больше, и он горько заплакал. Он был теперь ни дать ни взять малый ребенок, и жалкое, беззащитное и трогательное слышалось в его рыдании, виделось в его не то детском, не то старческом личике. Наконец, он удержал свои слезы, отер глаза маленьким платочком и безнадежно махнул рукой.

«Нет, лучше и не думать, — прошептал он, — думами и слезами не пособишь горю. Одна надежда на Бога осталась — неужто же он, Отец милосердный, захочет нашей гибели?»

Моська набожно взглянул на киот с образами, подошел к нему, упал на колени и долго, и жарко молился. Эта молитва укрепила его и успокоила. Он опять подошел к своему письменному столику и принялся за Евангелие. Внимательно работал он, но все же никак не находил ошибок во французском тексте.

Вдруг кто-то постучал у двери. Моська прислушался: стук повторился.

— Кто там? Кто стучит? — спросил он.

— Отворите, Моисей Степаныч, отворите скорее, это я — Петр.

Петр был молодой малый, любимый камердинер Сергея. Моська тоже благоволил к нему и обучал его грамоте.

— Что ты, Петр? Чего тебе?

— Да отворите же, Моисей Степаныч!

В голосе Петра слышалась не то тревога, не то что-то совсем необычное. Моська вздрогнул.

— Господи! али что случилось?!

Он вскочил, подбежал к двери и дрожащими ручонками ввернул ключ.

— Моисей Степаныч, пожалуйста, наши приехали! — проговорил Петр с радостным и взволнованным лицом.

— Что наши, кто такие наши?

— Деревенские — княгиня с княжной!..

Моська отступил шаг, схватился рукой за голову; но потом вдруг громко и с досадой плюнул.

— Тьфу, дурак! Это еще что? Озорничать

вздумал со скуки! Что же я тебе посмешище, мальчишка дался, что ли?! Да как ты это со мною такие шутки выдумал? Нет, любезный, я тебе этого так не спущу!.. Вот постой, ужо вернется Сергей Борисыч, пожалуюсь я, как ты насмех меня поднимаешь, так он тебя за это не похвалит!

И совсем разобиженный и рассерженный Моська хотел запереть дверь, но Петр отвел его руку и вошел в комнату.

— Моисей Степаныч, да Бог же с вами, что это вы? — проговорил он, присаживаясь перед карликом на корточки, как всегда это делал, когда вступал с ним в беседу. — Да неужто же бы я так стал шутить — верно говорю, княгиня с княжной приехали!..

Моська взгляделся в лицо Петра и вдруг поверил.

— Не лжешь, не шутишь?! Взаправду приехали, Петруха?! — взвизгнул он, хватая его за плечи.

— Да взаправду же, Господи, ступайте — так сами увидите, зовут вас оне...

— Приехали! Боже мой, экое счастье! Слава тебе, Господи!..

Карлик быстро перекрестился по направлению к киоту, выскочил из комнаты и как кубарь помчался вдоль по коридору. Петр едва поспевал за ним, радостно ухмыляясь.

XVIII. ГОСТИ

Пока Моська катился на своих коротеньких ножках через коридор и ряд комнат до той залы, где по словам Петра, находились приезжие, он чуть с ума не сошел от волнения и сомнений.

По лицу Петра он должен был убедиться, что тот его не обманывает, по крайней мере не хочет обманывать. Но разве это возможно, чтобы княгиня Пересветова с дочерью очутились вдруг в Париже? В последние дни он ожидал чего угодно, он мечтал среди бессонной ночи, поворачиваясь с боку на бок на своей детской кровати, что вот-вот придет письмо от Нарышкина или Безбородки, и по приказу государыни Сереженька должен будет немедленно выехать из этого крошечного ада и ехать в Петербург с еще большей скоростью, чем они сюда приехали. Он мечтал, что, по возвращении, на несколько дней отпро-

сится в Горбатовское и убедит княжну Таню поспешить к Сергею.

«А явится она и все это колдовство пойдет прахом! Мигом позабудет дите неразумное французскую ведьму...»

Таков был единственный исход, представлявшийся Моське. А тут вот письма никакого нет — а сама Таня в Париже!

«Ведь это же невозможно, ведь это ровно в сказке — такого на свете николи не бывает!» — повторял себе Моська.

— Петруха! — вдруг крикнул он, обращаясь назад к своему спутнику. — Да ты что?! Ты мне ответь, как перед Богом, — своими ли глазами видел княжну с княгиней?!

— Кабы не видал — сам бы не поверил! — отозвался Петр.

— И тебе не почудилось, не померещилось?!

— Эх, Моисей Степаныч!!

Петр махнул рукою и засмеялся.

Наконец, карлик добежал до залы. Несколько свечей, зажженных в канделябре, тускло освещали обширную высокую комнату, в глубине которой на диване виднелись

две женские фигуры.

Едва Моська показался у дверей залы, как одна из этих фигур встала и кинулась к нему навстречу. Он бежал уже, задыхаясь, но она оказалась проворнее его — мигом была рядом с ним, склонилась к нему, крепко обняла, его и поцеловала.

— Степаныч, Мосенька, голубчик, здравствуй! — ласково и взволнованно повторял над ним знакомый голос.

Он совсем ошалел, он стоял как истукан, неподвижно, с выпученными глазами, только сердце его шибко билось.

Наконец, он очнулся и радостно взвизгнул.

— Княжна! Княжна! Она и есть, золотая барышня! Вот счастье-то! Ох, голубка ты моя, ох, золотое ты наше сокровище!!

Слезы так и брызнули из глаз ее. Он ловил и целовал руки Тани, он хватал ее за платье, будто все же боясь еще, что это сон и что вот она сейчас исчезнет, испарится и ничего не останется от этой неожиданной радости.

— А вот и матушка, Степаныч, — проговорила Таня.

Карлик мгновенно опомнился, сдержал

свое волнение, и, подойдя к дивану, на котором сидела княгиня, отвесил ей низкий поклон и бережно поцеловал протянутую ему руку.

Минута первого восторга прошла, теперь он снова владел собою. Он уже с изумлением вглядывался в неожиданных гостей, переводя глаза с княжны на княгиню и обратно. Наконец, он всплеснул руками.

— Матушка, ваше сиятельство! — пропищал он. — Да вы ли это, сударыня, ведь, почитай что, и узнать нельзя. Да и барышня-то, барышня как изменилась!!

— Да ну что же об этом! — с тихой и ласковой, совсем незнакомой Моське улыбкой проговорила княгиня. — А вот что, Моська, скажи ты нам, батюшка, как теперь нам быть, ведь мы ровно в лесу, как есть никого и ничего не знаем. Да и приехали-то в Париж на ночь глядя, как ни спешила, как ни упрашивала я добраться до свету, ничего не помогло — остановки, осматривают, все пожитки наши перерыли. Нет ли, к ишь ты, чего запретного. А что у меня такое запретное может быть?! Ничего, говорю, у меня нету, так ведь поди ж

ты — не верят!.. Ну уж порядки, да и людишки-то здесь... грубые!.. Много страху дорогой натерпелись... Как нам здесь быть? Где устроиться — ничего я того не знаю. Вот привезла дочка к Сереже, а захочет ли он нас — о том мы его и не спросили, и о приезде не предупредили его, как снег на голову...

Карлик замахал руками.

— Матушка, ваше сиятельство, да куда бы вам было, как не к нам во двор?! Ведь Сергею Борисычу кровная была бы обида, кабы его миновали. А что не известили заранее, то уже это барышнино дело — видно, знает она, зачем так сделала...

— Да меня-то, Татьяна Владимировна, — обратился он к Тане, — меня-то зачем словечком не известила? Ведь я тут как есть пропадом пропал, не получая от тебя весточки, а теперь вот чуть с ума не сошел от радости. Да не знаю, может, и впрямь я не в своем рассудке — верю и не верю, что вы передо мною!.. Эх, известила бы, сударыня, пожалела бы старика Моську...

Таня опять нагнулась к нему и крепко поцеловала в сморщенный лобик.

— Ну, Мосечка, прости, может, и впрямь мне тебя оповестить следовало, только у меня тут своя мысль была — дай время, все расскажу по порядку...

— Ох, матушка! — засуетился Моська. — И то правда — будет время, все узнаем, спасибо, золотая барышня, что надоумила — а я-то, старый дурак, ошалел совсем... Ваше сиятельство, где же люди? Где поклажа? Да и проголодались вы, я чаю, с дороги? Мигом, матушка, мигом все будет... да вот позвольте-ка...

Он вертелся как волчок, соображал, звал своим пронзительным, звонким голосом прислугу. Не прошло и пяти минут, как он уже все сообразил и всем распорядился.

Совсем запыхавшись, вернулся он в залу, где все на прежнем месте сидела княгиня с княжной.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, пожалуйста, боярышня, — восторженно пищал он, — пожалуйста в наши апартаменты, — у нас, слава те, Господи, места немало...

Княгиня и Таня последовали за Моськой.

Хоть княгиня и сказала Моське, что вот, мол, оне приехали незваные и непрошенные,

прямо в дом к Сергею Борисычу, но слова эти не имели ровно никакого значения и были сказаны единственно ради соблюдения приличий. Эта фраза показывала только, что княгине известны все тонкости светского обхождения. Моська так это и понял, и, конечно, ни ему, ни Сергею, ни самим приезжим не могло и в голову прийти, чтобы они могли поступить иначе. Где же бы княгине, очевидно, приехавшей на короткое время в Париж, и было остановиться, как не в доме ее родственника. Объехав его дом, она нанесла бы ему, как верно выразился Моська, кровную обиду. Странность заключалась только в том, что его не предупредила о приезде, — но это было уже дело Тани, и княгиня не хотела и не смела в это вмешиваться. Раз подчинившись дочери, она уж не выходила из ее власти, и эта власть была для нее счастьем. Следить за малейшим желанием Тани и исполнять его сделалось теперь целью жизни княгини.

А зачем Таня так поступает, зачем она выдумала эту почти невероятную поездку и так быстро ее осуществила — все это княгиня тогда же еще поняла вдруг проснувшимся сво-

им материнским сердцем. Тане нечего было и объясняться с нею. Она только показала ей письмо Моськи, и княгиня, прочтя его, привлекла к себе Таню, нежно ее поцеловала и сказала ей:

— Ну, что же, поедем, Танечка, поедем, мой ангел, навестим его, проведем. Я и сама страсть как по Сереже соскучилась. А что проветриться нам с тобой не мешает — это правда. Я вот почти до старости дожила, а много ли видела — хоть теперь-то посмотреть, какие такие чужие страны, как там живут люди.

Таня благодарно глядела на мать и целовала ее руки.

Марья Никитишна Горбатова, убедясь, что Таня не шутит, назвала ее огонь-девкой, и хотя изумлялась ей и в недоумении качала головой, но была очень рада. Она послала с ней Сереженьке письмо, посылала ему образок и успокоилась в уверенности, что теперь все пойдет лучше.

Поехали Пересветовы в Петербург, и тамошние доктора, начиная с самого Роджерсона — лейб-медика государыни — подтверди-

ли, что большая поездка может принести только пользу княгине. Препятствий никаких не оказалось, а о том, что главная и единственная цель их поездки — Париж, Пересветова никому даже не говорила, да и кому могло прийти в голову, что они стремятся туда, откуда теперь все убегают...

Апартаменты, указанные Моськой, были, конечно, не только удобны, но даже роскошны.

Карлик велел растопить камин, поспешить с ужином, а княгиня объявила, что она все же чувствует себя немного утомленной и куда приляжет.

У нее в последнее время явился необыкновенный такт, тонкое чутье относительно того, что касалось дочери, и она видела теперь, что Тане очень хочется наедине побеседовать с Моськой и именно сейчас, безотлагательно, пока не вернулся Сергей.

Так оно и было. Едва княгиня прошла в спальню, как Таня бросилась к Моське, взяла его за ручонку, потащила в угол комнаты, усидла рядом с собою на диванчике и заговорила:

— Ну, что же, Степаныч, не томи, говори скорее, что у вас такое? Ведь ты такое письмо написал мне, ведь насмерть напугал!..

— Ты не путайся! — нежно прошептал Моська, — не пугайся ты, золотое дитяtko, страшен сон, да милостив Бог, ох как милостив Он, наш Батюшка! Вот и ноне явил Он свою великую милость. Только скажи ты мне, объясни, ведь я одурел совсем, как вы здесь-то, как оно могло статься? Да знаешь ли, родная, ведь вот и радуюсь я, а и страх тоже берет. Ведь не то, что приезжать сюда, а бежать всем отсюда надобно, такое тут творится!..

— Не пугай меня, Степаныч, я не из трусливых!.. Сам говоришь о Божьей милости, оно и верно — коли чего Бог не попустит, того и не будет. А как мы сюда попали — что же тут такого. Как прочла я твое письмо да узнала, что государыня не желает возвращения Сережи в Петербург...

Моська вздрогнул и перебил ее:

— Как не желает! Да что же это? За что же? Чем он провинился?!

Таня грустно пожала плечами.

— А уж этого я не могу сказать тебе, сама

не понимаю. Ну, так вот, я говорю, как узнала, что ему нельзя вернуться, одно мне и оставалось — скорее сюда ехать. Упросила я матушку и приехала.

— Да княгиня-то, княгиня как согласилась?!

Таня положила руку на плечо карлика.

— Молчи, молчи, Мося, потом, все потом, а теперь, ради Бога, скажи, что тут у вас? Ведь не потому только писал мне, что здесь опасно, что в народе волнение. Ведь так... ведь правда, ведь я угадала?! Оно, конечно, и это все нехорошо, очень нехорошо, ведь я понимаю, — но нет, в твоём письме другое было, да, другое... Не мучь, говори скорее!

Моська опустил глаза, в сморщенном лице его мелькнуло жалкое и смущенное выражение.

— Ах, Танюша, ох дитяtko ты золотое, любил я тебя, крепко любил, а отныне и почитать буду. Великий разум дал тебе Господь, силу великую, и коли у тебя уж такой разум, да такая сила, так все мои страхи, о которых я писал тебе, теперь прошли и пропали. Здесь ты — ну и слава Богу!

Таня нетерпеливо пожалала плечами.

— Вот ты всегда так, Степаныч, — досадливо проговорила она, — тебя Христом Богом просят поведать всю правду. Ведь душа истомилась, ведь чего-чего я не передумала, сюда едучи, — а ты все тянешь и пугаешь еще больше. Степаныч, да коли ты так написал мне, так знаешь же, что мне такое Сережа?

— Знаю, дитятко, знаю, — восторженным голосом прошептал Моська, — и радуюсь, давно радуюсь и верю, что вы друг для друга самим Богом назначены...

— А если так, зачем же ты от меня скрываешь? Если ты хочешь моего счастья, если ты меня любишь, ты обязан сказать мне всю правду, — я чувствую, я знаю, и вот теперь по лицу твоему вижу, что это какая-нибудь страшная правда, но должна же я знать ее, Степаныч. Ничего, ничего не скрывай от меня.

— Да и не скрою, — ответил он, — а только что правда моя страшная, так это ты, боярышня, неверно сказала. Может, и была страшная, да говорю, коли ты здесь сама — ничего страшного уже больше нет. Не пугайся, успо-

койся и подожди Сереженьку — ведь он того и гляди вернется. Потолкуешь с ним, сама увидишь, каков он и что тебе скажет. А уже потом, коли не поймешь чего, и приди ко мне, я тебе и объясню все как есть, всю нашу жизнь здешнюю перед тобою выложу — а пока больше ни о чем меня не спрашивай, нечего мне теперь сказать тебе, да и времени нету — еще многим распорядиться надо.

Карлик быстро соскочил с дивана и почти выбежал из комнаты. Таня было кинулась за ним вслед.

— Степаныч, что с тобой, да вернись, послушай!..

Но Степаныч ничего не слышал, он уже скрылся в незнакомых ей комнатах.

Она остановилась растерянная, не понимая, что все это может значить, следует ли ей тревожиться и ожидать чего-нибудь слишком страшного или можно теперь, успокоиться.

А Моська, убедясь, что она потеряла его из виду и теперь не нагонит, стал тихо пробираться к подъезду с тем, чтобы встретить там Сергея, когда он вернется.

«Да, думал Моська, вот оно дела-то какие!..»

А что, коли я чересчур поспешил радоваться, что, коли французская ведьма свое возьмет?! Нет, нет, быть того не может. Ну, Сергей Борисыч, погляжу я, как-то ты встретишь невесту свою, красавицу, что-то говорить ей станешь... Ах, Танечка, Танечка, вишь, скажи ей сразу все! Да нечто это можно?! Наперед нужно знать, что он-то ей скажет!..»

XIX. ВСЕ СКАЗАНО

Сергей возвращался домой совсем грустный и расстроенный. Он еще ни разу так рано не возвращался от герцогини, а потому, выйдя из отеля д'Ориньи, не нашел своего экипажа. Но он даже был рад этому — в том томлении, которое его охватило, ему хотелось движения, хотелось бежать куда-нибудь дальше.

На него дуло темнотой и свежестью позднего вечера, и он быстрым шагом пошел по смолкавшим улицам Сен-Жерменского предместья. До церкви Магдалины конец ему предстоял значительный, но он шел машинально знакомой дорогой, почти никого и ничего не замечая.

Он очнулся только перед самым отелем;

поднялся на крыльцо. Двери перед ним распахнулись — его, очевидно, ждали. Он сбросил с себя теплое платье и уже собирался пройти в свою спальню, как вдруг перед ним очутился Моська.

— Степаныч, я пешком пришел, не знаю, где мои лошади... Если кучер дома, так чтобы сказали ему, что я вернулся. Если же нет его, так нужно будет послать в Сен-Жерменское предместье, а то лошади там меня будут всю ночь дожидаться.

И, говоря это, он не замечал, что карлик сам не свой и глядит на него как-то совсем необыкновенно.

— Слушаю, батюшка!.. Эй ты, Петр, слышал, что барин приказывали — пойди, узнай скорее... А ты, сударь, Сергей Борисыч, пожалуйста сюда... дай, я проведу тебя...

Он взял его за руку и стал тянуть. Сергей совсем очнулся.

— Что такое? Куда ты меня тащишь?!

— Нужно, нужно, золотой мой, посмотри-ка что я покажу тебе.

— Ах, да оставь, пожалуйста! — раздражительно перебил его Сергей, отдергивая от него

руку. — Право, мне не до твоих чудачеств, у меня голова болит, я спать хочу!..

Но карлик не унимался.

— Никаких моих чудачеств тут нет, Сергей Борисыч, а изволь-ка идти со мною; коли говорю — значит, нужно; слышь ты, по большому делу тебя дожидаются...

— Кто там еще... Какое ночью дело?

Между тем карлик говорил так настоятельно и серьезно, что поневоле пришлось за ним последовать.

«Из посольства, что ли?» — в томлении думал Сергей, проходя через залу.

Он чувствовал, что тоска его душит все сильнее и сильнее. Все казалось ему таким ненужным, противным...

Между тем он прошел вслед за Моськой еще дветри комнаты и вошел в маленькую, освещенную гостиную.

— Вот кто тебя дожидается! — торжественно произнес Моська, а затем отошел в сторонку и так и впился глазами в Сергея.

— Кто это? Женщина!.. Кто это, Боже мой?!

Она стремительно бросилась к нему.

— Сережа?!

— Таня, Таня!! — безумно повторял он, не понимая, что это такое — спит он или грезит?..

Он протянул руки, и через мгновение Таня была в его объятиях.

Моська не удержался, подпрыгнул и радостно хлопнул в ладоши.

— Ведь я знал, — умиленно шептал он, не сводя глаз с молодых людей, — ведь я знал, что оно так и будет! Стоит ей только показаться — и все колдовство как рукой снимет...

Но он тут же должен был убедиться, что радость его преждевременна.

Первое мгновение прошло.

Сергей начинал мало-помалу приходить в себя. Ведь он готов был к чему угодно, но только не к появлению Тани. Если бы его предупредили, что она здесь, что он сейчас ее увидит, он вряд ли даже в первую минуту решился бы подойти к ней. Но он увидал ее вдруг, без всяких приготовлений, и появление ее заключало в себе так много не только что неожиданного, но даже совсем почти невероятного, что он сразу забыл всю действительность, забыл себя, свое положение. Это

был сон, как во сне он без размышлений отдался первому чувству своего сердца, а это чувство была радость.

Да, увидав Таню, он вдруг неудержимо ей обрадовался. На него пахнуло давно забытым родным воздухом.

Вместе с ее милым образом перед ним снова воскресло все старое, милое и дорогое, все детство, юность, все, о чем в тяжелые свои минуты безотчетно и мучительно толковал он.

Да и она сама, эта Таня, которую он знал с детства, всегда почти с тех пор, как себя помнил, ведь он так давно, так привычно любил ее — и не мог не любить.

И вот теперь она — сестра, друг, добрая, милая Таня — здесь перед ним, в такие тревожные минуты, когда он нигде не находит себе покоя, когда он считает себя таким одиноким! Как же ему не радоваться ее появлению, как же не чувствовать, что он любит ее всем сердцем.

Но только в этой любви нет ничего такого, что волновало его когда-то в голубой беседке.

— Таня, Таня!! — повторил он, покрывая

поцелуями ее руки.

И в то же время сознание действительно-сти просыпалось в нем.

Это не сон, Таня приехала, Таня здесь, не сестра, не друг, а Таня — невеста, которой он поклялся в любви, которую так обманывал в последних своих письмах, не смея, не решаясь сказать ей правду. Таня здесь! Она поборола все препятствия, она сделала почти невозможное, чтобы свидеться с ним, с любимым и любящим ее человеком, ее женихом, ее будущим мужем!..

И то, что за минуту казалось ему сладким сном, что вызвало в нем такую горячую радость, теперь, при первом же сознании действительности, явилось новым ужасом, тяжким испытанием:

«Таня здесь! Боже мой, что же это будет?!»

Он чувствовал, как останавливается его сердце, как холод пробегает по его жилам.

Последняя краска пропала со щек его, он невольно отшатнулся от Тани и глядел на нее диким, растерянным взглядом.

Это его движение, выражение его лица, его бледность не ускользнули от Моськи.

«Вот тебе раз! — тревожно подумал он. — Как же так? Ведь это неладно что-то... Видно, совесть заговорила. Оно и точно — чему и быть другому... Как он ей теперь в глаза смотреть станет, ведь, может, меньше часу как стою, с ведьмой-то своею, обнимался — так оно и зазорно?! Ну, что же, батюшка, и казнь — сам виноват... поделом вору и мука. Да только боязно мне — напугает он Татьяну Владимировну, она и невесть что подумает. Ведь как ни умна, а все же еще дите малое...»

И карлик, подвинувшись ближе и встав на цыпочки, тревожно вглядывался то в Сергея, то в Таню.

Ему было от чего тревожиться.

Молодые люди после первых восклицаний еще не сказали друг другу ни одного слова, а все ж таки между ними уже велся мучительный, безмолвный разговор.

Таня еще раньше Моськи подметила перемену, мгновенно происшедшую в Сергее, его смущение; его бледность и дикий взгляд. Да она только это и видела — ей некогда было заметить ту радость, которая озарила его в первое мгновение, потому что она сама вме-

сте с ним испытывала радость еще сильнейшую: ведь ей до самой этой минуты все казалось, что она его не увидит, что не доживет до такого счастья.

«И вот это он, он живой, с нею!»

Она все позабыла, она вне себя целовала его и обнимала. И если бы он даже не отвечал ей на ее поцелуи, она не обратила бы на это внимания. Но вот она очнулась, и что же: он бледный, почти неузнаваемый смотрит на нее безумным, непонятым взглядом.

Боже, как он изменился! Он ли это? Отчего ей вдруг показалось, что он какой-то чужой, другой совсем, не прежний Сережа?! Да ведь и он смотрит на нее как на чужую, и он не узнает ее!

Таня слабо вскрикнула и, все продолжая, не отрываясь, глядеть на него, схватила за голову. Ей казалось, что случилось что-то страшное, невыносимое. У нее упало сердце, тоска стала душить ее. Она ничего не знает, не понимает, только чувствует, что все страхи, тревоги теперь кончены; но они разрешились не успокоением, не радостью, не счастьем, а тяжким горем. Какое это горе, что все

это значит, она уже не спрашивала себя об этом, она только чувствовала всю тяжесть этого непонятного, но уже разразившегося горя.

«Но ведь он должен же сейчас, сию минуту сказать всю правду! Зачем он молчит, зачем он меня так терзает?» — думала Таня.

Между тем ей не суждено было так скоро узнать решение своей участи — в гостиную вошла княгиня, задремавшая было, но проснувшаяся, услышав голос Сергея. Впрочем, ее появление принесло пользу молодым людям: они совсем пришли в себя и поневоле должны были сдержаться и хоть несколько отойти от своих мучительных ощущений.

Сергей, по крайней мере при взгляде на княгиню, позабыл весь ужас своего положения — так поразила его перемена, происшедшая в этой женщине; он почти не узнавал ее, и совсем не потому, что она постарела: она глядела совсем иначе, совсем иначе говорила...

Сергей и в Петербурге, и даже здесь, в Париже, в первое время немало думал о «деле Тани», о намеках на это дело, встречавшихся

в письмах. Он знал, какое это «дело» и теперь понял, что Таня привела его к благополучному окончанию, что она вернула себе мать свою. Но, конечно, он никогда не был в состоянии и представить себе, чтобы с человеком могла произойти такая перемена, какую он с каждой минутой, с каждым новым словом видел теперь в княгине...

И потом — как же, наконец, они приехали, как могло случиться все это?! Сергей с бессознательной радостью ухватился за расспросы, как преступник, который хотя и понимает неизбежность казни, но хватается за каждый предлог, чтобы отдалить минуту ее исполнения...

Но вот все объяснено, на все вопросы получены ответы. Княгиня начинает рассказывать о своих путевых впечатлениях, о приключениях, бывших с ними в дороге.

Таня сидит грустная и бледная, изредка и рассеянно вставляя свое слово.

И опять тоска охватывает Сергея. Теперь ему все ясно, да, впрочем, ведь и с первой же минуты он почти понимал, как и зачем они приехали.

«Что же теперь я буду делать?! — отчаянно думал он. — И что я наделал?.. Ведь никакого оправдания для меня нет... О, позорное малодушие! Зачем я давно и прямо не написал ей, а теперь!.. Ведь это мало того, что жестокость, ведь я должен нанести ей здесь, в своем доме, самое страшное и незамолимое оскорбление, и ей, ей — этой Тане!.. Нет, я не должен, я не смею этого сделать!..»

Он уже почти решался скрыть от Тани свою любовь, свои отношения к герцогине, решался отказаться от этой любви.

«Пусть она ничего не знает, пусть мое счастье, моя жизнь будут разбиты — ведь они все равно и так уже разбиты, если я чувствую себя почти убийцей... Да, я уйду от Мари, я никогда больше не увижусь с ней... пускай берет меня Таня! Я стану ее обманывать — по крайней мере, она будет счастлива...»

И вот, когда ему казалось, что он уже решил все это и что решение его неизменно, перед ним вставал образ герцогини, и представлялась она ему не такою, какой была в этот вечер, а любящей, доверчивой, полной нежности и страстной, горячей ласки. «Я твоя! —

вспоминал он ее замирающий голос, — о, как люблю я тебя!..» Жгучее, мучительное и сладкое чувство наполняло его, и он понимал, что не может уйти от нее, не может расстаться с нею...

Он слушал и не слышал того, что рассказывала ему княгиня, он отвечал невпопад на ее вопросы.

Моська, незаметно скрывшийся из гостиной, снова появился и прошептал, что готов ужин. Какой это был печальный ужин! Одна только княгиня, давно проголодавшаяся, кушала с аппетитом. Но вот и ужин убрали со стола. Время далеко уже за полночь. Княгиня простилась с Сергеем и прошла в спальню. Пошла за нею и Таня, да тотчас же и вернулась — она не в силах была больше себя сдерживать.

Она быстро огляделась — в комнате никого не было, только Сергей стоял неподвижно, с опущенной головой на том самом месте, где за минуту перед тем они с ним простились.

— Сережа! — проговорила Таня, кладя ему на плечо руку.

Он вздрогнул и печально, растерянно

взглянул на нее.

— Сережа, — повторила она, едва выговаривая слова, — скажи мне, не томи, скажи, что такое случилось?!

— О чем ты, Таня? Ничего не случилось... постой... успокойся, отдохни — завтра успеем поговорить, — дрожа как в лихорадке отвечал он.

— Завтра! Да разве я могу... я с ума сойду... ради Бога, пожалей же меня — говори!..

Но он не находил слов, он молчал.

— Так я сама тебе скажу, что случилось, — вдруг произнесла она и так и впилась в него страстно и мучительно засверкавшими глазами. — Я скажу тебе — ты меня не любишь, ты любишь другую...

Он вздрогнул и все же ничего не мог ей ответить.

— Да? Правда? Я угадала? Это правда?

Она схватилась за сердце. Он взглянул на нее и как безумный бросился из комнаты.

Она угадала, она по имени назвала свое горе; но все это совершилось внезапно, потому что до самой последней минуты она еще сомневалась и отгоняла от себя ненавистную

мысль, что у нее есть соперница; но теперь уже не может быть сомнения — своим страшным молчанием, своим видом он сказал ей все, он во всем ей признался...

Так вот что значили эти странные письма! Вот о какой беде извещал ее карлик, вот зачем она приехала в Париж — для того, чтобы узнать о своей участи, для того, чтобы узнать, что она ему чужая, что ему тяжело и неприятно ее появление!.. Зачем он не написал ей прямо, зачем он должен был подвергнуть ее этому унижительному положению?! О, как это жестоко!!! Бежать, бежать скорее отсюда!..

Она бы не медлила ни минуты, но ведь она не одна, она с матерью, которую эгоистично заставила следовать за собою, которая хоть и здорова в последнее время, но все же сильно утомилась от этой поездки. И как она ей скажет, что она жестоко ошиблась, что она подвергла и ее и себя незаслуженному оскорблению?

Но все эти мысли едва мелькнули и тотчас же пропали, уступая место жгучему горю, тоске невыносимой.

Ведь она любила его, ведь она в него вери-

ла, так долго и терпеливо ждала его. Она привыкла полагать в нем счастье всей своей жизни, без него она и представить себе не могла жизнь эту — и вот он уходит, уходит навсегда, уже ушел, его нет!..

«Он любит другую! Кто же она, кто? Кто у меня его отнял?..»

В сердце ее всесильно поднялись, уничтожая все остальное, два чувства: любовь к нему и ненависть к неизвестной сопернице. И Таня уже не роптала на него, ни в чем его не винила. Она только чувствовала, с какой силой его любит, как невыносима для нее мысль об этой новой и уже вечной разлуке.

«Где же она? Кто она? По какому праву разбила она мое счастье?!» — почти громко воскликнула Таня, и загорелись глаза ее гневом и страстью. Прилив никогда не испытанной злобы охватил ее. Она готова была бежать и искать эту ненавистную женщину и уничтожить ее, не боясь греха, чувствуя себя правой. Но это было лишь мгновение. Таня очнулась, в ней заговорил другой голос:

«Да чем же она виновата, ведь она меня не знает, верно, не знает даже о моем существо-

вании... И потом, разве кто-нибудь мог бы его отнять у меня, если бы он любил меня? Боже мой, да ведь приди весь свет, соберись все самые умные, самые красивые люди в мире, чтобы заставить меня разлюбить его, изменить ему — ведь никто же ничего со мною не сделает! Ведь вот и теперь, когда он так жестоко поступил со мною, а когда он от меня уходит — ведь я же не в силах разлюбить его, ведь я люблю его еще больше, еще больше... Ах, я несчастная!..»

Бедная Таня упала в кресло и залилась слезами. И эти горячие обильные слезы производили самое благотворное действие — эти слезы были ее спасением. В Тане было слишком много молодости, силы и здоровья, горе не могло подломить ее, и глядя на нее, незачем было приходить в отчаяние.

Так думал и Моська, незаметно пробравшийся опять в гостиную и подошедший к креслу Тани. Он глядел на нее растроганный и печальный.

— Плачь, дитяtko, плачь, выплачешься — легче будет! — шептал он, как старая няня, глядя Таню по головке, — дай волю слезкам, а

как выльются они, мы и потолкуем с тобою!..

И Таня все плакала, склонившись к карлику. Его тихий, детский голосок, прикосновение его крохотной руки подействовали на нее успокоительно — жгучая боль сердца и тоска несколько стихли. Она отерла глаза, подняла свое заплаканное, бледное лицо и вдруг бодрым голосом, какого он даже и не ожидал от нее, сказала карлику:

— Да, Степаныч, потолкуем. Вот ты ничего не хотел сказать мне, теперь я все знаю.

— Что знаешь? Откуда? Неужто он сказал тебе?! Что же он сказал такое?

— Все знаю, сама догадалась, а он не мог притвориться. Как же это, кто она? Ведь ты обещал сказать мне правду!

— Да я скажу, голубка моя, уж коли так, коли сам он не посовестился, бесстыдник этойкой, так скрывать тут нечего. Попался наш Сергей Борисыч, по глупости своей да по Божьему попущению, в лапы ведьмы одной здешней, французской...

Моська рассказал все, что знал про герцогиню. Таня слушала его внимательно, едва переводя дыхание. Снова ненависть и негодо-

вание закипали в ее сердце.

— Замужняя женщина! — шептала она. — Но как же он может ей верить? Ведь если одного обманула, так обманет и другого, и его обманет...

— Так, так, золотая!.. — говорил, одобрительно кивая головою, Моська, — вот и я думаю то же самое.

— Да ведь от этого не легче! — отчаянно перебила его она. — Ну что же, ну обманет она его, будет он несчастный, а мне от этого легче, что ли, станет? Ведь еще тяжелее. Я не хочу его несчастья, Бог с ним! Уж коли он принес мне такое горе, так сам-то, сам-то хоть пусть будет счастлив...

— Нет, ты не жалеяй его, матушка! — вдруг строго произнес карлик и даже погрозился кулачком, — не стоит он того, чтобы ты его жалела, да и сама не убивайся, все перемелется — мука будет!

— Ах, Степаныч, не утешай ты меня, а посоветуй лучше как мне так сделать, чтобы скорее, как можно скорее уехать отсюда и не очень встревожить матушку. У меня в голове мыслей нету, сама ничего не могу придум-

мать...

— Уехать? Зачем тебе уезжать?! Боже сохрани тебя и помилуй... Нет, золотая моя, коли уж приехала, так дело надо сделать. Жалеть ты его не жалеи — говорю, не стоит он этого, а простить — прости, ежели хорошенько прощения попросит.

Таня в изумлении взглянула на Моську, она не понимала, что такое говорит он. Но он внушительно продолжал:

— Верно говорю, недолго этой ведьме теперь тешиться. Ей ли устоять перед тобою!.. Только не уезжай, и будет на нашей улице праздник. Бросит он ее, бросит, либо он, либо она его. Разве это что? Разве из этого может что-нибудь выйти?! Грех один только. А ты вот и избавь его от греха-то. Уезжать! Что ты, что ты, окстись, золотая боярышня! Уедешь, ну тогда точно карачун ему, тогда и Бог от него отступится...

— Так чего же ты хочешь?! — отчаянно и изумленно произнесла Таня, — как мне здесь оставаться? Ведь я не иначе себя понимала, как его невестой, а теперь, после этого горя, после этой обиды, мне здесь оставаться —

ведь я только для него одного и приехала. Нет, Бог с ним, я не стану мешать ему, и не мое теперь дело... Мне стыдно и страшно!..

Она в волнении поднялась и снова заплакала. Моська суетился вокруг нее, не зная как и чем ее успокоить.

«Эх, Сергей Борисыч, — шептал он, — хороших делов ты понаделал! И точно что стыдно и зазорно нашей белой голубке в такие дела мешаться. Эх, Сергей Борисыч, стоишь ты того, чтобы взять тебя да бросить!..»

— А как тут бросишь! — вдруг забывая свои угрозы и свое негодование, — взвизгнул карлик, — спасать дитю надо, а то и впрямь пропадет пропадом. Успокойся, золотая, — обратился он к Тане, — пойдй приляг, усни. Помнишь, сказки-то я сказывал: «Утро вечера мудренее...» — до утра надумаешься, и потолкуем. А об этом, чтобы ехать, — лучше и не думай, никак нельзя тебе уехать и нас так бросить, не затем ты приехала!..

— Не затем приехала! — бессознательно повторила Таня слова карлика и, удерживая слезы, тихо прошла в спальню.

Моська потушил лампу и стал пробираться

ся впотьмах.

«Нет, не выпущу я ее, ни за что не выпущу, — думал он, — а коли с ней не полажу, делать нечего, потолкую с княгиней... Княгиня-то, вишь, равно совсем другая стала — может и выслушает Моську...»

XX. СТАРАЯ ИСТОРИЯ

Прошло несколько дней. Моська сделал свое дело — он убедил Таню отказаться от мысли о немедленном отъезде. Он представил любовь Сергея к герцогине просто дьявольским наваждением, избавить от которого может только Таня.

Он говорил так убедительно, с такою уверенностью, что несчастная девушка, у которой, действительно, мысли путались от неожиданного горя, мало-помалу поддалась и ухватилась за эту соломинку.

Достигнув с одной стороны желаемого результата, карлик обратился в другую сторону, то есть к самому Сергею. Теперь он уже не боялся, что его заставят молчать и станут отговариваться делами. Он видел, что неразумное «дите» совеем растерялось и само ищет опо-

ры.

Сергей был слишком молод, и в таком тяжелом положении ему, действительно, необходим был человек, с которым можно было бы сказать откровенное слово. Такой человек был у него прежде, человек, знавший его характер, понимавший малейшее движение души его и всегда умевший подать вовремя добрый совет; но этого человека теперь уже не существовало.

Где Рено? Что с ним? Сергей не знал.

Рено затерялся в бездне волновавшегося Парижа и не подавал о себе вести. Да ведь все равно и без этого, после последнего свидания и разговора Сергей почувствовал, что прежнего Рено нет, он похоронил его и оплакивал его гибель. Оставался один верный, испытанный человек — карлик Моська, и он не мог обойтись без него в эти дни, когда сознавал себя таким беззащитным.

Но Моська не в силах был его успокоить, хоть сразу, как только Сергей заговорил с ним о Тане, он представил ему самую определенную и ясную программу действий.

— А ты бы, сударь, прежде об этом подумай.

мал, — строго и грустно начал карлик, — и уж не ждал, не ждал я от тебя такого. Ну там, коли грех попутал — оно хоть и неладно, а все ж таки Бог простит, и был молодцу не укор. Да как это ты барышню-то, княжну в такое дело впутал — стыдно, батюшка, очень стыдно! Скрыть тебе от нее все следовало, не след ей про такие дела знать. А кабы ты сам не бухнул — я, что ли, бы проболтался?! — она бы и не знала.

— Совсем ты ничего не понимаешь! — отчаянно перебил его Сергей.

— Это я-то не понимаю? Нет, сударь мой, все хорошо понимаю. И коли ты сам об этом со мною речь завел, так послушайся ты меня, старика — худому учить не стану. Брось ты всю эту дурь, ни ногой теперь туда, слышь, ни ногой, будто тебя там никогда и не было. Твое место не там, а здесь, около княжны. Она добрая, сердечко у нее золотое, коли хочешь, заслужишь у нее прощение. Слышь — к ней иди, она простит, да и помолись тоже усерднее, чтобы Господь был милостив — ну все и будет ладно.

Сергей безнадежно заломил руки.

— Ах, Степаныч, ведь я и сам так думал, да нет, сил моих не хватает — ведь я люблю ее, понимаешь, ту люблю, я не могу ее бросить, я не могу жить без нее!

Моська выпучил глаза, лицо его вспыхнуло, он весь даже задрожал. Он окончательно забыл даже о том почтении, которое, несмотря на свою фамильярность, он соблюдал всегда в разговорах с Сергеем, и громко отплюнулся.

— Тьфу, не тебе бы говорить, не мне слушать! Тьфу, срам какой!.. Да Бога ты побойся, Сергей Борисыч! И как это язык у тебя повернулся сказать слова такие. Ее любишь, без нее жить не можешь... — а боярышня-то наша что же? На нее наплевать, что ли? Ее бросить?.. Да кто же ты после этого, ведь это самый последний, самый как есть последний человек не сделает так-то, Сергей Борисыч!.. Не ты это сказал мне, не слышал я ничего и впредь не услышу и слушать не стану... Очнись, одумайся!..

Моська зажал уши и выбежал из комнаты, оставив Сергея в крайнем смущении и отчаянии.

Но этот разговор не прошел бесследно. Ведь карлик не сказал ничего нового, ведь все это не раз Сергей сам повторял себе. Конечно, низко, позорно бросить Таню, но ведь все это уже сделано — и бесповоротно. Он, может быть, нашел бы в себе силы скрыть от Тани и затем поступить так, как советовал Моська, но она сама догадалась, она сама вырвала у него невольное, молчаливое признание — теперь все от нее зависит, как она решит, так и будет. Она сама его не захочет, зная, что он любит другую.

И в то же время он невольно следовал совету Моськи — в течение четырех дней не видал он герцогини. Приходил вечер, и он отказывался от привычного свидания к величайшей радости Моськи; он играл тяжелую, мучительную роль, обманывал себя и Таню, представлялся любезным и внимательным хозяином, показывая Париж своим гостям и в то же время чувствовал, что нельзя же так долго тянуть, что должно же это чем-нибудь разрешиться и разрешиться скоро. Он ждал, что вот-вот заговорит Таня — но Таня молчала.

И странное дело — молчала не одна она, молчала и герцогиня. Ему случилось и прежде раза два, за спешными делами, не явиться на свидание в отель д'Ориньи, но тогда рано утром его уже будила записка Мари. Она с тревогою спрашивала, что с ним такое, здоров ли он, отчего он не был?

А вот теперь прошло четыре дня, а герцогиня не присылает.

Сергей задыхался, он едва дожил до пятого вечера и, не сказавшись Тане, как преступник, тихомолком выбежал из своего дома, сел в первую попавшуюся извозчичью карету и велел кучеру ехать в Сен-Жерменское предместье.

Остановившись у отеля д'Ориньи, он, по своему обыкновению, вошел не с главного подъезда, а через маленькую дверь во дворе, которая вела прямо в отделение герцогини. Здесь его встречали или старый слуга, или любимая камер-юнгфера герцогини, Сильвия. Сильвия и теперь попалась ему навстречу в коридоре. Это была молоденькая и очень хорошенькая итальянка, привезенная герцогиней из ее последнего путешествия в Италию.

Сильвия была не последнее лицо в доме. Ее родные принадлежали к порядочному обществу в Болонье, но в какой-то неудачной спекуляции обеднели, и Сильвия предложила свои услуги герцогине. Всегда веселая, кокетливая, остроумная, быстро выучившаяся хорошо говорить по-французски, она понравилась Мари и пользовалась ее милостями, мало-помалу устраивая свои денежные дела и помышляя года через два-три вернуться на родину с порядочным приданым. Сам герцог даже обратил свое благосклонное внимание на Сильвию. Но та покуда ухитрялась держать его на почтительном расстоянии и в то же время никогда не отказывалась от его щедрых подарков.

С появлением Сергея ее дела пошли было еще лучше. Нимф и амуров будуара оказалось недостаточно — необходимо было посвятить в тайну живое существо, которое бы охраняло спокойствие влюбленных. Такой поверенной явилась Сильвия, но неожиданно для себя самой молодая девушка скоро стала тяготиться этой ролью — она сама влюбилась в Сергея и страшно ревновала его к герцогине. Она гото-

ва была на все, чтобы обратить на себя внимание молодого русского вельможи и в то же время отлично сознавала, что это для нее невозможно, что он, несмотря на свою доброту и любезность, относится к ней как к существу, бесконечно ниже его стоящему. Он выказывает ей благодарность за ее услуги и в то же время, конечно, презирает ее, полагая, что она служит ради денег...

Эта мысль очень мучила бедную Сильвию, и она ухватилась за единственное средство возвысить себя в глазах Сергея — перестала принимать его подарки. Он очень изумлялся этому, но в конце концов цель Сильвии была достигнута — он начал больше обращать на нее внимания, смотрел на нее не просто как на горничную, которой платят деньги, а почти как на друга.

Иногда, явившись слишком рано и поджидая герцогиню, Сергей охотно беседовал и шутил с Сильвией и, конечно, не подозревал, какое счастье и какое мученье заключалось для нее в этих минутах. Если бы он не был так страстно увлечен герцогиней, ему нетрудно было бы заметить красноречивые взгляды де-

вушки, краску, вспыхивавшую на ее щеках от всякого его ласкового слова, он заметил бы, может быть, и красоту ее. Теперь он ничего этого не видел, всецело был поглощен своею любовью к ее госпоже...

— Дома герцогиня? — спросил он Сильвию, здороваясь с нею.

Сильвия, как и всегда, вдруг вспыхнула, потом побледнела и с изумлением и тревогой стала вглядываться в лицо его.

— Дома, дома, — проговорила она, — и я сейчас проведу вас к ней, только прежде мне нужно кое-что сказать вам...

— Что такое? Я вас слушаю, милая Сильвия.

— Но прежде... нет, скажите вы мне, сударь, что такое с вами? Вы такой бледный, вы, верно, больны? Вот уже пять дней как мы вас не видели — я очень тревожилась...

— Да, я нездоров, но дело не в этом, это пустое. Что такое вы хотели сказать мне?

— К сожалению, в моих словах будет очень мало для вас приятного, но я не должна молчать. Вот вас пять дней не было, и вы ничего не знаете... А между тем вам следует знать,

что все эти вечера у нас проводит какой-то граф Монтелупо...

Сергей вздрогнул.

— Что же он здесь делает? Ведь это шарлатан.

— Да, шарлатан, — перебила его Сильвия, — и, может быть, даже гораздо хуже. Дело в том, как я его увидела, так сейчас и поняла, что тут неладно. И начать с того, что я почти головою могу ручаться, что он вовсе не граф Монтелупо... Лет пять тому назад я встречала в Болонье одного синьора Бринчини, который как две капли воды был похож на него. Этот Бринчини пользовался самой дурной репутацией, он несколько раз попался в каких-то неприличных историях и был уличен в плутовстве за картами... Кончилось тем, что он бежал из Болоньи. Конечно, иногда встречаются люди очень похожие друг на друга, но такого сходства я никогда еще не видала, да и вряд ли оно может быть, только этот господин постарел немного и научился лучшим манерам... Но этого мало, в Италии никто никогда не слышал имени графа Монтелупо, а недалеко от Болоньи, по до-

роге во Флоренцию, есть только гора, которая носит это название...

— Все, что вы говорите, Сильвия, очень важно, — в волнении произнес Сергей. — Я как только увидел этого человека, заметил в нем много фальшивого, я сам думал, что это самозванец; но ведь у меня, кроме моего впечатления, не было никаких данных, чтобы утверждать это, а вот у вас есть и данные. Вы должны были тотчас же рассказать все это герцогине.

— Я так и сделала, — отвечала Сильвия.

— Ну и что же? Что она?

— Она на меня рассердилась и приказала мне молчать. О, я никогда еще не видала герцогиню такой сердитой, она даже топнула ногой: «Как вам не стыдно, — говорит, — клеветать на человека, вы и сходство это, и свою гору Монтелупо во сне видели! Графа все знают за самого почтенного и интересного человека — это великий ученый».

Сергей слушал, грустно опустив голову. Сильвия продолжала:

— Может быть, и правда, что он великий ученый и колдун, потому что сразу заколдо-

вал герцогиню — она только о нем и говорит эти дни, только им и бредит. И знаете ли, вчера сама повезла его в Тюильри представить королеве, вернулась такая радостная, а к вечеру он опять явился.

Сергей не знал, куда деваться от тоски и самых мрачных предчувствий.

«Так вот отчего она в эти пять дней не поинтересовалась узнать, что с ним такое, вот почему не писала ему ни строчки — ей некогда было думать о нем, так она занята своим новым знакомым!»

— Может быть, и теперь он там? — спросил Сергей Сильвию.

— Пока его еще нет, пожалуйста, но я не могу поручиться, что он не явится вслед за вами.

Сергей прошел в будуар и очутился перед герцогиней. Она даже не заметила его появления, она была погружена в чтение какой-то книги.

— Мари! — прошептал Сергей.

Она подняла голову и взглянула на него равнодушными, холодными глазами. Таким взглядом она простилась с ним в последний раз и таким взглядом теперь его встречала.

— А, Serge, это вы, наконец. А я думала, что вас уже нет в Париже...

— Но вы не интересовались узнать, что со мною?

— Я каждую минуту ждала, что вы сами меня известите об этом.

— Мари, что это такое? — с мучением произнес Сергей. — Что за тон — я не узнаю тебя, разве когда-нибудь прежде ты меня так встречала? Ты не знаешь, что было со мной в эти дни, да и знать не хочешь. Что же это такое? И если ты на меня за что-нибудь сердишься, скажи прямо.

— Я ни на что не сержусь, — равнодушно проговорила герцогиня, стараясь улыбнуться. Но ее улыбка вышла такой бледной...

— В таком случае, как мне понимать все это? Сейчас, сейчас говори, отчего ты такая?

Она пожала плечами.

— Я такая же, как и всегда, а если ты для того приехал, чтобы вести такие неприятные разговоры и делать сцены, то, право, и приезжать не стоило. Я сказала, что не сержусь... Нет, я солгала, я сержусь на тебя, да и как же мне не сердиться, ведь это, наконец, Бог знает

что такое — ты начинаешь преследовать меня упреками, ты вечно недоволен, все во мне тебе не нравится с некоторого времени. Это нужно оставить, мой милый.

Сергей многое мог бы ей ответить, но удержался, он решил прямо приступить к делу.

— Правда ли, что у тебя постоянно этот граф Монтелупо? Правда ли, что ты вчера представила его королеве?

— Конечно, правда, но что же из этого? А, ты вздумал ревновать!

— Я надеюсь, что покуда не имею никаких для этого оснований, — по-видимому, спокойным голосом произнес Сергей, — я слишком тебя уважаю и считаю благородной женщиной, а потому и не осмелюсь ревновать тебя к неизвестному человеку, которого ты совсем не знаешь, которого увидела пять дней тому назад. Но если я спрашиваю тебя об этом человеке, то для того, чтобы подать тебе совет.

— Совет? Любопытно, какой совет, я слушаю.

— А вот что, — бледнея и едва сдерживая накипавшую злобу сказал Сергей, — это обманщик, это самозванец, и я советую тебе, я

прошу тебя перестать принимать его.

Герцогиня вспыхнула и нервно поднялась с дивана, на котором сидела.

— Что такое?! Давно ли ты считаешь себя вправе вмешиваться в мои дела? Я должна оскорбить человека, достойного всякого уважения, только потому, что он не имеет чести тебе нравиться! И ты еще говоришь, что ты не ревнуешь! Что же это такое, как не самая глупая ревность? Но в таком случае лучше раз и навсегда объяснимся, чтобы впредь не было никаких недоразумений между нами. Ты меня не первый день знаешь, и ты должен знать, что я не настолько бесхарактерна, не настолько ребенок, чтобы без рассуждений исполнять чужие капризы. Или приди в себя и будь как следует, не мучь меня упреками, мрачными предчувствиями, прописной моралью, одним словом, не разыгрывай в этом будуаре драму, не мешайся в мои дела, предоставь мне принимать кого я хочу и интересоваться кем мне угодно — или лучше разойдемся. Я не намерена выносить подобного деспотизма, и никакая любовь не устоит против всех этих неприятностей...

Он слушал ее, не веря ушам своим. Она стояла перед ним негодующая, холодная. Как ни всматривался он в нее, не мог подметить в ней ничего прежнего.

— Ты меня не любишь?! — отчаянно и с ужасом крикнул он.

— Ах, опять драма, опять трагедия! Боже, как все это скучно!

Она отошла от него и взялась за книгу. Он постоял еще несколько минут, не говоря ни слова и не спуская с нее изумленного взгляда.

— Прощай! — наконец, прошептал он не своим голосом и, шатаясь, вышел из комнаты.

Она взглянула ему вслед, но не тронулась с места и продолжала свое чтение.

XXI. НА УЛИЦЕ

Достигнув конца красивой, широкой галереи, увешанной картинами, заставленной китайскими вазами, озаренной мягким светом матовых ламп, Сергей невольно остановился. Здесь, у этой двери, он, обыкновенно, прощался с герцогиней, она доводила его сюда и, расставаясь, нежно шептала ему:

«Так завтра же?! Завтра! — и помни, что, если назначенное время приходит и тебя еще нет, мне каждая минута кажется веком, мне все чудится, что с тобою что-нибудь случилось, и я мучаюсь, я чувствую себя совсем несчастной... Помни же это и не опоздай ни минуты!..»

И он, конечно, всегда обещал не опоздать и долго не мог расстаться с нею, покрывая ее руки поцелуями.

Вот и теперь ему смутно казалось, что сейчас, сейчас дверь ее будуара отворится и она поспешит за ним, и вернет его, и все будет забыто...

Но в галерее было тихо. Прошли две-три минуты, вдруг недалеко где-то скрипнула,

приотворяясь, дверь.

Сергей вздрогнул, оглянулся — это она?!

Но нет, не дверь будуара отворилась, а другая — и на пороге показалась Сильвия. Она заметила Сергея и в изумлении к нему подбежала.

— Вы уже уходите? Что это значит? Боже мой, как вы смотрите!.. Пойдите, куда вы?!

— Прощайте, Сильвия, — проговорил он, протягивая ей руку, — прощайте, мы вряд ли еще с вами встретимся!

Она вздрогнула от прикосновения руки его и тихо улыбнулась.

— Ах, что такое вы говорите, послушать вас, так, право, станет страшно!.. Я надеюсь, что мы встретимся завтра же, потому что я буду дожидаться вас вечер и встречу в этой галерее...

— Нет, Сильвия, я не вернусь сюда!

— Да перестаньте же, *monsieur* Serge! — иногда она позволяла себе так называть его, видя, что он никогда за это не сердится, — перестаньте, теперь я понимаю, что вы поссорились с герцогиней, но эта ссора не надолго... Ну, если не завтра, так через два дня, а все же

не утерпите и придете, будете просить прощения, и вас простят, конечно!..

Сергей все крепче и крепче сжимал ее руку.

— Нет... слышите... как тихо!.. Она не зовет меня! — шептал он прерывающимся голосом, — ей до меня нет дела!.. Она могла, она должна была вернуть меня — и не сделала этого. Сильвия, вы добрая девушка, пойдите, пойдите к ней... Я подожду здесь, вы сами мне скажете тогда, навсегда ли я уйду отсюда!

Он почти упал на табуретку, стоявшую около двери, а Сильвия своей неслышной, легкой походкой поспешила в будуар герцогини.

Недолго пришлось ждать Сергею. Вот Сильвия показалась опять в галерее и медленно подошла к нему. Ее лицо было задумчиво, а глаза блестели. Он схватил ее за руки и едва слышно шептал:

— Ну что? Только, ради Бога, ничего от меня не скрывайте!.. Вы понимаете, что мне нужно слышать правду, одну правду — какая бы она ни была.

— О, я ничего от вас не скрою, — ответила

Сильвия, и в ее голосе послышалась резкая и решительная нота, — я застала герцогиню за чтением. Эта какая-то итальянская книга, кажется, медицинская, ее вчера принес Монтелупо. Герцогиня читала очень внимательно. Увидев меня, она видимо, рассердилась, сказала, чтобы я ей не мешала и прибавила: «Распорядитесь, чтобы никого не было, слышите, никого ко мне не пускайте... меня нет дома, я сейчас уехала... я дома только для графа Монтелупо».

Сергей поднялся в страшном негодовании, которое мгновенно заглушило в нем все другие чувства.

— Она сказала это? Так и сказала? Кто бы ни приехал, никого не принимать?.. «Сейчас уехала!» — ведь это она боится, что я вернусь!.. Ну, так скажите же ей, Сильвия, что я никогда, никогда не вернусь к ней, что я ее презираю так же, как и того шарлатана, для которого она теперь дома!..

Сильвия опустила голову, но в ее лице мелькнуло что-то неуловимое, как будто даже радость. Да, она была довольна, и она передаст герцогине слова его, передаст, что он ее

презирает!

— Прощайте, Сильвия, будьте счастливы!
Радость девушки мгновенно пропала.

Ведь он прощается, и правда теперь, что он прощается навсегда! О, он горд, она уже замечала это, он не вернется; так что же ей в том, если даже и кончено все между ним и герцогиней?! Ведь было одно счастье — мельком увидеть его, услышать его голос, а теперь и это счастье... Ах, зачем она ему сказала... он, может быть, и вернулся бы...

Она схватила его руку, она хотела хоть на минуту еще удержать его. Но он резким движением отстранился от нее и вышел из галереи.

Сильвия опустилась на скамейку, на которой за минуту перед тем сидел он, и горько заплакала...

И вот снова, как и пять дней тому назад, Сергей на улицах Парижа пешком, в неурочный для него час. И опять он не замечает темного вечернего неба, огней людного города, толпы, снующей взад и вперед по тротуарам. Но тогда он шел в неясной тоске, неясные мысли бродили в голове его и, как ни тяжело

ему было, все же представлялась ему возможность выхода из этого невыносимого положения, из этого окутавшего его тумана. Теперь туман рассеялся, неясные тоскливые опасения превратились в действительность.

Все кончено! Она его не любит, она изменяет ему самым недостойным образом!.. Он бы убил того человека, который сказал бы ему, что она способна на это! И вот все это свершилось — и он уничтожен, раздавлен... В нем нет уже тоски, в нем жгучая, острая боль разбитого, опозоренного чувства, и негодование, и ужас.

Сергей остановился и громко засмеялся как сумасшедший. Он вспомнил Таню.

«Зачем я пеняю, зачем я негодую, зачем считаю Мари преступной? Ведь я первый поступил так, как она, и не мне возмущаться!..»

Он с какой-то мучительной радостью схватился за эту мысль. Он так высоко ценил герцогиню, он так верил в любовь ее!.. Но разве Таня меньше ему доверяла, разве она не была в нем уверена, как в самой себе? Ведь она доказала это своим приездом!.. Нет, он бесконечно преступнее — он скрывал, он тянул, он

поставил любящую его девушку в невыносимое положение, а от него, по крайней мере, не скрывали, не тянули, его заставили сразу догадаться.

«Вот и наказание! — бешено думал он. — Кто это сказал, где я это читал, что всякий дурной поступок человека, всякое преступление в самом себе носит свою кару, что избегающий людского правосудия не может убежать от другого, непонятного правосудия, действующего во внутренней жизни человека?! Вот и наказание, и иначе и быть не могло, и я должен был знать это!.. Да ведь я и знал, ведь наказание мое началось не сегодня!.. Разве не наказание было это время, эти муки, эта тоска, эта невыносимая жизнь?! Ну и пусть я до конца все это вынесу, пусть меня все бросят — я сам оттолкнул одну, другая меня оттолкнула!..»

Жизнь показалась ему такой отвратительной, такой бессмысленной, что ему безумно захотелось разом покончить с нею.

«Миг один, — подумал он, — и все конечно!.. Зачем не убили меня тогда, на ступенях версальской лестницы?! О, какое бы это было

счастье! — тогда и она погоревала бы о моей смерти, тогда она еще любила... да и Таня ведь... ведь я не был бы преступным, недостойным в глазах ее, я не нанес бы ей этого ужасного оскорбления... Убить себя, уничтожить! — ведь я имею на это право... Матушка! — но она может никогда и не узнать о причине моей смерти, она перенесет это горе — станет молиться и успокоится... Я никому не нужен, и никто мне не нужен, и ничего нет у меня впереди...»

Мысль о самоубийстве, внезапно блеснувшая в голове Сергея, с каждой минутой казалась ему все заманчивее. Старые уроки Рено, отнявшие у него Бога, теперь приносили плоды свои. И если он все же отошел от своего безумного решения, то единственно потому, что ему тяжело было сознаться в своей трусости и слабости.

«Пусть я преступник, — думал он, — и теперь лучшее, что я могу сделать — это покончить с ненавистною жизнью... мне легко решиться — смерть для меня высшее благо... Но ведь тогда я буду не только преступником, а и жалким трусом, который испугался заслужен-

ного наказания... Нет, я должен жить, я должен вынести все эти муки, весь этот позор... вот я вернусь домой, меня встретит Таня — я не знаю, что она станет говорить, она все молчит, невыносимо молчит, но здесь заговорит же! И я не знаю, что буду отвечать ей... Это пытка — и я должен ее выдержать до конца...»

Он шел дальше и дальше, не замечая дороги, не замечая, что идет совсем не в ту сторону, не к церкви Магдалины. Иногда казалось ему, что все это неправда, что ничего этого не было и не будет — разве возможно это! Разве мыслимо, что он никогда больше не увидит Мари?.. Но последняя сцена приходила ему на память во всех мельчайших подробностях; он видел это бледное, холодное лицо, безучастный взгляд, презрительную усмешку... И потом, слова ее, сказанные Сильвии: «Я сейчас уехала!..» Он старался придать словам этим другое значение, он Бог знает что дал бы за возможность найти им хоть какое-нибудь объяснение... Но это было невозможно, ее слова говорили ясно, беспощадно ясно, и Сильвия не могла солгать. О, если б она солга-

ла, он почувствовал бы это, но она не солгала, он знает, мучительно знает, что не солгала!

«Так вот кто! Монтелупо, или как там его... шулер, шарлатан, видимый обманщик, негодяй, плохо притворяющийся порядочно воспитанным человеком!.. Да как она могла им плениться, как она, при ее уме и знании света, не догадалась сразу с кем имеет дело. Чем он ослепил ее? Что это такое? Или он в самом деле колдун и приворожил ее колдовскими чарами?..»

И Сергей, потерявший веру в живого Бога, которому когда-то горячо молился, Сергей, не сумевший прилепиться и к новому богу своих любимых философов, потому что этот новый бог всегда казался ему таким далеким и холодным, готов был поверить старой Моськиной сказке о силе приворотного зелья. Как Моська верил, что «французская ведьма приворожила дитю», так и это привороженное дите, этот ученик философов-энциклопедистов жадно хватался за соломинку, чтобы как-нибудь объяснить слишком оскорбительный для него поступок женщины, которая была его божеством, его сокровищем.

Но соломинка пропададала, мысли останав-
ливались, Сергей не рассуждал больше и
оставался только со своими тяжкими ооще-
нениями. Ненависть закипала в нем.

«Я найду его, — бешено шептал он, — я за-
ставлю его снять маску и убью, как собаку!..
Убью!.. А она... Ведь я не вернусь к ней... Я по-
терял ее навеки!»..

Страсть охватывала его. Он испытывал
снова все обаяние этой женщины, первой
женщины, с которой он сошелся, которая лю-
била его не робкой девической любовью, а за-
ставляла его пережить все безумие горячий,
ничем не сдерживаемой страсти. Он вспом-
нил живо, живо, до мельчайших подробно-
стей тихие, таинственные часы в кокетливом
будуаре, когда действительность уходила так
далеко, когда время не то останавливалось,
не то мчалось с невероятной быстротою, ко-
гда полуслова, вздохи и улыбки составляли
их единственную, многозначительную и
красноречивую беседу.

Он вспоминал это милое, дорогое лицо, но
не то, которое показалось ему совсем новым
и незнакомым, а прежнее дорогое лицо, в ко-

тором для него гармонически сливались вся красота земли и неба.

Вот они — эти глубокие черные глаза. О, как они глядели, каким счастьем наполняли его! Вот эти сверкающие зубы, которые так ослепительно блестели при каждой улыбке, эти хрупкие детские руки, холодившие от прилива страсти и обвивавшие его так крепко, что разлука казалась немислимой, невозможной.

И ничего этого теперь нет, и ничего этого он никогда больше не увидит!..

«Да разве это возможно? О, пусть она порочна, — отчаянно думал он, хватаясь за голову, — пусть она изменяет мне, только бы мне еще ее увидеть, только бы обнять ее и почувствовать ее поцелуи, услышать ее голос...»

Он припоминал многие их разговоры, наводившие на него тоску, так его мучившие. Какие мысли она высказывала, как обо всем судила! То, что было для него важно, в чем он видел самые страшные, насущные вопросы, то казалось ей таким пустым, легким...

«Да, она испорчена, она видела столько дурных примеров! И почему знать, ах, Боже

мой, почему знать, может быть, он не первый, с кем она изменяла своему мужу. Да, он почти уверен теперь в этом, теперь он понимает некоторые слова ее, которые прежде пропускал без внимания. Но что же из этого?! Ведь она все та же, она так же прелестна и обольстительна!..»

Он кончил тем, что совсем примирился с ее порочностью, он готов был простить ей все, даже графа Монтелупо. Он любил ее такую, какова она есть, он, сам не замечая этого, решился, несмотря на все: на оскорбление, им перенесенное, на ее пренебрежение — бежать к ней и молить ее о прощении, целовать ее ноги.

Он шел в лихорадке, с горящей головой, не замечая, что какой-то человек, попавшийся ему навстречу, пристально оглядел его и вдруг повернул, пошел за ним, и вот уже несколько минут идет рядом и заглядывает в лицо его.

Наконец этот пристальный, странный взгляд заставил себя почувствовать. Сергей очнулся и сам стал с изумлением всматриваться в идущего рядом с ним человека.

Было довольно темно, но через несколько шагов свет фонаря достаточно озарил их лица.

— Рено! — изумленно крикнул Сергей, остановившись и хватая за руку своего бывшего воспитателя. — Рено, друг мой, вы ли это?

И он с невольной и быстро охватившей его радостью так и прильнул к Рено и не выпускал его, будто боясь, что он вырвется и исчезнет. Но Рено, очевидно, не намерен был исчезнуть: он старым, привычным движением, как, бывало, в Горбатовском, взял Сергея под руку и пошел с ним в ногу, все продолжая изумленно и грустно смотреть на него.

— Serge, Serge! — говорил он прежним ласковым голосом, — что такое с вами, я почти не узнал вас — вы так изменились!.. Ведь вы ничего не видите! Я столько времени шел рядом с вами... Знаете ли, вы даже почти громко говорили, но я только не мог разобрать слов ваших... Serge, дорогой мой, дитя мое, друг мой, вы напугали меня, я чувствую, что с вами случилось что-нибудь тяжелое, какое-нибудь горе...

— Да, горе, может быть, хуже, чем горе, — проговорил Сергей, — но разве вам нужно знать его?! Ведь вы ушли от меня, Рено, и сами говорили, что разошлись наши дороги...

— Это правда, но я тоже говорил вам, что вы навсегда будете мне дороги, что если я когда-нибудь и чем-нибудь могу помочь вам, то сделаю все, что только в моих силах.

— О, вы ничем не можете помочь мне!..

Но в то же время Сергей чувствовал, что Рено помогает ему уже одним своим присутствием. Он забыл все, что оттолкнуло его от этого человека, забыл свое негодование на него и то тяжелое чувство, с которым он признавался себе, что Рено не прежний уже человек, имевший над ним такое влияние, казавшийся ему таким высоким. Теперь он забыл все это, он помнил только далекие годы, когда он душа в душу жил с ним, он чувствовал, что, несмотря на все, по-прежнему это верный друг его, который его любит. А ему так нужно было такого человека!

И Рено, в свою очередь, позабыл многое, и он перенесся душою в прежнюю жизнь, не замечал новой жизни, всецело охватившей его

в последнее время, не замечал этого шумного, родного ему Парижа. Ему казалось, что они снова в Горбатовском и «дорогой мальчик» нуждается в его помощи. Он думал теперь только об этом «дорогом мальчике».

«Что с ним такое, что с ним? Как мог, как смел я его выпустить! Да, я безобразно, гадко виноват перед ним... Вот я ушел, а с ним и случилось несчастье! Но какое?..»

— Serge, не томите меня, скажите мне всю правду!

В этих словах прозвучало так много чувства, что Сергей, прижавшись к Рено и сжимая ему руку, отрывисто, горячо, едва справляясь со своим волнением, рассказал ему все: и про герцогиню, и про Таню.

— Княжна здесь?! Ma petite fee!.. Где она, где?.. Хоть на минуту взглянуть на нее! — крикнул Рено почти с детской радостью, но тут и замолк, грустно опустив голову. Не до радости было — рассказ Сергея сильно его опечалил и встревожил.

— Мне очень тяжело вас слушать, Serge, — говорил он, — и я больше чем кто-либо могу понять положение, мне так вот и кажется,

что снова вернулась моя молодость, и я опять переживаю свое старое горе... Да, это мука, и от такой муки разрывается сердце; но, другомой, не надо приходить в отчаяние, нужно обратиться с силами, нужно быть бодрым — и время все залечит... Вы так молоды, ведь вся жизнь впереди, все, что кажется теперь таким страшным и роковым, забудется, вы еще будете счастливы — я вам ручаюсь в этом...

— Ах, Рено, ведь это слова, только слова, и от них мало утешения, — перебил его Сергей, — я знаю, что вы пережили то, что я переживаю; но вот вы сулите мне счастье, и я не могу вам верить уже потому, что сами-то вы разве были счастливы после своего горя?! Не вы ли говорили мне, что ваша жизнь разбита и что старое никогда не забывается... А между тем ваше горе было меньше моего; у вас не оставалось упрека совести, если вас обманули и оскорбили, если ваше сердце разбили, то вы-то не разбили ничьего сердца... А я!.. Подумайте о Тане!..

Рено совсем оживился — он вдруг почувствовал под собою почву.

— Я и думаю о ней, — горячо заговорил

он, — и потому то и предсказываю вам счастье! Когда я был обманут, когда недостойная женщина жестоко надругалась над моим чувством, я остался один на всем свете, оплеванный, без веры, без надежды, я никому не был нужен, никто не любил меня, я был одиноким в полном смысле этого слова — и вот в чем заключалось мое несчастье и вот что разбило мою жизнь... Я все, все силы, всего себя отдал той, которая меня обманула и надругалась надо мною, у меня ничего не осталось. Если б вы находились теперь в таком же положении, мне было бы трудно утешать вас, я не посмел бы говорить вам о счастье; но вы совсем другое дело — у вас столько друзей, родных, близких, искренне вас любящих... Да тут совсем и не они... у вас Таня! Вот вся ваша будущность, ваше счастье и спасенье!..

— Но между нами все кончено... она все знает! И как мог я вернуться к ней, когда, несмотря на все ее достоинства, я уже не люблю ее по-прежнему, когда я безумно люблю другую?!

— Пустое! Маленькая фея вас излечит, недаром же она фея... О, я ее знаю, я в нее ве-

рю!.. Это сама судьба прислала ее сюда для вашего спасения!

Но Сергей грустно, почти безнадежно качал головою.

— Вы ошибаетесь, Рено, — повторял он.

— Не ошибаюсь, не могу ошибиться, только вы не падайте духом, будьте мужчиной и, поверьте, все устроится как нельзя лучше. Вы так молоды, у вас любящее сердце. А княжна! Да это лучшее существо, какое только встретилось мне в жизни, — так ей ли не излечить вас?! Она еще раз победит вас, и уже окончательно, навсегда; иначе мне пришлось бы сознаться, что я вас не знаю и не знал, что я в вас жестоко ошибался... Ободритесь же, мой друг, ободритесь!..

Он сам, говоря это, был так жив и бодр, так вдруг переродился, что его оживление сообщилось и Сергею, с которого вдруг будто скатилась давящая тяжесть. Он мог теперь, хоть на короткое время, хоть на несколько мгновений, оторваться от мучительной, раздражающей мысли о Мари, хоть ненадолго отогнать ее образ. Перед ним уже не мелькала ее обольстительная улыбка, не горели ее глаза, не

звучал ее голос. Он видел теперь все, что его окружало. Близость Рено, этого старого, вновь найденного друга, наполнила его сердце новым и теплым чувством.

Ему вдруг тяжело стало думать о разлуке с этим другим. Вот сейчас уйдет он — и с ним вместе исчезнет этот проблеск, это оживление, этот луч невольной, неясной еще, но от радной надежды.

— Ну что же, Рено?! — сказал он тоном упрека. — Вот мы случайно встретились, благодаря тому, что я, не замечая дороги, заблудился на парижских улицах, а теперь вы меня опять оставите?! — Вы, верно, спешите куда-нибудь, к вашим новым друзьям.

— Да, я спешу, — задумчиво ответил Рено, — но только теперь я вас не оставлю... Послушайте — вам необходимо какое-нибудь развлечение, какое-нибудь волнение — все равно какое, — лишь бы оно отвлекло вас от вредных мыслей... Я ручаюсь за вас как за себя самого, и я решаюсь предложить вам провести вас туда, куда спешу... Там вы увидите много интересного.

Сергей и сам чувствовал потребность за-

быться.

— Я пойду за вами, — сказал он, — только куда это?

— В место, против которого вы, вероятно, уже предубеждены — и не без основания... Слышите — не без основания! — это я говорю вам... Я введу вас под своей ответственностью туда, куда проникнуть довольно трудно — в наш клуб.

— Ваш клуб?! Какой, Рено? Пойдите... Неужели вы — член якобинского клуба? Неужели вы туда меня ведете?

— Да, вы угадали.

Сергей задумался.

— Идемте! — наконец, проговорил он. — Это, во всяком случае, интересно!

XXII. ЯКОБИНЦЫ

Рено взял Сергея под руку и они пошли по направлению к улице Saint-Honore.

Рено решился употребить все усилия, чтобы так или иначе заставить своего бывшего воспитанника хоть несколько забыться. Это оказалось легче, чем он думал, потому что, несмотря на все свое горе, Сергей не мог вполне равнодушно относиться к вопросам, которые они затронули.

— Да, — проговорил он, — я с большим интересом посмотрю, что делается у вас в клубе, но прежде всего познакомьте меня с его деятельностью, скажите вы мне, что это такое? Потому что я слышал самые разноречивые толки о якобинцах: одни считают это общество ничтожным и бессильным, но большинство боится вас и рассказывает про вас всякие ужасы. Вы, конечно, можете быть уверены, что я не злоупотреблю вашим доверием и не пожелаю нанести вам какой-нибудь вред; но мое обязательство может относиться только к Парижу, и я предупреждаю вас, что, очень может быть, сочту своим долгом немедленно же

рассказать все мною виденное и слышанное в письме в Петербург — это моя прямая обязанность... Если вы против этого что-нибудь имеете, то лучше оставьте меня, и я не пойду с вами.

Рено задумался, но потом с какой-то странной улыбкой обернулся к Сергею.

— Пишите, кому хотите! Не только письмом в Петербург, но даже и вашими рассказами здесь, в Париже, вы не можете повредить якобинскому клубу... Вы можете повредить разве только лично мне — но это уже ваше дело... А что такое наш клуб, что такое якобинцы — это я вам сейчас объясню. Люди, считающие якобинцев ничтожными и бессильными, очень ошибаются, те же, кто их боится, совершенно правы, потому что это новая сила, у которой скоро все очутится в руках, к несчастью! Да, мой милый друг, с тех пор как мы не видались, я прошел через многое, я по-прежнему враг старого порядка и в этом отношении не могу измениться, но становлюсь также и врагом нового порядка, который теперь вырабатывается, почти уже выработался, и который создают, главным обра-

зом, якобинцы.

— Я очень рад это от вас слышать, Рено, — сказал Сергей, — если бы вы знали, как мне тяжело было видеть вас исполненным только злобы и ненависти! Но я не должен был отчаиваться, я должен был понимать — зная вас, — что рано или поздно вы отречетесь от всех крайностей.

— Да, да, — задумчиво говорил Рено, — негодование наше законно, слишком много накопилось... Так не может продолжаться, но, к несчастью, видно, правдивости не ужиться на этом свете! Я вижу теперь ясно, как из одной неправды мы попадаем в другую. На моих глазах произошла никак нежданная мною и страшная метаморфоза... Вы спрашиваете, что такое якобинцы и наш клуб? Он учрежден на самом разумном основании. Сначала это было просто собрание нескольких депутатов, главным образом, из Бретани, которые, для того, чтобы им было удобнее толковать о делах, наняли для своих заседаний залу в якобинском монастыре, в лице Saint-Nopce. На эти совещания решено было принимать только почтенных и известных всем

людей: писателей, артистов, ораторов. Членами были: Кондорсе, Лагарп, Шенье, Шамфор, Давид, Тальма. Я считал за особую честь, когда и меня допустили и записали в члены клуба. Но вот много ли с тех пор прошло времени, — и все изменилось. Сначала мы толковали, действительно, о самых насущных делах; после переезда королевского семейства из Версаля в Париж, мы убедились, что со стороны короля не может быть никаких затруднений, следовательно, нужно было серьезно разобраться в настоящем положении Франции, уяснить себе все ее нужды, определить все ее болезни и общими силами найти для них лекарство. Этому мы и решили посвятить себя — и что же?! Прошел какой-нибудь месяц, другой — и наш клуб превратился в громадное сборище никому неизвестных крикунов, подстрекателей толпы, всяких двусмысленных, темных людей, цель которых — торжество произвола. Основатели клуба почти все исчезли, превратились из хозяев или в простых гостей, или даже в изгнанников. Мы не успели оглянуться, как к нам ворвался весь Пале-Рояль, так называемые патриоти-

ческие общества Пале-Рояля...

— Пале-Рояль, — перебил Сергей, — да не вы ли же сами находили, что тамошние деятели правы? Вспомните нашу встречу! Теперь вы, слава Богу, согласны со мною...

— Да, это были первые минуты, — горячо продолжал Рено, — и я, признаюсь, жестоко заблуждался, но теперь-то мне все ясно: Пале-Рояль погубил Францию...

— Как же могли вы допустить этих людей и общества в ваш клуб? Мне кажется, вы сами виноваты.

— Вероятно, но, знаете, есть одна сила, перед которой ничто не может устоять, которая, если не возьмет своего открыто, то всегда сумеет найти окольные пути. Эта сила — деньги. Среди порядочных людей, первых якобинцев, нашлись все же и такие, которые польстились на золото, выходящее из сундуков Филиппа Орлеанского, другие были просто одурачены — и таким образом клуб наполнился новыми членами, которые в скором времени стали огромным большинством, и как подавляющее большинство завладели клубом... Я уже решил теперь, что мне надо

искать нового убежища, каждое заседание доказывает мне, что при таком обороте носить название якобинца становится позорным. Я вовсе не желаю возбуждать к себе ужас в порядочных людях. Нужно постараться противопоставить якобинцам новую и серьезную организацию... Только вряд ли это удастся... О, как мало настоящих людей! Если вы и встречаете честного человека, то почти всегда окажется, что у него не хватает гражданского мужества... Все теперь по норам прячутся, боятся нос высунуть на воздух, потому что в воздухе гроза! Да ведь когда же и работать, когда же и жертвовать собою, как не теперь!.. Конечно, я сделаю все, что могу... Я собрал несколько одномыслящих людей, мы задумали попробовать устроить общество, цель которого была бы — противодействие всякой несправедливости, всякой неправде, из какого бы лагеря она ни выходила. У меня и сегодня дело в клубе: я намерен, наконец, потребовать отчета — по какому праву патриотические общества Пале-Рояля, забыв о заявленных ими целях, позволяют себе именем народа возмутительные бесчинства? У меня в ру-

как факт такого бесчинства, совершившегося на днях, — и я заставляю себя выслушать. Я вижу настроение большинства якобинцев — по крайней мере, положение окончательно выяснится. Будьте и вы свидетелем того, что произойдет, только прошу вас не вмешиваться в прения и быть молчаливым слушателем... Обещаете ли вы мне это, Serge?

— Обещаю, — машинально ответил Сергей.

Его возбуждение уже прошло, и он снова чувствовал свою сердечную муку.

Между тем в это время они были уже на улице Saint-Honore и подходили к мрачному зданию старого монастыря. Рено, очевидно, хорошо знал все входы и выходы. Он взял Сергея за руку и стал вести его почти в совершенной темноте. Сначала они шли по длинному коридору, где глухо раздавались их шаги, где пахло сыростью старых, заплесневевших камней.

Но вот блеснул свет фонаря — они поднялись по каменной лестнице и вступили в ряд сводчатых комнат, освещенных лампами, наполненных густой толпой народа.

Вокруг стен стояли скамьи; перед скамьями маленькие столики, массивные кожаные стулья с высокими спинками. На этих скамьях и стульях разместились, непринужденно разговаривая и перебивая друг друга, люди разных возрастов и, судя по разнообразию костюмов, различных общественных положений. Кому не доставало места на скамьях и стульях, те собирались группами и то медленно прохаживались, то останавливались, по большей части жарко споря и жестикулируя.

Кое-где мелькали одинокие фигуры. Все это были очень молодые люди с бледными, изнуренными лицами, небрежно, иногда даже бедно одетые, с фанатическим и в то же время тупым выражением в лице. Глаза их лихорадочно горели; они то мрачно сдвигали брови, то как-то зло усмехались, а некоторые из них так даже шептались сами с собою, измеряя комнаты большими, неровными шагами.

Рено указал Сергею на двух-трех таких молодых людей.

— Вот, смотрите, — сказал он, — вот они, эти герои, вот новые якобинцы!.. Это маньяки, больные изверги — и ничего больше... И

пожалейте меня! — ведь я еще в России мечтал об этой молодежи, об этих новых, непочатых силах, которым суждено спасти Францию от всех бед... Как жестоко я обманут, как я одурачен! Теперь я хорошо познакомился с этим типом. Их много, они явились из всех углов Франции... Они не вожаки, но первые исполнители бесчинства... Они рассуждать не умеют, неспособны... Они глухи и слепы! Но кричать могут и кричать отчаянно. Их отравили красивыми фразами и, заучив эти фазы, они только и мечтают стать палачами!

— Однако, — прибавил он, — поспешим ввиду заседания; вот вам входной билет — я чуть было не забыл, что без билета вас бы не пустили. По счастью, у меня два в кармане.

Он незаметно передал Сергею карточку.

Пройдя две комнаты, Рено и Сергей остановились перед запертой дверью. У этой двери расхаживали два человека, на плечах которых красовались трехцветные кокарды.

Взглянув на одного из них, Сергей не мог подавить в себе изумления. Это был изящный юноша, резко выделявшийся среди разнообразного и смешанного общества своей внеш-

ностью и манерами. Сергей узнал в нем молодого герцога Шартрского — сына Филиппа Орлеанского. Сергей не был представлен герцогу, но несколько раз встречался с ним в Париже.

— Вот как, — шепнул Рено, — этого еще не доставало! Если герцог может вас узнать, то, мне кажется, вам уже лучше сейчас же удалиться... А могут быть мне большие неприятности, и я, пожалуй, лишусь возможности сказать с трибуны то, что непременно должен сказать сегодня же... Я, право, никак не ожидал, хотя, конечно, удивляться нечему...

— Нет, он меня не знает, не тревожьтесь, — так же тихо отвечал Сергей.

В это время молодой герцог был уже возле них.

— Citoyenss, vos cartes d'entrée, s'il vous plaît! — с легким полупоклоном и любезной улыбкой проговорил он, обращаясь сначала к Рено, а потом к Сергею.

Они передали ему билеты и прошли в залу.

Это была обширная, высокая и даже вели-

чественная комната — монастырская библиотека. По стенам стояли шкафы со старинными фолиантами, озаренные висящими лампами, возвышалась трибуна, рядами шли скамьи, почти все занятые слушателями. Рено, подав знак Сергею следовать за ним, стал пробираться между скамьями к трибуне.

Им удалось найти два свободных места. Рено усадил Сергея, но сам не сел — он увидел, что трибуна пуста. Кругом раздавались громкие голоса, споры, почти крики, очевидно, вызванные речью только что говорившего оратора. Рено поспешил к трибуне, желая воспользоваться минутой. Ему удалось раньше других взобраться на ступеньки и занять ораторское место.

Он обвел блиставшими глазами всю залу, увидел десятки, сотни знакомых лиц — всех обычных посетителей клуба, но еще более было лиц совсем ему неизвестных, которых он видел в первый раз. Он нередко говорил с этой трибуны, говорил всегда красноречиво, увлекательно и до сих пор пользовался значительной популярностью. Его появление было и теперь встречено довольно дружными

рукоплесканиями, раздавшимися во многих местах залы, и он знал, что стоит ему заговорить, как говорил он прежде — горячими, красивыми фразами, пышными общими местами, — и эти рукоплескания только усилятся.

Но в последнее время в нем произошла большая перемена, он очнулся от своего опьянения, отрешился от своих мечтаний, он уже не верил в ту новую эру, которая мерещилась ему еще так недавно. Революция, представлявшаяся ему грозной и великой Немезидой, с каждым днем выставляла перед ним свои отвратительные стороны, и он был слишком честным человеком, чтобы продолжать служить тому, во что перестал верить. Он мог быть увлеченным, обманутым, но не мог быть сознательным обманщиком. Он стыдился теперь тех фраз, тех красивых, но, в сущности, ничего не значащих восклицаний, которые он расточал с этой трибуны. В нем явилась неодолимая потребность снова говорить; но говорить совсем иначе и высказать прямо и открыто все, что накипело в нем.

— Граждане! — начал он дрогнувшим, но

решительным голосом. — Я прошу вашего внимания и позволения поставить несколько вопросов.

Крики и споры умолкли. Вся зала стала внимательно слушать.

— Граждане! — продолжал Рено, — скажите мне, действительно мы, все здесь собравшиеся, стоим под одним знаменем, на котором начертаны великие слова: «свобода и равенство?» Вот первый вопрос, и я жду на него ответ.

Движение прошло по зале.

— Да, да! Конечно!.. Какое же может быть в этом сомнение?! Что вы хотите сказать этим вопросом, гражданин Рено?.. Объяснитесь, мы слушаем!.. — раздались отовсюду голоса.

— Вы ответили утвердительно, — заговорил Рено, — значит, каждый из вас свободен и равен один другому, но эта свобода, это равенство составляют ли только нашу привилегию, или это признаваемое нами право всех без исключения граждан Франции? Вот второй вопрос мой.

Он остановился и пристально вглядывался

в своих слушателей.

По зале снова пронесся гул. Но если в первый раз в ответе слушателей слышались только недоумение и любопытство, то теперь в отрывистых словах: «Конечно!.. К чему же говорить об этом?.. Что за праздные вопросы?!» — начинало слышаться уже раздражение. В двух-трех местах раздалось, хоть и тотчас же смолкнувшее, шиканье.

— Праздные вопросы! — резко крикнул Рено, выпрямляясь и вдруг как бы вырастая на трибуне. — Нет, это не праздные вопросы, потому что люди, служащие известному принципу, должны быть последовательны и справедливы, иначе они плохие бойцы и не защитят принципа, которому желают служить... Несколько дней тому назад совершился факт, разъяснение которого на мой взгляд совершенно необходимо. К редактору распространенной и уважаемой газеты, гражданину Мало, явилась депутация от нашего клуба...

— Ну так что же из этого? Мы принадлежали к этой депутации, — крикнули, поднимаясь, несколько человек, — мы как следует поговорили с этим журналистом, и можно наде-

яться, что он нас понял и впредь не будет себе позволять того, что до сей поры позволял!..

— Что же он себе позволял? — в негодовании крикнул Рено. — Всем здравомыслящим людям Мало известен как независимый, честный писатель, всегда искренне высказывающий свои убеждения, стоящий на почве законности, защищающий свободу и общественный порядок.

— А, так вы заодно с Мало, гражданин Рено? Сколько он заплатил вам за вашу адвокатскую защиту? — раздался насмешливый голос.

Но Рено решился оставить эту насмешку без внимания.

— Мы можем быть несогласны с некоторыми взглядами Мало, — говорил он, — но каждый искренний и честный человек достоин уважения. — И вот депутация якобинцев врывается в кабинет такого человека и требует от него, чтобы он изменил свои убеждения и говорил только то, что приятно клубу и патристическим обществам Пале-Рояля. Если же он этого не исполнит, то ему объявляют, что он будет подвергнут всевозможным насилиям.

Скажите мне, правда ли это? Верно ли это мне передано?

— Конечно, правда, как же иначе и говорить с подобными господами?

— Я надеялся услышать опровержение, но теперь вижу, что переданный мне рассказ верен. Мало отвечал, что он признает только авторитет закона, который должен быть авторитетом и для якобинцев, и для всех граждан Франции. Не признавать авторитета закона — значит, служить плохую службу родине, изменять ей... И что же вы ему отвечали? Вы отвечали, что вы — представители народа и выражаете приказание нации, которого он должен слушаться...

— Да, конечно, и если он не исполнит нашего требования, то с ним будет поступлено как с изменником, как с ослушником воли народа!

Фигура Рено вовсе не была так создана, чтобы обращать на него всеобщее внимание, он не мог ею импонировать. Очень небольшого роста, сутуловатый и хотя подвижный, но довольно неловкий в своих движениях, он с первого взгляда производил даже почти ко-

мичное впечатление. Его нос был чересчур длинен, рот как-то странно и нервно кривился; только глаза его и прекрасный открытый лоб скрашивали это неправильное, угловатое лицо и заставляли забывать его некрасивость.

На высокой кафедре он в первую минуту показался очень смешным. При этом еще у него был довольно слабый голос, и, желая говорить громко, так, чтобы слова его слышны были по всем углам залы, он невольно доходил до резких, крикливых нот, что тоже, конечно, не могло способствовать благоприятному впечатлению.

Внешность оратора, звук его голоса, его манера говорить — великое дело, и самые пустые слова, самые неудачные парадоксы, высказанные с кафедры человеком, обладающим красивой и симпатичной наружностью и звучным голосом, часто наэлектризовывают слушателей несравненно сильнее, чем великие истины, глубокие мысли, выкрикнутые некрасивым человеком. Трибуна и кафедра — во всяком случае, та же сцена, и нужно, прежде всего, быть искусным актером, для то-

го чтобы действовать на аудиторию и вызывать ее рукоплескания.

Рено вовсе не думал об этом, но, сам того не замечая, он преображался с каждой минутой. Страстная искренность, с которой говорил он, горячее возмущенное чувство, наполнявшее его, наложили отпечаток на его лицо. Глаза его горели и искрились, вся невзрачная фигура вдруг выросла и приняла выражение смелости и гордой решимости. Он не трепетал перед этой тысячной аудиторией, не ждал ее одобрения, не боялся ее свистков. Он решился принять на себя все последствия смелой речи и говорил, потому что ему уже давно необходимо было высказаться, потому что он верил в истину каждого своего слова.

«Ваше требование, — говорил он, — и воля народа!» — Я понимаю, что вы можете требовать, чего вам угодно; но причем тут воля народа — этого я не понимаю! Докажите мне, что вы уполномочены народом, что вы, действительно, воплощаете в себе выражение его желаний, его воли — и тогда если я буду спорить, то уже с народом, а не с вами... Но дело в том, что народ вовсе никогда не думал

уполномочивать вас и не может уполномочить на тот способ действий, какой вы избрали теперь!..

«Вы давно позабыли о народе, да, вероятно, никогда о нем и не думали, вам он не нужен, вам нужно только его имя как благовидный предлог, как ширма, за которую вы прячетесь, когда вам нечего ответить, нечем оправдать сделанную вами несправедливость! „Воля народа! Такова воля народа!“ — кричите вы и думаете этим зажать всем рты и одурачить. Но ведь вы сами же хорошо понимаете, что только клеветаете на народ и что он хочет вовсе не того, чего вы хотите и добиваетесь!.. Прикрываясь волей нации, вы творите только свою волю!..

Проклиная прежнюю и теперь уже бесильную тиранию, вы создаете тиранию новую, деспотизм неслыханный, которому подобного еще никогда не бывало. Ваша цель — заставить всех следовать за вами, но не в силу убеждений, не в силу правоты вашей, а просто из страха перед вами — вы хотите запугать всех, навести на всех ужас... Позвольте же сказать вам, что правое дело во всяком

случае не нуждается в таких средствах!..

Крича о свободе и равенстве, вы требуете свободы только для себя и для тех, кто поддакивает вам во всем, что бы вы ни говорили и ни делали. Всякого же человека, осмелившегося иметь свое собственное мнение, как бы искренне и как бы даже справедливо оно ни было, вы немедленно же лишаете человеческого достоинства, вы тотчас же хотите закабалить его, превратить в вашего раба — и вы называете это свободой и равенством?! Нет, у вас другой девиз, другое знамя: „трепещи, умирай или думай, как я!“ — вот слова, начертанные на вашем знамени! Вы считаете себя обновителями, спасителями Франции — жестокое заблуждение! — не вы ее спасете, вы можете только удешевить ее беды, только погубить ее!..»

Рено почти задохнулся от волнения. Он замолчал, отер дрожащей рукой холодный пот, выступивший на лбу, и обвел залу сверкающим, негодующим взглядом.

Его слова были так неожиданны, они были произнесены так вдохновенно, с такой силой, наконец, в них было столько правды, неволь-

но сознаваемой каждым из слушателей, что вся зала будто замерла. Все эти люди, для большинства которых не существовало никаких приличий, которых самым любимым их ораторам не удавалось заставить себя выслушивать до конца спокойно и в молчании, теперь сидели будто окаменев, с изумлением и почти со страхом глядя на смелого и вдохновенного Рено.

Но он замолчал — и обаяние его горячей речи исчезло.

Вся зала точно вдруг проснулась. Со всех сторон поднялось волнение.

XXIII. В КЛУБЕ

Заняв место на скамье недалеко от трибуны, Сергей машинально оглядывал залу и скоро стал изумляться, зачем это он пришел сюда. Он чувствовал, что ему нет равно никакого дела до того, что здесь происходит. Он безучастно всматривался в окружавшие его лица, ловил раздававшиеся кругом фразы, и в то же время сердце его безумно ныло, хотелось ему бежать куда-нибудь дальше, все равно куда, только бы как-нибудь скрыться от настигавших и томивших его мучительных мыслей. Но он хорошо знал, что ему идти некуда, что нигде не будет лучше — и впадал в какое-то тихое отчаянье и сидел неподвижно.

Заметя, как Рено стремительно пробирается к трибуне, он изумился, глядя на его взволнованное и озабоченное лицо.

— Ну, чего он, зачем? — подумалось ему. Что он будет говорить такое? Неужели он может интересоваться этим?! Ведь все равно, что бы он ни сказал, он ничем не поможет — глупость и подлость останутся неизменны...

Но едва Рено заговорил, как Сергей вышел

из своего равнодушия.

Если неожиданная, горячая речь Рено произвела сильное впечатление на всех слушателей, то на Сергея она произвела еще сильнейшее впечатление. Внезапно позабыв себя, он всем сердцем отозвался на слова своего воспитателя; он радостно ловил их. Ему так тяжело было лишиться Рено — и вот Рено опять найден, опять вернулся, неизменный, такой же точно, какого Сергей знал, любил и уважал.

Снова пахнуло на него обаяние старых дней, горячих, задушевных разговоров, во время которых Рено воодушевлялся так же, как и теперь, и весь кипел возмущенным чувством, благородным негодованием. Он умел тогда передать это чувство, это негодование воспитаннику, и Сергей сам проникался ими. То же самое случилось и теперь.

Когда Рено замолчал и прошла первая минута,

Сергей прежде всех крикнул ему «браво!» и громко захлопал в ладоши. Такие же крики поднялись и в разных местах залы, но скоро они были заглушены дружным шиканьем

огромного большинства.

Началась всеобщая сумятица. Несколько десятков людей, толкаясь и перескакивая через скамьи, устремились к трибуне, на которой еще виднелась фигура Рено, очевидно, утомленного волнением и растерянного.

Едва наступило мгновение сравнительной тишины, как снова прорывались рукоплескания и тотчас же их заглушали неистовые свистки и шиканье.

Рено пробовал сойти с кафедры, но это оказалось невозможно — толпа обступила его со всех сторон и не пропускала.

— Bravo, гражданин Рено! — раздавалось то там, то здесь.

— Рено, прочь с кафедры! Нам не нужно проповедников! Не нужно изменников! — тотчас же подхватывали десятки голосов.

— Рено, спасибо! — горячо пожимая руки, шептали пробравшиеся к нему друзья и единомышленники. — Пора было давно все это им высказать, к тому же, если эти средства, которые теперь практикуются, были мыслимы в виде ожидавшегося сопротивления и насилием с той стороны, то теперь, когда сопро-

тивления ниоткуда не предвидится, когда все соединяется и возможна дружная и честная работа, такие средства — только подлость и ничего больше!

— Вы правы — это не сторонники и не представители народа, это первые и смертельные враги его!..

Так шептали друзья Рено, но их шепот был слышен только ему одному, не нашлось ни одного человека, который решился бы громко повторить только что им сказанное.

Между тем волнение в зале все усиливалось. Несколько крикунов, не скупившихся давать Рено наименования «изменника» и «отступника», подзадоривали более спокойных. Теперь уже ясно слышались угрозы.

— Кто не с нами, тот против нас! Что он такое толкует о мягких средствах, об убеждениях — не время воспитывать людей, убеждать, уговаривать и упрашивать! Если человек не понимает, тем хуже для него, с дураками какие разговоры... Их бить надо, и будем бить всех, кто станет говорить и действовать против нас!.. Да о чем толковать, чего ждать? Вот уже в нашем клубе появляется измена. Этого

Рено нужно наказать, пусть его пример послужит и для других уроком.

— Да, проучим его хорошенько, авось тогда перестанет храбриться и смущать своей болтовней. Смотрите, не упускайте его из виду!..

Ни Рено, ни Сергей не слышали, однако, этих угроз. Рено, наконец, удалось сойти с кафедры, и он поместился рядом с Сергеем, который в волнении жал его руки.

Они решились уйти из клуба, но пока для этого не представлялось никакой возможности — такая была давка. К тому же на кафедру взошел уже новый оратор, один из растрепанных и разгоряченных молодых людей, на которых Рено раньше еще указывал Сергею.

Появление такого оратора где-нибудь на улице, среди пьяной бессмысленной черни было еще понятно. Чернь могла аплодировать пьяному голосу, дерзкой брани, энергичному жесту. Но в этой обширной монастырской библиотеке собралась все же не чернь, а люди, считавшие себя способными руководить общественным мнением. И странно было видеть, что пьяный оратор, несмотря даже

на волнение, вызванное речью Рено, успел собрать вокруг кафедры достаточное число слушателей, прерывавших его знаками одобрения и восторженным «браво».

А между тем что такое говорил он?! Выкатив глаза, то и дело стуча кулаками о пюпитр, он раздражался одними лишь отрывистыми фразами, в которых заключались только ругательства и ничего больше. Это был какой-то безумный призыв ко всеобщему разрушению, за которым должен был последовать безобразнейший хаос.

Если полупьяная, раздраженная толпа черни, кинувшаяся в Версаль, производила на Сергея впечатление звериного стада, то теперь ему казалось, что он находится в доме умалишенных. И он ясно видел, что умалишенные эти безнадежны, что нет никакой силы, способной заставить их очнуться.

Но помешанных в этой зале было, во всяком случае, несравненно меньше, чем людей, пользующихся их помешательством для достижения ясно поставленных целей.

Недалеко от трибуны, у стены, почти совсем скрытый за книжными шкафами сидел

неподвижно, не обращая на себя ничего внимания, скромно, но прилично одетый человек средних лет. Он был, по-видимому, довольно равнодушным зрителем и слушателем. Когда после речи Рено вся зала волновалась, аплодировала и шикала, он оставался все таким же безучастным и даже почти ни разу не изменил позы. Но взглядевшись в его сухое лицо с резкими чертами и быстрым острым взглядом, легко было догадаться, что это спокойствие и равнодушие — только маска. Спокойный и как будто даже уставший, человек этот не проронил ни одного слова из того, что говорилось, он отлично заметил всех, кто отнесся сочувственно к речи Рено. Теперь он сидел так же неподвижно, время от времени закрывая глаза, и с едва заметной, презрительной усмешкой слушал безумные фразы, раздававшиеся с кафедры.

Вдруг он заметил, что у входной двери, остававшейся запертой во все время заседания, показался новый посетитель. Человек этот не снял своей шляпы, как, впрочем, и большинство находившихся в зале, при этом он был закутан плащом, который скрывал

всю нижнюю часть лица его. Таким образом, различить можно было только его глаза, и он смело мог встретиться со знакомыми с ним людьми и не быть ими узнанным, если бы только захотел этого. Но неподвижно сидевший за книжными шкапами человек, очевидно, все же узнал его. Он с некоторой досадой покачал головой и прошептал:

«Ну зачем он является сюда, да еще в таком виде? Недостает только, чтобы он надел маску и этим еще больше обратил на себя внимание... Хорошо ведь знает, что и без него все будет сделано, так нет, не терпится... Интересно... Порисоваться нужно!.. И он сам себя уверяет, что без него никто ничего не сумеет сделать, что он — все... Ну, да, впрочем, пускай себе забавляется, как придет время, и ему будет указано его настоящее место!..»

Между тем закутанный человек был уже близко. Он, в свою очередь, заметил узнавшего его и, сделав ему легкий знак рукой, стал к нему пробираться. Тот встал, уступив ему свое место, и они заговорили.

Закутанный человек был владелец Пале-Рояля, герцог Филипп Орлеанский, а мол-

чаливый наблюдатель со спокойным лицом и быстрыми глазами — его доверенный, его фактотум Лакло.

Кто не знал близко Лакло, а близко знали его очень немногие, тому и в голову не могло прийти, каким могуществом обладает этот человек, какая сила сосредоточивается в руках его. По-видимому, он играл очень незначительную роль и не обладал качествами, с помощью которых люди пробиваются вперед и занимают видные места. Он держал себя всегда очень скромно, не отличался красноречием и всегда молчал, когда говорили другие. Единственный видимый талант его был красивый почерк, и вот этот-то почерк дал ему первые занятия при герцоге Орлеанском.

Прошло немного времени, и Лакло самым незаметным образом вкрался в доверие герцога и мало-помалу сделался нужным для него человеком, без которого он не мог уже ступить шагу.

Оставаясь все тем же скромным и молчаливым переписчиком, Лакло забрал в руки и герцога и весь Пале-Рояль. Он вставал рано и поздно ложился, весь день был на ногах; мол-

чаливый, постоянно стусывываясь, являлся то там, то здесь, во всех углах Парижа и неустанно работал. Над чем? Над всякой интригой, какова бы ни была она. Интрига была его стихией, и в этом деле он оказывался истинным, даже великим артистом. Он ненавидел всех и все и ко всему роду человеческому относился с величайшим презрением. Способствовать несчастью как можно большего числа людей, вызывать всюду борьбу, сеять раздор, доставлять торжество одному, с тем чтобы вслед за этим и его одурачить, ставить людей то в смешное, то в трагическое положение, а самому оставаться в стороне и любоваться делом рук своих — такова была цель его жизни.

В прежние годы, до революционного движения, он был неизменным пособником Филиппа Орлеанского в разнообразных его любовных похождениях. Но, ценя его услуги и щедро их награждая, герцог не подозревал, что он обязан Лакло далеко не одними удовольствиями, а также и всевозможными неприятностями и часто большими затруднениями, в которых он оказывался. Теперь, в

последние годы, когда властолюбие герцога и все его дурные инстинкты увлекли его в революционную деятельность, Лакло опять оказался его ближайшим пособником. Но и тут он работал вовсе не ради выгод своего доверителя — он готовил ему неизбежную гибель и, между прочим, вел его к быстрому разорению. В его руках оказались все денежные средства Филиппа Орлеанского, и, уже не говоря о том, что Лакло прежде всего обогащал себя самого, он расточал деньги герцога часто именно тем людям, которые были и оставались его врагами. Одну только услугу оказал Лакло своему герцогу: скрываясь за ним и выставляя его имя во главе целого ряда хитро-сплетенных интриг и всевозможных махинаций, он поставил его на некий пьедестал, и образ Филиппа «Egalite» долгое время являлся окруженным каким-то мрачным и таинственным ореолом, ореолом злого гения Франции в революционную эпоху. Но туман все больше и больше рассеивался, и «Egalite» начинает представляться довольно жалкой фигурой легкомысленного и одураченного честолюбца, заплатившего дорогой ценою, це-

ною тревожной, лихорадочно мучительной жизни и позорной смерти за свои пороки и легкомыслие. Из-за выставленной напоказ статуи ясно выглядывают живые люди, приводившие ее в движение, и на первом месте между ними является Лакло, которому бесспорно должна принадлежать печальная известность одного из самых деятельных и способных воротил французской революции...

— Что за шум такой сегодня? — вполголоса спрашивал герцог Орлеанский, усаживаясь и картинно драпируясь своим плащом, — я вообще замечаю, что здешние собрания становятся все более и более шумными. Сначала все было так согласно... Неужели являются серьезные разногласия?

— Никаких разногласий нет и быть не может, ваше королевское высочество, — отвечал Лакло, — все как нельзя лучше: наши агенты вербуют достаточное количество подходящих людей, наши денежные средства дают нам возможность раскинуть якобинскую сеть по всей Франции, и недалеко то время, когда вся рыба попадет в наши руки. А шум... это хорошо, видите ли, один из прежних членов, Рено,

вздумал читать мораль и объявлять действия наших произволом и насилием... Ну вот и поднялся крик!..

— И что же, у этого Рено много оказалось сторонников? — озабоченно спросил Орлеанский.

— Почти никого, но все же я некоторых отметил и готов принести гражданину Рено мою сердечную благодарность. Поистине мы ему очень обязаны; если б он молчал, ему, пожалуй, бы дали какое-нибудь поручение, отправили бы в провинцию, и там он, хоть и не особенно, конечно, но все же мог бы повредить делу. Теперь же никакой ошибки быть не может.

— Но мне помнится, этот Рено имел некоторое влияние, он хорошо говорит, а главное, он много знает и может, пожалуй, повредить делу — подумали ли вы об этом, Лакло?

— Насчет этого не беспокойтесь — немедленно же будут сделаны необходимые распоряжения, и как он, так и все те, кто показал сочувствие словам его, окажутся запертыми. Я поручу надежным людям следить за каждым их шагом, и в случае чего, пусть уж себя

винят, мы так или иначе обрежем им когти.

— Да, конечно, — раздумчиво проговорил Орлеанский, — с такими людьми нечего церемониться, только все же нужно действовать осторожнее в подобных случаях. Знаете ли, Лакло, что в Париже уже начинают поговаривать об исчезающих людях? Не далее еще как сегодня я слышал подобную историю о каком-то Дешане, который будто бы исчез при очень странных обстоятельствах... Я прежде никогда не слышал этого имени. Не знаете ли вы чего об этом деле?

— Немного знаю, — спокойно, с легкой улыбкой проговорил Лакло. — Дешан был опаснее Рено, и от него необходимо было как можно скорее избавиться... Впрочем, это самая обыкновенная история, в которой нет ровно ничего таинственного: он, кажется, встретился поздно ночью за городом, на берегу Сены, с каким-то человеком, с которым крупно поспорил. Кончилось дракой. Дешан ведь мог сам поколотить этого человека: но, оказалось, что он был хоть и ловкий парень, а тут-то сплоховал — и выкупался в Сене с камнем на шее... Вольно же гулять поздно но-

чью...

— Однако ведь я чуть было его не выпустил, — оживленно прибавил он, заметив, что Рено, в сопровождении Сергея, быстро пробирается к выходу из залы.

Лакло в свою очередь, оставив герцога, устремился по тому же направлению и, подойдя к одному, а потом к другому из своих агентов, шепнул им, чтобы они следили за Рено.

— Не выпускайте из виду также и спутника, вот этого красивого молодого человека, — сказал он. — Я не знаю, кто он, я вижу его в первый раз — он никогда прежде здесь не бывал. Узнайте о нем все подробнее и завтра же мне сообщите.

Распорядившись таким образом, Лакло спокойно вернулся на свое прежнее место.

Рено с Сергеем быстро выходили из якобинского монастыря. Был уже глухой час ночи, и хотя фонари, расставленные довольно редко в этой части города, горели тускло, но взошедшая полная луна обливала все предметы ярким светом.

— До свиданья, мой друг, — сказал Рено,

крепко сжимая руку Сергею, — не унывайте, не падайте духом. Теперь уже поздно, поспешите домой — маленькая фея, верно, не спит и дожидается вас, и тревожится. Завтра утром я буду у вас непременно... и, не знаю, об этом нужно хорошенько подумать... быть может, я так устрою со своими делами, что совсем, по старому, переселюсь к вам. Я и теперь бы отправился вместе с вами, да никак нельзя — хоть и поздно, но мне необходимо видеть одного человека.

— Так смотрите же, завтра я жду вас! — проговорил Сергей, но таким странным, глухим голосом, что Рено тревожно всмотрелся в лицо его.

Они расстались. Каждый пошел своей дорогой, и ни тот, ни другой не заметили, что следом за каждым из них, в нескольких шагах, прячась в тени, движется по темной фигуре.

XXIV. ВЫЗОВ

Расставшись с Рено, Сергей направился домой. Временное оживление, которое он испытал было в якобинском клубе, теперь исчезло. Он вдруг позабыл все, что видел сейчас и слышал, позабыл Рено и снова стал думать о своей герцогине, и снова тоска и отчаянье наполнили его.

«Рено говорит, что вся жизнь впереди, что время все излечит! Он видит даже благополучие для меня в моем несчастье... Да ведь так всегда успокаивают люди, но разве когда-нибудь этим можно успокоить? Пусть вся жизнь впереди, пусть излечит время, да ведь сегодня-то, сейчас... все это не сон, все это наяву случилось!.. Ведь это она говорила, ведь это она так невыносимо глядела на меня!.. Она ждала итальянца и, может быть, теперь он с нею!..»

При этой мысли вся кровь бросилась в голову Сергея. Он остановился, огляделся во все стороны, все же не замечая следовавшего за ним человека, который, увидя его движение, тоже остановился и притаился в тени у

крыльца высокого дома.

«Домой, теперь домой идти?! — подумал Сергей, — разве это возможно?.. Что я там буду делать?!»

Он сообразил дорогу и быстрым шагом направился к отелю д'Ориньи. Темная фигура последовала за ним, не приближаясь, но и не отставая.

Во все время довольно долгого пути до Сен-Жерменского предместья Сергей находился в состоянии, близком к помешательству. Он уже бессильно поддавался охватившему его чувству жгучей ревности. Ему так невыносимо было сознание, что герцогиня его уже не любит, что она ему изменила, ему было так страшно признать ее совсем не такой, какою она ему до сих пор представлялась, — он невольно ухватился за итальянца и на него одного взвалил вину случившегося, и его одного ненавидел.

Теперь он должен был добыть его во что бы то ни стало, сорвать с него маску и уничтожить его или быть им уничтоженным. Это был единственный выход из того невыносимого состояния, в котором он находился.

И он спешил к отелю герцогини в тяжелом предчувствии, говорившем ему, что там, у этих знакомых стен, он будет ближе к этому ненавистному итальянцу, чем где-либо.

Вот и отель д'Ориньи. На улице ни звука, ни души. Луна освещает громады мрачных и величественных зданий. Сергей внимательно оглядел весь фасад, все окна, но ничего подозрительного не мог заметить, нигде не было видно света — казалось, все спят в отеле.

— Он здесь, он здесь!.. — чуть громко не крикнул Сергей. — Я чувствую, что он здесь!..

Но ему не хотелось идти к привратнику и стараться у него выведать, был ли кто-нибудь после него у герцогини. Конечно, этот привратник должен все знать, мимо него невозможно проникнуть в отель. Привратник — хитрый, жадный старик. Сергей немало переплатил ему денег и своей щедростью, по-видимому, заслужил его расположение — он, конечно, от него ничего не скроет.

Было даже мгновение, когда Сергей уже направился к воротам, но тотчас же и отошел — ему стало неловко, стыдно, невыносимо.

— Все же я не уйду отсюда, — безумно шептал он, — и ведь в таком случае он меня, наверное, увидит — так светло...

Однако привратник, вероятно, только хвастался ревностным исполнением своей должности, он преспокойно спал в каморке у ворот во дворе, и Сергей мог быть на этот счет спокоен.

— Но ведь я могу войти в отель, привратник меня впустит, а там я знаю все ходы — мне никого не нужно... я могу легко проникнуть до галереи, до комнат Мари... и если только...

Ему представилась возможность застигнуть итальянца в самом отеле и уничтожить его без всяких рассуждений.

Но, по счастью, он недолго останавливался на этой мысли, в нем заговорило чувство оскорбленного достоинства.

— Я не переступлю больше порога этого дома, если не смогу убедиться, что его здесь нет.

Ни над чем больше не задумываясь, он остановился на противоположной стороне улицы, против отеля, увидел широкие ступени крыльца и, поднявшись по этим ступеням,

сел на камни, не замечая сырости и холода. Здесь он был в тени, и весь отель д'Ориньи, освещенный луной, был перед ним как на ладони. Если кто-нибудь выйдет оттуда, то, откуда бы он ни вышел, Сергей тотчас же заметит.

И сидя на холодных каменных ступенях старинного широкого крыльца, Сергей весь превратился в слух и зрение, боясь пропустить малейший шорох.

Но так как все его внимание было сосредоточено на отеле д'Ориньи, то он и не мог заметить, что всякое движение его повторяется, будто в зеркале, другим человеком... Теперь этот человек, точно так же как и он, сидел на ступенях крыльца одного из соседних домов, и, не спуская глаз, глядел на Сергея.

— Тут что-то странное! — думал он. — Ну что ему здесь надо и неужто он проторчит так всю ночь? Ведь так, пожалуй, он меня совсем заморозит! Да делать-то нечего, если уж взялся выследить, то и выслежу наверное!

Прошло около часа, а Сергей все сидел неподвижно. И так же неподвижно сидел следящий за ним человек, положение которого в

настоящем случае было, пожалуй, еще хуже, чем положение Сергея. Тот, в своем волнении, по крайней мере, не замечал ни времени, ни холода, а этот оставался спокойным, считал каждую минуту, продрог совершенно и проклинал Сергея на чем свет стоит.

— Ну, уж, любезнейший, удружу же я тебе за это — будешь другой раз людей морозить! — думал он, начиная серьезно ненавидеть Сергея и искренне считать его причиной своих страданий.

Однако именно в ту минуту, когда терпение его начинало окончательно истощаться, небольшая калитка у отеля д'Ориньи приотворилась и пропустила мужскую фигуру. Сергей внимательно всмотрелся и чуть не крикнул от муки, бешенства и отчаянья. Никаких сомнений не оставалось — это был он, итальянец, граф Монтелупо. Он выходил из отеля в поздний час ночи, почти под утро!..

— Я знал, что он там... Я знал! — стуча зубами, подумал Сергей.

Но нет, видно, несмотря на всю свою уверенность, у него оставалась надежда, он все же считал возможным обмануться, потому

что теперь появление Монтелупо поразило его как громовой удар, и он несколько мгновений не мог собраться с силами.

Наконец он очнулся, тихо сошел с крыльца и направился следом за Монтелупо.

И опять его движение было в точности повторено следившим за ним человеком, лицо которого выражало теперь большое изумление.

Три фигуры, в некотором расстоянии друг от друга, двигались по улице Сен-Жерменского предместья. Монтелупо шел бодро и даже начал насвистывать какую-то песню, не ожидая ничего для себя неприятного и не рассчитывая ни на какую встречу.

А между тем Сергей был уже в нескольких шагах от него.

— Убить его? — бешено думал он. — Он стоит того, чтобы его убить как собаку!

Но, несмотря на все свое бешенство и отчаянье, Сергей, конечно, не был способен привести в исполнение подобную угрозу. Он решил не выпустить этого ненавистного ему человека, но прежде всего необходимо было сорвать с него маску, убедиться, что Сильвия

не ошиблась, что он действительно тот самый негодяй и шулер, которого он знал в Боннье. Сергей нашел в себе силу сдержать свои чувства, и, подойдя близко к итальянцу, он почти спокойным голосом крикнул:

— Синьор Бринчини!

Этот возглас был до такой степени неожиданный, что тот мгновенно остановился и, обернувшись, с изумлением воскликнул:

— А? Что такое? Кто зовет меня?

Но это было только одно мгновение. Луна все еще светила, и он узнал Сергея.

— Что вам угодно, милостивый государь? — спросил он, быстро оправляясь от своего смущения, — и зачем обратились вы ко мне, называя меня не моим именем? Если не ошибаюсь, я имел удовольствие встретиться с вами в салоне герцогини д'Ориньи, и нас познакомили. Меня зовут граф Монтелупо.

— Вас зовут Бринчини, — глухим голосом перебил его Сергей, — и вы сами признались в этом, спросив кто вас окликнул. Но если бы вы и не отозвались на действительное ваше имя, это было бы решительно все равно — как видите, я вас знаю, и предо мною вам

нечего играть комедию.

Итальянец опять смутился, но полумрак все же скрывал яркую краску, выступившую на его лице, и к тому же он, очевидно, привык уже к разным неприятным приключениям и не терял присутствия духа.

— Вы меня не знаете, — становясь перед Сергеем в вызывающую позу сказал он, — конечно, вы принимаете меня за другого, и я буду просить вас скорее объясниться.

— Я принимаю вас именно за того, кто вы есть! — уже теряя всякое спокойствие, крикнул Сергей. — Вы Бринчини из Болоньи!!

— Повторяю: вы обмануты каким-нибудь ложным свидетелем. Но слова ваши, во всяком случае, крайне оскорбительны, и я вовсе не намерен пропустить их мимо ушей.

— Да это было бы для вас довольно трудно. Я повторяю вам, что знаю вас — вы самозванец и шарлатан... Слышите ли? Вы употребляете самые низкие способы, чтобы одурачить людей и втереться в такое общество, которое может быть вам полезно. Вы обманываете легкомысленных женщин и старых дураков, но напрасно вы думаете, что не найдете

людей, которые легко поймут ваше шарлатанство и ваш наглый обман...

По мере того как Сергей все больше и больше терял власть над собой, итальянец, наоборот, делался все смелее и смелее. При последних словах Сергея он уже стал улыбаться и самым вызывающим тоном проговорил:

— Ах, теперь я вас понимаю, вы придираетесь ко мне и оскорбляете меня из зависти к моим успехам в том обществе, в котором, вероятно, до моего появления вас лучше принимали. Ну что ж, это очень понятно, молодой человек, и, делать нечего, мне придется переговорить с вами... Я бы с большим удовольствием исполнил это теперь же, не сходя с места, но только видите — при мне нет оружия. Приходится пожалеть о старой моде, при которой человеку дана была возможность когда угодно отвечать на оскорбления. К тому же, вероятно, вы пожелаете обставить поединок всякой торжественностью, секундантами...

— Да, я буду драться с вами! — задыхаясь проговорил Сергей. — Вот мой адрес, и завтра я пришлю вам моего секунданта. Я вам делаю эту честь, хотя вы ее не стоите...

— Вы бы хорошо сделали, милостивый государь, если бы удержались от дальнейших оскорблений, — внушительно перебил его итальянец. — Вы должны знать, что раз поединок решен, противники обязаны вежливо относиться один к другому. Я, как видите, не отступаю от этого правила... Вот мой адрес, я до полудня буду ждать вашего секунданта.

Он учтиво поклонился, и так как они находились на перекрестке двух улиц, повернул в одну из них и пошел скорым шагом.

Сергей оставался совсем измученный, растерянный и обессиленный. Он горячо желал такого исхода, желал или убить этого человека, или быть убитым. Но в то же время ко всем его терзаниям примешивалось еще какое-то противное чувство неловкости, большого недовольства самим собою. Только, конечно, он не стал отдавать себе отчета в этом чувстве и, увидев проезжавшую извозчицью коляску, сел в нее и поехал к церкви Магдалины.

Положение якобинского агента, следившего за ним до последней минуты, по-видимому, становилось теперь затруднительным —

он поневоле должен был потерять его из виду, так как другого экипажа на улице не оказалось. Но агент нисколько не смутился, он оставил Сергея в покое и устремился вслед за итальянцем. Догнав его, он без церемонии хлопнул его по плечу и назвал именем Бринчини.

Итальянец оглянулся, всмотрелся и совсем успокоился.

— А, это вы, Ранси? — сказал он. — Каким образом вы сюда попали?

— А вот по поручению наших, выслеживаю того молодчика, с которым вы сейчас говорили. Право, я очень рад, что попал на вас. Он чуть меня не заморозил, так, видно, судьба, наконец, сжалилась надо мною... Ну, что если бы не вы? Надеюсь, вы его хорошо знаете и можете сообщить о нем достаточно сведений, и если мне не хотите рассказать, так все равно, сами наведайтесь к гражданину Лакло — он будет вам очень благодарен за доставленные вами подробности...

— Так он нашим нужен! — проговорил итальянец. — Я знаю его очень мало, но все, что о нем знаю, вы сейчас узнаете — мне во-

все нет необходимости от вас скрывать. Это богач, русский князь, которого я встретил в том доме, откуда теперь иду.

— Чей же это дом?

— Помилуйте, вы еще спрашиваете! — весь Париж знает, что это отель герцога д'Ориньи.

— Так вы теперь от герцога?

— Нет, не от герцога — я с ним еще не знаком, а от герцогини, — хвастливо ответил итальянец.

— Вот как! Впрочем, я ведь и позабыл, что вы теперь с разными герцогинями и маркизами дела обделываете... Молодец!.. Ну, да большому кораблю большое и плавание — нам за вами не угнаться... Так как же насчет молодчика?

— А насчет молодчика, это завтра решено будет... Если вы следили за ним, то должны были слышать разговор наш...

— То-то и есть, что не расслышал: близко подойти я боялся — я мог помешать вам.

— Я завтра буду с ним драться и, если желаете, можете быть моим секундантом.

— Дуэль! — проговорил Ранси, — еще бы!

Ну, совсем вы, значит, в аристократы записались!.. Что ж, пожалуй, буду вашим секундантом, только не знаю вот, как это нашим понравится. Ведь Лакло нужно пока только узнать о нем, а если он иностранец, да еще и богач в придачу, так он, пожалуй, мог бы и пригодиться, сами знаете — от иностранцев, от этих богатых дураков, немало денег нам перепадает...

— Нет, это вряд ли... Не из таких, кажется... От него не наживешься. Мои маркизы и герцогини в этом отношении гораздо полезнее, а секунданта, такого как вы, мне очень надо... Ведь кто его знает, как он справляется со шпагой?! Не пропадать же в самом деле из-за него! Если б можно было это устроить здесь, на улице, с глазу на глаз, тогда мне не нужно было бы никакого свидетеля, а завтра... Вы ловкий человек, Ранси, и сами понимаете, может ведь и я пригожусь вам!.. Так уж потрудитесь занять его секунданта, чтобы он не путался, да не очень пристально следил за мною. И не бойтесь взять грех на душу, я все не намерен убивать его — хорошая царапина, в другой раз будет осмотрительнее, а

там... если он может вам на что-нибудь пригодиться, тем лучше.

— В таком случае я охотно соглашаюсь, — сказал Ранси, — а так как теперь уже поздно, то не позволите ли мне пойти с вами... До дому-то еще очень далеко, а у вас, верно, найдется местечко, где бы я мог прикорнуть. Тогда, как бы рано он ни прислал к вам своего секунданта, я буду к вашим услугам.

— Прекрасно, любезный друг, идемте!

Итальянец пожал ему руку, и они скрылись во мгле пустой улицы.

XXV. ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ

Сергей вернулся домой на себя не похожий, Си Моська, который с тоской и волнением дожидался его, взглянув на него, не мог даже и слова вымолвить. Он провел его в спальню и суетился, помогая ему раздеваться. Сергей как бы совсем даже не замечал его присутствия, но в то же время казался ему как-то особенно кротким и жалким.

Наконец, Моська не выдержал.

— Батюшка, — сказал он, — али беда какая случилась — на тебе лица нету!.. Не томи, ро-

димый, силушки не хватает глядеть на тебя, такого!

Услышав этот ласковый, знакомый голос, Сергей как бы очнулся, но ему уже не надо было теперь Моськи, ему никого не было нужно.

— Не спрашивай, Степаныч, — если есть горе, то ему ты не поможешь! Устал я очень, потуши свечи и уходи.

— Да как я тебя оставлю?! Болен ты, что ли? — так скажи, не таись!

— Говорю тебе, что устал, — досадливо перебил его Сергей, — я здоров и ничего не случилось... Ну, и оставь меня — дай заснуть!

Но у Моськи слишком накипело сердце за весь этот вечер, за всю эту ночь.

— Да убей ты меня, — завизжал он, — право, лучше будет, вот возьми и убей — и вся недолга. — А такого видеть я, воля твоя, не могу! Ну, где это ты, сударь мой, был, где пропал? Ведь пойми ты, Сергей Борисыч, не я тебя спрашиваю, я-то, коли сам мне ты не скажешь, спросить тебя не посмею. Так тут не я — а княжна Татьяна Владимировна, с нею-то ты что делаешь?! Ведь ты вот ушел — и нет

тебя, а я-то, чай, тут остался и нагляделся на нее, сердечную... Хорошо так, что ли? Хоть бы сказался!..

Недоставало еще этого! Конечно, Моське трудно было понять душевное состояние Сергея, иначе он не стал бы говорить с ним теперь в таком тоне.

— Моська, убирайся вон! — вдруг раздражительно крикнул Сергей. — Давно ли я не имею право сделать шагу?

— А! Коли так, то, конечно, уберусь! — проворчал карлик и с глубоким вздохом вышел из комнаты.

Сергей бросился на кровать. Его мысли путались, усталость, слабость какая-то охватила его, и он вдруг заснул тяжелым сном, во время которого ему грезились самые невероятные, самые ужасные сновидения.

Но он все же спал и этим сном хоть несколько освежил свои потрясенные силы. Уснул и карлик, всплакнув и помолясь Богу. Не спала одна Таня. Заметив, что Сергей скрылся из дому и долго не возвращается, и видя при этом смущение и озабоченное выражение в лице Моськи, она поняла в чем дело.

Проходили часы — Сергей не возвращался, ждать его не оставалось никакой возможности, она и так уже поджидала его далеко за полночь. Она прошла к себе в спальню, разделась, легла и стала думать.

«Конечно, он там... С той!.. Напрасно уверял Степаныч, что с моим приездом все это будет кончено!.. Да и как я могла поддаваться словам его?! Я должна была знать, что в таком деле возврата нет... Зачем были эти дни? Что я здесь делаю? Как смею оставаться в его доме?! Ведь теперь он имеет полное право презирать меня; он достаточно показал мне, что между нами все кончено... Он знает, что я все поняла — и вот я осталась у него, стесняю его, ради приличий он должен оказывать мне внимание... А сам между тем рвется туда, к той женщине, которую любит! И вот вырвался! Не сказался, не простился, исчез тихомолком!.. А я все здесь!.. Пора же, наконец, кончать с этим; нельзя ждать ни дня, ни часу... Завтра же утром, а он пусть будет счастлив!..»

Она тихонько заплакала.

«Милый, милый!» — шептала она, вспоминая прежнее время, те дни, когда она жила

уверенностью в любви его и знала, что он будет принадлежать ей на всю жизнь.

«Милый, милый!» Она не винила его, она все ему прощала точно так же, как и он не винил и прощал герцогиню. Но все же в их чувствах была большая разница. Сергей, вспоминая свою любовь с Мари, доходил до безумия, он забывал все и неудержимо, страстно желал только снова ее ласки, обладания ею. Таня плакала и тосковала, вспоминая «милого»; но, если бы он сейчас явился перед нею, она твердо сказала бы ему, что между ними все кончено, что прошлое не вернется, что ей нужна только прежняя любовь его, которую он дать ей уже не может. Малейшая же ласка его была бы для нее теперь оскорблением; окончательно убедясь в его любви к другой, она могла только думать о том, чтобы скорее бежать дальше и оставить его на свободе.

Эта разница в их чувствах была понятна — в Сергее говорила страсть, переживавшая свою знойную пору, говорила уже изведенная жажда блаженства и муки, влекшая его к соблазнительной женщине; Таня не знала еще ничего подобного: она горячо любила Сергея,

но все же мечтательной, девической любовью, и потому-то, несмотря на всю горечь тяжелого сознания, на тоску и чувство обиды, могла рассуждать и принимать твердые решения.

И она решила во что бы то ни стало завтра же выехать если не из Парижа, то, по крайней мере, из дома Сергея. Ей предстояло мучительное и горькое объяснение с матерью; но она не думала об этом объяснении — она хоронила свои девичьи грезы и обливала их горячими слезами.

Наконец наступило утро — такое печальное и бледное. Таня измученная бессонной ночью, забылась легким сном и не знала, что в это время под одной кровлей с нею был человек, который искренне любил ее и страстно желал ее видеть. Рено исполнил обещание, данное Сергею, и спозаранку постучался в двери его спальни.

Сергей отпер ему уже одетый и, по-видимому, готовый выйти из дому.

Рено взглянул на него — при свете дня его изможденное, бледное лицо производило еще более тяжелое впечатление.

— Как это хорошо, что вы пришли так рано, мой друг, — проговорил Сергей глухим голосом, — еще несколько минут — и вы бы меня не застали... А вы мне нужны теперь более, чем когда-либо!.. Вы не сказали мне, где живете, и я не мог рассчитывать, что найду вас... Рено, с тех пор как мы с вами расстались, ночью сегодня, случилось новое обстоятельство, при котором вы можете очень помочь мне.

— Что такое, Serge'y? Говорите скорее!..

— У меня сегодня поединок... До полудня мой противник ждет моего секунданта, а теперь уже восемь часов. Как только я решил драться, я подумал о вас; я знаю, уверен, что вы мне не откажете; но я не знал, наверное, придете ли вы, когда придете, боялся, что какое-нибудь дело, какая-нибудь случайность задержат вас. И вот, чтобы не пропустить времени, решил обратиться к одному моему знакомому молодому человеку, на внимание и благородство которого я могу рассчитывать. Я собрался теперь к нему, а вам хотел оставить вот эту записку. Но вы здесь — и это лучшее, что могло случиться... Ведь да? Ведь правда? Вы не откажете мне, будете моим се-

кундантом?!

Рено стоял грустный и серьезный. Известие, сообщенное Сергеем, произвело на него самое тяжелое впечатление.

«Еще этого не доставало! — думал он, — дуэль... Он будет убит, пожалуй! Наверное, это из-за той, из-за его герцогини... И, конечно, предотвратить эту дуэль вряд ли возможно, с ним, по крайней мере, об этом нечего и заговаривать!.. Все дело теперь в том, какой человек его противник — может быть, с той стороны можно будет что-нибудь сделать...»

— С кем же вы деретесь? — спросил он.

— С человеком, которого ненавижу всеми силами! — мрачно проговорил Сергей и в волнении стал ходить по комнате, вдруг даже совсем забыв о присутствии Рено и только прислушиваясь к буре, клокотавшей в его сердце.

Рено выждал несколько мгновений.

— Однако, ведь это не ответ, Serge! Я уверен, что вы не можете любить вашего противника и должны его ненавидеть теперь, за несколько часов перед поединком, но мне нужно знать его имя.

— Его имя?! — рассеянно отозвался Сер-

гей. — Он называет себя графом Монтелупо.

— Я никогда не слыхал о нем.

— Немудрено, потому что никакого графа Монтелупо и нет на свете — это подложное имя, а в действительности этого человека зовут Бринчини.

— Что такое? Как вы сказали? Бринчини, итальянец Бринчини?.. Красивый брюнет средних лет? И он выдает себя за графа Монтелупо... И вы наверное знаете, что его зовут Бринчини?!

— Да, потому что он сам отозвался на это имя.

Рено оживился.

— Serge, пожалуйста, опишите мне его подробнее... Расскажите, где и как вы с ним встретились...

Сергей исполнил его желание.

— Да, теперь я почти не сомневаюсь, что это он! — проговорил Рено. — Теперь многое становится ясным.

— Так и вы его знаете — тем лучше... Вот его адрес, не будем терять ни минуты, мой экипаж уже готов — поедете, я подожду вас в карете... Вы только назначите ему удобное

место в Булонском лесу и попросите его не запоздать, а мы поедем туда прямо...

— Пойдите, Serge, времени довольно — все успеем еще сделать, вы позвольте прежде всего сказать вам, что этот граф Монтелупо, этот шарлатан, обдeldывающий свои дела в великосветских салонах и ухаживающий за герцогинями и маркизами, в то же время член якобинского клуба.

— Право?! — изумленно воскликнул Сергей. — В таком случае мы уличаем его еще в новом шарлатанстве!

— Да, это ловкий мальчик, — перебил Рено, — он мне сразу показался подозрительным, и я теперь ясно вижу, что он шпион. Ему, наверное, поручено выведать в придворном кругу все, что только можно, и ваши дамы не только позволяли себя одурачить, но и впустили к себе опасного врага.

— Это ужасно, Рено! Но как мне ни отвратительно пачкать руки об эту гадину, я все же не раскаиваюсь, что вызвал его, — его нужно уничтожить!

Рено печально улыбнулся.

— Прежде всего, — сказал он, — вы долж-

ны мне доказать, что не утратили своей ловкости. Где ваши рапиры?

— Благодарю, мой друг, что напомнили, — живо ответил ему Сергей, — как это я сам об этом не подумал? Пойдемте, я сейчас достану рапиры... Вот здесь нам будет удобно.

Рено превосходно владел шпагой, хотя это и было трудно представить себе, глядя на его угловатую фигуру. Он передал Сергею свое искусство в совершенстве, и в течение нескольких лет рапиры были их любимым занятием. Под конец ученик превзошел учителя. Но вот уже более двух лет как поединки их окончились, и Сергей не брал шпагу в руки.

Они надели маски и встали друг перед другом.

Рено скоро убедился, что Сергей так же ловок и изворотлив, как прежде.

— Прекрасно, — сказал он, — теперь все дело в твердости и хладнокровии, и я уверен, что в нужные минуты они вас не покинут. Только помните, что с подобными людьми нужно быть очень осторожным; конечно, я буду, не спуская глаз, следить за вами и при малейшем отступлении от правил вмешиваюсь

в дело... Ну, насколько возможно, вы меня успокоили, теперь едем — я посмотрю как-то встретит меня тот самозванный граф — наверное, уж он не ожидает, что я явлюсь вашим секундантом...

Рено совсем оживился. Он говорил бодро, почти даже весело. Но вся эта бодрость, веселость были, конечно, только напускными. Он понимал, что в настоящих обстоятельствах, самое важное — поддержать Сергея, не дать ему упасть духом, возбуждать его насколько возможно. Но, начиная разыгрывать роль деятельного и бодрого секунданта, Рено в глубине своего сердца был далеко не спокоен.

«Что такое искусство и ловкость, когда все дело в случае, в мгновении, в едва заметном повороте, в невольном движении руки, и так далее!.. И при этом еще противник, на честность которого нельзя положиться!» Рено и так уже в последнее время видел все в черном цвете. Ему просто начинало казаться, что ничего хорошего, счастливого и быть не может. Вот и теперь, неотвязно, как предчувствие какое-то, которому он не хотел поддаться, которое старался отогнать — и не мог, у

него явилась мысль, что сегодняшней день должен плохо кончиться.

«Что это такое будет? Что с княжной? La petite fee... Она, верно, спит еще и не подозревает ничего!.. Хоть бы взглянуть на нее! Но нет, теперь уже пора, нечего мешкать».

— Едем, едем, мой друг! — крикнул он.

Они поспешно вышли из спальни.

Но только что шаги их успели замолкнуть в соседней комнате, как тяжелая портьера шевельнулась, и на пороге спальни показалась фигурка карлика. Проснувшись и выйдя из своей кельи, он узнал о том, что в доме Рено и что он прошел прямо к Сергею Борисычу.

— Когда же он? Давно ли? Зачем же мне сейчас не сказали? — взволнованно спрашивал карлик.

— Недавно, всего несколько минут будет как пригнел, — отвечали ему.

Он успокоился и поспешил по направлению к спальне барина.

Но его подгоняла не радость свидания с французом, он готов был Бог знает что дать, чтобы только никогда с ним не встречаться, он спешил в известный ему уголок, откуда

можно было слышать каждое слово, произносившееся в спальне.

«Ну, теперь авось узнаю в чем дело, — думал Моська, — ох, боюсь, неладно что-нибудь и нежданное стряслось над ним! Тут уж не одна эта ведьма, тут, пожалуй, что-нибудь другое — недаром трещотка поганая, Реношка, затесался, опять объявился... Видно, и он тут руку прикладывает».

Карлик добился своего, он не проронил почти ни одного слова из разговора Сергея с Рено и все понял. Выйти из своей засады и явиться перед Сергеем он не посмел. Он верно сообразил, что помешать ничему не может, что только раздражит Сергея и ничего больше. Он пришел в отчаянье и ужас, зубы его стучали, ножонки тряслись. Выйдя из-за портьеры, он подбежал к окну, вскарабкался на него и стал глядеть на улицу. Вот к крыльцу подъехала карета, Сергей и Рено сели в нее, дверцы захлопнулись, лошади тронулись, еще несколько мгновений — и карета мелькает уже далеко, и ее не воротишь.

— Да разве это возможно?! — отчаянно крикнул карлик, — Господи Боже мой! Да

ведь это что же такое?! Дитя будет драться не на живот, а на смерть?! Дитя искалечат, убьют, пожалуй! Да как же это?! Да чего же начальство-то смотрит — али в этом басурманском городе убивать людей можно без запрета?!

Почти всегда благоразумный и рассудительный, Моська теперь совсем потерял голову. Возможность искалечения и смерти Сергея Борисыча представились ему с такой ясностью, что он чувствовал один ужас и ничего более.

Как теперь быть, что делать — он не знал. Бежать, звать на помощь... Надо вовремя остановить их! Но куда бежать? Кого звать? — Кто это скажет?

И он как сумасшедший побежал на половину дома, занятую княгиней и Таней.

Княгиня была еще не одета и не выходила, но Таня уже вышла в гостиную совсем готовая. Она хотела именно велеть позвать Моську и через него передать Сергею, что ей необходимо переговорить с ним и что она ждет его в гостиной. Она решилась просить его сегодня же отыскать им приличное помещение

до их отъезда из Парижа. Видя испуганное, заплаканное лицо Моськи, она остановилась, растерянная, и едва успела выговорить:

— Что такое?

— Ах, матушка Татьяна Владимировна, беда пришла, беда! — запищал карлик, — Сергей-то Борисыч!..

Таня вскрикнула и пошатнулась.

— Что с ним? Что? Где он? Боже мой, как ты смотришь! Ведь он жив?! Ведь он не умер?!

— Да говори же скорее!

— Жив еще, матушка, да что в том проку-то, когда может через час, через два в живых не будет. Сейчас уехал с французом... С Рено... Драться, вишь, будут на шпагах, на смерть...

Таня ничего не понимала.

— Как драться? С Рено драться? Разве они поссорились?.. Да нет, этого быть не может! Рено не станет с ним драться!..

— Матушка, да не Рено, Рено-то с ним только вместе поехал, а драться Сергей Борисыч с другим будет, с итальянцем, слышь ты, каким-то... Как, бишь, они его называли... Шар-

Та... ном...

— Где же дуэль будет? — хватаясь за голову, проговорила Таня.

— В Булонском лесу.

— Ты знаешь, где он?..

— Еще бы не знать... Я, матушка, тут все знаю.

— Ну так, Степаныч, слушай — беги скорее, как можно скорее за экипажем, останови первую наемную карету — у вас тут долго будут закладывать — а я вслед за тобою... По-едем... Вези ты меня в Булонский лес... Только скорее, голубчик, ради Бота, скорее!..

— Ладно, золотая, ладно... Вот это так... Я мигом... Выходи на крыльцо — карета уже будет.

Он исчез. Таня поспешно оделась и, не успев даже сказать матери, пробежала длинный ряд комнат и спустилась с широкой лестницы на подъезд.

Моська уже дожидался ее с каретой.

XXVI. К ЛУЧШЕМУ

Свежее ясное утро стояло над Булонским лесом. Деревья были еще голы, но уже кое-где показывались первые признаки приближавшейся весны. Местами из черной, сырой земли, покрытой сгнившей прошлогодней листвой, робко выглядывала свежая, бледно-зеленая трава. По временам в вышине древесных веток слышалось птичье щебетанье. Кругом все было тихо и пустынно — Булонский лес, и в то время любимый парижским людом, все же был совсем не то, что теперь, когда в нем трудно найти уединение, когда он весь расчищен и насквозь прорезан широкими аллеями. Тогда в этом лесу можно еще было встретить густую чащу — аллей было немного.

В значительном расстоянии от опушки, на малоезженной дороге, мелькала наемная карета, кучер то и дело стегал лошадей. Из окна кареты ежеминутно выглядывал Бринчини.

— Стой! — наконец закричал он кучеру. Карета остановилась. Итальянец вышел в сопровождении Ранси и огляделся.

— Должно быть, здесь! — сказал он своему спутнику. — Да, конечно, здесь, я это место хорошо знаю... Вон и его экипаж!.. Тут, за этими деревьями, сейчас и лужайка, про которую говорил этот проклятый Рено... Кучер, ты будешь стоять здесь, через полчаса мы вернемся, только смотри, чтобы мы застали тебя на этом же месте!..

— Будьте покойны, куда я поеду? Да и лошадей так загнали, что они, коли уж раз остановились, так теперь ни с места... Хоть целый год гуляйте, пускай себе отдохнут...

Кучер слез с козел и тотчас же вошел в карету, собираясь подремать на досуге. Итальянец и Ранси двинулись в сторону, пробираясь между деревьями и кустами.

— Черт возьми, — говорил Бринчини, — проснулся я совсем спокойным, а вот теперь и берет сомнение — благополучно ли у нас кончится?.. Ну мог ли я ожидать, что секундантом его окажется этот Рено?!

— Признаюсь, вы меня даже изумили, гражданин Бринчини, — перебил его Ранси, — вы так смутились при появлении Рено, что вас трудно было и узнать, а я вас считал

таким молодцом, который не в состоянии смутиться даже при встрече с чертом.

— Черта-то я не испугаюсь; но иногда бывают такие скверные встречи!.. Поймите вы, что если мы теперь не отделаемся от этих господ, то могут быть большие неприятности не только мне, может пострадать даже и наше дело... Рено знает мою деятельность в клубе, русский знает мою деятельность в салонах... Ну, одним словом, я попал в скверную историю... Вы вот вышли из комнаты, когда я объяснился с Рено, и я не знаю, где пропадали, ведь я едва вас дозвался!.. Вы не слышали, как этот сумасшедший меня отделявал... Я едва удержался, чтобы тут же, не говоря худого слова, не угомонить его...

— Хорошо сделали, что удержались, потому что сами знаете: нам пуще всего нужно избегать огласки: А если я замешкался, выйдя из вашей комнаты, то это потому, что у вас в передней меня встретил человек, передавший мне вот эту записку... Вот, прочтите!.. Я нарочно отложил до последней минуты, чтобы вас порадовать...

— Кто это? Знакомый почерк... А, наш об-

щий приятель Пти!.. «Не выпускать Рено и избавиться от него тем или другим способом...» Что же вы мне сейчас же не сказали?! Впрочем, тут нет ничего нового — эта записка только подтверждает то, что я сейчас говорил вам.

— Так, так, — с какой-то отвратительной улыбкой перебил его Ранси, — да для меня-то она очень важна — она мне развязывает руки... Вы постарайтесь управиться с одним, а я не упущу другого...

Они замолчали и быстро направились к засветившейся из-за деревьев лужайке.

Между тем Сергей и Рено давно и с нетерпением поджидали их в этом условном месте. Великолепные лошади Сергея примчали их сюда уже около часу. Дорогой Рено передал своему воспитаннику подробности переговоров с мнимым графом Монтелупо. Горячий француз, окончательно взбешенный и взволнованный, едва мот удерживать свое негодование.

— Мне тяжело, Serge, — говорил он, — что вы связались с этим мошенником, он заслуживает наказания, но не в честном поединке

с порядочным человеком, а наказания по закону, самого позорного наказания... Да, но где же теперь закон, теперь все перепуталось во Франции, теперь торжество темной силы более, чем когда-либо!.. Когда вы назвали мне его имя, мне трудно было сомневаться, я сразу был почти уверен, что это он, но все же у меня оставалась хоть некоторая доля сомнения. Ведь, знаете ли, еще недавно, когда я еще находился в моем несчастном, детском, смешном заблуждении, когда я на все глядел глазами моего воображения, моих страстных желаний и не видел печальной действительности, я считал этого человека, этого Бринчини-Монтелупо искренним и горячим демократом! Если бы вы знали, какие пламенные речи произносил он в клубе! Но я не в нем одном обманулся, не один он провел меня — меня провели все, как последнего дурака. Мне страшно, стыдно в этом сознаться... Я сам себе жалок... Однако простите меня, вам, конечно, теперь не до моих признаний. Скажите мне, мой друг, откровенно: достаточно ли вы спокойны и тверды?!

— Сам себе удивляюсь, Рено, — отвечал

ему Сергей, — вчера я чувствовал себя самым несчастным человеком в мире, я был так измучен, так слаб, что, конечно, изобразил бы очень печальную фигуру на поединке. Но сегодня, с самого утра, со мною произошла странная перемена — я спокоен и ничего не чувствую, ни о чем не думаю, я будто окаменел...

Рено тревожно глядел на него.

— Да, но это нехорошо! Это апатия, которой не должно быть в нашем положении.

— Апатия! Пожалуй, — отвечал Сергей, — только не беспокойтесь, я вовсе не желаю, чтобы этот самозванец, этот негодяй убил меня; я намерен защищаться изо всех сил и чувствую, что как только его увижу, во мне исчезнет моя апатия. Уже при одной мысли о нем, вот теперь, поднимается настоящее бешенство!.. О, дайте мне его скорее! — почти проскрежетал он, и глаза его засверкали, — уничтожить его, умертвить, надругаться над его трупом!.. Я на все способен... Это, может быть, отвратительно, недостойно человека, но я не могу иначе — никогда со мной не бывало ничего подобного и не будет, если я оста-

нись в живых, но теперь я сам себя не понимаю. Вот, я говорю вам, за минуту я был спокоен, а теперь целый ад во мне!..

Рено всеми силами старался его успокоить. Они вышли из кареты, достигли назначенной лужайки и стали дожидаться Бринчини. Они медленно бродили, взявшись под руку, как бывало в Горбатовском, и каждый думал свои думы.

Лицо Сергея опять приняло не то спокойное, не то какое-то застывшее и ко всему безучастное выражение.

Что касается Рено, то он никак не мог подавить в себе тоски, наполнявшей его с каждой минутой больше и больше. Глядя на Сергея, он вспоминал прежнее время, их деревенскую жизнь, эти тихие, спокойные годы, которые теперь он поневоле должен был считать чуть ли не самыми лучшими годами своей жизни. Как он любил тогда этого юношу, развивавшегося под его влиянием и которого он так тщательно вылепливал в свою любимую форму. О какой светлой, чудной будущности мечтал он тогда для этого юноши!..

Конечно, эта будущность и теперь возмож-

на, для него все открыто, все ему доступно, но что-то будет сегодня?

«Чем кончится это несчастное дело? Ведь вот я его успокаиваю, — думал Рено, — ему толкую о хладнокровии и твердости, а сам-то, нечего сказать, хорош! Да вздор, пустое, что за малодушие!»

Он подбодрял себя, но ничего не выходило — тоска не покидала его. И когда захрустели вблизи ветки и сквозь деревья мелькнули две мужские фигуры, он вздрогнул и взглянул на Сергея грустно и испуганно.

А в это время в глубине одной из аллей Булонского леса показались две бегущие фигуры: это была Таня, за которою едва поспевал на своих коретеньких ножках карлик.

Когда они выехали из дома, Моська ее несколько успокоил, он рассказал ей все, что Сергей с Рено отправились не прямо на место поединка, а должны еще заехать к тому человеку, с которым Сергей будет драться.

— Степаныч, мы приедем раньше них! — почти радостно крикнула она, — надо только будет нам остановиться на таком месте, где они должны будут непременно проехать. Зна-

ешь ли ты такое место?

— А вот постой, матушка-боярышня, — отвечал все еще трясшийся как в лихорадке Моська, — вот я сейчас переговорю с кучером. В лес-то этот мы не раз с Сергеем Борисычем ездили, дорогу я знаю, да вот порасспрошу хорошенько...

Он высунулся из окошка и стал на своем ломаном французском языке объясняться с кучером.

Тот уверил его, что дорога одна и что они никого не пропустят.

— Хорошо, ситойен, — сказал Моська на уверения кучера, — ты останешься доволен, заплатим, как еще никто не платил тебе... только, Бога ради, скорее! Vite, vite!..

Кучер утвердительно кивнул головой; карлик закрыл окошко, спустил ноги с каретной подушки, на которую вскарабкался для переговоров, и начал глядеть на Таню.

Но у нее было такое страдальческое лицо, что он не мог долго выдержать. Слезы то и дело застилали глаза его. Он отвернулся и начал смотреть в окошко, Таня хлядела в другое — таким образом, им трудно было пропу-

стить кого-нибудь.

Они почти уже выехали из города, когда мимо них промчалась карета.

Моська всплеснул руками.

— Голубушка, да ведь это он, Сергей Борисыч!.. Карета-то наша... и лошадки!

— Не ошибся, Степаныч? Верно это?

— Верно, верно говорю! Точно я знаю — любимые вороные Сергея Борисыча, сущие черти!.. Раз поехал с ним, так они чуть вдребезги не разбили... И нужно же было ему нынче на них выехать — ну где нам теперь угнаться на эдаких клячах!..

— Так как же мы? Ради Бога, Степаныч... что же это будет! — в отчаянии говорила Таня.

Она мгновенным движением открыла окошко и крикнула кучеру, чтобы он догнал эту карету, не выпускал ее из виду, что он получит пять, десять луидоров, если догонит.

Кучер стал изо всех сил хлестать лошадей, а сам думал:

«Ну где же там догнать! Десять луидоров не шутка, да не догонишь, а лошадей только зарежешь — так тут и дороже десяти луидо-

ров обойдется...»

Однако все же мысль о такой крупной по­лучке была слишком соблазнительна, и он пустил своих лошадей во всю прыть.

Между тем дорога делалась все хуже и ху­же. Начались выбоины. Старую карету качало из стороны в сторону, и по временам даже раздавался подозрительный треск; но ни Та­ня, ни Моська в своем волнении ничего не за­мечали. Они оба, высунувшись из окошек, смотрели вперед за мелькавшей вдали каре­той Сергея.

Вот и Булонский лес начался. Вокруг давно уже смолкло людское движение — ни души живой.

— Скорее, скорее! — кричит Таня.

Кучер погоняет — и вдруг раздался треск... карета пошатнулась на бок. Кучер едва сдер­жал лошадей.

— Боже мой, что такое?

Таня распахнула дверцу, выскочила, за нею выкарабкался Моська. Карета на боку, ось сломана, дальше ехать нет никакой воз­можности.

Таня стояла бледная, отчаянно заломив ру-

ки и бессмысленно глядя перед собой. Карета Сергея уже скрылась из виду, кругом лесная тишь. Кучер уныло осматривает свой экипаж и повторяет:

— Вот и догнал! Что я теперь буду делать?

Таня бросила ему несколько золотых монет и как сумасшедшая кинулась бежать по дороге. Моська за нею.

Вот перекресток, дороги идут по всем направлениям. И ничего не слышно. Запыхавшийся карлик остановился, стал оглядывать колеи, следы лошадиных копыт.

— И направо будто свежие следы, и налево! Куда они проехали, Бог их знает!

— Да что же мы стоим? Боже мой! — говорила Таня, — бежим, бежим, ради Бога!..

— Куда же, матушка, бежать-то? — отчаянно вопил Моська. — Куда? Я почему знаю?

— Господи, помоги нам!!!

И она опять побежала прямо перед собою, хватаясь руками за сердце, которое будто хотело выскочить из груди ее. Моська долго не отставал от нее, наконец, начал выбиваться из сил. К тому же время шло, они пробежали довольно значительное расстояние, никого

не встречая, останавливаясь, прислушиваясь и ничего не слыша.

Больше часу прошло в этом невыносимом положении. Таня не чувствовала усталости, но карлик едва волочил ноги. Наконец, он споткнулся, упал и горько заплакал. Таня должна была остановиться, помочь ему подняться.

— Оставь меня, Степаныч, пусти одну...

Но он не мог этого. Он собрал последние силы и опять побежал за нею.

— Родная моя! — едва ворочая сухим языком, вдруг взвизнул карлик. — Глянь-ка сюда! Там вон... видишь, на повороте... видишь, карета наша... лошади наши... бежим скорее!!

Она пустилась как стрела и скоро была у кареты. Моська не отставал от нее, цепляясь за ее платье.

Он еще издали исступленным голосом кричал кучеру, спрашивая, где Сергей Борисыч, с какой стороны искать его.

Кучер молча указал по направлению к лужайке.

Таня бежала, не видя под собой земли, натываясь на кусты, раздвигая их руками, про-

никая в лесную чащу. Острые, сухие сучья зацепляли ее за платье, рвали его, но она ничего не видела.

Ей казалось, что она летит, а навстречу ей мчатся, удерживая ее полет, целые полки черных великанов, сонмище лесных духов, высланных злобною, неведомой силой, чтобы помешать ей найти человека.

И эти черные, косматые привидения хлестали ее по лицу, царапали ее своими когтями. Но она не обращала на них внимания, она рвалась вперед, вперед, всматриваясь зоркими глазами, нет ли где просвета, ловя чутким, напряженным ухом малейший шорох.

Вот ей что-то послышалось — будто человеческие голоса, потом какой-то другой звук — то лязг стали! Да, она уже не сомневалась в этом. Она сделала последнее усилие и вырвалась из частого кустарника на лужайку.

Но тут вдруг ее оставили последние силы, ноги подкашивались, дыхание сдавило — она ухватилась за древесный ствол и несколько мгновений стояла, будто окаменевшая, с широко раскрытыми глазами, не в силах сделать

малейшее движение.

Она видела: на противоположной стороне довольно обширной лужайки — Сергей и Рено и два неизвестных ей человека. Сергей бьется со своим противником... блещут их шпаги... И вдруг, миг один... страшная, отчаянная боль схватила ее за сердце. Сергей опустил свою шпагу, пошатнулся... шпага выпала из рук его... Он ухватился за грудь и медленно, как-то странно присел на землю... Рено бросился к нему...

Таня, наконец, крикнула не своим голосом, силы вернулись к ней, она побежала через лужайку... но тут на ее глазах произошло что-то совсем непонятное: один из двух неизвестных людей, но не тот, который бился с Сергеем, быстро подбежал к склонившемуся Рено и замахнулся на него каким-то блеснувшим оружием...

Рено выпрямился, отскочил и уже готов был броситься на этого человека... но в это самое мгновение перед ним с отчаянным криком появилась Таня; за нею, жалобно плача, поспевал карлик.

Два неизвестных человека, смущенные

этим неожиданным появлением, несколько времени стояли неподвижно, потом, будто сговорившись, быстро повернулись и скрылись за кустами.

— Сережа, Сережа! — шептала Таня, дрожа всем телом и падая на колени перед раненым. — Кровь, кровь!.. Сережа! Он не слышит... да нет, не может быть этого... неужели они его убили?!

Она трепещущими руками силилась растегнуть на его груди пуговицы и никак не могла этого, она заглядывала в его бледное лицо, прислушиваясь к его дыханию. Моська рыдал громко рядом с нею.

Первый пришел в себя Рено. Он быстро и твердой рукою сделал то, чего не в силах была сделать Таня: он осмотрел рану Сергея и вздохнул свободнее.

— Княжна, дорогая моя, успокойтесь! — произнес он, и в выражении его голоса было что-то такое, что заставило Таню очнуться. — Успокойтесь, он жив, и я даже надеюсь, что рана не чересчур опасна. Он в обмороке, но это пройдет скоро, и прежде всего помогите мне перевязать рану...

Таня преобразилась, как это всегда бывает с любящей женщиной в подобных обстоятельствах; Рено нашел в ней искусную помощницу. Скоро Сергей открыл глаза, изумленно и слабо улыбнулся Тане. Кое-как им удалось довести или, вернее, донести его до кареты. В ней оказалось достаточно места для Рено и Тани. Моська, задыхаясь от рыданий, взобрался на козлы...

Не пришлось Тане уехать из Парижа, и она благодарила судьбу за то, что промедлила несколько дней окончательным решением под влиянием какого-то предчувствия. Значит, все так и надо было, значит, недаром она сюда приехала. Теперь она забыла оскорбление, нанесенное ей Сергеем, забыла все горе обманутой любви и всецело отдалась своим новым обязанностям сиделки у постели любимого человека.

Когда Сергея привезли почти бесчувственного домой, княгиня Пересветова так перепугалась, что сама чуть не разболелась; но на другой же день, придя в себя и видя Таню, все поглощенную хлопотами, она горячо поцеловала ее и сквозь слезы проговорила:

— Ах ты, мое бедное дитяtko, опять в сиделках!

Таня не удержалась — зарыдала.

— Матушка! — шептала она. — Знаешь ли, что доктора сказали? Ведь это опасно, и не рана тут... рану обещают вылечить скоро, а за голову, за разум его опасаются — все-то он бредит... неладно с ним... Боже мой, Господи! Неужели не выздоровеет он?!

— Успокойся, Танюша, — своим новым, ласковым голосом перебила ее княгиня, — выздоровеет он, верно говорю тебе... уж коли ты у него в сиделках, так выздоровеет!

Княгиня, действительно, была уверена, что так оно и будет; но Тане она не могла передать этой уверенности, и много дней прошло в тревоге, много ночей протянулось между страхом и надеждой.

В первые дни положение Сергея возбуждало серьезные опасения: лечение раны шло успешно, а между тем он почти не приходил в себя, он то и дело бредил, борясь в этом бреде с призраками. Таня не покидала его почти ни на минуту; не покидал его и Рено, снова переселившийся в дом и бросивший все свои

дела, по-видимому, забывший всю ту тревожную жизнь, которая в последние месяцы увлекла его от любимого воспитанника, увлекла в бурное море политических страстей и борьбы. Его порывистая натура переживала новый кризис. Он убедился в своих ошибках, печальных заблуждениях, и вдруг ему отвратительно, невыносимо стало все, что еще недавно его увлекало.

Теперь у него было одно только чувство — любовь к Сергею, страх за его жизнь, надежда на его выздоровление. Он не мог оторваться от больного, не мог оторваться и от Тани, которую любил почти так же, как и Сергея. Он приносил ей большую пользу — он поддерживал ее в эти тревожные дни, возбуждал ее упавший дух, искусно скрывая перед нею свою тоску и сомнения.

Долгие часы у кровати Сергея сблизили их окончательно, они передали друг другу все, что могли передать, между ними не было тайны, не было недомолвок. И вот, когда опасность, наконец, миновала, когда доктора объявили, что ручаются не только за жизнь, но и за рассудок больного, Рено заметил, что к ра-

дости Тани стало примешиваться новое, мучительное чувство. Один раз она даже проговорила.

— Слава Богу, — сказала она, выйдя с Рено из спальни Сергея и усаживаясь в маленькой гостиной, в уютном уголке, который теперь они оба полюбили, — слава Богу, я сама начинаю видеть, что он поправляется. Еще неделя, другая — и он будет здоров. Мои услуги ему будут не нужны... Тогда скорей, скорей, бежать отсюда!

— Да, бежать! — грустно повторил Рено. — Мне кажется, и я убегу вместе со всеми вами... Нет, я не убегу! — вспыхивая, крикнул он. — Как ни тяжела будет разлука с вами, я все же должен здесь остаться... Здесь ад, здесь отравы; но все равно, уйдя отсюда, я через месяц какой-нибудь повешусь! Я француз и был бы изменником, был бы недостойн называться французом, если бы в такое время убежал из Парижа!.. А вы спешите дальше, в вашу тихую Россию... Благодарите судьбу, что все это для вас чужое, а главное — будьте счастливы друг с другом!

— Друг с другом... — тихо, тихо выговорила

Таня. — Нет, Рено, я уеду одна и постараюсь никогда не встречаться с ним в жизни... В ту минуту, как его болезнь пройдет совсем, моя обязанность будет исполнена, и я прощусь с ним...

Рено оживился. Добрая улыбка мелькнула на губах его.

— Как вы заблуждаетесь, дорогая княжна! — сказал он. — Неужели вы не верите, что теперь, именно теперь вы с ним не расстанетесь, он вас не отпустит, он дня одного не проживет без вас... и вы, конечно, не будете так жестоки, чтобы его бросить. Думая обо всем, что случилось, я, право, начинаю верить в какой-то рок, в какую-то добрую судьбу, которая дала вам смелость и решимость сюда приехать... Не будь вас здесь — что бы такое было! Да и не с одним Serge'ем, а и со мною — ведь я обязан вам жизнью! Не подоспей вы в ту минуту — эти негодяи зарезали бы меня, я в этом не сомневаюсь. Serge был в забвении — он не мог быть свидетелем... его нашли бы раненым, меня — убитым. Они, конечно, позаботились бы убить меня таким образом, чтобы не возбудить ничьих подозрений. Что бы

ни говорил Serge, его прежде всех стали бы считать моим убийцей. Но еще вопрос — выздоровел ли бы он, если б мы с вами не перевязали вовремя его рану, если б не привезли его немедленно домой и не сдали бы на попечение лучших докторов?!

— Я благодарю Бога за мое присутствие в Париже, — сказала Таня. — Может быть, все, что вы говорите, и верно, в таком случае я счастлива, и это сознание на всю жизнь останется лучшим моим сокровищем... Но что же из этого, Рено?! Или вы хотите навязать меня Serge'у из благодарности? Это будет чересчур большая плата за мою случайную услугу, и уж во всяком случае я не приму такой платы...

— О, как мы самолюбивы и мнительны! — с улыбкой перебил ее Рено, беря и поднося к губам ее нежную и в то же время крепкую руку. — О, как мы самолюбивы и мнительны! — повторил он. — Какая тут плата, какая благодарность! Подождите несколько дней, дайте ему встать на ноги, и вы увидите, каким он встанет! Конечно, не я буду говорить за него — он сам вас уверит, что любит вас ис-

тинно, страстно и на всю жизнь, и вы ему поверите, потому что он будет говорить правду... Поймите, княжна, поймите!.. Хотя вы еще чересчур молоды, хотя вы и не знаете жизни, но вы так умны, вы должны понять: ведь все это был только сон, тяжелый кошмар, неизбежная гроза, которая из юноши должна превратить его в зрелого человека. Если бы всего, что случилось, не было, я бы еще усомнился, пожалуй, в вашем семейном счастье — теперь я в нем не сомневаюсь! Я давно знаю, что вы созданы друг для друга; судьба привела вас сюда, с вашей помощью он избавился от душившего кошмара, он просыпается... а когда проснется совсем, вы возьмете его как свою законную собственность!..

Таня сидела в видимом возбуждении. Глаза ее блестели, на щеках играл яркий румянец.

— Какой вы мечтатель, Рено, какой мечтатель! — шептала она.

— Мечтатель! Нисколько. Я только прожил на свете больше вашего, я только хорошо знаю Serge'a... и потом, теперь, вот в эти последние три дня, я за ним наблюдаю, шпио-

ню, глаз с него не спускаю... ну, и я хорошо вижу, как он глядит на вас, и знаю, что он думает — я привык читать мысли на лице его...

— Оставьте меня, Рено! — сказала Таня, опуская глаза. — Мне с вами страшно — вы искуситель! То, что вы говорите, так заманчиво, что я боюсь... я вам поверю, пожалуй, а я не должна этому верить...

Рено все улыбался. Он видел, что цель его достигнута — искушение оказалось чересчур сильным, и с этой минуты он стал подмечать, что за Сергеем шпионит уже не он один, а, может быть, ещё больше него шпионит за ним Таня.

Только слабость, последний остаток нервной болезни, перенесенной Сергеем, заставляла его, по предписанию докторов, оставаться несколько дней в кровати. Не будь этой слабости, он чувствовал бы себя совсем здоровым, а главное — к нему вернулось спокойствие, не было прежней тоски, прежней сердечной муки. Он радостно смотрел на жизнь, он чувствовал, что живет, что впереди еще много жизни — и радовался этому.

Наконец ему позволено одеться и выйти

из спальни. Он лежит на диване в своем рабочем кабинете. Рено неслышными шагами ходит по мягкому ковру, княгиня у окошка что-то вышивает на пальцах. У самого дивана, грациозно откинувшись на спинку кресла, сидит Таня и громко читает только что принесенные газеты.

Сергей смотрит на нее не отрываясь.

Да разве Таня — эта высокая, стройная девушка с темно-голубыми задумчивыми глазами, строгим профилем, с таким спокойным и в то же время грустным выражением в лице? Разве Таня — эта чудная красавица, созданная для того, чтоб останавливать на себе всеобщее внимание, чтобы возбуждать восторг мужчин и зависть женщин?! Таня, прежняя Таня, эта круглая, румяная вострушка, эта милая девочка с доверчивой и наивной улыбкой — где она, куда она девалась?..

Но вот она читает, и Сергей вслушивается в ее голос: да, это она, прежняя милая Таня! Так же точно, бывало, в Горбатовском читала она вслух... та же манера, то же выражение, так же мило не выговаривает она букву «р» — и эта милая манера чтения, эта буква «р» вос-

кресила вдруг перед Сергеем прежнюю Таню, и он продолжал глядеть на нее не отрываясь, не подозревая, что с каждой новой секундой глаза его начинают светиться все ласковее и счастливее.

Таня остановилась и взглянула на него. Быстро-быстро вспыхнула она румянцем и опустила глаза, опустила голову и несколько минут не могла приняться снова за чтение — так шибко стучало ее сердце, такой прилив счастья охватил ее.

Рено продолжал тихо расхаживать по ковру, по временам взглядывая на них и ласково улыбаясь.

Скрипнула дверь кабинета, шевельнулась портьера — показалась фигурка Моськи. Он бережно нес большой пакет и передал его Сергею.

— Сергей Борисыч, из посольства прислали!

Сергей распечатал пакет, проглядел бумаги. В их числе была записка к нему от Симона, который осведомлялся о его здоровье и извещал его, что в самом непродолжительном времени русское посольство будет ото-

звано из Парижа.

Сергей передал это известие присутствовавшим.

— Слава тебе, Господи, — крикнул карлик и перекрестился. — Давно пора! Да и у нас все готово к отъезду... я-то, признаться, уж с неделю как стал помаленьку собираться...

— Да кто же это велел тебе? Почему ты знал, что я уезжаю?

— А то как же?! Вот ведь моя же правда вышла, али и теперь мы, батюшка Сергей Борисыч, все еще тут сидеть будем? Все добрые люди из этого тартара вырвутся, а мы останемся?!

Сергей улыбнулся.

— Успокойся, Степаныч, — сказал он, — коли посольство государыня отзывает, так и я волей-неволей должен ехать...

И при этом он взглянул на Таню так ласково, с такой любовью, что она не могла усомниться в значении этого взгляда. Она снова зарделась румянцем, и даже счастливые, благодатные слезы сверкнули в глазах ее.

Моська хорошо подметил все это.

«Ведь вот же и на нашей улице празд-

ник! — радостно думал он. — Ведь я говорил, что сам бог надоумил боярышню нашу в этот омут проклятый приехать... Только за что же муки-то столько мы все натерпелись?! За что дитя-то чуть в гроб не уложили?»

«Эх, болтун пучеглазый! — чуть громко не крикнул он, исподлобья посматривая на Рено. — Много ты начудесил!.. По твоей милости все вышло... ты тянул к этим разбойникам... ты отвратил дитя от Господа, ты натолкнул его на грех тяжкий!.. Ну, чего шагаешь... ишь ведь... чай, опять за нами потащишься!..»

Он подошел к Рено и заискивающим, ехидным голосом спросил его:

— Мусье Рено, а как же вы, разве не будете скучать у нас по вашем Париже?

— Я здесь останусь, я не еду с вами... *je vous fais ce plaisir, mon très cher Stepanitch!* — ответил француз с печальной улыбкой.

— Рено, что вы? Неужели не шутите? Неужели мы должны расстаться? — тревожно спрашивал Сергей.

— Да, мой друг, я остаюсь, и не будем больше говорить об этом... Эта разлука мне тяже-

лее, чем вам... я остаюсь один на свете... я остаюсь не на радость. Но я не смею и не могу отсюда теперь уехать... я почти уже не верю ни во что светлое, у меня мало надежды... Наше наказание начинается, да наказание, потому что мы хоть не совсем вольные, а все же преступники. Желая блага, мы оказались пособниками зла!.. Мечтатели, фантазеры, незнакомые с народом, мы начали наше дело во имя народа — и губим этот народ, пробудив к жизни его дикость, дав силу только плесени, только отребью человеческого общества... Мы, как легкомысленный заклинатель, вызвали адского духа — и не в силах с ним справиться, и он готовится растерзать нас... И нам остается только честно погибнуть в борьбе с нами же вызванным адским духом...

Рено замолчал. Глубокое страдание пробежало по лицу его.

Сергей и Таня грустно глядели на него; но им нечего было возразить ему и нечем было успокоить...